

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

К·М· СТАНЮКОВИЧ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ
ТОМАХ

ТОМ

9

БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1977

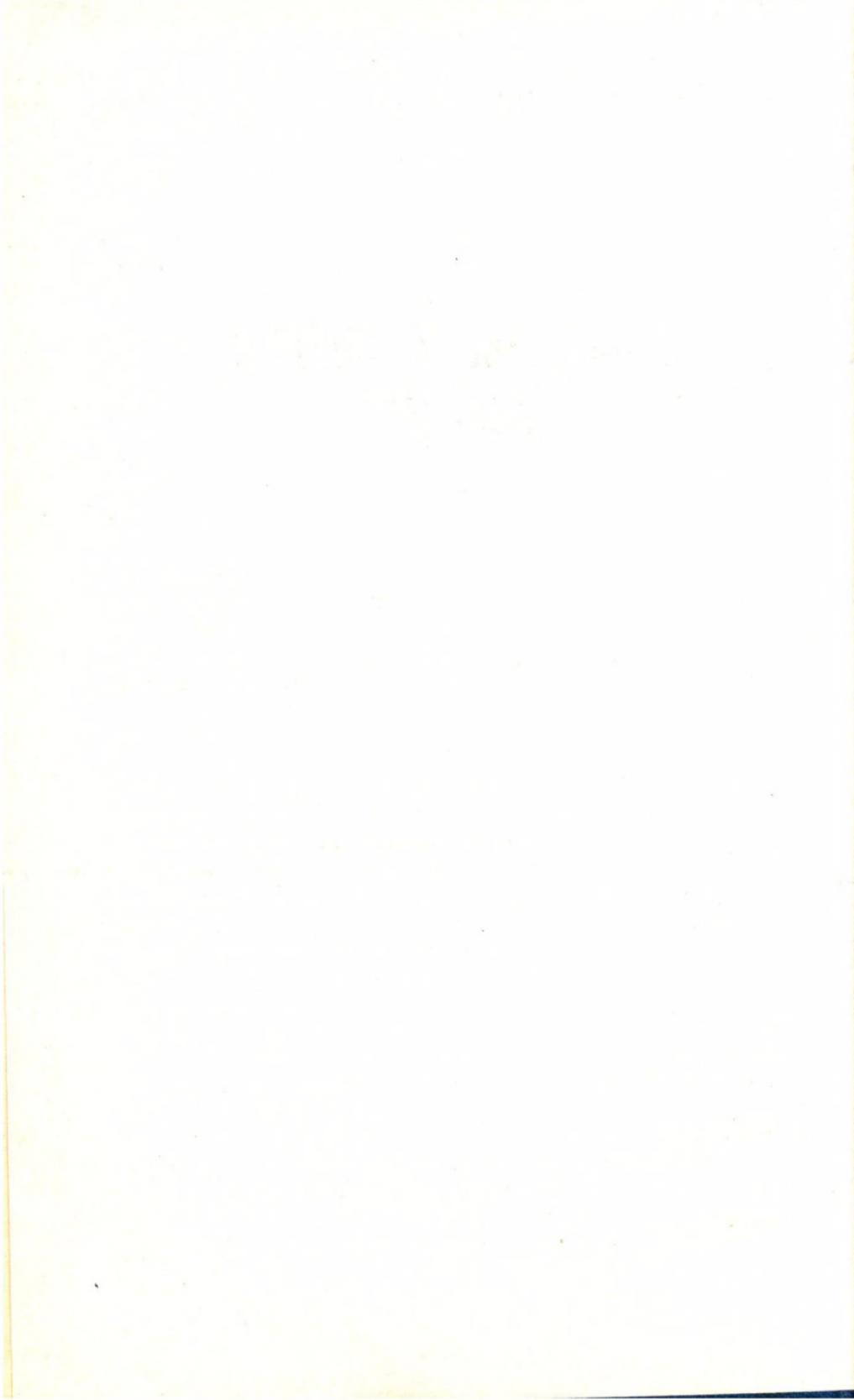
Составление
и общая редакция
М. П. Еремина.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

© Издательство «Правда», 1977.
(Составление. Примечания. Иллюстрации.)

5

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
1898—1901



ПЕРВОГОДОК

(Очерк из былой морской жизни)

I

Когда на пятый день после ухода из Кронштадта корвета «Ястреб» в кругосветное плавание «засвежело», как говорят моряки, и корвет бросало, точно щепку, со стороны на сторону по волнам разбушевавшегося Немецкого моря, молодой матросик Егор Певцов струсили не на шутку.

Это было первое его знакомство с бурей на море, его морское крещение.

Певцов был в числе вахтенных и потому в это осеннее неприветное утро находился наверху, на палубе «Ястреба», который под зарифленными парусами, поднимаясь с волны на волну и раскачиваясь, несся с крепким попутным ветром, доходящим до степени шторма, верст по семнадцати в час.

На нем было сто семьдесят пять матросов, пятнадцать офицеров, священник и доктор.

Бледный как смерть, с помутившимся взглядом серых больших глаз, стоял матросик у грат-мачты, крепко вцепившись рукой в снасти, чтобы не упасть на качающейся палубе, которая словно бы уходила из-под его ног, еще не привычных сохранять равновесие во время качки,— и, полный страха, взглядал на высокие заседевшие волны, бросавшиеся со всех сторон на «Ястреба» и с грозным гулом разбивающиеся одна о другую.

Далеко-далеко раскинулось бурное море, вздымаясь высокими холмами. Белоснежные гребни их пенились и, срываемые ветром, рассыпались жемчужною пылью.

Идет непрерываемый морской гул, сливающийся с волем ветра, который то стонет, то гудит, проносясь по мачтам, парусам и снастям и потрясая веревки. Небо покрыто низкими, черными, быстро несущимися облаками. Горизонт застлан мглою.

Мрачно, тоскливо и холодно кругом.

Щемящая тоска и на сердце матроса, впервые увидавшего бушующее море и в страхе преувеличивающего опасность. Оно чужое ему, страшное и постылое, и он думает, что нет постылей морской службы. То ли дело на сухом пути!

И, когда корвет в своих стремительных размахах ложится боком и верхушки волн вливаются через борт на палубу, молодой матрос в ужасе широко открывает глаза и весь замирает.

Ему кажется, что корвет не поднимется, что вот-вот эти свинцовые водяные горы, которые тут, так близко, в нескольких шагах, поглотят судно со всеми людьми, и нет спасения. Смерть неминуема,— она глядит, холодная и страшная, из этих холодных и страшных волн.

А жить так хочется, так страстно хочется. За что умирать?

И матросик шепчет побелевшими, вздрагивающими губами:

— Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй!

Но корвет уже поднялся одним боком и стремительно ложится другим.

И в эти мгновенные промежутки надежда закрадывается в потрясенную душу матроса.

II

Егор Певцов первогодок.

Всего только шесть месяцев тому назад, как его, неуклюжего, крепкого и приземистого, белобрысого двадцатиоднолетнего паренька, с большими добродушными серыми глазами, в числе других новобранцев привели

в Кронштадт из глухой деревушки Вологодской губернии.

Он сделался матросом, никогда в жизни не видавшим не только моря, но даже и озера. Видел он только маленькую речонку Выпь, протекавшую у деревни.

Его поместили в казарму, одели в матросскую форму, и на другой же день экипажный командир, осматривавший новобранцев, оглядев Певцова, проговорил, обращаясь к командиру роты, в которую был назначен Певцов:

— Из этой «деревни» хороший марсовый выйдет!

И затем спросил Певцова:

— Как зовут?

— Егором! — испуганно отвечал новобранец,

— Фамилия?

Матросик в недоумении моргал глазами.

— Прозвище как?

— Певцов...

— Вологодский?

— Вологодские будем.

— Ну, братец, служи хорошо!.. Будь молодцом...

Все, смотри, будьте молодцами! — подбодрил экипажный командир новобранцев.

И вслед за тем прибавил суровым тоном:

— А не то...

Он не досказал и ушел.

Но все новобранцы поняли, в чем дело. Они уже слышали, когда шли в партии, что на службе спуска не дают.

Действительно, в те времена спуска не давали и матросов учили при помощи очень суровых наказаний.

После крестьянской жизни трудно было Певцову привыкать к казарме.

Он первое время находился в постоянном страхе и, что называется, лез из кожи вон, чтобы не навлечь на себя наказания. Но по тем временам это не всегда было возможно.

Унтер-офицер Захарыч, назначенный обучать новобранцев выправке и ружейным приемам, добродушный вне службы пожилой человек, не отличался большим терпением и, сам выученный далеко не ласково, находил, что без боя «никак невозможно обломать деревенщи-

ну» и, как он выражался, привести в «форменный рас-
судок».

И этот унтер-офицер нередко зверел во время учебы. Ему все казалось, что «деревня» необыкновенно упорна и не «обламывается» с тою скоростью, с какою бы ему хотелось: и грудь не выпячена, и молодцеватого вида нет... Одним словом, новобранцы — мужики мужиками. Пожалуй, и ротный за это не похвалит и велит «всыпать» учителю.

И глаза учителя наливались кровью; его красноватое лицо с багровым от пьянства носом перекашивалось, и он начинал «крошить».

Матросик покорно выдерживал удары озверевшего унтер-офицера и только бледнел и жмурил глаза. Но потом целый день был сам не свой. Полный тоски и обиды, забивался он куда-нибудь в угол и думал горькие думы о безвыходности своего положения.

Подобная муштровка происходила ежедневно. Несмотря на старания Певцова угодить своим усердием Захарычу, редкий день обходился без того, чтобы матросик не был избит.

А Захарыч вдобавок еще говорит:

— Это еще что!.. на сухой пути... А в море будет вам, подлецы, настоящая разделка!

Подтверждение этих слов о настоящей «разделке» в море молодой матрос не раз слышал в казарме из обычных разговоров, которыми коротали вечера матросы. Наслушался он о строгостях на судах, о разных командах и старших офицерах, которые за всякую малость приказывали полировать спину, и о том, как тяжела и опасна матросская служба в море, и о том, какие бывают в море штормы и ураганы.

Отчаяние и страх закрадывались в сердце молодого матроса; и в голову его пришла мысль о побеге.

Мысль эта не покидала первогодка. Его манил к себе густой старый лес, который он так любил и куда, бывало, ходил стрелять рябчиков из своего скверного ружьишко. Его манили поля... манила деревня с черными покосившимися избушками...

Там все свое, родное, к чему он привык с детства... Здесь все чужое... и это море...

О, каким постылым показалось ему оно, когда он увидал его однажды со стенки Купеческой гавани в одно из воскресений, когда был отпущен из казарм погулять!

III

Жестокое наказание, которому при всей роте был подвергнут один «отчаянный» матрос, пропивший все казенные вещи, бывшие на нем, произвело потрясающее впечатление на Певцова.

После этого случая мысль о побеге не давала покоя матросику.

И ровно через месяц после того, как Певцов был приведен в Кронштадт и выучивался у Захарыча, он в одно из воскресений, отпущенный гулять, решился не возвращаться более в казармы.

Кронштадтский бояк, с которым познакомился Певцов на рынке и потом зашел с ним в кабак, уверил молодого матроса, что в Питере паспорт легко раздобыть, стоит только найти там Вяземскую лавру; а с паспортом живи где угодно.

Часу в десятом утра Певцов с заветным рублем в кармане, рублем, принесенным из деревни, шел по льду, через море, в Оранienбаум.

Шел он не по дороге, а стороной от нее, чтобы не встретиться с кем-нибудь.

Уже Певцов был на половине дороги, порядочно прозябши в рваном армяке, который ему дал бояк в обмен на казенную шинель, как увидал, что навстречу ему идет матрос, лицо которого было почти закрыто башлыком.

Скоро они сблизились. И вдруг встречный остановился и крикнул:

— Егорка! стой!

Матросик так-таки и обомлел: перед ним стоял Захарыч.

Изумлен был и Захарыч.
— Положим, я выпивши... У кумы в Рамбове был. Но только по какой причине ты в таком виде? Обскаживай, Егорка!

— Не погуби, Захарыч!

— Я не душегуб, Егорка... Я совесть имею. Говори сей секунд, что это ты задумал... Никак бежать?

— Силушки моей не стало, Захарыч...
— В отчаянность пришел?..
— В отчаянность...
— Из-за чего?.. Из-за меня?.. — дрогнувшим голосом произнес Захарыч.

— Изо всего... Из-за тебя... Захарыч...

— А я не с сердцем, Егорка, — виновато сказал Захарыч. — Надо обламывать тебя... форменного матроса сделать... Мне и невдомек, что ты такой... обидчивый... А я вот что тебе скажу: не бегай, Егорка!.. Не бегай, дурья голова!.. Я тебе добром говорю... Никому не доложу, что встретил тебя... Иди, коли хочешь, с богом, но только пропадешь ты... Поймают тебя и сквозь строй... за бега... А слышал ты, как это сквозь строй гоняют?

— Слышал...

— То-то и есть... Не дай бог!

— Все равно пропадать... И теперь ежели вернуться, пропал я.

— Пропал?! Я тебе не дам пропасть... Ежели я тебя до такой отчаянности довел боем, что ты вон в армячишке рваном бежать решился, то я и вызволить тебя должен, Егорка... Небось не пропадешь... Совесть-то у меня есть... Валим в Рамбов!.. Там я тебя опять как следует одену, и будешь ты снова матрос... И ни одна душа не узнает.

Матросик не верил своим ушам. Захарыч, который мучил его, так ласково говорит, жалеет его.

И, тронутый этой лаской до глубины души, он мог только взволнованно проговорить:

— Захарыч... Спасибо!

— И чувствительный же ты парень, Егорка!.. Так валим, что ли? Ишь ведь, зазяб!

Они пошли вместе в Ораниенбаум и скоро были у кумы.

— Здорово, кума! Опять обернулся! Надо с тобой обмозговать одно дело!.. Только прежде поднеси шкалик парню. Зазяб больно. И мне по спопутности! — весело говорил Захарыч куме, не старой еще женщине, вдове боцмана.

После того как оба выпили по шкалику, Захарыч о чем-то зашептался с кумой, и она тотчас же куда-то исчезла.

Вскоре она вернулась с форменной матросской шинелью и фуражкой, и матросика обрядили.

— Ну, теперь айда домой, Егорка!.. Только прежде еще по шкалику... Не так ли, кума? И провористая же баба моя кума, Егорка!..

Выпили еще и пошли в Кронштадт.

И, когда матросик вернулся в казарму, она была ему уж не так постыла.

На другой день все новобранцы, бывшие в учебе у Захарыча, заметили, что он не так уже зверствует, как раньше. Правда, ругань по-прежнему лилась непрерывно, и одного непонятливого он съездил по уху, но съездил легко и вообще дрался с рассудком.

А Певцова, старавшегося изо всех сил, даже похвалил и вечером позвал пить чай.

Когда месяца через три матросика назначили в кругосветное плавание и он затосковал, Захарыч, тоже назначенный на «Ястреб», старался утешить своего любимца и обещал сделать из него хорошего марсowego.

— Главное дело, не бойся! Вначале будто боязно, когда тебя, примерно, на рее качает; а потом ничего... Видишь, что другие матросики не боятся, стараются... Чем же ты хуже их? Я, братец ты мой, десять лет был марсовым и, как послали меня в первый раз марсель крепить, тоже полагал, что тут мне и крышка. Либо в море упаду, либо башку размозжу о палубу. А вот, как видишь, цел вовсе.

— Сказывают, строгость большая на море, Захарыч?

— Как следует быть... Но только, ежели ты сам держишь себя в строгости, то не за что тебя и драть как сидорову козу, коли командир и старший офицер наказывают не зря или в беспамятстве ума, а по чести и с рассудком... Без взыску нельзя... Такая уж взыскательная флотская служба...

— А как наш командир и старший офицер? Очень строгие? — с жадным любопытством спросил молодой матрос.

— То-то нет... Тебе на первый раз посчастливилось, Егорка! И жалостливые и матросом не брезгуют... Понимают, что у матроса не барабанная шкура, и задарма нет у них положения разделять спину. Особенно капи-

тан... Я с ним плавал одно лето... С большим понятием человек... С им не нудно служить...

— А старший офицер?..

— Ишь ведь пужливый ты... допытываешься! — добродушно усмехнулся Захарыч.

И, помолчав, продолжал:

— Матросы, кои служили с ним раньше, сказывали, что добер... Однако любит при случае по зубам пройтись. Да ты, Егорка, не сумлевайся насчет этого! — вставил Захарыч, заметив испуг на лице первогодка. — У его рука, сказывали, легкая! А порет по справедливо-сти, если кто свиноватил. А чтобы понапрасну бескура-живать человека — ни боже мой! Да чего бояться? Ты у меня исправный и старательный матросик. За что тебя драть? И вовсе не за что! Так-то, Егорка! Счастье твое, что попал ты на судно к такому добруму капитану!

Эти слова, а главное, тон их, ласковый и душевный, очень подбодрили молодого матроса.

IV

И первые дни плавания не показались ему страшными.

Несмотря на позднюю осень, погода стояла тихая, и в Финском заливе и в Балтийском море не было ни ветра, ни волнения. Стоял штиль, и корвет, не покачиваясь, шел себе под парами, попыхивая дымком из горла-стой трубы.

Первогодок был назначен во вторую вахту. Он должен был находиться на палубе, у гrott-мачты, в числе «шканечных» и выполнять работы, требующие только мускульного труда, то есть тянуть, или, как говорят матросы, «трекать» снасти (веревки).

Наверх взбираться, на ванты, и крепить паруса его не посылали еще.

Привык он и к судовой жизни, к жизни по точному расписанию. Привык по свистку боцмана вскакивать в пять часов утра из своей койки, подвешенной вместе с другими в междупалубном пространстве, называемом «жилой палубой», скатывать койку, нести ее наверх и класть в бортовое гнездо, затем петь во фронте утреннюю молитву и после кашицы и чая приниматься за обычную уборку палубы: скоблить ее камнем, проходить

шваброй, окачивать водой — словом, доводить до той «каторжной», как говорят матросы, чистоты, котою щеголяют военные суда.

После мытья палубы начиналась чистка орудий, бортов и всех медных вещей, находящихся на палубе: по-рученей, кнехтов, уток и т. п. Суконок и кирпича не жалели.

И во время этой «убирки», то есть до восьми часов утра, когда поднимался флаг и начинался судовой день, молодой матрос привык видеть небольшую, круглую фигуру старшего офицера, который носился по корвету, заглядывая то туда, то сюда, покрикивая своим тоненьким тенорком и иногда «смазывая» лица лодырей матросиков, которые вместо работы болтали.

Привык Егор и слушать, как заливается «соловей». Так называли матросы старого боцмана Зацепкина, который во время уборки почти не переставая «заливался», то есть ругался, выпуская такие затейливые словечки, которые вызывали нередко веселое настроение в матросиках. До того эти вариации были неожиданы и затейливы.

К восьми часам уборка кончалась, и начинался день.

Благодаря гуманному отношению командира и дни не казались тяжелыми Егору.

До одиннадцати часов утра он вместе с другими матросами занят был какой-нибудь нетрудной работой на верху. Ему поручали или плести мат, или скоблить шлюпку, или разбирать по сортам пеньку. Каждый был занят делом. И тогда слышно было, как на палубе за работой мурлыкались вполголоса песни.

А в одиннадцать уже шабашили, и в начале двенадцатого два боцмана и все унтер-офицеры становились в кружок и долгим свистом возвещали о раздаче водки. Выносились на палубу большая ендова, и каждый, по вызову, подходил и пил чарку. Выпивал и молодой матросик и с аппетитом ел вкусные матросские щи, мясо из них и затем кашу. Кормили отлично в море, и Егор отъедался на хороших харчах.

После обеда, если Егор не стоял на вахте, он вместе с другими отдыхал, растянувшись в жилой палубе, пока в три часа свисток боцмана не будил спавших. От трех до четырех шло обучение грамоте, и Певцов с особенной охотой занимался с одним из молодых офицеров и слу-

шал, когда этот же офицер читал матросам что-нибудь вслух.

После этих занятий было какое-нибудь ученье — патрунное или артиллерийское, — но недолгое благодаря распоряжению капитана не изнурять людей, и без того устававших во время вахт. А на вахте приходилось стоять по шести часов.

С пяти часов работ уж не было, и в это время матросы обыкновенно собирались на баке, слушали хор песенников и вели между собою беседы. В шесть ужинали и в восьмом часу уже свистали на молитву, а после молитвы отдавалось приказание брать койки.

И подвахтенные отправлялись спать и спали крепким сном наработавшихся за день людей до утра, если только среди ночи не раздавался в палубе тревожный свисток в дудку и вслед за тем зычный окрик боцмана:

— Пошел все наверх рифы брат!..

Такой окрик раздался в шестую ночь после выхода из Кронштадта, когда корвет вошел в неприветное Немецкое море, отличающееся неправильным и очень беспокойным волнением.

Егор проснулся, соскочил с койки и едва устоял на ногах — так сильно качало. Испуганный, он крестился и в первую минуту растерялся.

— Живо... живо! Копайся у меня! — раздался грозный окрик боцмана Задекина.

И его здоровая, широкоплечая фигура носилась в слабо освещенной несколькими фонарями жилой палубе, и палуба оглашалась руганью.

— Вали наверх, черти! Лётом, идолы!.. Не то подгоню!

Матросик торопливо надевал короткое пальто-буршлат и искал шапку.

Из открытого люка доносился шум ветра.

Матросы стремглав выбегали наверх, а Егор, не привыкший ходить по качающейся палубе и растерянный, замешкался.

В эту минуту сверху спустился бывший на вахте Захарыч и подошел к нему.

— Иди... иди... не бойся, Егорка! А то боцман тебя не похвалит!.. — проговорил Захарыч.

И Певцов, с трудом перебирая ногами, чтобы не упасть, вышел одним из последних на палубу, направляясь к своему месту, к гrott-мачте.

Его охватил резкий, холодный ветер, и у бака обдало солеными брызгами.

То, что увидал он при слабом свете луны, наполнило его сердце страхом.

А между тем ничего особенно страшного еще не было. Ветер только еще начинал крепчать, разводя большое волнение, и корвет порядочно таки качало. Море гудело, но рев его еще не был страшен.

— Марсовые, к вантам! По марсам! — раздался звонкий, криклиwyй тенорок старшего офицера.

Стоявший на палубе первогодок увидал, как полезли наверх матросы, как затем расползлись по реям и стали делать свое трудное матросское дело: брать рифы у марселей. Их маленькие черные, перегнувшись фигуры раскачивались вместе с реями, и молодому матросу казалось, что вот-вот сию минуту кто-нибудь сорвется с реи и упадет в бушующее море или шлепнется на палубу.

И сердце его замирало, и вместе с тем он удивлялся смелости матросов.

Вместе с другими Егор «трекал» счасть. И сосед его, тоже первогодок, пожаловался:

— С души рвет. Моченьки нет. А тебя, Егорка?

— Мутит.

— И, страсти какие... Господи!

— Не разговаривать! — сердито крикнул офицер, заведовавший гrott-мачтой.

— Я тебе поговорю! — прошептал унтер-офицер, грозя кулаком.

Молодые матросы притихли.

Аврал продолжался долго.

Взяли четыре рифа у марселей, убрали нижние паруса, спустили стеньги, закрепили покрепче орудия.

И, когда корвет был готов встретить штурм, просвистали: «Подвахтенных вниз».

Егор спустился в душную палубу, забрался в койку и испуганно озирался.

— Спи, спи, деревня! — насмешливо кинул ему сосед по койке...

— Страшно...

— Это какое еще страшно!.. Это что еще... А вот что завтра бог даст!..

— А что завтра?..

Но сосед отвечал громким храпом.

Скоро заснул и Егор.

Когда с восьми часов он вступил на вахту, буря уже разыгралась, и первогодок был в ужасе.

V

Он все еще цепенел от страха во время размахов корвета, но страх понемногу ослабевал, и нервы его словно бы притупились. Но, главное, он видел, что старые матросы, хоть и были сосредоточены и серьезны, но никакого страха на их лицах не было.

И капитан, и старший офицер, и старший штурман, и молодой вахтенный мичман, тот самый мичман, который учил Егора грамоте,— все они, по-видимому, спокойно стояли на мостице, уцепившись за поручни и взглядывая вперед.

А боцман Засецкин, находившийся на баке, кого-то ругал с такою же беззаботностью, с какою он это делал и в самую тихую погоду.

Все это действовало успокаивающим образом на смятенную душу матроса.

И как раз в эту минуту подошел к нему Захарыч.

— Ну что, брат Егорка? — участливо спросил он.

— Страшно, Захарыч! — виновато отвечал матросик.

— Еще бы не страшно! И всякому страшно, ежели он в первый раз штурму видит... Но только страху настоящего не должно быть, братец ты мой, потому судно наше крепкое... Что ему сделается?.. Знай себе покачивайся... И я тоже, как первогодком был да увидал бурю, так небо мне с овчинку показалось... Гляди... капитан на верху. Он башковатый. Он, не бойсь, и не в такую бурю управлялся... А с этим штурмом управится шутя... Он дока по своему делу!..

И матросик после этих успокоительных слов уж без прежнего страха глядел на высокие волны, грозившие, казалось, залить корвет.

А положение между тем было серьезное, и Захарыч это отлично понимал, но не хотел смущать своего любимца.

VI

Шторм усиливался.

Лицо капитана, по наружности спокойное, становилось все напряженнее и серьезнее по мере того, как волны все чаще и чаще стали перекатываться через палубу.

К полудню шторм достиг высшей степени своего напряжения. Нос корвета начинал зарываться в воде.

Капитан побледнел и тихо отдал приказание старшему офицеру приготовить топоры, чтобы рубить мачты для облегчения судна.

И старший офицер так же тихо и спокойно отдал это приказание унтер-офицерам.

И несколько человек стали у мачт, готовые по команде рубить их.

А Егор именно теперь, во время такой серьезной опасности, и не подозревал, что смерть близка, и надежда не покидала его.

Корвет метался среди волн и плохо слушался руля. Нос тяжело поднимался и чаще зарывался в воду.

— Руби фок-мачту! — раздался в рупор голос капитана.

Раздался стук топоров, и скоро фок-мачта упала за борт.

Нос облегчился, и волны перестали заливать корвет.

Егор, не понимавший, в чем дело, увидел только, что лицо капитана просветлело. И лица старых матросов оживились. Многие крестились.

— И молодца же наш капитан,— сказал Егору, снова подходя к нему, Захарыч.— Вызволил!

— А разве опасно было?

— Еще как!.. Потопнуть могли... Штурма форменная!..

Егор ахнул, понявши, от какой он избавился опасности, и спросил:

— А теперь?..

— Теперь... Теперь слава богу!.. Да и штурма затихает.

Действительно, после полудня штурм стал утихать, и к вечеру корвет шел под парусами, направляясь к Копенгагену.

— А зачем ты, Захарыч, не сказал мне тогда всей правды про бурю? — спрашивал в тот же вечер Егор Захарыча в жилой палубе.

— Зачем?.. А не хотел пугать тебя, Егорка... По крайности ты раньше не мучился бы страхом, если б, сохрани бог... Жалко мне тебя было, Егорка... вот зачем... А теперь ты сам знаешь, какие бури бывают... И после того, как видел настоящую штурму, станешь форменным матросиком, как и другие... Правильно я говорю?..

— Спасибо, Захарыч!.. Добрый ты!.. Век тебя не забуду! — дрогнувшим голосом отвечал молодой матросик.

НА «ЧАЙКЕ»

I

На большом, хорошо прикрепленном к полу диване в капитанской каюте, освещенной висячей, раскачивавшейся лампой, спал, слегка похрапывая, Павел Львович Озерский, командир клипера «Чайка», пожилой, смуглый брюнет с черными, сильно заседевшими баками и усами.

Он спал одетый в короткий, старенький буршлат (пальто) с штаб-офицерскими погонами с двумя звездочками и в высоких сапогах, надетых поверх штанов и перевязанных выше колен ремешками.

Пальто на меху, дождевик, фуражка и зюйдвестка висели на переборке около дивана.

Капитан прилег часа три тому назад здесь, на диване, вместо того чтобы по-настоящему соснуть в спальной, и спал тем беспокойным сном, каким спят моряки во время бурь и непогод, готовый в случае надобности немедленно выскочить наверх.

Должно быть, капитану снился хороший сон, переносивший его в иную обстановку, к близким людям в далекой России, потому что его волосатое, обыкновенно суровое лицо улыбалось во сне и толстые губы по временам шептали чьи-то уменьшительные имена с необыкновенною нежностью.

Очевидно, он был во сне среди своей семьи, оставленной им два года тому назад в Кронштадте, в уютной квартире, где полы не качаются, где не слышен скрип переборок, где ничто не принайтовлено...

Он был теперь далеко от всего этого, хотя и упирался ногами в кромку дивана, чтобы не упасть на пол.

Качка была сильная. Корму так и дергало. Она то стремительно поднималась вверх, вздрагивая всеми своими членами, точно в судорогах, то низвергалась, и тогда пенившиеся верхушки волн сердито облизывали наглухо задраенные толстые иллюминаторы (окна) капитанской каюты и словно бы говорили, что всего несколько дюймов отделяют пловцов от верной смерти в бушующем море.

Сильный удар волны в бок кормового подзора приподнял корму боком. Она на весу вздрогнула порывистее. Каютные переборки заскрипели сильнее. В соседней буфетной что-то грохнуло.

И капитан мгновенно проснулся.

Проснулся и, вскочив с дивана, присел, упираясь ногами в ножку стола, и первое мгновение, казалось, был еще под чарами сновидения.

Но в следующую же секунду эти чары исчезли.

Небольшие и опухшие, с красными веками глаза уже тревожно сверкали резким металлическим блеском, словно у вспугнутого волка, почувствовавшего опасность.

И капитан, весь насторожившийся, прислушивался к доносившемуся сквозь закрытый люк глухому гулу ветра и свисту его в снастях.

Выражение напряженной тревоги исчезло с его бледного, истомленного лица с морщинами на высоком лбу.

Корма по-прежнему поднималась и опускалась с стремительной правильностью. Переборки скрипели с однобразной, раздражающей певучестью. В доносившемся сверху гуле не было ничего угрожающего.

«На руле зевнули, подлецы!» — решил капитан и достал из кармана теплого вязаного жилета часы.

— Третий час! — проговорил он и, казалось, еще более успокоился, так как с полуночи до четырех на вахте стоял лейтенант Адрианов, исправный, хороший офицер, на которого капитан полагался.

— Рябка! — крикнул во все горло капитан.

— Есть! — донесся из-за дверей громкий басок.

И вслед за тем в каюту вошел, балансируя на уходившем из-под ног полу, небольшого роста, коренастый вестовой с заспанным, пучеглазым и довольно продувным лицом, человек лет за тридцать, и остановился у стола, придерживаясь за него рукой, чтобы не упасть.

— Кипяток есть?

— В готовности, вашескобродие!

— Медведя!

— Есть, вашескобродие!

И вестовой хотел было уйти, выписывая ногами мыслете, чтобы готовить «медведя», до которого и сам был охотник, как капитан сказал:

— Двери открай. Жарко. Верно, жарил, пока я спал?

— И вовсе пронзительная погода, вашескобродие!

Подложил маленько! — докладывал Рябка, указывая пальцем на маленькую железную, раскаленную докрасна печку, стоявшую недалеко от дверей.

— Скотина! Когда ты поумнеешь?

— Не могу знать, вашескобродие! — с напускною простоватостью отвечал Рябка.

— То-то... нажарил, дурак!.. А что у тебя там грохнуло, а? Опять что-нибудь разбито?

— А графин, вашескобродие, упал из гнезда! — проговорил виновато, моргая глазами, вестовой.

— Из гнезда?.. Я вот тебе гнездо на роже сделаю, если еще из гнезда что-нибудь упадет... Понял?

— Понял, вашескобродие!

— Ступай и живо медведя... Да поумней, смотри!

— Есть! — ответил Рябкин.

И, благополучно выбравшись из каюты, шепнул себе под нос:

— Ты-то у меня очень умен, скажи пожалуйста! Только и есть ума, что ругаться!

Произнес он эти слова без злобы, а больше из зуbosкальства. Рябка вот уже четвертый год, как «околачивался», по его выражению, в вестовых и доволен был своим положением, находя, что вестовым быть куда лучше, чем строевым, «форменным», матросом. Трудное, полное опасности матросское дело не по душе было трусоватому Рябке. В вестовых куда покойнее. Ни трудной работы, ни лупцовки от боцманов, ни порки. Знай себе одного капитана. А к нему Рябка приспособился за четыре года и находил, что с таким капитаном еще жить можно, — такие ли еще бывают!

Этот хоть и ругатель, но дрался редко и не зря, по мнению Рябки, и за все четыре года только два раза приказал отодрать его линьками. Ругался он, правда, за всякую малость, а то и так, для своего удовольствия, но зато был, по оценке вестового, больше с виду сердитый и

«прост», так как вовсе не замечал, что Рябка таскает и чай, и сахар, и папиросы, и вино, и при съезде на берег даже одевает капитанские сорочки.

«Небось у него всякого припасу много!» — утешал себя вестовой, когда по временам слишком бесцеремонно пользовался капитанским добром и предпочтительно вином.

Он, впрочем, не находил этого предосудительным, хотя и считал капитана за доверчивость человеком небольшого ума. Разрешая себе эксплуатировать капитанскую простоту в пределах пользования разными припасами, Рябка никогда и не подумал стащить хотя бы мелкую монетку из капитанского кошелька, считая это форменным воровством.

Минут через пять Рябка уже нес, выделявая довольно хитрые акробатические движения, чтобы не упасть, стакан крепкого черного кофе, на треть разбавленного ромом. Свободная рука служила балансом. Донести благополучно стакан с жидкостью во время отчаянной качки, когда палуба уходила из-под ног, было нелегко.

— Не расплесни, каналья! — строго окрикнул капитан, имея в виду специальную цель: придать большую цепкость ногам вестового.

— Никак нет, вашескобродие! — отвечал вестовой, прижимая к груди обернутый в салфетку стакан и подаваясь всем корпусом вперед, чтобы сохранить равновесие.

Выждав момент, когда корма, опустившись, была на мгновение неподвижна, Рябка быстро сделал несколько шагов «в гору», сунул капитану в руку стакан и хотел было отойти, но в это время корма уже взлетела вверх, и Рябка растянулся, «клонув носом» палубу.

Капитан пustил по адресу своего вестового одно из тех приветствий, которыми он обыкновенно дарил матросов и в минуты гнева и в минуты доброго настроения и за художественность и разнообразие выдумки по этой части заслужил у матросов даже кличку «музыканта». Вслед за тем ловким движением руки, державшей и не в такую качку «медведя», он поднес стакан к усам и, отхлебнув треть, довольно крякнул и, усмехаясь, проговорил не без нотки презрения в своем сипловатом голосе:

— А еще матрос!..

И, выпив всего «медведя», капитан протянул вестовому стакан и проговорил:

— Убери, и пальто!

— Есть, вашескобродие!

— Да смотри не растянишь опять, как пьяная баба...

А еще матрос! — насмешливо повторил капитан.

— Всякий может баланец потерять на такой качке, вашескобродие! — не без досады промолвил Рябка, задетый за живое насмешкой капитана.

— Всякий?!. Сучий ты подкидыш, вот кто!..

— Меня никто не подкидывал, вашескобродие! — осторожно возразил Рябка и, выделявая ногами мыслете, благополучно дошел до дверей и, поставив в буфетной стакан, вернулся, чтобы подать своему капитану пальто.

Это нелегкое дело было исполнено довольно удачно, и Рябка не без некоторого удовлетворения проговорил, подавая шарф:

— Зябко, вашескобродие.

Умело ступая своими цепкими морскими ногами, капитан подошел к барометру и, взглянув на него, вышел из каюты.

А Рябка направился в буфетную выпить стакан «медведя». Он одобрял этот напиток не менее, чем капитан, и находил его полезительным.

Выпивши стакан и благоразумно поборовши соблазн выпить другой, он улегся в своей крошечной каютке напротив буфетной и моментально захрапел.

II

Наверху действительно было зябко.

Резкий ледяной ветер, свидетельствующий о близости Ледовитого океана, то гудел, то стонал в рангоуте и снастях, надувая марселя в четыре рифа и зарифленный фок, под которыми «Чайка» неслась, раскачиваясь и вздрагивая, узлов по двенадцати, убегая в бакштаг от попутной волны.

Небо черно от нависших туч. Вокруг мрак и непрерывный гул бушующего моря.

Изредка лишь из-за мчавшихся клочковатых облаков вдруг выглядывала полная луна, освещая своим таинственным серебристым светом холмистое море, несущийся клипер с его мачтами, парусами и палубой и рассыпающиеся у носа алмазные брызги верхушек волн,

вкатывающихся на бак, чтобы вылиться в море через шпигаты. И снова мрак ледяной осенней ночи в Охотском море, куда клипер попал из Сан-Франциско, посланный начальником эскадры для крейсерства.

Когда капитан поднялся на мостик, его сразу охватило леденящим холодом после тепла каюты.

Расставив широко ноги и держась за поручни, капитан стал всматриваться.

Луна в эту минуту выплыла из-за облака.

Капитан воспользовался ее появлением на несколько секунд и взглянул на паруса, на небо, на море.

Взглянул — и на его лице не отразилось беспокойства. Ветер не крепчал.

— Как ход, Александр Васильевич?

Лейтенант Адрианов, молодой человек с пригожим, совсем закрасневшим от холода лицом, ответил:

— Десять с половиной узлов, Павел Львович!

— А у вас на руле зевают!.. Эй, Кошкин! — крикнул капитан, перегнувшись через поручни мостика.

— Есть! — отвечал чей-то голос внизу.

— Я тебе покажу, как на руле зевать! А еще старший рулевой...

И, по обыкновению, капитан уснастил свой окрик.

— А к девяти часам и берег должен открыться. Не так ли, Евграф Иваныч? — обратился капитан к маленькой фигурке, одетой в затащенное пальто на беличьем меху, в валенках, с нахлобученной на лоб фуражкой и с шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи и захватывающим нижнюю часть морщинистого, сухонького лица.

— Должен бы открыться, Павел Львович!.. Но только сами знаете... Наблюдений сегодня не было... Точно не определились. А течение... черт его знает... в Охотском море! — проговорил несколько ворчливым тоном Евграф Иванович, старший штурман на «Чайке».

— Но, во всяком случае, не может быть большой ошибки, Евграф Иваныч, а?.. И берег еще далеко.

— А лучше бы, мне кажется, привести к ветру, да и покачиваться в бейдевинде, вместо того чтобы дуть по десяти с половиной узлов. Береженого и бог бережет, Павел Львович.

— Ну и трусу праздновать нечего, Евграф Иваныч. Не может же нас подать течением на семьдесят миль за день.

— Я, Павел Львович, трусу не праздную. Не привык-с, как вам известно.

— Да вы не обижайтесь, Евграф Иваныч. Слава бому, знаем друг друга. Немало с вами плавали. А только жаль даром время терять.

— Если бы еще ночь была светлая, что-нибудь видно было... А то...

Облака закрыли недолгую гостью — луну. Внезапно наступившая тьма словно бы докончила слова Евграфа Ивановича.

И под впечатлением этой тьмы, окутавшей со всех сторон быстро несущуюся вперед «Чайку», тревожное настроение, какое бывает от ожидания чего-то неизвестного, жуткого и страшного, невольно охватило и капитана.

Он, казалось, теперь и сам сомневался, как и Евграф Иванович, и в его голове пролетела мысль о возможности налететь на берег. И от этой мысли у него замерло сердце.

— Да... ночь, чтоб ей!.. — сердито проговорил капитан.

— То-то и есть... преподлейшая ночь! — повторил и старый штурман.

И, понимая отлично душевное состояние капитана, прибавил:

— А до света еще далеко. В восемь часов, не раньше, станет светло!

— Да не каркайте, Евграф Иваныч.

— Наше штурманское дело уж такое, Павел Львович, — каркать! — засмеялся Евграф Иваныч.

— Ну ладно... Будь по-вашему. Еще час пробежим, а потом приведем к ветру. Будем ночь на месте валандаться из-за вашего карканья, Евграф Иваныч!.. Ну, а часок я сосну... А вы, Евграф Иваныч, зайдите погреться ко мне. У Рябки медведь должен быть! Стакашку глотните. Ишь ведь холод!

Капитан пустил приветствие холоду и отдал вахтенному лейтенанту приказание разбудить себя через час.

— В бейдевинд приведем через час.

— Есть!

— Это Евграф Иваныч накаркал! — сердито проговорил капитан. — Пошли, — прибавил он, спускаясь с мостика.

Они спустились вниз. Перед входом в каюту капитан заглянул в каютку вестового и крикнул:

— Рябка!

Тот вскочил на ноги и протирал сонные еще, бесмысленные глаза.

— Очнулся?

— Точно так, вашескобродие!

— По медведю нам. Остался?

— Никак нет. Самая ежели малость нестоящая, вашескобродие!

— Ой, Рябка! Зубы у тебя, видно, все целы, скотина! Зачем мало сварил кофе? Чтобы сию минуту был медведь!

— В один секунд! — проговорил вестовой и нырнул в буфетную.

— Присаживайтесь-ка, Евграф Иваныч. Он живо приготовит. Смыщеная бестия!

Но Евграф Иванович прежде посмотрел на барометр.

— Поднимается! — баском протянул он и присел на стул около стола.

— И норд-вест, кажется, полегче стал. Штормягой не пахнет!

— И без того он вроде шторма.

— А главное — ледяной ветер...

Капитан повесил пальто и неожиданно воскликнул:

— И на кой дьявол адмирал турнул нас сюда. Стояли бы себе в Сан-Франциско... Славно там... не правда ли, Евграф Иваныч?

— Собственно, в каком смысле, Павел Львович?

— Во всяком смысле хорошо, Евграф Иваныч. И погода, и насчет провизии, и... ну, одним словом, настоящий порт!.. А то осматривай собачьи дыры в Охотском море.

— Видно, что так, Павел Львович. Вот, бог даст, завтра и Гижигу увидим. Трущобистый городок-с. Я был там двадцать лет тому назад, когда ходил на транспорте «Алеут».

— А из Гижиги в Камчатку... Бобров покупать! — засмеялся капитан.

— Ну, Петропавловск все же лучше Гижиги, Павел Львович.

— Такая же дыра... Рябка! Дьявол! — вдруг гаркнул капитан.

И Рябка уже показался в дверях, делая всевозможные акробатические усилия, чтобы сохранить равновесие.

— Не пролей, Рябка! Ой, смотри не пролей!

— Не сумлевайтесь, вашескобродие! — храбро отвечал вестовой, хотя душа его и была полна сомнений.

Вероятно, и Евграф Иванович, большой любитель «медведя», который, по его словам, был очень полезен для моряков, как предохранительное средство от всяких болезней, тоже сомневался относительно целости напитка, понимая затруднительное положение вестового, у которого, при изрядной качке, по стакану, обмотанному салфеткой, в каждой руке и ноги не вполне морские.

И старый штурман быстро поднялся со стула. Привыкший за тридцать пять лет службы, из которых по крайней мере пятнадцать провел в море, ходить во всякую качку, он направился к вестовому, благополучно принял от него два стакана, вызвав в Рябке благодарное чувство, благополучно донес их к столу, и, передавая один из них капитану, промолвил:

— Так-то оно вернее будет!

И, с видимым наслаждением выцедив стакан, крякнул и с серьезным видом человека, понимающего то, что хвалит, заметил:

— Отличный медведь, Павел Львович! И в меру разбавлен.

— Да. Эта каналья отлично его готовит! — одобрил и капитан, выпив свой стакан.

«Каналья» довольно улыбался от этого комплимента, стоя у дверей и находя, впрочем, что готовить хорошо «медведя» не особенно трудно — стоит только наполнить ромом никак не менее как полстакана.

— Повторим, Евграф Иваныч?

— Не повредит-с, Павел Львович! — осторожно выразил свое согласие штурман.

Они выпили еще по стакану.

Несколько отогревшийся Евграф Иванович поблагодарил за угощение и, пожелав капитану хорошо соснуть часок, ушел наверх, взглянув, разумеется, по дороге на барометр.

Поднявшись на мостик, он снова стал у компаса, тщетно стараясь что-нибудь увидеть в свой большой бинокль в этом мраке бурной ночи.

— Хоть бы луна показалась! — воркнул он про себя.

Но луна не показывалась, а «Чайка» неслась среди окутывающей ее со всех сторон тьмы.

Капитан, бросившись на диван, как был в теплом пальто, тотчас же захрапел.

Но ненадолго...

Прошло не более четверти часа, как вдруг страшный удар подбросил его, заставив проснуться.

Он мгновенно вскочил с дивана и, внезапно побледневший, бросился вон из каюты.

«Чайка» не двигалась с места. Она со всего хода врезалась на мель.

— Свистать всех наверх! — раздался нервный, тревожный голос вахтенного офицера.

Но и без этого окрика все офицеры и матросы «Чайки» торопливо выбегали на палубу, полные ужаса и отчаяния.

IV

Капитан не потерялся в эти критические минуты. Напротив!

Сознание опасности, которой подвергались вверенные ему люди и любимый им клипер, словно бы удесятерило его энергию, наэлектризовало мужество и изощрило находчивость.

Он взбежал на мостик, готовый или спасти клипер, или погибнуть, испробовав все средства, какие только были возможны.

И, в несколько мгновений оценивший положение «Чайки», беспомощно стоявшей на мели в бурную ночь, он уже наметил себе план действий.

С этой минуты ужас, охвативший его в момент пробуждения, уступил место жажде борьбы и надежде выйти из нее победителем.

Схвативши рупор из рук старшего офицера, выскочившего из своей каюты в одном сюртуке, чтобы расположиться авралом, капитан приставил рупор к губам и скомандовал:

— Паруса крепить, и молодцами, ребята! Марсовые к вантам! По марсам! Бизань и фок на гитовы! Кливера долой!

Его громовой голос звучал властно, покойно и уверенно.

И эта властная уверенность, это крепкое словечко, которое он пустил рулевым, не дали панике охватить людские души, помутив рассудок. И матросы, закаленные строгой морской дисциплиной, без малейшего колебания исполнили команду капитана. Марсовые торопливо подымались в темноте по вантам, чтобы, стоя у реев, убрать марселя, а другие матросы внизу тянули снасти, подбирающие нижние паруса и убирающие кливера на носу «Чайки».

В ту же минуту капитан приказал позванному на мостик старшему механику немедленно разводить пары и прибавил с нервною дрожью в голосе:

— Но как можно скорей... Каждая минута...

Он не досказал и, приложив рупор, крикнул наверх во всю мочь своих крепких легких:

— По реям!

Старший механик стремглав бросился в машину и приказал зажигать топки. Машина быстро осветилась огнями ламп и фонарей. Вода уже была в котлах. Топки заряжены углем. Кочегары, взъерошенные и бледные, торопливо зажигали уголь растопками и для скорости смачивали их керосином.

А капитан в эту минуту, наклонившись к уху старшего офицера, чтобы ветер не относил тех приказаний, которые он ему торопился отдавать, говорил вздрагивавшей от холода приземистой, маленькой фигурке старшего офицера:

— Осмотрите трюмы. Нет ли где течи. Если есть, все помпы и пластиры на пробоины. Чтобы гребные суда готовы были к спуску. Унтер-офицеры с топорами у мачт. Приготовиться бросать орудия и другие тяжести за борт. Осветить палубы и наверх фонарей. Распорядитесь!

Капитан говорил быстро, отрывисто и нервно.

И, когда отдал приказания, прибавил конфиденциально:

— Плотно врезались... Каков-то грунт!

— Плотно. А не прикажете палить о бедствии?

— Палите, но кто услышит в этой дыре!

Старший офицер ушел исполнять все капитанские распоряжения. Капитан искал глазами на мостике старшего штурмана.

Но его не было. С фонарем в руках он уже делал обмер глубины кругом всего клипера.

Паруса закреплены.

Время от времени клипер, приподнимаемый волнением, бьется о дно, и эти удары производят подавляющее впечатление.

Кажется, что вот-вот клипер треснет пополам.

Старший штурман поднялся на мостик и докладывает капитану, что у передней части клипера глубина двенадцать футов, а у кормы четырнадцать.

— Ну, слава богу... Не очень врезались. А каков грунт?

— Песок.

В сердце капитана надежда растет. И она становится еще больше, когда мичман, посланный старшим офицером, докладывает, что течи нигде нет.

В добавок и ветер начинает заметно стихать.

Тем не менее он еще был достаточно крепок, и волны, большие и яростные, со всех сторон нападали на «Чайку» и грозили ее залить. Они уже свободно перекатывались через бак, попадали и с кормы, и матросы крепко держались за протянутые по обеим сторонам судна леера (веревки), чтоб не быть смытыми волнами.

Грянул выстрел, возвещающий о бедствии... По прошествии минуты — другой, третий...

Матросы толпились у грат-мачты, посредине клипера. Слабый свет развешанных фонарей освещал их напряженные серьезные лица. При каждом ударе клипера о дно среди матросов проносился вздох.

И вдруг вкатилась волна, обдала толпу и унесла двух матросов в море.

Капитан это увидел и крикнул:

— Держись, ребята, крепче. Не зевай!

Матросы крастились. Гибель двух товарищей произвела на всех удручающее впечатление. Еще за минуту не терявшие надежды на спасение, многие теперь были полны отчаяния.

И кто-то сказал:

— Скоро всем помирать, братцы!

Проходивший мимо старший офицер, услышав эти слова, крикнул:

— Вот и глупости говоришь! Видно, что первогодок! К утру сойдем с мели. До утра недолго ждать.

Он проговорил эти слова уверенным тоном, хотя сам далеко не был уверен в том, что говорил. Но он понимал, что паника заразительна, и счел своим долгом подбодрить матросов.

И действительно подбодрил на минуту. В этот момент из-за клочковатой тучи выглянула луна. Красивая и холодная, она осветила бушующее море, покрытое седыми буграми, и сбившуюся толпу людей, и кучку офицеров, и капитана, и штурмана на мостике.

При лунном свете море казалось еще ужаснее и положение беспомощнее.

Капитан и старший штурман направили бинокли вперед, стараясь увидеть берег. Но мгла заволакивала горизонт.

— Видите, Евграф Иваныч, что-нибудь? — спросил капитан.

— Ничего-с!

— Сигнальщик! Видишь берег?

— Никак нет, вашескородие... Одна мгла.

Капитан все еще медлил принимать решительные меры, надеясь сняться с мели, как только будут готовы пары, приказавши дать полный задний ход. Но ранес часа пары не могли быть подняты, а час — целая вечность в таком положении.

А волны продолжали вкатываться, и палуба была покрыта водою. Удары учащались. Клипер шлепался о дно, казалось, с большею силой.

Старший офицер поднялся на мостик и доложил капитану, что все исполнено.

— Да вы пальто бы надели, Николай Николаич! Простудитесь! Ишь ведь, собака погода!

— Надо надеть.

И он послал сигнальщика за пальто.

— Придется баковое орудие за борт! — сердито сказал капитан.

— Да... Иначе не сойдем! — промолвил старший офицер.

— И выбросить все, что можно... чтобы облегчить нос.

— Прикажете?

— Да. Выбрасывайте!..

И капитан крикнул в рупор:

— Баковое орудие за борт...

Боцман Никитич повторил команду и прокричал:

— Вали, ребята, орудия кидать!

Шлепая по воде, матросы побежали на бак, где стояла большая пушка, через которую ходили волны.

— Не подступиться к ей! — сказал кто-то.

— Так волной и смоет...

Тогда один из старых матросов крикнул:

— Не бойтесь, подступимся.

И, обратившись к старшему офицеру, сказал:

— Дозвольте, ваше благородие, обвязаться концом.

Я на орудию аркан наброшу.

Мысль была хорошая. Матроса обвязали концом. Он накинул петлю и, отброшенный волной, былдержан веревкой, которую держали матросы.

V

Работа была нелегкая. Обдаваемые ледяными волнами и обвязанные концами, чтобы не быть сброшенными в море, матросы возились у орудия. Наконец толстые веревки, прикреплявшие пушку к палубе, были отрублены и пушка свалена за борт.

— Прощай, матушка! — крикнул ей вслед тот самый матрос, который первый накидывал на нее петлю.

В то же время другая часть матросов выносила снизу разные запасные вещи рангоута, такелажа, мешки с провизией, бочки с солониной, и все это бросалось за борт.

Мокрые до нитки, иззябшие матросы уходили с бака и жались около гrott-мачты и у машинного люка. Но и там их обдавали брызги волн. А пары уже начинали гудеть, и в сердцах моряков пробудилась надежда.

Весь мокрый, старший офицер поднялся на мостик и, доложив капитану, что работы окончены, не без горделивого чувства прибавил:

— Молодцами работали матросики, Павел Львович!

— Не трусят? Паники нет?

— Нет... Сперва было немного. И то молодые матросы. Да и старикам в пору струсить.

Николай Николаевич недаром пользовался уважением и любовью матросов, так как сам любил их и относился к ним с редкой по тогдашним временам гуманностью. Он очень редко прибегал к телесным наказаниям и редко дрался, и то только в минуту служебного гнева, «с пыла», как говорили матросы, и без жестокости.

И матросы, отлично понимавшие начальство, прощали своему старшему офицеру эти вспышки. Они уважали его как хорошего моряка и справедливого человека, а главное чувствовали, что Николай Николаевич не чужой им и, понимая трудную их службу, бережет их, не изнуряя непосильными работами, не придираясь зря и не гнушаясь иногда поговорить с матросом, сказать ему ласковое слово, обмолвиться шуткой...

И зато как же они и старались для своего старшего офицера, которого окрестили прозвищем «Ласкового» за то только, что он обращался с ними по-человечески.

— Да... положение из бамбуковых! — согласился капитан и крикнул в рупор:

— Молодцы, ребята!..

— Рады стараться! — крикнула сотня голосов.

— Скоро на вольной воде будем! — продолжал капитан.— Тогда обсушитесь и обогреетесь. И по чарке ведру раздать за меня!

— Покорно благодарим! — раздались голоса.

— Это Ласковый за нас постарался! — заметил какой-то матрос.

— Беспременно он! — подтвердили со всех сторон.

Матросы капитана не особенно любили и все хорошее, что делалось для них на клипере, всегда приписывали старшему офицеру.

Прошли еще долгих четверть часа, и в это время налетевшая волна смыла капитанский катер, висевший поверх борта, и проломила часть борта.

VI

— Как время, Евграф Иваныч? — нетерпеливо спросил капитан.— За ветром не услышишь, как бьют склянки.

Старший штурман, словно бы закаменевший в неподвижной позе у компаса, расстегнул пальто, достал из

кармана вязаного шерстяного жилета свой английский полуухронометр и поднес его к освещенному компасу.

— Без пяти четыре! — проговорил он.

— А когда светает?

— В шесть.

— Верно, мы засели в Гижигинской губе?

— Не иначе... Там мелей нет!

И старый штурман показал рукой за корму и надел перчатку.

— А ветер стихает, Евграф Иваныч.

— Стихает. К утру совсем стихнет, я думаю.

— Волнение только подлое.

— Тут на отмели подлейшее, а там в море ничего.

— Хотел бы я быть там! — вырвался словно бы страстный вопль из груди капитана.

— Бог даст, будем, Павел Львович!

— Вы думаете?

— А то как же! — вымолвил старший штурман, понимавший, как жестоко было бы ответить иначе человеку в положении капитана.

— Скорей бы пары...

В эту самую минуту раздался звонок в машинном телеграфе на мостице.

Капитан приложил ухо к переговорной трубе и услыхал нетерпеливо ожидаемые два слова:

— Пары готовы!

— Полный ход назад! — крикнул он в переговорную трубку. — На руле не зевать! Все с бака долой! — командовал капитан.

И сердце его сильно забилось в ожидании: тронется клипер или нет.

Машина застучала. Из трубы вылетал дым и летели искры, быстро уносимые ветром.

Многие матросы крестились. Все замерли в ожидании. И снова показавшаяся луна бесстрастно смотрела на эту кучу людей, для которой решался вопрос жизни или смерти.

Спастись при таком волнении на шлюпках нечего было и думать. Да и близко ли был берег, этого никто не знал. Кругом клипера было одно бурное море со своим грозным воем.

Прошла минута, другая, третья.

Машина часто и громко отбивала такты. Винт буравил воду. Но «Чайка», словно бы прикованная, но желавшая освободиться от цепей, только вздрагивала, билась о грунт и не двигалась с места.

— Самый полный! — злобно крикнул капитан в машину...

— Есть! Самый полный! — отвечали из машины.

Клипер не двигался...

— Фок-мачту рубить! — бешеным голосом крикнул капитан.

Старший офицер бросился на бак...

Уже занесли топоры...

— Отставить!.. Не надо! — вдруг раздался крик, полный радости и счастья.

И такой же радостный крик вырвался у матросов и пронесся на палубе.

«Чайка» медленно и как бы с трудом отходила назад и через несколько минут пошла быстрее, очутившись на вольной воде.

Минут через десять хода капитан крикнул:

— Стоп, машина!

И, когда клипер остановился, скомандовал:

— Из бухты вон! Отдай якорь!

Раздался звук якорной цепи, якорь грохнул в воду, и «Чайка» остановилась, повернувшись носом против ветра.

— До утра простоим! — весело говорил капитан старшему офицеру. — А теперь велите команде дать по чарке водки, и пусть люди просушатся и обогреются. Да попросите вахтенного офицера раньше восьми часов команду не будить... А я пойду спать! А вы, Евграф Иваныч, на минуту зайдите ко мне! — обратился капитан к штурману.

— Слушаю-с.

— А течи нет, Николай Николаевич?

— Нет...

— И отлично... Я спать пошел,

VII

— Эй, Рябка! Медведя! — крикнул капитан, входя в каюту. Но Рябка не откликнулся.

— Дьявол... Рябка!

Он заглянул в каюту вестового. Тот крепко спал. Капитан разбудил вестового, тот вскочил и протирал глаза.

- Спал?
- Спал, вашескобродие!
- И ничего не слыхал?
- Никак нет, вашескобродие!

Капитан засмеялся и, обращаясь к штурману, заметил:

- Верно, медведя хватил много!
- Надо думать!
- Хватил, Рябка?
- Самую малость, вашескобродие!
- Ну, а теперь изготовь нам, да побольше! И печку затопи! Присаживайтесь-ка, Евграф Иваныч.

Но старый штурман прежде посмотрел на барометр и тогда только присел и весело заметил:

- А барометр поднимается, Павел Львович!

ЗА ЩУПЛЕНЬКОГО

I

Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро,— так ярко светилась фосфорическим блеском вода.

На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по пяти-шести, легко и свободно поднимаясь с волны на волну.

Ночь была воистину волшебная.

Спокойный в этих благодатных местах вечного пас-сата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего брильянтами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой.

Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета.

Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт: нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна, и изредка вскрикивал:

— На баке! Вперед смотреть!

— Есть! Смотрим! — отвечали два голоса с бака.

И снова наступала тишина. И снова вахтенный офи-

цер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих.

Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры вполголоса: вспоминают про «свои места», про Кронштадт, рассказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и батюшкой.

А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягким дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий. Его так и звали матросы — Злющий. Подкрадется и, чуть увидит задремавшего, изобьет. И с каким-то жестоким удовольствием изобьет, точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздрогнет, готовый очнуться при первом же окрике.

И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостики, где шагает Злющий, и не без зависти прислушиваясь к хрому подвахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком, на своих тоненьких тюфячках.

— И хо-ро-шо, братцы! Ах, как хорошо! — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. — Такой ночи в нашей земле не увидишь... И теплышь... И звезд что понасяно... И океан ласковый... Гляди — не наглядишься! — восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью.

— Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики, войдем в Индийский океан... Там небось поймешь флотскую службу! — ответил сиплый басок.

— А страшно в Индийском?

— Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе, по твоему виду, прямо на скрипке играть... А там то и дело «пошел все наверх!» — бодман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса

ставить. Только поворачивайся да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя «Щупленьким» прозвали. Щупленький и есть!

Тот, которого на корвете все звали «Щупленьким», никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище.

Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лязгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог.

Фор-марсовой Леонтий Егоркин, здоровенный, коренастый человек за сорок, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лязгину по его виду на скрипке играть.

И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял большое удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленьского. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель и «человек с тяжелой рукой», боцман Федосьев, и если и «смазывал» Щупленьского, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.

— Того и гляди дух из его вон, ежели по-настоящему съездить! — словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офицерам... — И что с его, с Щупленьского, взять... Старания много, а какой он матрос! Он настоящего боя не выдержит! — не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей пятнадцатилетней службы выдержал столько боя, что и не обсказать.

— И опять же пужлив ты, Щупленький! — продолжал Егоркин. — Линьков боишься.

— То-то боюсь! — виновато ответил матросик.

И восторженность в нем исчезла.

Пробило четыре склянки, это, значит, было два часа пополуночи.

— Очередные! На смену! — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака.

— Есть! — одновременно ответили два голоса.

И из кучки матросов, лягничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький.

— Хорошенько вперед смотреть! — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий, начальственный тон.

— Ладно! Знаем! Не форси, Федосеич! — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу.

— Ты-то, старый черт, знаешь, а вон этот... Эй ты, Щупленький!

— Есть! — испуганно отозвался матросик.

— В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите.

— Есть! Буду глядеть!

— И не засни, дурья голова!.. Небось знаешь, кто на вахте?

— Злющий, Андрей Федосеич!

— Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?

— Не могу знать! — вздрагивая всем телом, проговорил Щупленький.

— Шкелет один... вот что.

— Да не нуди ты человека, Федосеич! — заметил Егоркин. — И то часовые смены ждут.

— Не нуди вас, дьяволов! Так помни, Щупленький...

Они пошли на нос, и, когда часовые вылезли из углублений у бугшприта, новые часовые сели на их места.

— Эка язык у боцмана! — с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полоску океана.

Смотрел и Щупленький и замер от восторга. Так красива была эта серебристая морская даль.

Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и

тайным, тихо рокочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природою, весь отдался ее созерцанию. Проникновенный чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную, чуткую душу.

Несколько минут длилось молчание.

Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о Злющем, встрепенулся и взглянул на товарища: не дремлет ли и он?

Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете, лица молодого матросика изумило Егоркина.

«Совсем чудной!» — подумал он и сказал:

— А хорошо здесь сидеть, братец ты мой! Точно в люльке качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну... А ты остерегайся, Щупленький!.. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадется... Неделю тому назад Артемьева накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще наутро приказал всыпать двадцать пять линьков... Помнишь?..

Но, казалось, Щупленький в эту минуту был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о Злющем, и о линьках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью и полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него.

И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво протянул, как бы говоря сам с собой:

— И нет конца миру... И сколько одних океанов... Пойми все это!

— Много ли, мало ли, тебе-то что! Не матросского понятия это дело.

— Не матросского, а глядишь кругом и думается.

— А ты не думай. Брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.

— И всякий человек может думать... Душа просит... Ты возьми, примерно, звезды,— продолжал возбужденным тоном Щупленький, поднимая глаза к небу...— Отсюда они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие... Мичман даве обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказывают себя... И сколько их, и не счесть! А вот, поди же ты, висят на небе... друг около дружки цепляются... Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на ем? Поди-ка дознайся! А мы вот плывем здесь и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением...

И матросик повел рукой на океан.

Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов.

Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого фор-марсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний, от которых физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося «вдребезги», как только что урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощадно.

Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как «бог даст». Даст бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить, а даст бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительно жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком.

Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, «вовсю», чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал «злующих» офицеров, пьяниствуя в каком-нибудь кабачке с товарищами.

Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться.

И с решительностью человека, не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил:

— Бог все произвел как следует: и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой,

определил место — и шабаш! И людей обозначил: коим, примерно, в господах быть, коим в простом звании. Вот оно как! И ты зря не думай. Знай себе посматривай вперед!

Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора.

Так прошло несколько времени в молчании.

— И чудной ты! — проговорил вдруг Егоркин.

— Чем чудной?

— А всем! И прост сердцем, и понятие хочешь иметь обо всем. И на гармони играешь так, что душу в тоску вгоняешь... Так за сердце и берешь... Ты раньше чем занимался? Землей?

— Я сирота. В пастухах все жил.

— А где же ты грамоте научился?

— Самоучкой.

— Ишь ведь!.. И всегда такой слабосильный был?

— Всегда.

— Так как же тебя забрали в матросы?

— И вовсе не хотели брать.

— То-то я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?

— Барин наш очень просил полковника, что не-крутов принимал. «Возьмите, говорит, он мне не нужный!»

— Ишь ведь, собаки! — негодующе сказал Егоркин.

— Нет, Левонтий, барин был добер. Мужиков не утеснял! — заступился Щупленький.

— Хорош «добер». Такого слабосильного, и на службу... Прямо, значит, доконать человека!.. А у тебя всякий человек добер... Всякому оправдание подберешь... Прост ты очень... Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь... Вовсе ты чудной человек! Небось, по-твоему, и Злющий наш добер?

— Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия, вот как я полагаю... И вразуми его бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы... Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек...

— Ну, я такого дьявола не пожалею... Сделай ваше одолжение!.. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько... Попадись-ка он когда мне один в лесу...

— И ничего ты ему не сделал бы! — убежденно произнес Щупленький.

— Морду его каркодилю свернул бы на сторону, это не будь я Леонтий Егоркин! — с увлечением восхликал матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы. — Попробовал бы сам, как скусно, тогда и остерегался бы... вошел бы в понятие... Мы, братец ты мой, боцманов учивали, коги безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие... Отлупцуем на берегу во всей форме, смотришь, и человеком стал. Не мордойничает зря... Опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому, дай ему волю над людьми, живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый... И знаешь, что я тебе скажу? — неожиданно задал вопрос Егоркин.

— А что?

— Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское... И главная причина — ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.

— Не попасть.

— То-то можно.

— А как? У всех господ вестовые есть!

— Мичман Веригин хочет увольнить своего лодыря Прошку.

— За что?

— Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману в вестовые. Он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то что другие.

— Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад.

— А я доложу мичману... Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый: поймет, что такого, как ты, вестового ему не найти... Сказать, что ли?

— Скажи.

— Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет в вестовых.

— То-то лучше! — подтвердил и Щупленький.

В эту минуту раздался голос вахтенного начальника:

— Вперед смотреть!

— Есть! Смотрим! — отвечали оба часовые почти одновременно...

И примолкли.

А чары сна незаметно подкрадывались к обоим.

Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку.

Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали...

Убаюканный сказкой, матросик задремал.

Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змия, который загородил Бове-королевичу дорогу ко дворцу королевны Роксаны, как вдруг увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался.

— Кричим! — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок.

И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику:

— Зеленый огонь влево!

Крикнул и снова толкнул товарища.

Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже. И голос его дрогнул. И сам он, очнувшись от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек.

— Задремал! — упавшим голосом сказал он.

Егоркин сердито молчал...

Боцман уже подбежал к часовым.

Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину:

— И ты хорош! Дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка! Черти! Одни только неприятности из-за вас.

— Злющий, может, и не заметил! — сказал Егоркин, видимо желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. Что бы ему догадаться, что Щупленький заснул...

— Не заметил? — усмехнулся боцман... — А вот он и сам бежит сюда! — понизив голос, проговорил боцман...

Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану.

Егоркин снова взглянул на Щупленьского.

Тот сидел ни жив ни мертв. И только губы его вздрагивали.

Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и «добр», и так хватает за душу, когда играет на гармонике.

И он чуть слышно сказал ему резким, повелительным тоном:

— Злющий запросит — ты молчи!.. А не то искровяню. Понял? — угрожающе прибавил он.

Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил:

— Понял...

В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом:

— Кто из вас двух, подлецов, позже крикнул?

— Я, ваше благородие! — отвечал, поворачивая голову, Егоркин.

Щупленьский только ахнул.

— Ты, пьяница? Ты, старая каналья, спал на часах?

— Точно так. Задремал, ваше благородие.

— Эй, боцман! Дать ему завтра пятьдесят линьков, чтобы он вперед не дремал!..

И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.

— Левонтий!.. Это как же... За что? — дрогнувшим голосом начал было Щупленьский.

Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу...

— Сказано: молчи да гляди вперед! — ласково ответил Егоркин.

И после паузы прибавил:

— Мне пятьдесят линьков наплевать. Я и по двести принимал, а ты?.. Ты ведь у нас Щупленьский... Тебя пожалеть надо!.. А должно, праход идет!.. — круто оборвал он речь.

Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами.

Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкающей воды.

Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые.

Щупленский утиral слезы. Лицо Егоркина, обычно сухое, светилось какою-то проникновенной задумчивостью.

А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола.

И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.

ГИБЕЛЬ «ЯСТРЕБА»

(Рассказ старого матроса)

I

— Небось в те поры бога-то мы вспомнили, вашескобродие! Еще как вспомнили-то! Уж на что старший офицер был у нас отчаянный: никакого страха не имел и только, бывало, ругался да нам зубы полировал,— в старину, сами изволите знать, полировка была форменная! — а и он на тот раз вдруг в понятие вошел. «Братцы, мол, голубчики, любезные!» Совсем по-другому заговорил: понял, значит, что смерть не то, что безответного матроса по зубам съездить: она сама в лучшем виде тебя съездит, сколько ты форцу на себя ни напускай. И все мы вовсе были обезнадежены тогда; прямо сказать, в отчаянность пришли; так и полагали, что всем нам будет крышка в этом самом Немецком море. Довольно даже подлое это море, вашескобродие! Завсегда, сказывают, на нем погода. Волна какая-то шальная, безо всякой правильности бросается и мотает судно во все стороны. Оттого и качка там самая что ни на есть нудная. Крепкого человека и того обескуражит. И видел я, по своему матросскому званию, всякие моря и окияны, а хуже этого моря нет морей... Однако господь внял матросским молитвам — матросская-то молитва шибче до бога доходит! — и вызволил. Многие которые и живы остались... Ну, да и командир-то наш, Левонтий Федорыч Белобородов — может, изволили слышать, вашескобродие? — башковатый и добрый человек был... Показал тогда себя... Не стерпел гибели «Ястреба», царство ему небесное!

И Иваныч, с которым мы жарким летним днем сидели в тенистом, прохладном саду, в имении моего приятеля, бывшего моряка, где старый матрос был ночным сторожем, обнажил белую как лунь голову и истово осенил себя крестным знамением.

— А случилась гибель нашему «Ястребу» в проливе, вашескобродие! — продолжал Иваныч. — Мелистый пролив... много этих самых мелей да каменьев. И берега обманные, низкие. Запамятоval, как проливу название... Память-то старая, вашескобродие! Вроде быдто Рака прозывается...

— Скагеррак,— подсказал я.

— Он самый и есть... Шли это мы по нем глубокой осенью под зарифленными парусами, а день был пасмурный... солнышку и звания не было... и погода свежая... а к вечеру и последний риф взяли для безопасности, потому как ветер во всю силу входить начал и волны вовсесе освирепели, ровно сбесились... Воют воем и на «Ястреб» набрасываются. Однако конверт-то наш крепкий был, летом только что выстроен и отправлен был из Кронштадта в дальнюю на три года,— поскрипывает себе, мотаясь, как угорелый, на волнах. И ничего они с им поделать не могут, как ни стараются. Только брызгами нас обдают... Ну и то сказать — рулевые были исправные, не зевали... Знали, что за зевки не похвалят... Хорошо. Просвистали это брать койки... Пошли, значит, мы, подвахтенные, вниз, подвесили койки и рады были после трудного дня заснуть до полуночи. Ну, известно, уставший человек лег — и готов. Долго ли спал, обскажать не могу, вашескобродие, но только вдруг меня подбросило, и я чуть не вылетел из койки. Слышу страшный треск. «Ястреб» задрожал и остановился. И тую же минуту все повскакали с коек. А уж боцман сверху кричит в люк не своим голосом: «Пошел все наверх!» А мы и без того торопимся одеться и наверх бежать — потому все в страхе. Поняли, что на мель стали. Выскочил это я, как полоумный, наверх, к своему месту — я-марсовым служил,— гляжу — одна страсть! Ночь темная, кругом море гудит, а ветер так и ревет в снастях. А командир сам уж в рупор командует: «Марсовые, к вантам! Паруса крепить!» И голос у его успокоительный, ровно бы никакой беды и нет... Очень много было твердости в Левонтье Федорыче, вашескобродие. И дока по флотской

части был, и добер был к матросу. Эря не забижал и если наказывал, то с рассудком... А было много и таких, что безо всякого рассудка нашего брата в тоску вгоняли... Было, вашескобродие! — раздумчиво прибавил старик.

Он примолк, вздохнул, словно бы сожалея о тех людях, которые вгоняют в тоску, и продолжал:

— Полезли мы, марсовые, наверх... Разошлись по реям и изо всех сил стараемся, чтобы скорей закрепить свой парус... Спустились вниз... А уж из орудий палят... Сигнал о бедствии, значит, даем. И матросики уж на всех помпах стоят, воду откачивают из трюмов... А она все больше да больше прибывает... А «Ястреб» наш так и бьется, так и бьется о каменья... Жутко было, вашескобродие!.. Однако все еще надежда есть, что откачаем воду и до утра продержимся, а там, может, и берег близко,— как-нибудь спасемся... Ну, и налегаем на помпы... И холоду не чувствуем. И капитан подбадривает: «Не робей, говорит, молодцы!» Так надеялись мы до утра, вашескобродие, а как рассвело, то поняли, что нам крышка. Вода уж под верхнюю палубу подошла, и через корму ходят волны. А буря не унимается, и кругом ничего не видно... Одни волны бунтуют, кружатся, и в них — смерть. А из орудий еще палят... последние заряды расстреливают, потому вниз, под палубу, уже нет ходу. А капитан, и вахтенный, и штурман — все стоят на мостице. Левонтий Федорыч бледный как смерть и за эту ночь совсем постарел... Смотрит с тоской. И все мы с тоской смотрим. Бросили помпы и стали было готовить на случай к спуску гребные суда и вязать плот... Куда тебе!.. Вода хлынула из люков и стала заливать переднюю палубу... Волны захлестывали... Все люди столпились на носу, потому как «Ястреб» передней частью на камнях сидел, то и выше он был, а как стало покрывать водой и верхнюю палубу, полезли все на ванты, держимся друг около дружки и кой и на марсы забрались, чтобы смерть не достала... А она тут как тут, из воды смотрит... В отчаянности ждем мы, что вот-вот «Ястреб» сломается и мы потопнем... И батюшка нам отходную стал читать... к смерти, значит, готовить... Но не успел он окончить, как его смыло волной, и он скрылся в море... И многих, кой не успевали забраться на ванты, смывало, и они на наших глазах погибали. Жутко

было смотреть, и всякий думал, что и ему недолго ждать. И кой молились, кой плакали, кой от страха сидели ровно ополоумевшие, с выпущенными глазами. Два матросика с отчаянности сами в воду бросились, чтобы не томиться зря... Великое мучение послал тогда господь... Давно это было, а как вспомнишь, и то вовсе жутко... Иной раз приснится, как это мы бедовали, так в холодном поту проснешься. Несколько человек хоть и живы остались, а рассудка навсегда решились. И каких только страстей не пришлось тогда увидеть, вашескобродие!.. Опасная эта флотская служба... Нет такой другой. На сухой пути ты по крайности можешь распорядиться собой, а ежели кругом вода?.. Я так полагаю, что по своей воле ни один русский человек не пошел бы в матросы. То ли дело на земле!.. И тебе травка, и тебе лес, и тебе поле, и тебе цветики... Небось хорошо! Вот мы с вами тут сидим, вашескобродие, и чувствуем землю-матушку. Дух-то какой от цветов идет... И птаха-то как заливается, бога хвалит... И комар жужжит... И вон он, муравей-то, работяга, соломинку несет... Одно слово — благодать! — говорил Иваныч.

И его маленькие, все еще живые, лучистые глаза любовно смотрели вокруг. И его морщинистое, сухое, отдававшее желтизной лицо было полно умиления...

Он достал из кармана широких парусинных штанов маленькую трубку, набил ее махоркой и, с наслаждением сделав несколько затяжек, продолжал:

— А взять теперь море?.. Один в нем обман.

— То есть как обман? — спросил я, не совсем понимая, что хотел сказать Иваныч.

— А так, обман,— как бывает в лукавом человеке... вроде здешнего управляющего! — понижая голос, вдруг добавил старик.— Небось я его насквозь вижу, даром что лукав... Сделай, братец, одолжение!

И только что умиленное лицо Иваныча приняло сердитое выражение, и глаза заискрились... Видно было, что у Иваныча были какие-то неприятные счеты с управляющим.

— Иной раз море ласковое такое, льстивое... не шелохнется,— а поверь-ка ему! И опять же: каждую минуту жди от него, прямо-таки сказать, подлости, вашескобродие!.. Каждую минуту имей опаску! Еще прежде, в старину, когда деревянные суда были, все еще обна-

деженность могла быть в случае беды; а теперь, когда пошли эти броненосцы хваленые, попади-ка на камень, так и выскочить на палубу не успеешь, как уж на дне!

Иваныч еще несколько времени продолжал бранить броненосцы, называя их неповоротливыми черепахами, и только после моего деликатного напоминания продолжал свой рассказ.

II

— Сидели мы так на вантах день, холодные, голодные... Рядом со мной первогодок сидел, землячок из одной деревни, Акимка Костриков,— так тот совсем духом упал... Плачет, как дите... А был он паренек хороший, душевный такой, только по флотской части трудно в понятие входил, и попадало ему и от старшего офицера, и от боцмана часто таки, и очень даже довольно накладывали ему в кису. И много он терпел, и жаловался, бывало, на матросскую службу, и по дому скучал, по земле, значит. Ну, утешаю я землячка, говорю: «Еще, бог даст, какой-нибудь корабль купеческий мимо проходить будет,— небось подаст помощь... подойдет... И буря, говорю, стихать стала. И «Ястреб» не так бьет о каменья... Еще, пожалуй, продержится!» И, как только я обнадежил его таким манером, гляжу и взаправду на горизонте парусок белеет и идет курсом на нас... Увидели судно и другие, и вдруг, словно бы по команде, все закричали «уру», до трех раз... От радости, значит. Глядим все обнадеженные на парус, платками машем, флагами... чтоб заметили... Акимка просто таки обезумел... То плачет, то смеется, и сам весь дрожит, посинелый от холода... А вскорости обозначился бриг... Жарит под всеми парусами прямо на нас... И флаг аглицкий развевается. Тут все опять «уру» прокричали... Видят — спасение близко... крестятся... А капитан с грот-марса кричит,— он туда с мостика перебрался, потому как мостик уж был под водой: «Поздравляю, ребята! Помощь близка!» И все опять «уру»... да такую громкую и радостную, что и сказать нельзя... И опять все стали махать шапками... Вот уж бриг совсем близко и спустился к «Ястребу». Видно было и капитена ихнего и матросов... Все мы замерли от радости... Ждем: вот с брига спустят шлюпки... Уж капитан наш что-то по-

ихнему на бриг кричит... «Подходи, мол, ближе! Спасай нас!..» Так что ж бы вы думали, вашескобродие, сделал этот гличанин?.. Прошел в нескольких саженях от нас, и... только его, подлеца, и видели!.. Повернул и пошел далее и скоро пропал из глаз... Мы все только ахнули... И если б только мог слышать капитейн, какими проклятиями мы его провожали и как мы ругали эту собаку!.. Какая собака?.. Хуже... Зверь самый лютый — и тот жалость имеет к своему брату, а этот... Бывают же на свете такие злодеи, вашескобродие! Не помочь погибающему!.. Как только бог терпит таких дьяголов!.. И как этот самый капитейн потом на свете жил?.. И как это матросы гличане не взбунтовались тогда против него и не заставили его помочь таким же людям, как и они сами?.. Где совесть у людей?!

Иваныч смолк, полный негодующего недоумения, видимо и на старости лет, после долгого житейского опыта, сохранивший веру в человеческую совесть и до сих пор удивлявшийся, что ее иногда не бывает.

— И знаете ли, вашескобродие, что я полагаю насчет этих самых гличан, что тогда бросили нас на погибель? — проговорил наконец он.

— Что?

— А то, что совесть их потом замучила. Без этого никак невозможно, вашескобродие. Потому, какой ты ни будь отчаянный человек, а придет время — совесть объявится. «Так, мол, и так... Честь имею явиться!..» И, может, эти самые гличане места себе потом не находили, как вспоминали нас, погибающих... А капитейн, может, ночей не спал... Все перед им матросики с погибающего корабля стояли... Если которого человека бог не накажет, того совесть накажет... Это верно! — убежденно промолвил Иваныч и примолк, погрузившись в раздумье.

III

— Ну, рассказывайте, Иваныч, дальше! — попросил я через несколько минут.

— А дальше была, вашескобродие, одна мука. Обезнадежили мы совсем. Думали: если не потопнем, все равно голодно смертью помрем. И шлюпок не было: все смыло, только капитанский вельбот каким-то чудом уцелел. Да где ему в такую погоду выгrestи?.. Ветер хоть

и стихал, а все же волнение было большое. Однако капитан крикнул охотников: кто, значит, желает ехать на вельботе, чтобы добраться до берега и просить помощи? А берег, как потом оказалось, был этак милях в трех. Охотников пожелало много, но только из них выбрали самых крепких семь человек, под начальством молодого мичмана... Кое-как спустили шлюпку... Отвалила и вскорости скрылась из глаз... Мы так и полагали, что потонула. Наступила ночь. Ясная была, месячная ночь. И не дай бог никому провести такой ночи! Чего, чего не было! От голода да от жажды многие кричали в бреду, как исступленные, и бросались в море. И озверение какое-то на многих нашло... Всякий хотел повыше забраться и пихал один другого. А мой Акимка вовсе закоченел. Жмется, бедный, ко мне, еле держится за вантины и с открытыми глазами вовсе безумные слова без умолку говорит. Все говорит, говорит про деревню, как там хорошо, лошадь зовет... и все это словно видит перед собой. Просто жалостно было слушать. Вижу, парень совсем пропадает. И жалко его стало. И взял я его за руку — я матрос сильный был, вашескобродие! — и потащил его наверх, на марс. Еле дотащил. А там, вашескобродие, матросы догадались и друг на дружке для тепла лежали... Так вроде как бы склад бревен. Ну, положил и я его на груду и сам на него лег. Все ему теплее станет. И стал он понемногу отходить... бредить бросил и заснул.

— А вы, Иваныч, заснули?

— Никак нет, вашескобродие... Сна не было и очень есть хотелось... И главное — жажда... Так, кажется, за глоток воды все бы отдал... Однако терпел, потому еще во мне сила была. Но только уж смерти покойно ждал. Думаю: другие умирают... Чем же я лучше? Придет черед, свалюсь в море... А жить все же хотелось.

А тут же на марсе около меня рядом лежал наш же фор-марсовый Егоров. Пьяница он был отчаянный и в пьяном виде на руку нечист. И здорово его наказывали за пьянство, и били, и пороли, а он все свое: как попадет на берег — мертвецки напьется. А так человек башковатый, веселый и сердцем прост. И форменный матрос был. Он и говорит мне:

«А знаешь, Иваныч, отчего мне помирать не хочется?»

«Отчего?» — спрашиваю.

«Оттого, говорит, что я свинья... Деньги пропивал, а на дочку хоть бы грош. А дочка у меня без матери, беспризорная сирота и у кумы живет. А кума сама еле с хлеба на квас перебивается. И все мне теперь махонькая Дунька на уме. Кто пожалеет ее, если отец не пожалел? Пропадет ведь!»

«Найдутся, говорю, добрые люди, пожалеют!»

«Едва ли, если отец родной... И знаешь, Иваныч... Если бы я спасся каким чудом, пить бы бросил и все деньги посыпал бы дочеке!» Вот ведь, варшавскобродие, когда спохватился: когда смерть на носу была.

— Что ж он, жив остался? — спросил я.

— Жив... И посейчас в Кронштадте живет.

— Ну, а зарок свой сдержал?

— Еще как сдержал, варшавскобродие! Просто дивился я: откуда характер у него взялся?.. Дочка вовсе другим человеком отца сделала... Ну и потрясение, значит... на «Ястребе»... Егоров после этого долго в госпитале в Кронштадте лежал в повреждении рассудка... через шесть месяцев только на поправку пошел.

— Ну, рассказывайте, Иваныч, как же вы спаслись?

— А через этот самый вельбот... Спасибо матросикам: не оробели, и мичман, что с ими поехал, не оробел... Выгребли, выбросились на берег и оповестили... А мы этого и не думали в те поры. Никакой надежды на вельбот не имели... Так рассчитывали, что погиб, и ждем смерти... Прошла так вторая ночь... Рассвело... Море затахло, и солнышко светит... А мы все как приговоренные... Нет даже силы, чтоб на обломках спасаться... И я начал подаваться... Ослаб... И жажда замучила... И только слышим мы, варшавскобродие, что капитан не своим голосом закричал насчет питья и насчет того, что он людей до смерти довел... Кричит бедный Левонтий Федорыч, да и шабаш! Тоже, значит, в потрясении был. И многие, которые кричали, охали и стонали и призывали смерть. И не обсказать, как тяжко было слушать, варшавскобродие, эти стоны да крики. Вспомнишь как, и то жутко станет... Хорошо. Кричал это таким манером капитан примерно с час или с два и затих... И вдруг опять капитана крик, жалобный такой. «Простите, братцы!» И вижу я — он с гро-марса вниз головой... Бросился, значит... и его волна в море унесла... Окровавленный

весь был, сказывали потом матросы, кои с гrot-марса видели... Царство ему небесное, голубчику!.. Добер был!

Иваныч перекрестился и продолжал:

— И вскорости после того, как бросился капитан, вижу я парус на горизонте. Думаю — обман глаз... Многим в те дни все паруса мерещились, — однако нет... все увидали, и скоро шкунка обозначилась... Идет на нас... Опять мы закричали «уру», только «ура» эта самая едва слышная была... Силы не было по-настоящему крикнуть. При последнем изыхании почти все находились и звали смерть, как вместо этого жизнь пришла... Шкунка подошла борт о борт... Повышли оттуда шведы и стали нас, как замерзших птиц, снимать да на шкунку таскать... А я, вашескобродие, от радости так-таки и заплакал. Слова сказать не могу, а плачу. И сняли с нас мокрую одежду, завернули в одеяла и положили на палубу. И стал доктор ихний с фершалом обходить нас и давали нам по капельке рому, а потом горячего супу. По самой малости давали, а то помногу нельзя, говорят... И вскорости доставили нас благополучно на берег и разместили по домам в ихнем маленьком городке; и оправлялись мы там с неделю, пока не отправили нас, вашескобродие, в Кронштадт... Только многих недосчитались... Было всех нас на «Ястребе» сто семьдесят пять человек, а осталось сто...

— А что с «Ястребом» стало?

— Потонул. Вскорости, как нас с него сняли, поднялся ветер и к ночи заревел. Вот в ту ночь «Ястреб» и потонул. Уж утром его и звания не было... Только одни обломки рыбаки видели...

Иваныч умолк и стал набивать трубку.

В эту минуту в конце аллеи показался владелец имения, Петр Петрович, высокий худой бодрый еще старик.

При приближении его Иваныч встал.

— Садись, Иваныч... садись! — приказал ему отставной моряк.

И, обращаясь ко мне, спросил:

— О чем это вы с Иванычем беседовали?

— Он о гибели «Ястреба» рассказывал...

— Да... Ужасные были дни... Никогда не забыть их! — задумчиво проговорил Петр Петрович.

— Вы тоже были тогда на «Ястребе»?

— Был. Мичманом тогда был. С тех пор мы и приятели с Иванычем... С тех пор я и узнал, какой это человек... Он, конечно, не рассказывал вам, как тогда многих спас от смерти?

— Нет! Про себя ничего не говорил...

— Ну, конечно. Узнаю Иваныча. Он и меня спас... Я едва держался на вантах, а он меня после земляка своего тоже на марс стащил... Да и не одного меня, а многих... Ты чего же об этом не рассказал гостю, а? — добродушно усмехаясь, спросил Петр Петрович Иваныча.

— Чего всякие пустяки рассказывать, вашескобродие! — отвечал Иваныч.

И с этими словами поднялся и заковылял по аллее.

ОБОРОТ

Рассказ матроса

(Из далекого прошлого)

Посвящается Д. А. Клеменцу

I

Был первый час жаркой ночи. Стоял мертвый штиль.

Имея курс на остров Яву, клипер «Нырок» шел полным ходом, по одиннадцати верст в час, с тихим гулом разрезая своим острым носом притихшую океанскую гладь и оставляя за круглой кормой след в виде широкой серебристой ленты, сверкавшей под светом полной луны.

Вокруг и на палубе царила тишина. Только мерно и однообразно постукивала машина да каждые полчаса раздавались на баке удары колокола, отбивавшие склянки. Разбившись маленькими белыми кучками по всей палубе, вахтенные матросы дремали, притулившись у бортов, у мачт и орудий. Некоторые вполголоса лясличили, коротая предстоящую вахту,— молодые матросы—сказками и свежими воспоминаниями о своих местах, а старые—рассказами о прежней службе и о капитанах и офицерах, основательно спускавших шкуры.

Темы эти были неистощимы.

Весь в белом, с расстегнутым воротом ночной сорочки, молодой лейтенант, вступивший с полуночи на вахту, шагал взад и вперед по мостику, стараясь разгулять сон. Он осторегался прислониться к поручням, хорошо

зная, что его немедленно охватит дрема, и, чего доброго, выйдет наверх капитан и увидит заснувшего вахтенного начальника — позор!

И при мысли о таком позоре лейтенант шагал решительнее, посматривая сонными глазами на горизонт: не видать ли серого шквалистого облачка, или огоньков встречных судов, и по временам останавливаясь у компаса, чтобы взглянуть: по румбу ли правят рулевые.

Совершенно равнодушный к красоте этой волшебной южной ночи с томной луной и мириадами ярко мигавших звезд, лейтенант в эти минуты думал, что высшее на свете счастье: лечь в койку и заснуть.

Приблизительно о том же думал и старый боцман Данилов, бесшумно ступая своими большими, слегка искривленными босыми ногами по палубе от бугшприта до гrott-мачты и обратно.

Уставший после дня обычной служебной суэты и осипший после неустанного сквернословия, он притих и, чуть слышно окликая по временам часовых, смотревших вперед, прибавлял какое-нибудь короткое ругательное приветствие ленивым, сонным голосом, без малейшего одушевления, словно бы лишь по чувству долга и не желая обижать часовых.

Изредка он в качестве исправного вахтенного боцмана перегибался через борты, у крамбол, удостовериться — в исправности ли отличительные красный и зеленый огни, частенько подходил к кадке с водой, чтоб выкуриТЬ трубочонку острой махорки, и стоял минуту-другую у кучки матросов, приютившейся у станка бомбического носового орудия. Стоял и слушал, что рассказывал Егор Дудкин, пожилой, коренастый матрос с волосатым лицом, основательный пьяница на берегу и любимый рассказчик наочных вахтах.

— И откуда только у тебя, у трезвого дьявола, слова берутся!.. — не без зависти говорил боцман, у которого вместо слов «брались» только одни ругательства.

И не без сожаления, что обязанности вахтенного боцмана не позволяют ему слушать Дудкина, отходил и снова шагал по палубе, разгоняя сон приятными думами о том, что дня через два он покажет в Батавии, как напиваются порядочные боцмана.

— ...То-то я и обсказываю, братцы!.. Семнадцать лет околачиваюсь на флоте, всякого, можно сказать, боя видал, а таких оборотов, чтобы озверелый человек да вдруг по своей воле стал добер к нашему брату, не видал и от людей не слыхал... Никак это невозможно... Другие обороты видал! — значительно и не без иронии прибавил Дудкин, слегка повышая свой приятный, немного сипловатый, как у пьяниц, голос.

— Какие такие другие обороты? — спросил кто-то из слушателей.

— А такие, что поступит на корабль какой-нибудь первогодок мичман, ни усов, ни бакенбардов еще нет и звания, и не то что вдарить, а даже изругать по-настоящему стыдится и воротит морду, когда при нем полируют на баке матроса, а через месяц-другой, смотришь, уж в понятие вошел: лезет в зубы и поросенком визжит: запорю, мол! Потому стыдно ему от других отстать. Видит: прочие все мордобойничают, и он. Видит: прочие велят снять шкуру, и он. Вот, мол, какой я форменный стал флотский мичман. Живо в себе жалость покорил. Таких оборотов я много видел... И легкие они были... И только раз в жизни этот самый оборот трудный видел... На моих глазах он и вышел с одним мичманом... Я у его в вестовых служил... Душа его не принимала обороту... Ну да уж и добер был Леванид Николаич Кудрявцев и на чужую беду обидчист. Другого такого я после и не видел. Не вод был таким на флоте... Однако и он сдрейфил... И из-за этого самого и пропал. Из-за совести, значит... Не осилил... И прямо-таки довели его анафемы до потерянности...

Дудкин примолк и, залитый серебристым светом, строго глядел на усеянное звездами темно-синее небо, по-видимому не имея намерения продолжать.

Так прошла минута, другая.

— Кто довел, Иваныч? Ты расскажи про мичмана... уважь! — нетерпеливо и почти умоляюще прошептал самый внимательный слушатель, молодой, худощавый, чернявый и маленький матрос Снетков, земляк Дудкина, пользовавшийся его расположением и покровительством и всегда сопровождавший Дудкина на берег специально для того, чтобы удержать его от пропоя казенных вещей и в целости доставить на шлюпку.

На клипере так и звали его — нянькой Дудкина.

— Кто довел? — переспросил Дудкин. — Известно кто! Свои... офицеры! Прежде им воля была куражиться над матросами, не нонешняя... И у всех, значит, одно понятие было... И все смеялись над мичманом за то, что у него другое понятие... «Какой, мол, из тебя выйдет форменный офицер, ежели, говорят, ты не можешь отполировать матроса... Ты, говорят, не мичман, а вроде быдто пужливой бабы!» Каждый день, бывало, стыдили его в кают-компании. Покоя не давали, мордобои!

— А он что... молчал? — спросил Снетков.

— Небось не молчал... Обсказывал им, что матрос не животная. И животную надо, мол, жалеть, а человека и подавно. И закон-положенья, мол, нет такого, чтобы его запарывать... Бывало, горячится, весь дрожит, на глазах слезы, а они ровно жеребцы ржут... «Ты бы, говорят, заместо флотской службы в стракулисты вышел, а то в монахи!» И капитан устыживал — барышней звал... И старший офицер, бывало, ввернет ехидное слово — недаром его на фрегате аспидом звали. И раз запустил: «Наш мичман, говорит, зря мелет... форсит, мол... Дайте, говорит, сроку, и он в лучшем виде будет спускать шкуры». Однако мой мичман все свое. «Вы, говорит, как вгодно, я вам не указчик, но только я ни в жисть пороть людей не буду и извергом не сделаюсь... Я, говорит, присяги не давал палачом быть!» Сказал это и сам весь белый стал, и глаза, как у волчонка, так и горят... А старший офицер в злобу вошел, видит, что не переспоришь, так он начальником обернулся. «Вы, шипит, мичман Кудрявцев, забываетесь и не понимаете, что говорите. Мы не изверги и не утесняем матросов. Мы, говорит, их только учим и наказываем, если они того стоят». Осадил, значит, моего Леванида Николаича при всех... А ему и конфузно... Он совсем еще вроде желторотого галчонка оказывал, двадцати годов не было полных. Всего второй месяц, что вышел в офицеры и поступил к нам на фрегат «Отважный». А я к нему назначен был вестовым — тоже молодой был матрос. И легко было с им. Простой. Никогда дурного слова не скажет. Завсегда, бывало, лясличал со мною, как с ровней, и никакой в ем гордости, даром что сам графского

рода, но только лишенный звания из-за отца. Отца-то разжаловали из графов и решили всех имение.

— За что? — спросил кто-то.

— Бунтовал с другими господами, когда покойный император Николай вступал на царство. Их всех и раскасирували по Сибири. А по каким таким причинам господа бунтовали, Леванид Николаич в точности не объяснял. Только и сказал, что папенька за бунт пострадал и находится в Сибири. И очень он своего отца обожал. Два его патрета завсегда в каюте висели над койкой. Видный такой и в полковнице мундире. И раз как-то показывает Леванид Николаич на патрет и говорит: «Если б ты знал, Дудкин, какой у меня хороший родитель и как я, говорит, его почитаю... Это он, когда я еще был мальчионок при ем в Сибири, учил меня добру и потом, говорит, в письмах наказывал быть добрым и справедливым начальником... И я, говорит, оправдаю отца. Не осрамлюсь перед ним!» И оправдывал! Зато и любили его матросы на фрегате. Знали небось, как он один против всех стоял за нашего брата. А раз и под арестом отсидел — капитан посадил да еще лепорт на него подал, чтоб мичмана под суд...

— За что? — спросил чернявый матросик.

— За эту самую жалостливость... Искоренить ее хотел... Однако пойти покурить!

Вслед за Дудкиным поднялись и слушатели и перешли к кадке с водой, у которой стоял медный ящик с тлевшим фитилем.

Все закурили короткие трубочки, и на баке потянуло приятным запахом махорки.

— Скуснее, братцы, нет табаку! — проговорил Дудкин, затягиваясь с наслаждением.

— Из-за чего же вышло, что мичмана под арест, Иваныч? — задал вопрос Снетков, необыкновенно заинтересованный продолжением рассказа.

— Ишь пристал!.. Дай покурить... Обскажу все в подробности...

— Ты это, Дудкин, насчет чего обсказываешь? — спросил, подходя, боцман.

— Насчет мичмана Кудрявцева. На «Отважном» в сорок восьмом году служил...

— Как не помнить... Чудной мичман был. Вроде быдто умом тронутый...

— Что он тебе зубов не чистил и шкуры не спустил, так он, по твоему рассудку, и тронутый?.. Давно ли ты стал так полагать, Захарыч? Небось как в боцманы вышел? — насмешливо и сердито прибавил Дудкин.

— А ты полегче... Нонче вы все быдто тронутые стали, идолы, как прежней строгости на вас нет...

— А тебе, видно, жалко ее?.. Мало тебе всыпано было линьков?.. Или память отшибло?

И Дудкин сунул в карман штанов трубку и пошел к орудию.

Боцман пустил вслед ленивое ругательство.

Через минуту рассказчик и слушатели уселись на прежние места и Дудкин продолжал.

III

— А вышло, братцы, такое дело. Стоял это Леванид Николаич подвахтенным с восьми до полудня, как капитан, после перемены марселяй, вскрикнул двух гrott-марсовых на бак, на шлифовку, значит. На «Отважном» отшлифовывали безо всякой жалости. И командир, прямо сказать, живодер был. Ему и кличка была дадена: «Живодер». И тую же минуту зовет к себе мичмана. Прибежал. Руку под козырек. А капитан ему препоручение: «Спустить этим двум подлецам шкуры. По сту линьков! И имейте, говорит, присмотр, чтобы форменно драли... Потачки не извольте, говорит, допускать». Выслушал этто Леванид Николаич и белее сорочки стал. Я в те поры наверху был и видел, как он стоит ни жив ни мертв перед капитаном и как пальцы его у козырька дрожат...

— Испугался, значит, капитана? — небрежно кинул один из слушателей, белобрысый, полнотелый матрос из кантонистов.

— Ты не перебивай, а слушай, и тогда поймешь — испугался ли мичман капитана, или препоручения! — строго заметил Дудкин.

И затем продолжал:

— А капитан был нравный и скорый. И видит, что мичман стоит — взбесился: «Что вы, кричит, как статуй, стойте. Или не слышали приказания? Идите, и чтобы исполнить сей же секунд!» А мичман ему на это громко так отчекрыжил: «Покорно, говорит, прошу увольнить

меня от такого препоручения. Я его исполнить никак не согласен!»

— Ишь ты! — вырвалось у чернявого матросика радостное восклицание, и он, взволнованный и умиленный, впился своими большими черными глазами в лицо Дудкина.

— Все, братцы, так и ахнули. И сам Живодер вытаращил глаза — не ждал, значит, такой отчаянности. А очнувшись, заревел, ровно зарезанный бык, что уконоопатит он мичмана под суд за непокорность, и тую же минуту велел под арест, чтобы часового у каюты с ружьем... Пять ден отсидел мичман. Только меня к нему и допускали... Я и кушанье носил ему из кают-компании... А он на отсидке все книжки читал и вовсе был спокойный. И как я ему сказал, что все матросы очень даже его жалеют, обрадовался. «Пущай, говорит, отдадут меня под суд и делают что хотят, а я, говорит, не могу вроде быдто палачом себя понимать. И то, говорит, одна тоска слышать, как люди под линьками кричат, и нет силы воли им помочь, а чтобы еще смотреть... не принимает, говорит, этого моя душа...» Слушаю я это, братцы, и быдто лестно. Потому такие люди от отчаянности тебя спасают. В правду божию заставляют верить. Вот в чем причина. И все матросы после этого случая стали еще приверженней к мичману и уж как старались, когда он стоял подвахтенным, чтобы на баке все было в полной исправке, чтобы Живодер не мог придраться... Берегли мичмана.

— За такого куда вгодно! — восторженно заметил Снетков.

— А судом судили? — раздался чей-то голос.

— То-то нет, хучь капитан и подал лепорт на мичмана главному командиру, как мы вернулись в Кронштадт из клейсерства по Балтийскому морю. А разговор был с главным командиром! Вскорости как мы с мичманом, по окончании кампании, перебрались на берег, вечером — кульер. «Требует, мол, завтра в восемь утра главный командир!» Я, как следует, разбудил утром пораньше Леванида Николаича, напоил чаем, обрядил в мундир и гайда за извозчиком. Уехал, а я жду в тревоге. Думаю, какая будет ему разделка... Потому ежели судить мичмана, то была б ему крышка, вроде как отцу. Тогда за непокорность и офицеров засуживали... За та-

кие дела не давали пощады. Очень большая была строгость! Хорошо. Жду я мичмана, а он вскоре и вернулся. «Не бойся за меня, Егор... ничего мне за капитана не будет!» Говорит этто, а сам вовсе невеселый и, в раздумчивости быдто, прибавил: «Облестила меня, старая шельма!» И как амуницию свою всю снял и переоделся, так и обсказал мне в подробности, какой лукавый разговор имел с им главный командир... И что бы вы думали? Он не только не оконфузил Леванида Николаича, как полагалось, криком, а позвал в кабинет, запер двери и, честь честью, велел садиться... Даром что ему на том свете давно паек шел и высох вроде быдто египетской муми, а беда, какой шельмоватый был! Умел, как и с кем... Кого в страх вогнать, кого облестить. Понял, что Леванида Николаича страхом не обескуражишь, и по своей шельмоватости перво-наперво похвалил: «Очень, говорит, на редкость ваше чувствительное сердце. Я, говорит, сам чувствительный. Но как есть, говорит, ваш начальник, должен сказать, что вы никак не смели послушаться капитанского приказания. И ежели, говорит, дать лепорту полный ход, то будут вас судить по всей строгости флотских законов и присудят матросскую куртку, а я, говорит, не хочу вас губить и огорчать государя императора, как он узнает, какие на флоте есть непокорные офицеры!» Понимаете, братцы, какую загвоздку пустил старый дьявол?

— В чем загвоздка-то, Иваныч? — спросил молодой чернявый матросик, не понявший ее.

— А в том, Вась, что адмирал боялся, что до императора Николая Павловича дойдет, как на «Отважном» закатывали царских матросов... И могла выйти разборка. «Почему, мол, порют сверх положения?» Небось Леванид Николаич показал бы на суде, что и по положению-то матросу чистая каторга, а ежели, как на «Отважном», сверх положения да по триста линьков всыпали и двое матросиков в госпитале померли на другой день после порки, то выходит быдто вроде живодерни, и жизнь наша мука-мученская! На что я здоровый, братцы, а как один старший офицер на «Кобчике» закатил мне спяну, подлец, такую же плепорцию, так я только через два месяца на поправку пошел. Фершал в госпитале тогда сказывал, что нутренность у меня, братцы, крепкая, а другой не вынес бы... От чахотки бы помер, говорит. Так

вот, по той самой причине, чтобы все было шито да крыто, старый дьявол и прикинулся, будто жалеет мичмана... Не очень-то он был жалостливый, а тоже: «чувствительный!» В Кронштадте помнили, какой он был капитаном чувствительный. Недаром душегубом звали! И как слукавил, старый хрыч, эту самую загвоздку, он и обсказывает мичману, что лучше, мол, все дело прикончить в секрете. «Я, говорит, велю командиру взять лепорт обратно, а вы, говорит, сходите к нему и повинитесь хучь для виду... Уважьте, говорит, старого адмирала; а я, говорит, так и быть, попрошу капитана, чтобы вас не назначали наказывать матросиков... А вы все-таки, говорит, привыкайте... Для службы, говорит, надо стараться, а когда и отодрать матросика... От этого его не убудет, и ему же на пользу...» Таким образом он и облестил Леванида Николаича.

Дудкин на минуту примолк.

— Повинился мичман перед Живодером? — спросил кто-то.

— Небось матросская куртка не шуба. Поехал на другой день! Тем дело и кончилось, а для Леванида Николаича только началось!.. Заскучал он с той поры! — значительно проговорил Дудкин.— От своей совести заскучал. А главная причина: совести ему было отпущено много, а характеру мало. Он и терзался, что ходил к капитану вроде будто виниться и что за труса могут его считать. «Слабый я есть человек, Егор!» Скажет он это мне, махнет в отчаянности рукой, да и айда в клуб. А вернется поздно домой — выпимши... А раньше в рот не брал, вовсе брезговал. И как-то я даже доложил ему, что это нехорошо. В те поры я еще не занимался вином!.. — счел долгом пояснить Дудкин.— «Верно, Егор, нехорошо», — говорит. «Не по вашему званию, Леванид Николаич», — докладываю. Молчит, стыдно, значит... Но только не сердится. Понимал, что я из приверженности к нему. Бывало, целую неделю дома сидит — обед я ему готовил — и книжки читает. Вижу, скучит. Один да один. «Вы, Леванид Николаич, в Питер бы прокатались!» — скажешь ему. «И там, Егор, одно и то же». — «У знакомых, говорю, побывали бы!» — «Нет, говорит, у меня таких знакомых, чтобы меня настоящим человеком сделали, вроде отца. Небось он с волками жил, а по-волчьи не выл!»

— Поди ж ты! — воскликнул чернявый матросик.

В этом невольном восклицании были и изумление, и любовь, и жалость к мичману.

IV

— Таким родом дожили мы с Леванидом Николаичем до лета. А летом опять пошли в плавание на «Отважном». И опять моего Леванида Николаича стали стыдить в кают-компании... Он огрызался, спорил. Можно, мол, быть форменным офицером без всякого боя; а после и спорить бросил... Ну вас! И тогда стали чураться от него. «Что, мол, ты, такой-сякой, много о себе полагаешь и нами брезгуешь!» И все лето мой мичман скучал. Съедет на берег один и на фрегате один. Только со мной, бывало, и лягнichает... В охоту с кем-нибудь поговорить... А службу старательно сполнял, и лестно ему было, чтобы его почитали за форменного офицера. И флотскую часть очень даже любил, из-за этого самого он и на флоте служил. И море любил, не боялся его. Бывало, в свежую погоду, возьмет шлюпку и айда под парусами кататься. Лихо управлялся! Против его никто на «Отважном» не мог управиться. А катер, за коим он доглядывал, был игрушкой и на гонках всегда призы брал. Глаз у него был зоркий, что у ястребка. И до все-го Леванид Николаич доходил. Первый, можно сказать, по усердию был... одно слово, лихой и отчаянный мичман! Из себя молодчик, небольшой, сухощавенький, аккуратный такой, кудрявый и пригожий, лестно было на него глядеть... Бывало, придет на бак и матросиков обнадежит ласковым словом... И быдто легче станет на нашей живодерне. А уж старался как по службе! Из кожи лез, чтобы доказать капитану, какой он есть офицер, и чтобы ему дали править вахтой... А Живодер наш — надо правду сказать — был дока по морской части и форменный капитан, так отличиться перед им, значит, и лестно Леваниду Николаичу... Однако капитан только обескураживал мичмана. Не прощал ему, что главный командир не дал ходу его лепорту, никакого взыскну не сделал и непокорного мичмана оставил на фрегате. Да еще велел, сказывали, не огорчать высших начальников, не драть сверх положения до чахотки. И знал Живодер, чем обескуражить мичмана! Понимал, собака, как он обидчив по флотской части.

— Видно, придидался? — спросил белобрысый.

— За всякую малость. Увидит, ежели когда Леванид Николаич подвахтенным, что снасть не до места или кливер чуточку заполощет, тую ж минуту на бак во всю глотку кричит: «А вы еще полагаете о себе, будто хороший морской офицер... А у вас под носом кливер шлепает!» Эти выговоры пуще всего донимали мичмана. Молодой был и, как сам справедливый, не понимал сгоряча, что капитан его утеснял за то, что он о себе по-своему полагал. Думал, взаправду за флотскую часть. И прибежит, бывало, после вахты в свою каюту, бросится на койку и лежит ничком. Обидно, что капитан то и дело конфузил его при всех. Небось в тоску войдешь!

— Еще бы не войти! — сочувственно вымолвил Снетков.

— По-настоящему такому башковатому да старательному вахту бы препоручить, а заместо того его всячески изводили. А Леванид Николаич от этого пуще в задор входил... Доказать, значит, хотел, что знает флотскую часть. А просить, чтобы ему препоручили вахту, не желал. Горд был. «Ежели, говорит, не дают вахты, значит, я недостоин!» Уж я, бывало, всячески обнадеживаю Леванида Николаича. Матросы, мол, видят, какой он есть понимающий и отважный офицер. «Это, говорит, мне лестно, коли матросы видят, но капитан все-таки не видит. А он, говорит, хучь и изверг, а моряк отличный... Дело, говорит, в тонкости знает!» И не было, братцы, у Леванида Николаича в уме, что Живодер в отместку, со зла не видит его старания... Об евойной справедливости зря полагал!

— Так ему и не препоручили вахты? — спросил кто-то.

— В конце лета препоручили. Заболел один лейтенант, так временно назначили Леванида Николаича. Он старшим мичманом был... Тут-то он и оправдал себя! Увидали все, какой начальник пятой вахты. Лихость и задор его поняли... Но только из-за этого самого прямо-таки погубили человека. Чтоб им подлецам...

И Дудкин прибавил по адресу «подлецов» такие проклятия, на какие только способен был старый матрос, прошедший основательную выучку прежнего времени, и примолк.

Серебристый свет месяца освещал напряженные лица кучки слушателей и неказистое, заросшее волосами лицо

рассказчика, полное негодующего выражения. Он словно бы вновь переживал далекое прошлое.

Все притихли, и несколько минут царило молчание среди торжественного безмолвия южной ночи.

— Раззадорить беспременно хотели Леванида Николаича, чтобы он стал как они все, анафемы! — заговорил наконец Дудкин взволнованным от озлобления голосом. — Непереносно было, видишь ли, сучьим детям, что он в полной исправке вахтой правит, и ни порки, ни боя, ни ругани, и у его на вахте матросы из кожи лезут вон, стараются... И опять же злились, что вся команда, прямо-таки сказать, обожала мичмана, а их, подлецов, только боялась и ненавидела. И пуще всех втравливал капитан, понимая его флотский задор. И втравил-таки, подлюга! Обрадовался Живодер, будь ему в пекле форменная шлифовка... Небось черти его отшлифуют! — прибавил Дудкин, полагавший, по-видимому, что на том свете телесные наказания еще не отменены и что там шлифуют не хуже, чем на кораблях.

И, несколько облегчив свое возмущенное чувство этими пожеланиями, Дудкин продолжал.

V

— А втравили его, братцы, из-за шквала... Шли мы под всеми парусами в Ревель мимо Гоглан-острова, и на вахте стоял с полудня Леванид Николаич. И вдруг налетел под самым островом шквал с подветра... Скомандовал, значит, мичман фок и грот на гитовы, марса-фалы и брам-фалы отдать и кливера долой, и паруса лётом убрали, а грот-брам-фал не отдали... Матрос, дурак, прозевал, и грот-брамсель в лоскутья! А Живодер уж гнусит паскудным голосом: «Превосходно. Ай да вахтенный начальник, у коего брамсель в клочки. Поцелуйте теперь того подлеца, что не отдал брам-фала!» И так накалил мичмана, что он ровно ополоумел и сам не свой прилетел на бак и не своим голосом крикнул боцману, чтоб тую ж минуту дать виноватому двадцать пять линьков. А сам весь тряслся, словно лихорадка бьет. На баке все только ахнули... Заступник наш, голубь, и поди ж ты!.. Очень огорчились матросы. «Вот тебе, мол, и голубь!..» Но только его жалеть надо было! — раздумчиво проговорил Дудкин.

— И вчуже, да жалко! — проронил Снетков.

— И пожалели, как узнали, что стал он мучиться совестью... На моих глазах это было. Как сменился с вахты, так скрылся в каюту, заперся и никого не допускал... Только к вечеру меня допустил. Гляжу: сидит это на койке словно потерянный, и глаза красные. Я ему на счет ужина и чая докладываю: «Покушайте, ваше благородие!» А он только замахал головой и говорит: «Последний я теперь подлец стал, Егор! Что про меня отец-то скажет? Как я его оправдал, а?..» И как зальется, братцы, слезами. И жалко мне его стало, и охота мне его обнадежить... «Напрасно вы, Леванид Николаич, убиваетесь. Это вы, говорю, наказали с пылу». — «А отчего же, говорит, я матроса приказал наказать с пылу, а капитана или старшего офицера с пылу не вдарю?» Вижу, не дается в обман, не таковский. Тогда я докладываю: «За вину, мол, отодрали матроса, и за евто нельзя обижаться». Так выгнал меня вон. «Не утешай, говорит. Нет мне оправдания!»

— Обидчивая в нем была совесть! — вставил молодой матросик дрогнувшим, растроганным голосом.

— То-то совести много. Другому, ежели отпорить — наплевать. Отпорол и забыл, а Леванид Николаич несколько дней находился быдто в потеряности. На матросов не глядел — стыдился. И в кают-компании словно виноватый сидел за обедом. А его все еще поздравляют. «Наконец, говорят, в понятие вошли, бросили свое бабство!» А долговязый аспид, старший офицер, зубы скалит. «Я, говорит, не сумневался, что Леванид Николаич форц свой бросит. Зарекался, что не будет пороть, а как брамсель в клочки, так молодцом поступил!» — и все хвалили и пили за его оборот. А бедный мичман сидел как пригвожденный, чуть не плачет, и, как отобедал, скорей в каюту. И как пришли мы в Ревель, закатился он на берег, а к вечеру приехал вовсе пьяный. Я раздел, уложил в койку, а он бунтует и кричит: «Пропавший я человек стал!» И таким родом тосковал он до самого Кронштадта и стал вином заниматься, как съезжал на берег. А как пришли мы в Кронштадт, вышло Леваниду Николаичу назначенье в дальнюю, вахтенным начальником на транспорте «Байкал». Он с грузом в Камчатку шел.

— А как на «Байкале» твой мичман, небось наказывал? Вошел в скус? — спросил белобрысый, полнотелый матросик небрежно-легкомысленным тоном.

— Ну так что ж, ежели и наказывал? — раздраженно ответил Дудкин, сурово взглядывая на белобрысого матроса.

— Я так... спрашиваю...

— Может, и следовало наказывать!.. Тоже и наш брат всякий бывает...

И, помолчав, прибавил, обращаясь к чернявому матросику:

— Я с Леванидом Николаичем на «Байкале» не ходил. Просил он, чтобы меня взять, да разрешения не вышло, и меня обернули в экипаж. А ребята, что с им ходили, сказывали, что наказывал он редко и легко, и то когда был выпимши. Зашибал у себя в каюте, один на один и, сказывали, очень скучал. А как пришли в Камчатку, Леванид Николаич списался с транспорта и не пожелал в Кронштадт. Перевелся в сибирскую флотилию и остался в Камчатке. Там и вовсе затосковал и запил. И когда вскорости император Александр Николаич простил бунтовщиков против родителя и вернул им все звания и поместья, то отец Леванида Николаича звал сына вернуться. Но только не довелось повидать отца. Ден через пять, как объявили Леванида Николаича графом, он помер, от скорой чахотки, сказывали... А я так полагаю, что от совести. А жить бы да жить, голубчику... Царство ему небесное!

И с этими словами Дудкин обнажил свою коротко остриженную, начинавшую седеть голову и медленно осенил себя крестом. Перекрестились и другие.

Чернявый молодой матросик глотал слезы. В эту самую минуту блеснула ярким спонником падающая звезда, словно бы напоминая о молодом мичмане.

ТЯЖЕЛЫЙ СОН

Рассказ

I

Сергей Иванович Скворцов, худощавый человек лет за сорок, с старообразным, несколько утомленным лицом и с сединой в подстриженной рыжеватой бороде, был в эти предпраздничные дни в «идиллическом» настроении.

В министерство не нужно. О делах можно забыть. С визитом ни к кому. Отдыхай дома.

Он любил «дом». Ни в клуб, ни к знакомым Скворцова не тянет.

«Старый муж», как в шутку называл себя Сергей Иванович, «бессовестно» счастлив.

Еще бы!

Пять лет как он женат — и ни ревнивого подозрения, ни размолвки. Даже ни одной супружеской сцены.

И как же любит он жену! Как влюблен в эту очаровательную молодую женщину!

Скворцов нашел в ней желанную. Он не боялся значительной разницы лет между ними. Ему — сорок три, ей — двадцать семь. И, редкий счастливец, он глядел в глаза жены, стараясь угадывать ее желания, и ради ее счастья работал как вол, добывая средства.

Увидал Скворцов Веру Борисовну на фиксе у знакомого профессора, приятеля и товарища по университету.

Эта стройная, среднего роста молодая девушка с тонкими, словно выточенными чертами серьезного и вдум-

чивого свежего лица, с большими красивыми серыми глазами, ясными и покойными, и пепельными волосами, была хороша собой и особенно привлекательна потому, что, казалось, и не сознавала своей привлекательности,— до того она была серьезно сдержанна и держала себя с подкупающей простотой и строгой, слегка грустной скромностью.

На Скворцова Вера Борисовна произвела сильное впечатление, и он попросил хозяина представить его молодой девушке.

После вечера Скворцов был очарован. Ему казалось, что нашел именно ту женщину и «родственную душу», о которых мечтал.

После первой встречи Скворцов искал встреч с Верой Борисовной. Влюбленный, он забыл свою теорию брака и стал чаще подстригать бороду и взглядывать на себя в зеркало.

Прошел месяц, и Сергей Иванович попросил разрешения навестить Веру Борисовну.

— Приходите!

Низкий голос был мягкий и любезный, без подчеркивания бедной девушки, ловящей хорошего жениха. Ни малейшего вызывающего кокетства.

В первое воскресенье Скворцов сделал визит и присидел около часа. Скоро он стал чаще ходить в маленькую квартиру во дворе. Вера Борисовна жила у тетки, вдовы полковника, которая жила на скромную пенсию. Племянница ходила на службу и получала тридцать рублей в месяц.

Старушка-полковница и Вера Борисовна приветливо и гостеприимно принимали Скворцова и не показывали вида, что он влюблен как мальчишка и ходит с намерением жениться на Вере. Он был бы хорошей партией для бедной девушки. Место хорошее, есть имение в Курской губернии и пишет... И, кажется, добрый и серьезный человек.

И в этой маленькой чистенькой зале, в которой Скворцов сидел по вечерам, казалось так хорошо и уютно. И чай, и хлеб, и масло казались необыкновенно вкусными. И какая славная эта старушка, пестовавшая племянницу с тех пор, как «Веруша» осталась сиротой. Они так любят друг друга!

Скворцов видел, что Вера Борисовна с ним мила и проста как с добрым знакомым, но не больше. Отношения завязывались дружеские. С ним не стеснялись говорить о своих делах и, разумеется, не жаловались. Молодая девушка сочувственно разделяла его взгляды, охотно слушала книги, которые он читал, и серьезно внимала его речам.

Но, разумеется, Скворцов не решался сказать Вере Борисовне то, что она уже отлично понимала.

Ему тридцать восемь. Ей двадцать два.

Но наконец признался, что любит Веру Борисовну, и просил ее быть его женой.

Он застенчиво и виновато произнес эти слова и почти не сомневался, что молодая девушка откажет.

«Разве может она полюбить меня?» — думал он, не глядя на молодую девушку.

А Вера Борисовна протянула руку Сергею Ивановичу и сказала, что он ей нравится. Она согласна быть его женой.

— За такого немолодого? — проговорил Скворцов, точно не веря своему счастью.

— Да разве вы старик, Сергей Иванович? — с удивлением ответила Вера Борисовна ласково.

Скворцов был в восторге и, целуя руку Веры, торжественно обещал сделать все, чтобы Вера не раскаялась. Он верит в нее как в бога и нашел в ней родственную душу. И с необыкновенной серьезностью прибавил:

— Но если вы раскаетесь... Если полюбите другого... Не жалейте меня, Вера Борисовна! Скажите, если не догадаюсь... Клянусь, я не стану вам на дороге.

Вера крепко пожала руку Скворцова. И, оставляя свою маленькую руку в его руке, проговорила таким тихим, значительным голосом:

— Надеюсь, и вы не раскаетесь! — И снова пожала руку Скворцова.

Она, эта серьезно-спокойная девушка, ослепительно белая и свежая, стройная и дивно сложенная, с ясным проникновенным долгим взглядом больших серых глаз, с едва уловимой манящей улыбкой, взволновала влюбленного Скворцова.

И он привлек к себе эту невесту и целовал ее полу-раскрытые губы. Она не уклонялась. Напротив, она от-

вечала долгими и горячими поцелуями. Они казались Скворцову каким-то откровением неизведанных чар,— и он пьяnel.

Но Вера уж отвела губы. Лицо ее, по-прежнему ласково улыбающееся, казалось ангельски-спокойным! Только чуть-чуть зарумянилось. И, словно не замечая восторженно-осовелого лица жениха, Вера Борисовна повела речь о том, что она постарается дать счастье Сергею Ивановичу, и добросовестно призналась, что бесприданница.

Скворцов посвятил в свои дела. На службе он получает три тысячи, и литературная работа дает полторы. Кроме того, у него есть в Курской губернии имение, от которого получает до трех тысяч. И скоплено десять тысяч. Он не проживал доходов.

— И все это ваше! — восторженно прибавил Сергей Иванович.

— Куда так много?.. Я не привыкла к роскоши! — сказала Вера Борисовна, втайне обрадованная, что жених более богат, чем думала.

Нечего и говорить, что приданое Веры Борисовны было роскошное. На этом настаивал жених, и она охотно уступала. Он торопил свадьбу. Через месяц они поженялись и после свадебного путешествия за границей вернулись в уютную петербургскую квартиру, которую Скворцов так полюбил.

II

Устраивали «гнездо» вместе жених и невеста и торопились с ним, чтобы оно было вполне готово к возвращению в Петербург.

Скворцов, живший холостяком скромно и бережливо, подумывавший до встречи с Верой Борисовной оставить службу, не внушавшую честолюбивых мечтаний, и переселиться в деревню, теперь уже не думал лишиться трех тысяч казенного содержания. Он решил тянуть «лямку» и не жалел своих сбережений на такое «гнездо», чтобы оно понравилось будущей жене.

«Да и такая обворожительная женщина, как Вера, будет еще красивее в красивой рамке, нарядная и довольная комфортом», — думал Скворцов, любуясь

влюбленными глазами красивой невестой. И наконец до сих пор она, трудившаяся девушка, всю жизнь испытывавшая недостатки и лишения, обрадуется несравненно лучшим положением.

Несмотря на очень скромные привычки, Вера Борисовна обнаружила много вкуса и имела немало желаний, которые, впрочем, старалась таить, чтобы не смущать влюбленного. И с наивностью ребенка, не понимающего стоимости дорогих вещей, Вера Борисовна восхищалась в магазинах красивыми и изящными вещами, обращая на них внимание Скворцова.

Он узнавал от приказчиков «серые» цены; Вера Борисовна изумлялась и, решительно останавливая жениха, говорила:

— Уйдем, уйдем... Не покупай, милый... Это дорого!

Но Сергей Иванович с порывистой тароватостью влюбленного человека хотел покупать, не торгуясь, то, что нравилось Vere Борисовне, и восхищалась ее деликатностью, когда она, ласково улыбаясь, отговаривала его и прибавляла:

— Зачем такая роскошь? К чему?

Скворцов настаивал и умолял, доказывая, что покупать дорогие вещи выгоднее, и Vere Борисовна наконец уступала и при покупке мебели и посуды и при заказах роскошного белья и элегантных капотов и дорогих платьев.

И Vere Борисовна была довольна, хотя и называла Сергея Ивановича мотом.

Медовый месяц в Италии пролетел как миг. Vere Борисовна находила природу прелестной, посещала картинные галереи и слушала мнения о них Сергея Ивановича, восхищалась роскошными отелями и подарками мужа.

Он вернулся в Россию, чувствуя себя помолодевшим, безумно влюбленным и счастливым.

И как же благодарила судьбу Vere Борисовна, мечтавшая о хорошей партии как об единственной карьере для бедной девушки, которая не обладает талантами.

После серенькой полубедности и завистливого раздражения против обеспеченных женщин, после унижений красивой и самолюбивой девушки, которые она ис-

пытала при ухаживании мужчин, готовых предложить любовь и средства без брака и флирт без надежды на хорошее замужество,— теперь она добилась «счастья», как называла обеспеченную и покойную жизнь, которой так упорно хотела.

Она — полная хозяйка «у себя», в своем уютном «гнезде». Она одевается хорошо и носит красивые бриллианты. Многие женщины ей завидуют. Мужчины смотрят на нее и уже не смеют ухаживать, как прежде, унижая ее. Она не знает и никогда больше не узнает озлобления и унижения бедности, зависти к счастливцам и скуки бесцельной работы за тридцать рублей...

А муж?

Он порядочный и умный человек, безгранично любящий и влюбленный, и она добросовестно старалась сделать его жизнь счастливой.

И он был счастлив.

Молодая женщина умела очаровать Сергея Ивановича и хорошо понимала, силою каких именно чар она владела мужем как рабом. Но, пользуясь ими, никогда не показывала власти.

«Подчинения мужчины не любят. Ведь они считают себя господами. Пусть властительница мужа кажется ему покорной женой!»

И Вера Борисовна нередко думала с смелой откровенностью:

«Сколько нужно характера, выдержки, скрытности и лицемерия, чтобы завоевать себе властное право женской победы и дать мужу уверенность в любви жены и в своем безоблачном счастье!»

Молодая женщина ценила любовь Сергея Ивановича и была привязана к нему как к человеку, который дал ей «счастье»; но любви, разумеется, быть не могло.

«Если бы Сергей Иванович был моложе и красивее!» — все чаще и чаще стала думать Вера Борисовна и, отдаваясь ласкам влюбленного мужа, она мысленно повторяла циничные слова какой-то французской актрисы о своих поклонниках: «Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!»¹.

¹ Это доставляет им такое удовольствие, а мне так мало стоит (франц.).

В эту Страстную субботу, после вечернего чая с озабоченной хлопотами женой, Скворцов читал книгу, полулежа на широкой сафьянной тахте в своем уютном щеголеватом кабинете, полном белого света электричества в матовых лампах сверху. Пол, занавеси, сафьяновая мебель, несколько библиотечных шкапов и большой письменный стол среди комнаты блистали чистотой и порядком. Этот стол, по обыкновению, убирала каждое утро Вера Борисовна в капоте, прикрытом кокетливым ярким фартуком, в белом чепце на пушистых волосах. Она сметала пуховкой пыль со стола, на котором красовалось несколько ее фотографий и изящные письменные принадлежности и разные безделки, подаренные ею в дни рождения, именин, Рождества и Пасхи. Она знала, что эти маленькие подарки очень трогали Сергея Ивановича. Вера обтирала вещи и складывала бумаги и книги на столе так же, как и лежали, одним словом — прибирала стол, как бы священнодействуя у мужского «алтаря».

Сергей Иванович, верный как влюбленный супруг и потому не имеющий каких-нибудь секретов в ящиках стола, был рад, что жена заботлива и стол его в таком образцовом порядке.

«О, пестунья моя!» — умиленно думал муж, присаживаясь по вечерам к столу за спешный доклад, о котором просил директор департамента. И Скворцова трогало, когда жена работала над каким-нибудь рукodelьем или читала журнал и дарила мужа ласковым словом соболезнования, что он много работает, и одним из тех долгих поцелуев, который заставлял его повторить же-не, что она «родственная душа».

На все остальное в кабинете старательно и угрюмо «наводил чистоту» Игнатий, пожилой, молчаливый и далеко не представительный слуга, который жил у Сергея Ивановича до его женитьбы и очень был доволен барином. Он не требовал особой чистоты в квартире, не считал своего лакея лентяем и дерзким и не замечал кое-каких надбавок на цены покупок.

Но с тех пор, как явилась барыня, Игнатий понял, что пошли «строгости» и что, по всем видимостям, барыня характерная и из-за пустой неисправки с самым кротким видом даст расчет. И Игнатий под-

тянулся и, избегая «придирок», стал менее ленив и дерзок.

«Черт, мол, с ней! Небось раньше пешком трепала в погоду, а теперь резонится!» — осуждал Игнатий Веру Борисовну.

Скворцову он вначале изумлялся и не без презрения думал про него:

«Кажется, господин неглупый и с понятием, а влюбимшись до потеряности, в низкой покорности у жены».

И, далеко не поклонник равноправности мужей и жен, Игнатий решительно не одобрял «помрачения рассудка» в мужчине, да еще не старом. Жена что хочет, то и делает, а муж только будто глава в доме... «Все как ты, Сергей Иванович!.. Как хочешь, Сергей Иванович!.. Ловко!»

Нечего и говорить, что Игнатий, уже не пользовавшийся прежним привилегированным положением, трусил мягкой, но строгой молодой барыни и, почтительный, в душе не терпел Веру Борисовну.

Немало видел он разных «мерзостей», как называл он семейные дрязги, в разных домах, в которых служил и лакеем и камердинером. И сам неудачно выбравший себе жену и брошенный ею, Игнатий был большой скептик в суждениях о семейном счастье и лукавстве и коварстве женщин и не очень-то верил в Веру Борисовну.

Несмотря на ее неустанную внимательность к мужу и заботы о Скворцове, Игнатий все-таки подозревал, что эта всегда спокойная тихоня показывает себя примерной женой по расчету и ведет свою «линию», форменно околпачивая своего не очень-то из себя казистого и «обалдевшего» от любви супруга.

«Наверное, путается на стороне с молодым любовником!» — думал Игнатий.

Как ни следил за Верой Борисовной Игнатий, ничего не высledил. Но он все-таки продолжал не доверять ей и решил, что она очень скрытная, умная «бестия» и ловко замечает свои следы.

«Все, мол, шито и крыто. Сергей Иваныч, верно, уж записал свое имение на жену».

В одиннадцатом часу в кабинет вошла своей неспешной грациозной походкой Вера Борисовна в красном капоте — «кардинале». Она была в красных, отороченных мехом туфельках на шелковых черно-розовых чулках, сквозь которые сквозила белизна ног, в папильотках у лба, с оголенными красивыми руками, с блестящими кольцами на безымянном пальце и мизинце одной руки. По обыкновению, ласковая и спокойная, она присела на тахту около мужа. От ее тела шло тонкое благоухание.

Скворцов отложил книгу и, обрадованно целуя руку жены, проговорил:

— Пасхальные заботы окончила?

— Все окончено. Умылась и зашла посмотреть, что делаешь...

— Читал, Вера.

— Интересная книга?

— Очень.

— А я целый день хлопотала... И все удалось. Пасхи, верно, понравятся. Кажется, хороши. Сама делала. Ведь ты их любишь, Сергей! — прибавила Вера Борисовна.

— Милая ты моя хозяйка!

И Сергей Иванович любовался своей милой женой.

— Ты что так смотришь?

— А гляжу на мою красавицу и думаю, как я безгранично счастлив с тобой и как ты балуешь меня.

И прибавил:

— Иногда просто не верится счастью. И как же я привязан к тебе, родная, если бы ты знала!

— Знаю, милый.

— А я надоедаю признаниями? Ты не слушай их, если надоело, — промолвил добродушно Скворцов.

— Это не надоедает, — шепнула, улыбаясь, молодая женщина.

Она взглянула на это дышавшее беспредельной любовью лицо, и большая шишка на лбу, как всегда, втайне раздражала Веру Борисовну. Раздражали ее и эти постоянные признания в серьезном и умиленном тоне. Ей казалось, что после пяти лет можно бы и несколько успокоиться на лаврах.

И, отведя глаза, Вера Борисовна сказала:

— А я немного растранижирила, Сергей, к праздникам... Не более ста рублей.. А у тебя много предстоит праздничных?

— Рублей пятьдесят, как всегда...

— Ничего не ждешь к празднику?

— Чего же?

— Звезды...

— Ты разве хочешь, чтобы я имел звезду? — шутливо спросил Сергей Иванович.

— Зачем мне она? Но все-таки...

— Честолюбива за меня?

— Пожалуй... отличие...

— Я ведь не честолюбив, Вера...

— Но ты так много работаешь. Министр мог бы признать это...

— Он знает, что служу ради средств, и средства мне дает... И награды назначает денежные... Это умно... Разве не так, Вера?

— Конечно... А ты не устаешь?

— Отчего ты спрашиваешь? Или стареюсь? — с тревогой спросил муж.

— Не кокетничай, пожалуйста... Точно я не знаю, какой еще ты молодой! — чуть слышно проговорила Вера, улыбаясь глазами.

Она знала, что это был самый приятный комплимент влюбленному пожилому мужу, и видела, как он радостно просветлел, когда ответил:

— И если душа во мне молода, Вера, то ты, моя чаровница... Ты...

— Но меня все-таки беспокоит, что ты так работаешь в министерстве из-за меня... И если ты устаешь, если захочешь бросить службу, можно уехать в имение. Я хоть и не привыкла к глухи, но для тебя...

— И не устаю, и никуда не хочу отсюда... Тебе здесь хорошо,— и я счастлив. Точно не знаешь, милая! — порывисто воскликнул Сергей Иванович.

Разумеется, Вера Борисовна видела, что муж и утомляется и скрывает от нее недомогание после службы, что он с удовольствием вышел бы в отставку и поехал бы искать «идиллию» в имение вместо того, чтобы

изнывать над работой, которая ему не нравилась; но она так же хорошо знала, что он не выйдет в отставку и не уедет из Петербурга, который ей нравится и где муж хорошо зарабатывает.

Да и не похоронить же себя в деревне?

И Вера Борисовна уже более не говорила об утомлении Сергея Ивановича. Она сказала о том, что завтра у них, верно, будут обедать брат Сергея Ивановича, две знакомые барышни и двоюродный ее брат, студент.

— А разве Басков не будет? Не звала? Ведь он всегда в этот день у нас обедает... Или мой приятель тебе надоел?..

— Я ничего против него не имею, Сергей... Он привязан к тебе и любит поговорить с тобой. Верно, придет поздравить, и мы оставим его обедать... Ну, до свидания... Пора одеваться и ехать к заутрене... Ты ведь не поедешь со мной?

— Прости... Не поеду... Ты возьмешь Игнатья?...

— Зачем? До «Уделов» два шага. Погода прелестная, и я дойду. А Игнатьй должен накрывать пасхальный стол.

С этими словами Вера Борисовна пошла одеваться.

Через полчаса она пришла показаться в белом платье.

— В первом часу вернусь из церкви. Похристосуемся, разговеемся и скорее спать. Я устала сегодня!

Но Вера Борисовна не казалась утомленной.

Необыкновенно интересная и блестящая в своем нарядном платье, лиф которого обливал красивые формы бюста, она, обыкновенно спокойная, была оживленнее. Ее лицо слегка зарумянилось, и большие серые глаза блестели.

— До свидания, Вера! И какая же ты красавица! — будто подавленный от восторга произнес Сергей Иванович.

Она улыбнулась и торопливо вышла.

Скворцов проводил жену и, вернувшись в кабинет, вынул из ящика письменного стола футляр, полюбовался бриллиантовыми серьгами, которыми похристосуется с женой, и, радостный, что обрадует Вера своим роскошным подарком, положил футляр на стол и, усевшись на тахту, принялся за книгу.

Прошло четверть часа, и Скворцов поморщился. Он перестал читать и озабоченно потрогал бок.

Он почувствовал тупую боль. Она не проходила. Минительный и особенно заботившийся о своем здоровье с тех пор, как женился, он давно уже лечился массажем и душами, ходил пешком и часто советовался со своим старым приятелем, Дмитрием Александровичем Басковым, известным врачом, который раза два в неделю приходил к Скворцову обедать.

Этот веселый и остроумный доктор, крепкий, здоровый и румяный, с большими бойкими голубыми приветливыми глазами и крупными белыми зубами, рассказывал за обедом анекдоты и свои наблюдения над пациентами. Болтал он преимущественно с Сергеем Ивановичем, с которым был давно на «ты», и мало обращал внимания на его красивую жену. Он громко и вкусно смеялся, ел за двоих и выпивал бутылку хорошего красного вина.

После обеда он шел в кабинет выпить кофе с *fine champagne*¹, выкурить тонкую сигару и узнать о здоровье приятеля. Но, найдя, что он в «порядке», через полчаса уходил, угостивши иногда, в качестве «нераскаянного холостяка», каким-нибудь скабрезным анекдотом или откровенным добродушным признанием, что хоть супруга Сергея Ивановича и прелестная женщина, но — «уж ты не сердись, влюбленный муж» — не его романа.

И Сергей Иванович не только не сердился, но, крепко пожимая широкую руку Баскова, просил его не забывать и чаще заходить обедать.

Скворцов взглянул на себя в зеркало. Его худое длинное лицо с коротко остриженными волосами — ничего себе. Свежести нет и цвет лица «петербургский» — желтоватый, без намека на румянец, — но болезненного и осунутого вида нет. Сергей Иванович приложил тонкую выхоленную руку, с безукоризненными ногтями, к покатому, несколько облысевшему лбу: жара, кажется, нет. Значит, процесса в боку не может быть... Но вместо тупой боли начались покалывания... Это раздражает и тревожит Скворцова... И минительность

¹ коньяком (франц.).

растет... Он как нарочно вспоминает о недавней смерти одного сослуживца. Был здоров и вдруг почувствовал боли в боку,— и через три месяца похоронили от скотречной чахотки...

«Всякую болезнь следует захватить в начале!» — думал Скворцов и, начинавший трусить, решил тотчас идти к Баскову.

Он живет близко и, наверное, дома; читает медицинские книги — не отстает от науки и после одиннадцати к больным не ездит. Он выслушает легкие Сергея Ивановича и, вероятно, объяснит эти покалывания в боку и успокоит. Успокоится и Вера. Ведь она так заботится об его здоровье... еще только что тревожилась: не устает ли он от занятий...

— Милая! — умиленно проговорил Сергей Иванович.

И вспомнил, что Вера забыла пригласить обедать завтра Баскова... Она молодец: умеет угостить хорошим обедом... Басков любит поесть и собеседник приятный... Форель и индейка, начиненная трюфелями, это умно придумала «Верушка», — про себя называл Скворцов жену, не называя громко ее этим уменьшительным именем: оно ей не нравится.

Скворцов позвонил Игнатию и велел подать зимнее пальто.

— Теплая погода, осмелюсь доложить, Сергей Иванович! — предупредил Игнатий.

— Подайте все-таки зимнее пальто... Погода капризная... Надо беречься, Игнатий! — приветливо и озабоченно ответил Скворцов и, одевшись, вышел.

VI

Погода в эти апрельские дни стояла в Петербурге на редкость.

Ночь под Светлый праздник была тихая, теплая и лунная. В воздухе пахло весной. И Скворцову казалось, что бок сильнее побаливает.

Он чувствовал себя несправедливо обиженным, словно бы виноватым перед молодой женой, и в голове его бродили грустные, митительные мысли о будущем. Он жалел себя вперед. Сергей Иванович так счастлив с Ве-

рой, он так желает здоровья — и что может случиться...
Что если он серьезно заболеет и...

Скворцову стало жутко, страшно при мысли, что Вера останется вдовой... Сколько тревог и горя бедной женщине... Она так привязана к нему... Сколько нежной любви... По крайней мере Вера будет обеспечена. Завещание давно написано: имение перейдет к ней, и небольшой пенсион получит...

«Какой вздор лезет в голову!» — мысленно проговорил Сергей Иванович.

В зимнем пальто ему было жарко, и Скворцов шел по утихавшей улице медленным шагом, чтобы не разгрячиться на скорой ходьбе. «Простуда так опасна, и Петербург такой подлый по климату», — подумал Сергей Иванович.

Он уехал бы из Петербурга на юг, но Вера не любит провинции, и он не говорит об этом... Он ведь дорожит ее счастьем. Пока здоровье позволяет ему жить в Петербурге, он не оставит службы.

В голове Скворцова пронеслась горделивая мысль собственника — мужа такой прелестной женщины. Но его самолюбию стало обидно, когда он вспомнил, что у них детей нет.

«Хоть бы один ребенок — сын, конечно!» — мечтал муж, считая, что жизнь и его и жены была бы еще полнее и счастливее. Вера такая цветущая, а бездетна...

И Скворцов решил, что и об этом надо как-нибудь поговорить с Басковым.

Через четверть часа Сергей Иванович вошел в подъезд и обрадовался — покалываний в боку нет. Поднялся во второй этаж — никакой боли. Грудь дышит свободно...

Обрадованный и сразу ободрившийся, Сергей Иванович подошел к двери квартиры приятеля. Дверь приоткрыта.

Он все-таки надавил звонок. Прошла минута, другая: никто не являлся.

Скворцов сообразил, что прислуги, верно, нет. Он вошел в прихожую и прихлопнул двери.

Гостиная была освещена. В комнатах тишина.

Скворцов прошел в освещенный кабинет и так и замер, точно увидал нечто неожиданное и ужасное.

Он мертвенно побледнел. Ни один мускул не двигался на его точно парализованном лице,— только губы судорожно подергивались. Глаза с расширенными зрачками неподвижно остановились на кресле у письменного стола.

Там, словно бы брошенная, лежала нарядная суконная ротонда и на ней белая шляпка.

Прошла секунда, другая. Скворцов немного пришел в себя. Казалось, луч надежды блеснул в его глазах.

И, осторожно ступая по ковру, покрывавшему всю комнату, Сергей Иванович приблизился к столу и стал осматривать ротонду.

«Быть может, похожая?» — пронеслось в голове Скворцова.

О, как ему хотелось, чтобы он ошибся!

И он дрожащими руками ощупывал ротонду и нашупал маленький бумажник. Достал и заглянул на визитные карточки: Вера Борисовна Скворцова.

Но ему теперь казалось мало доказательств.

И, словно подкрадывающийся вор, он пробрался к запертым дверям спальной и, весь вздрагивающий, точно его было в лихорадке, сдерживая дыхание, он прислушивался с больным и жадным любопытством. И воображение рисовало жену в объятиях этого подлеца.

До его слуха донеслись веселые, счастливые голоса...

Сергей Иванович слушал. И его охватывала и обида и смертельная тоска...

«Какая лживая!» — подумал он. Злобное чувственное оскорбление душило его. Но он не отходил от двери.

За ней голоса смолкли.

Скворцов неосторожно задел ручку двери.

— Кто там? — раздался вдруг басистый, раскатистый голос Баскова.

И не успел Скворцов сделать несколько шагов, как в кабинет вошел Басков в наброшенном на сорочку халате и на босу ногу.

— Ты? — изумленно произнес Басков.

Лицо его поглупело от выражения приниженной виноватости и тупого страха, словно бы у собаки, пойманной на преступлении хозяином. Басков даже не пожал руки приятеля.

Не протянул руки и Скворцов.

Растерянный и сам испуганный, он с особенной любезностью проговорил:

— Это я... Не дозвонился... Дверь была незаперта... Зашел звать тебя завтра обедать... Индейка с трюфелями... Придешь?

— Спасибо, голубчик... Непременно!.. — сконфуженно ответил Басков.

И, взглядывая на страдальчески улыбающегося Скворцова и потом на ротонду и шляпку, доктор быстро оправился и с добродушной шутливостью прибавил, понижая голос:

— А ты, Сергей Иваныч, застал меня врасплох. Одна француженка, Берта, у меня... Дурак-лакей не запер двери... Ну, да ты... приятель...

— Извини, что помешал... До свидания, Дмитрий Александрович!

Басков крепко пожал руку приятелю и сказал:

— А тебе надо прописать бром... Устал... Осмотрю тебя на днях... Мое глубочайшее почтение супруге!.. — прибавил он почтительным тоном.

И провел Скворцова до дверей.

Через пять минут Сергей Иванович на извозчике приехал домой.

Он прошел через столовую, где пасхальный стол уже красовался во всем блеске, и бросился на тахту в кабинете.

Безнадежный сидел он, и казалось ему, что жизнь теперь не нужна. Он думал, что такого несчастного и так жестоко обманутого нет на свете, и не мог решить, как ему поступить. Впереди одиночество... Тоска!.. Развод или разойтись?.. Разумеется, он сегодня же будет спать в кабинете!..

— И как она войдет в дом? — прошептал Сергей Иванович.

Но в первом часу Вера Борисовна вошла как ни в чем не бывало. Красивая, ослепительная, спокойная и ласковая, ясно глядевшая на мужа своими нежными глазами, она подошла к Сергею Ивановичу и проговорила:

— Христос воскрес!

Он сконфуженно ответил:

— Воистину!

И Вера Борисовна горячо похристосовалась.

Сергей Иванович, ни слова не говоря жене, подошел к столу и подал жене футляр.

— Милый! — шепнула Вера Борисовна, взглянувши на брильянты, и, довольная и счастливая, она прильнула к его губам.

Сергею Ивановичу показалось, что он был во сне.

— Пойдем... Съешь что-нибудь... Не болен ли ты?..
Ты мрачный и бледный... Что с тобой?

— Нездоровилось... Ходил к Баскову...

— И что же он сказал?..

— Не смотрел... На днях...

— Скорей ляжем спать, и ты отдохнешь...

И Вера Борисовна, взглянув на мужа, поняла, что власть к ней вернется.

Действительно, Сергей Иванович не решился оставаться без «родственной» души. Он скоро успокоился, постарел, стал более философом и ни разу не проговорился о том, какой сон видел он в ту пасхальную ночь. А Вера Борисовна стала еще ласковее и осторожнее.

ОТЧАЯННЫЙ

(Рассказ из морской жизни)

I

На Транзундском рейде, где практическая эскадра балтийского флота простоявает большую часть короткого лета, стоял броненосный корабль «Грозящий» под флагом младшего флагмана, контр-адмирала почтенных лет, который «выплавывал» свой ценз на старшего флагмана и чин вице-адмирала.

Был первый час пасмурного и прохладного дня в конце июня.

Матросы только что отобедали на судах эскадры. Боцманы просвистали и выкрикнули:

— Команда, отдохать!

Минут через пять боцман «Грозящего» Жданов отхлебывал чай, попыхивая папироской, в своей маленькой каютке на кубрике, чистой и убранной не без претензии на щегольство.

Фотографии высокопоставленных особ, отца Иоанна Кронштадтского и командира «Грозящего» в красивых выпиленных рамках, сделанных одним матросом за «спасибо» боцмана, были развешаны в соответствующем порядке на переборке против койки, аккуратно покрытой серым байковым одеялом, с двумя взбитыми подушками в белых наволоках в изголовье.

А над койкой, на дешевом ковре, красовался в голубой рамке с нарисованными незабудками фотографический кабинетный портрет молодой женщины с миловидным лицом и топорной фигурой, с растопыренными пальцами непомерно больших рук, выставленных, ие-

сомненно, ради колец, с брошкой на короткой шее и с серьгами в ушах.

Нечего и говорить, что эта дама в нарядном платье и в шляпке с перьями была супругой боцмана Жданова.

Он ничем не напоминал боцманов старого времени, этих смелых моряков, совершивших геройские поступки, не догадываясь о своем геройстве, отчаянных ругателей, бесшабашных пьяниц на берегу и огрубелых, но не злых, которые не чуждались таких же бесправных матросов, как и они сами, и, разумеется, считали их товарищами и «кляузы» по начальству считали делом, недостойным боцмана.

К тому же и знали, что матросский линч усмирит боцмана, коли он несправедливый и зверствует в «боев».

Жданов — боцман новых времен и, разумеется, несравненно культурнее.

Это был молодой человек лет тридцати, невысокого роста, плотный, склонный к полноте, франтовато одетый, понимающий «обращение» и не говорящий грубым голосом «луженой глотки», с большими круглыми глазами, усердными и решительными, рыжий, с веснушчатым белым румяным лицом, серезным и самодовольным, выбритый под гребенку и с небольшой подстриженной огненной бородой. На одном пальце опрятной руки — золотое обручальное кольцо, и на мизинце — перстень с бирюзой.

Разумеется, он не пил ни водки, ни вина. Иногда только «баловался» бутылкой пива. И без устали не сквернословил, как виртуоз, а ругался тихо, внушительно и кратко.

Щеславный и самодовольный, он, казалось, весь был проникнут сознанием своего достоинства и держал себя в отчуждении от матросов, чтобы не уронить престижа власти, «связавшись» с необразованной и грубой «матрозней», которая могла бы забыться перед боцманом и притом перед человеком «других понятий». Недаром же он получал газету «Свет», почтывал книжки и считал себя очень умным и проницательным боцманом, который устроит благополучие своей жизни.

С матросами он обращался с внушительной строгостью и был беспощаден, особенно с провинившимися перед дисциплиной, и противоречий не допускал. Зато с офицерами был почтителен до искательности.

Морскую службу Жданов не любил. Особенно не любил и трусил моря, когда оно начинало рокотать и вздувалось большими волнами; но был безукоризненный исполнитель и усердный боцман, щеголявший своим це-дантизмом и безупречным поведением в глазах начальства.

И Жданов, пользуясь своим положением, не разбирая средств в приобретении. За шесть лет службы он скопил деньжонки. Прижимистый и оборотистый, он рассчитывал заняться каким-нибудь торговым делом, когда выйдет в запас.

Матросы боялись и не любили высокомерного и несправедливого боцмана, но он не обращал на это внимания. Жданов был уверен, что капитан и старший офицер ценят и одобряют строгого боцмана. Да и матросы не смели бы жаловаться на него. Они были «надежные», да и он их держал в строгом повиновении.

Один только матрос, первую кампанию служивший на «Грозящем», обращал на себя беспокойное и озлобленное внимание боцмана.

«Совсем отчаянный!» — подумал Жданов.

Он, разумеется, знал, что во время отдыха команды не имел права без особенной нужды беспокоить матросов, но потребовал Отчаянного.

II

Когда молодой, худощавый, чернявый матрос маленького роста вошел в боцманскую каюту и без всякого страха остановился у двери, боцман уж начинал беспокойно злиться.

Он медленно допивал стакан, умышленно не обращая внимания на матроса.

И наконец, подняв на него злой неподвижный взгляд и понижая голос, значительно и медленно проговорил:

— Митюшин!

— Есть!

— Догадался, по какой причине боцман тебя потребовал?

— Я недогадливый! — ответил Митюшин.

Матрос не назвал боцмана Иваном Артемьевичем. Не вытянувшись перед ним, он стоял в непринужденной

позе. Его смуглое с тонкими чертами лицо, обыкновенно подвижное, словно бы застыло в его серьезном и строгом выражении. В сдержанном официальном тоне мягкого тона голоса как будто звучала ироническая нотка, и в быстрых, острых, черных глазах Митюшина мелькнула насмешливая улыбка и исчезла.

«Ишь как стоит перед боцманом!»—подумал Жданов. И, сдерживая гнев, самолюбиво покраснел и сказал:

— Так догадайся.

— Насчет чего?

— Хотя бы насчет того, что я насквозь вижу человека и могу его понять.

Митюшин молчал, словно бы поддразнивая боцмана.

— Сообразил?

— Видно, не сообразил!

— А еще много воображаешь о себе! — презрительно кинул Жданов.

Митюшин не возражал. Только глаза улыбнулись, верхняя тонкая губа в углу рта подергивалась, и лицо приняло вызывающее и слегка надменное выражение.

Боцман чувствовал едва скрываемое пренебрежение к себе матроса.

С каким наслаждением искровянил бы он эту «дерзкую рожу»! Но Жданов трусил Отчаянного. От него всего можно ожидать.

Изнывая в злобе и едва сдерживаясь, боцман еще медленнее «пытал» Митюшина, проедив с угрозой в скрипучем своем голосе:

— Как бы не вышло с тобой серьезных неприятностей!

Митюшин словно бы нарочно зевнул с видом человека, которого не пугают угрозы боцмана, а только наводят скуку, и равнодушно спросил:

— Какие еще неприятности?

— Дурака не строй... Не дерзничай... Ты с кем говоришь?

— С боцманом.

— Так смотри же у меня! — грозно крикнул Жданов, начиная терять самообладание.

— Что мне смотреть?

— Я тебе покажу, какие боцмана!

— Что показывать? Видел, какие из вас боцмана... А службу я сполняю как следует и закон понимаю.

— По-ни-ма-ешь? — выговорил раздельно боцман, багровея.

— Очень даже понимаю! — вызывающе бросил матрос.

Жданов вскочил словно ужаленный с табуретки и задыхающимся злобным голосом проговорил:

— Разве не знаю, какой ты отчаянный матрос и какие твои беззаконные мысли?.. О каких ты правах толкуешь матросам и перед ними куражишься?.. «Я, мол, все понимаю и ничего не боюсь, а вы, мол, терпите беспрекословно...» Знаю, какой ты пересмешник выискался и смехом порочишь начальство, которое почитать обязан по присяге. Так я с тебя этот форц собью. Поставлю в дисциплину на линию. В штрафные недолго перевести, хоть ты и первой статьи матрос. А тогда и по закону будут тебя пороть, умника. А прежде и без закона отполируют, как доложу, какой ты есть паршивая овца. Узнаешь, как бунтовать и команду мутить...

Матрос вспыхнул и с залестевшими злым огоньком глазами взволнованно проговорил:

— Что ж! Доноси по начальству... ври!.. Я найду свои права!

— Молчать перед боцманом!..

— Я слушал твои умные речи. Послушай и мои, — решительно и возбужденно заговорил Митюшин. — Мы ведь с глазу на глаз. Может, и не слыхал от людей, какой ты бесстыжий и какой взяточник, боцман... Доноси, господин боцман. Пусть меня отдадут под суд, с моим удовольствием... Не сдрейфлю! Быть может, правда всплынет, как ты с матросов деньги берешь да на себя заставляешь их работать. Кто стул, кто обшивай, кто сапог, кто тебе заместо вестового... Драться прав нет, а вы, сволочь, боцмана да унтерцеры, зубы выбиваете... Знаете, что боятся жаловаться, так вы тиранствуете?! И как бы деньгами где поживиться... Это тебе вместо бога... Бог-то только на языке, а в душе один рупь-целковый да беззаконие! И как я ежели говорю, что на закон плюют и совесть забыли, — так я, по твоему воображению, бунтовщик? Ежели понимаю, что не-правдой живете, так это бунт?! Свой же брат, такой же подневольный мужик был, а грозит в штрафные да по-

роть... Полагаешь — испугать и на линию поставить. Умник. Насквозь человека видишь, а не видишь, что не всякий свинья и за грош душу не продаст. Да и старшему офицеру, видно, не в догадку, какой ты во всей форме мерзавец.

Этот великолепный и благополучный боцман, считавший себя необыкновенно важной особой на корабле, ахнул от изумления и, растерянный, не останавливал дерзких слов возмущенного матроса.

Но прошла минута, и Жданов двинулся к матросу, помахивая кулаком.

Побледневший как смерть Митюшин не подался шагу назад и, решительно глядя в глаза боцмана, крикнул:

— Смей только. Искровянию твою сытую свинью морду!

И Жданов отвел свой взгляд. Кулак боцмана опустился. И еще медленнее прохрипел он сдавленным от злобы голосом:

— Поймешь, как найдешь свои права! Узнаешь, что с тобой, отчаянным, будет за оскорбление боцмана... Вон!

— Доноси, Иуда! Как бы самому не поперхнуться... Не все же поверят, что ты бунт открыл! — презрительно кинул матрос...

С этими словами Митюшин вышел из боцманской каюты.

III

И матросы называли Митюшина «Отчаянным».

Они дивились «башковатому» и беспокойному маленькому матросу, который «ничего не боится», так как горячится против несправедливости и «обижается», если что не по закону.

Матросы любопытно слушали возбужденные страстные речи, но недолюбливали и побаивались «законника» за его подчас ядовитые шутки и насмешки и часто не понимали, из-за чего «кипятится» этот образцовый по службе матрос и за что постоянно «скалит зубы» над своим же братом.

— Одно слово — отчаянный и много о себе полагает! — говорили про Митюшина.

Отчаянный чувствовал, что его алчущая правды душа не встречает сочувствия и что он, нелюбимый за язык, одинок.

И все-таки призывал возмущаться неправдой, издавался над равнодушными.

Теперь в беспокойном сердце Отчаянного прибавилась обида, и тяжкая обида. Нашелся матрос, который на своего же брата наущничал «подлецу» боцману — и за что? За то, что Митюшин матросам же хочет добра, защищая «закон»!

Митюшин знал, что против дисциплины виноват, «отчекрыжив» боцмана, и что, во всяком случае, будет «разделка». «Пожалуй, и под суд отдадут, ежели подлый боцман прибавит старшему офицеру всякого вранья и кляуз!» — рассуждал Митюшин.

И в минуты сомнения насчет торжества правды его воображение рисовало уже нещадную оскорбительную порку «по закону» после перевода в штрафные.

Но Отчаянный не только не сожалел о случившемся, а, напротив, испытывал нравственное облегчение. Острое беспокойство возмущенной души точно утихло после того, как боцман получил вполне им заслуженную сдачу.

«По крайней мере пусть знает, какой он подлец!»

Митюшин предполагал, что боцман уже докладывает старшему офицеру об «отчаянности» подчиненного и после отдыха старший офицер позовет к себе и потребует объяснения.

Отчаянный нетерпеливо и тревожно ждал призыва. И думал:

«Хотя старший офицер и строгий, но позволит обсказать все дело и тогда поймет, что исправный и усердный по службе матрос, который ни разу еще не был беззаконно наказан, не в отместку за себя «сдерзничал» боцману. И какой же Митюшин бунтовщик, если он только «беспокоится» из-за закона и подлости боцмана?»

Отчаянный не спал. Не до сна ему было.

Он повторял в уме то, что объяснит старшему офицеру, настроенному боцманом, и смелость Отчаянного диктовала смелые слова. Они, казалось ему, должны быть так же убедительны, как сама правда.

И сомнения рассеивались, как тучи ветром. Беспокойному мечтателю-матросу верилось, что правда «окажет» и что старший офицер «полным ходом войдет в понятие».

Митюшин вспомнил, что до сих пор его не обескураживали на «Грозящем».

Действительно, он завоевал себе некоторое уважение.

На «Грозящем» были офицеры, которые напоминали старые времена флотской «выучки». Она, казалось, снова входила в моду, и даже юные мичманы наскакивали с кулаками на людей и не испытывали ни малейшего смущения.

Но все эти господа, по-видимому, понимали, что Митюшин выделялся из толпы матросов и сознанием человеческого достоинства и пониманием своих прав. И потому закон оберегал неприкосновенность его тела. Да к тому же толковый и усердный матрос безукоризненно служил и не давал повода офицерам к «выучке».

Час отдыха прошел. Просвистали «вставать».

Вслед за тем пробила тревога к артиллерийскому учению.

IV

На мостик поднялся толстый, небольшого роста адмирал, с седой бородой, обрамлявшей добродушное полное лицо, довольный и ласково улыбающийся, каким привыкли все видеть младшего флагмана, когда он «выплавывал» свой ценз для увенчания его морской карьеры на якоре и, следовательно, не опасался за целость его броненосцев,— ведь эти великаны требуют искусного управления, и они часто «напарываются» на камни или притыкаются к мелям.

Адмирал смотрел на ученье, и маленькие добрые глаза его превосходительства принимали выражение мечтательного восторга при виде этих быстро заряжаемых гигантов орудий, точно адмирал представлял себе настоящий бой, насколько могло представить воображение человека, не бывавшего в боях, и — «Грозящий», натурально, победителем какого-нибудь «торгаша англичанина».

— Превосходно-с, Виктор Иваныч! С особенным удовольствием смотрю на наших молодцов... Картин-

на-с,— проговорил адмирал, обращаясь к капитану, стоявшему чуть-чуть сзади его, и приподнял голову и молодцевато выгнул грудь, чтобы казаться более высоким и более воинственным.

Пожилой, плотный и представительный брюнет среднего роста, озабоченно и несколько беспокойно глядевший на ученье, приложил пальцы к козырьку фуражки и чуть подался вперед.

— Я и мечтаю-с, Виктор Иваныч... И как думаете, о чём?

— Не догадываюсь, ваше превосходительство!

— О том, что объяви нам Англия войну, так с такими матросиками, как наши, да с таким духом, как у нас,— раскатали бы мы англичан... Главное — дух... Что-с?

— Наверное, ваше превосходительство! — ответил капитан.

И в то же время, сохраняя почтительно официальный вид хорошо вышколенного подчиненного, подумал:

«Не то говоришь ты, адмирал! Нам не сунуться в море. Спрячем свой флот в Кронштадт, и простоит он там! И теперь больше стоим, чем плаваем».

На это капитан, впрочем, не претендовал.

Как и адмирал, он не любил плаваний, которые так издергивали нервы осторожного до боязливости человека, не уверенного ни в себе, ни в тех судах, которыми командовал, пока благополучно «выплавывая» ценз.

Командовал «Грозящим» он только два месяца и, разумеется, не знаяший его качеств (раньше он управлял броненосцами другого типа), был доволен стоянкой в Транзунде и, не без страха ответственности за свой семимиллионный броненосец, думал о переходах по Финскому заливу. Того и гляди... беда.

— Как фамилия этого комендора, Виктор Иваныч? — спросил адмирал, указывая коротким белым и пухлым пальцем на Отчаянного, распоряжавшегося у орудия.

— Митюшин, ваше превосходительство.

— Бравый комендор... Любуюсь им, Виктор Иваныч!

— Усердный матрос, ваше превосходительство... Не правда ли, Иван Петрович?..

Старший офицер, длинноногий и худой капитан второго ранга, лет за тридцать, в очках, с академическим значком на груди поношенного сюртука, озабоченный, раздражительный и несколько ошалевший, точно человек, что-то позабывший, и своей фигурой, и удлиненной формой лица, с длинным носом и круто срезанным лбом, напоминал собой болотную птицу.

Он порывисто подтвердил аттестацию капитана и, обращаясь к адмиралу, прибавил:

— Умный и способный матрос, ваше превосходительство!

— А поведения?

— Благонадежного, ваше превосходительство.

— Значит, не «закатывает»? — добродушно спросил адмирал и рассмеялся тихим мелким смехом.

— Трезвый...

— Так сделали бы его унтер-офицером! — в форме совета промолвил адмирал.

— Он уж на виду к производству... И боцман был вышел хороший, ваше превосходительство.

— То-то я сразу заметил матроса... И лицо открытое... — промолвил адмирал.

Когда артиллерийское учение было окончено, старший офицер подошел к Митюшину и сказал:

— Молодцом, Митюшин! И адмирал тебя заметил.

— Слушаю, вашескобродие! — вымолвил матрос вместо обычного ответа: «Рады стараться».

— Старайся. Унтер-офицером будешь!

По-видимому, это обещание не обрадовало Отчаянного. Он промолчал, и, когда старший офицер пошел далее, выступая длинными ногами и поворачивая по сторонам голову, Митюшин усмехнулся и мысленно произнес:

— Нашел Цапель унтер-офицера! Какова еще будет разделка за боцмана!

«Верно, вечером, когда боцман пойдет к старшему офицеру за приказаниями, оплетет он матроса, и тогда Цапель потребует», — подумал Митюшин.

Но прошел вечер, матросы отужинали, а Митюшина старший офицер не требовал.

Неизвестность тревожила Митюшина. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться сомнениями и услышать слово одобрения.

И он в тот же вечер рассказал о своем столкновении с боцманом рулевому Чижову. Он был аккуратный, исправный и обходительный человек. Себя он не «оказывал», как говорил Митюшин, так как Чижов больше отмалчивался при щекотливых словах Отчаянного на баке или уходил. Но, казалось, понимал его и как-то с глазу на глаз одобрил его слова насчет «закона», хотя и умел в то же время ладить с боцманом Ждановым.

Рассказ Митюшина не вызвал сочувствия в Чижове.

Он покачал белобрысой головой, словно бы сокрушенno, и, оглянувшись вокруг лукавыми раскосыми глазами, тихо проговорил:

— Твое дело дрянь, Митюшин... Крышка!

— Будто? — недоверчиво спросил Митюшин.

— Очень даже просто. Напрасно ты оконфузил боцмана. И безо всякого права. Ведь с тобой он обращался по-благородному?

— Положим...

— В физиономию не заезжал? Боцманских слов не загибал?

— Смел бы!

— Он только почтения требовал... Так чего было с им хорохориться?.. И довел до злобы... Зачем ты связался с боцманом и отчекрыжил, какой он такой... По какому твоему форцу?.. Зачем беду накликал? — сентенциозно, не одобряя поступка Митюшина, прибавил Чижов.

— Зачем? — переспросил Отчаянный.

В его насмешливом голосе звучала грустная нотка разочарования в человеке, на которого надеялся.

— То-то зря... Форц хотел показать боцману... себя потешить? Ну и потешился, а какой прок? Боцмана не обанкротил, а себя зря обвиноватил. Небось боцман с рассудком... Он во всей форме оборудует тебя по начальству... Ответь-ка насчет бунта... Вроде быдто бунт и окажет...

— И отвечу! — возбужденно промолвил Отчаянный.

— Ответишь? Отдадут тебя под суд и в штрафные — это как бог!

— Пусть! — раздраженно, возмущаясь Чижовым, ответил Митюшин.

— Пусть не пусть, а из-за фанаберии отдуешься... Насчет закона горячишься... Права, мол, имеешь? Тебе покажут права... И тебя же люди дураком назовут... Не суйся, мол, в чужую глотку... Мог бы за башковатость и старание в унтер-церы выйти... Ладил бы с начальством и жил бы по-хорошему, с опаской. А теперь за твое мечтание — крышка.. Старший офицер строгий, не простит, потому — неповиновение. За это не прощают. Не думай. И как пойдет опрос, дознаются, что ты насчет закона да про всякое начальство баламутил из-за своего языка... Не стеснялся своего звания... Вовсе как дурак втемяшился... А жил бы да жил, Митюшин, как прочие люди, если бы боцмана не оконфузил...

Отчаянный молчал, словно бы не находил слов, и, казалось, был подавлен.

И Чижов, подумавший, что Отчаянный струсил, привавил:

— Одна есть загвоздка... Избавился бы от беды...

— Какая?

— Повинись пред боцманом. Тоже и ему не лестно, как в суде его обскажут... Пожалуй, простит... А тебе что?..

Отчаянный серьезно ответил:

— Ай да ловко уважил! Спасибо, приятель!

— За что?.. Куда ты гнешь?

— Вполне открылся, какой ты есть, с потрохами!

— Видно, не нравится, что обо всем полагаю с рассудком?

— Даже с большим рассудком — обессудил меня дураком...

— Не лезь на рожон. Не полагай о себе... Помни, что матрос.

— А поклонись я боцману и выйди в унтер-офицеры да беззаконно чисти твою лукавую рожу, так поумнею? Обскажи-ка! — с презрительной насмешкой промолвил маленький матрос.

— Ты все зубы скалишь!..

— А как же с тобой?

— В штрафные, что ли, лестно?

- Беспременно желаю. Оттого и зубы скалю!
- Перестанешь! — злобно сказал Чижов.
- И скоро?
- Хоть завтра пройдет твоя отчаянность!
- По какой такой причине?
- Отшлифуют на первый раз за боцмана. Небось прошлое лето выпороли одного матроса и перевели в штрафные... Очень просто!

Митюшин ужаснулся при мысли, что его завтра же могут позорно наказать, и возмущился, что свой же брат, матрос, точно злорадствует позору ближнего и беззаконию.

Но в темноте вечера у борта на баке, где два матроса беседовали, Чижов не видел бледного, взволнованного лица и сверкающих черных глаз Отчаянного.

— Пусть шлифуют! А ты смотри! — вызывающе кинул он, скрывая свой ужас.

Чижов удивился:

— И с чего это ты такой отчаянный? Не могу я в толк взять...

— Ветром надуло...

— Где?..

— На фабрике.

— Так. А на царской службе тоже, значит, надуло? — иронизировал Чижов, чувствуя себя оскорбленным тоном Отчаянного.

— Верно, что так...

— Чудно что-то...

— Видно, не слыхал, что люди тоскуют по правде? — вдруг воскликнул Митюшин

Чижов недоверчиво усмехнулся.

— То-то не понять! Душа в тебе свиная, а рассудок подлый... Еще рад, что матроса отпорют без всякого закона! Думаешь: только больно, а не то, что позорно и обидно... И что присоветовал?.. Совесть-то в деревне оставил... А я полагал, что ты хоть и трус, — все-таки с понятием втихомолку! — негодующе прибавил Митюшин, возвышая голос.

— Ты что же ругаешься? Это по каким правам?

— Вали к своему боцману... Виляй свиным своим хвостом и обсказывай. Может, и ты ему про меня кляузничал... Так заодно...

— Усмирят тебя, дьявола отчаянного!

И Чижов, полный ненависти к нему, отошел.

Роздали койки. Митюшин долго не засыпал, думая грустные думы.

С полуночи он вышел на вахту и мерно шагал по палубе, ни с кем не заговаривая; он снова думал, одинокий, тоскующий, как вдруг к нему подошел матросик-первогодок.

Митюшин остановился.

— Что тебе? — спросил он.

Матросик застенчиво и душевно проговорил, понижая голос до шепота:

— А тебя, Митюшин, господь вызволит из беды за твою смелость. Я хоть и прост, а понял, отчего ты тоскуешь. Из-за правды тоскуешь. Из-за нее проучил боцмана! Жалеешь матроса, беспокойная ты душа!

— Спасибо на ласковом слове, Черепков! — горячо и взволнованно проговорил Митюшин.

И смятенная его душа просветлела.

Отчаянный вдруг почувствовал, что он не одинок.

VI

Утром, когда на «Грозящем» шла обычная уборка, боцман Жданов был еще неприступнее и ходил по кораблю, словно надутый и обозленный индюк.

Сегодня боцман наводил больший страх на матросов. Более чем обыкновенно, он сквернословил, придираясь из-за всякого пустяка, и несколько матросов прибил с хладнокровной жестокостью, не спеша и молча.

Отчаянный волновался.

Одному матросу, у которого из зубов сочилась кровь, он возбужденно и громко сказал:

— Что ты позволяешь этому зверю боцману тиранствовать над собой? Он не смеет драться!

Матрос молчал. Притихли и другие матросы, стоявшие вблизи. Притихли и любопытно ждали, что будет. Боцман стоял в двух шагах и слышал каждое слово Отчаянного.

Но Жданов только бросил на Митюшина беспощадный злой взгляд и пошел далее, великолепный, строгий и высокомерный.

«Сегодня будет разделка!» — решил Митюшин.

Действительно, за четверть часа до подъема флага вестовой старшего офицера в прыжку подошел к Митюшину.

— Старший офицер требует в каюту! — проговорил невеселым тоном вестовой.

И, понижая голос, участливо скороговоркой прибавил:

— Освирепел... страсть! Сей минут боцман был у Цапеля и на тебя, Митюшин, кляузничал... Я заходил в каюту и слышал, как боцман против тебя настраивал. Так ты знай!

— Спасибо, брат! — порывисто проговорил Митюшин.

— А первым делом помалкивай... Слушай и не прекословь. Как отзудит, тогда обскаживай: так, мол, и так! Дозволит!

Митюшин, слегка побледневший и возбужденно припоминая смелые слова, которые хотел сказать, быстро спустился в кают-компанию.

Там сидели почти все офицеры корабля вокруг большого стола за чаем.

При появлении Отчаянного оживленные разговоры и споры вдруг стихли.

В кают-компании только что узнали, что этот исправный и способный матрос осмелился «бунтовать» и ругать при матросах даже самого адмирала. А боцмана чуть было не ударили.

И многие офицеры изумленными и беспощадными глазами оглядывали маленького смуглого матроса с «дерзкими» глазами, который решительно и смелошел, направляясь к каюте старшего офицера.

— Экая наглая скотина! Тоже, агитатор на военном корабле! — презрительно воскликнул один юный пригожий мичман.

— Не ругай человека. Не по-джентльменски! Да еще не в отместку ли наговорил боцман. Нельзя ему доверять! — произнес по-французски высокий, с открытым добродушным лицом, брюнет мичман, обращаясь к товарищу укоризненно.

Митюшин догадался, что речь о нем. Он знал, что брюнет был «добр» с матросами и «понимал закон».

Отчаянный бросил на мичмана быстрый, сочувственный взгляд, точно благодарили единственного защитника,

и без всякой робости постучал в двери каюты старшего офицера.

— Входи!

Матрос вошел в просторную, светлую одиночную каюту и, остановившись у запертой им двери, побледнел и, строго серьезный, напряженно глядел на старшего офицера. Слова, которые хотел сказать Отчаянный, словно бы исчезли из его головы в первую минуту.

Худощавый и высокий, Иван Петрович сидел у письменного стола, согнувши свои длинные ноги, и, гневный, с сверкающими под очками серыми глазами, взволнованно и торопливо делал затяжки из толстой папиросы и неистово теребил костлявыми и длинными пальцами жидкую русую бороду.

При взгляде на Митюшина, не имевшего виноватого вида, небольшие глаза старшего офицера расширились от изумления при такой, казалось, наглости матроса. И Иван Петрович уставился на Отчаянного, словно бы первый раз в жизни увидал и хотел рассмотреть такого опасного негодяя, который совершил неслыханное нарушение дисциплины и обнаружил возмутительные посягательства.

Не роняя слова, старший офицер все более возмущался, отдаваясь гневу.

Так прошло несколько секунд.

Матрос не опускал глаз.

VII

— Ты вот какой! — наконец начал Иван Петрович, окончив папиросу.— Русский матрос нарушил присягу... Да... Присягу и совесть! Подстрекал матросов к неповиновению предлежащим властям... Опорочил боцмана, ругал его и грозил оскорблением действием!.. Осмеивал начальство! А я еще хотел произвести в унтер-офицеры. Думал, что ты... Под суд... Будешь в морской тюрьме.

Митюшин не верил ушам, когда узнал, в чем его обвиняют и чем угрожает старший офицер, поверивший боцману.

— Вашескобродие! Дозвольте объяснить!

— Молчать! — крикнул старший офицер.

Митюшин смолк; казалось, положение его безнадежное... Старший офицер продолжал говорить и, взвин-

чивая себя гневом, уже грозил, что за подобное преступление присудит в арестанты.

— Под арест! На хлеб и воду! И если еще комунибудь дерзость — выпорю! — закончил старший офицер.

Гнев его в ту же минуту стал утихать... точно грозовая туча разразилась. И он словно смутился, когда мог увидать в этом бледном, страшно серьезном лице «преступника» страдальческое выражение и в глазах что-то тоскливо-ское, словно бы полное укора и в то же время смелое.

— Вашескобродие! Дозвольте объяснить! — снова начал Митюшин.

— Что можешь объяснить? Боцман все доложил, какой ты гусь...

— Боцман, вашескобродие, оболгал меня!

— Ты врешь... Разве боцман станет клеветать на матроса?

— Я бога помню, вашескобродие, и не вру! Боцман в отместку накляузничал, и вы изволили поверить... На суде правда окажет, вашескобродие...

Лицо Отчаянного дышало такой правдивостью и голос звучал такой искренностью, что матрос уже не казался «преступником», заслуживающим тяжкого наказания, и строгий офицер невольно смягченным тоном спросил:

— Ты ругал боцмана и грозил побить?..

— Точно так, ваше благородие!

— Разве боцман тебя теснил? Ведь с тобой все хорошо обращались?

— Точно так, вашескобродие. Боцман не теснил, и все со мною обращались по закону...

— Так почему же ты оскорбил боцмана?

— Он тиранствует над матросами, вашескобродие, и нет ему узды. Вам неизвестно, какой он взяточник и как бьет людей... И, когда он поднял на меня кулаки в своей каюте, я не позволил... Сказал, что дам сдачу... Каждый это скажет, если доведут... Закона нет драться и оскорблять. И матрос может чувствовать. За дерзости я виноват, вашескобродие. Но не бунтовал и не подстрекал к неповиновению. Я только говорил матросам, что по закону нельзя драться, что надо жить по правде и по совести. Это разве бунт?

Митюшина словно бы захлестнула какая-то волна. Он взвужденно и страстно в подробности рассказал о столкновении с боцманом и отчего не может уважать такого бессовестного человека, из-за которого безвинно терпят матросы и не смеют жаловаться из боязни, что правда не всплынет и правые останутся виноватыми. Он говорил, как нудно из-за этого служить. А ведь закон для всех... Исполняй закон, и не было бы людям обиды.

— Но ты-то что за защитник закона? Кто тебе позволил?

— За правду беспокоюсь, вашескобродие!.. Говорил, что матрос не должен позволять, чтобы его били.

— И начальство бранил?

— Точно так. Служалось, осуживал, вашескобродие.

— За что же ты смел судить?

— Каждый человек смеет судить по своему понятию, вашескобродие... Я и осуждал, что господа офицеры должны давать пример законно, а они дерутся, и нет им... Вот и весь был мой бунт.

— И меня бранил?

— Служалось, вашескобродие! — правдиво вымолвил Отчаянный.

— За что?

— За то самое, вашескобродие!

— Ты взаправду отчаянный! — промолвил старший офицер, но возмущенного чувства в нем уже не было.

Он задумался и находился в смятенном настроении человека, которого внезапно выбили из колеи.

Пронеслось что-то светлое, когда и он в дни юности беспокоился за правду... Сам безупречно честный, он возмущался боцманом, о проделках которого и не догадывался и которым начинал верить. Изумлялся Отчаянному и понимал, что он не бунтовщик, но, во всяком случае, беспокойный матрос и заслуживает наказания за нарушение дисциплины, и такой матрос будет заводить «истории». Если отдать его под суд, то, наверное, переведут в штрафные, и будущность человека испорчена. Да и обнаружится многое, что делалось на «Грозящем», и будет неприятно для старшего офицера и капитана.

Иван Петрович считал себя справедливым. И в голову его пришла мысль, что, по совести, следовало бы от-

дать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится дознанием. Но боцман был отличным исполнителем и лишиться такого человека неприятно для старшего офицера. И главное, снова на суде вынесется тот «сор», который выносить боится начальство, а Иван Петрович боялся всякого начальства, так как думал о своем благополучии. Да и отдавая боцмана под суд, старший офицер обнаружил бы свою вину. Как он не знал таких беззаконий и служил с боцманом две кампании?

В конце концов старший офицер, раздраженный, что на «Грозящем» из-за матроса вышли «такие неприятности» для него, и без того целые дни хлопотавшего без устали, запутался и не знал, что сделать с Отчаянным.

Прошла минута, другая. И наконец у старшего офицера явилось решение — замять все это дело. По крайней мере это казалось такому бесхарактерному человеку лучшим выходом.

И он сказал Митюшину:

— Я прощу твой проступок, если ты будешь просить прощения у боцмана... Мне жаль тебя... А я поговорю с боцманом... Понял?

— Понял, вашескобродие!

— Но только смотри, чтобы впредь ни гу-гу... Не болтай, а то попадешь под суд и пропадешь... Не забудь этого... Какой бы ни был боцман — не твое это дело, а дело начальства... И не тебе о нем рассуждать... А если считаешь себя безвинно наказанным, можешь жаловаться по начальству!

Старший офицер думал, что спас Отчаянного и тот должен быть благодарен. В то же время «история» окончится. А боцмана он разнесет и ему пригрозит. Он перестанет драться и брать взятки...

Но Митюшин не только не обнаружил благодарных чувств, напротив, он был мрачен.

— Так ступай и под арест не садись!..

— Слушаю, вашескобродие... Но только...

— Что еще?

— Я не пойду просить прощения у боцмана. Если кого под суд, то следует его, вашескобродие...

— Молчать! Я прикажу тебя выпороть! — вспылил старший офицер.

— На то закона нет, вашескобродие! Прикажите прежде судить, вашескобродие! Правда окажет! — ответил Отчаянный и вышел из каюты.

VIII

Старший офицер одумался, и Отчаянного розгами не наказали.

Через день после дознания его отправили в Петербург, и Отчаянный был посажен в морскую тюрьму как подследственный. Осенью его перевели в госпиталь, и у него оказалась скоротечная чахотка.

В палате Отчаянный по-прежнему «беспокоился» за закон, тосковал по правде, говорил соседям больным горячие речи...

Он все еще ждал суда и надеялся, что там «правда окажет» и боцмана уберут.

Отчаянный так и не дождался. Перед Рождеством он умер.

СМОТР

Морской рассказ
(Из далекого прошлого)

I

За несколько лет до Крымской войны на севастопольском рейде, словно замлевшем в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусного черноморского флота.

Палящая жара начинала спадать. Августовский день догорал.

На полуяте флагманского трехдечного корабля «Султан Махмуд» под адмиральским флагом, повисшим на фор-брам-стеньге, маленький молодой сигнальщик Ткаченко не спускал подзорной трубы с Графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка.

Адмирал приказал ей быть к семи часам, и время приближалось.

И, как только на судах эскадры колокола пробили шесть склянок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутуловатый, плотный адмирал Воротынцев, крепкий и необыкновенно моложавый для своих пятидесяти семи лет, которые он называл «средним возрастом».

Он глядел молодцом в сюртуке с эполетами, с Владимиром на шее и георгиевским крестом в петлице. Из-под черного шейного платка белели маленькие брыжжи сорочки — «лиселя», как называли черноморские мо-

ряки, носившие их, отступая от формы, даже и в николаевские времена.

Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеньки лестницы, с легкостью мичмана, адмирал спускался к гичке.

Офицеры, встречавшиеся с адмиралом, кланялись, снимая фуражки. Снимал фуражку, отдавая поклоны, и адмирал. Матросам, останавливающимся с фуражками в руках, говорил:

— Зря не торчи, матрос. Проходи!

Сигнальщик с флагманского корабля увидел адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Адрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул:

— Адмирал, ваше благородие!

— Где?

— Идет к гичке, ваше благородие!

— Доложи, как отвалит.

— Есть, ваше благородие!..

И через минуту крикнул:

— Отваливают, ваше благородие!

— Оповести капитана и офицеров.

— Есть! — ответил сигнальщик и побежал с полупутоя.

Щеголяя своим сипловатым баском, лейтенант крикнул:

— Фалрепные, караул и музыка наверх, адмирала встречать!

Старый боцман Крякva засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия.

Здоровые на подбор гребцы на гичке наваливались изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки, и минут через десять гичка с разбега зашабашила и, удержанная крюком, остановилась как раз кормой к середине решетчатой доски трапа.

— По чарке, молодцы! — отрывисто бросил адмирал, высокакивая из шлюпки.

И, видимо довольный своими гребцами, сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своеобычного морского приветствия.

— Рады стараться, ваше превосходительство! — ответил загребной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов.

Адмирал не поднялся, а вбежал с маху мимо фалрепных, по двое стоявших у фалрепов на поворотах коленчатого высокого парадного трапа, и у входа был встречен капитаном и вахтенным начальником. Офицеры стояли во фронте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа ружья «на караул». Хор музыкантов играл любимый тогда во флоте венгерский марш в честь Кошута.

И, словно бы избегая этих парадных встреч, отменить которые было неудобно, адмирал, раскланиваясь, торопливо скрылся под полют, в свое просторное адмиральское помещение.

В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, с проходившей посередине бизань-мачтой, с балконом вокруг кормы и убранный хорошо, но далеко без кричащей роскоши адмиральских кают на современных судах, адмирала встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслика, пожилой, рябоватый и серьезный матрос, с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе и босой.

Жил он безотлучно вестовым у Воротынцева лет пятнадцать. Но денег у Суслика не было, и он не пользовался своим положением адмиральского любимца вестового и пьянствовал на берегу с матросами, а с «баковыми аристократами» не водил компаний.

— Снасть с меня убрать и трубку, Суслик! — не говорил, а кричал адмирал по привычке моряков, командовавших на палубе.

И он нетерпеливо рассстегнул и сбросил сюртук, пойманный на лету вестовым, снял орден и размотал шейный черный платок.

В минуту Суслик снял с больших ног адмирала сапоги, подал мягкие башмаки и старенький люстриновый «походный» сюртук с золотыми «кондриками» для эполет. И тотчас же принес длинный чубук с янтарем, подал адмиралу и приложил горящий фитиль к трубке.

— Ловко... Отлично! — произнес адмирал сквозь белые, крепкие, все до одного зубы, закуривая трубку.

Он почувствовал себя «дома» в каюте, без «снасти» удовлетворенно довольным и, развалившись с прятанными ногами в большом плетеном кресле у стола, с наслаждением затягивался из трубки крепким и вкус-

ным сухумским табаком по рублю за око¹, и по временам насмешливая улыбка светилась в его маленьких острых глазах.

Вестовой хотел было уйти, как адмирал сказал:

— Подожди, Суслик!

— Есть! — ответил Суслик и притулился у двери в спальнюю.

Адмирал молчал, покуривая трубку.

— «А то гаванскую сигару, адмирал?» — вдруг проговорил он, стараясь изменить и смягчить свой резкий голос, несколько гнусавя и протягивая слова, словно передразнивал кого-то.

Адмирал усмехнулся и уже продолжал своим голосом в добродушно-ироническом тоне:

— И марсала не подавали за обедом у его светлости князя Собакина... Да-с... Высокая государственная особа-с приехала в наш Севастополь... Первый аристократ-с... Разговор на дипломатии... Одна деликатность... Гляди, мол, моряки, какие вы грубые и необразованные... И все го-сотерны, го-лафиты... А шампанское после супа пошло... А после пирожного тут же рот полоши... Аглицкая мода... Плюй при публике, а громко сказать неприлично-с... Понял, Суслик?

— Точно так, Максим Иваныч.

— Таких не видал, Суслик?

— Не доводилось, Максим Иваныч.

— Завтра покажу. Его светлость и дочка его приведут посмотреть корабль, и мы дадим завтракать... Да чтобы ты был у меня в полном параде... Понял?

— Есть!

— Чтобы чистая рубаха... Побрейся и обуйся... Нельзя босому подавать важной dame. Скажут: грубая матрона! — не без иронии вставил адмирал и привавил: — Да смотри, идол, рукой не сморкайся...

— Не оконфузю, Максим Иваныч! — уверенно и не без горделивости ответил Суслик.

И в черноволосой, коротко остриженной его голове промелькнула мысль:

«Ты-то не оконфузь своим языком!»

¹ Три фунта. (Прим. автора.)

— Ты у меня вестовщина с башкой! То-то черти играли в свайку на твоей чертовой роже.

— Небось по своему матросскому рассудку могу обмозговать и марсалу завтра подам к столу, дарма что по-столичному не подают...

Адмирал засмеялся.

— Сметлив ты, Суслик, когда трезвый! — произнес он.

— Я только отпущенний вами на берег занимаюсь вином... И редко! — угрюмо и сердито промолвил вестовой, хорошо зная, как основательно он «занимается» во время редких отлучек на берег и какие бывали с ним разделки от адмирала, когда он, случалось, очень «намарсаливался».

— Ты, Суслик, не вороти рожи... Я к слову...

— Так прикажете принести графин марсалы, Максим Иваныч?

— Молодчина! Догадался, башка, попотчевать адмирала. Давай да попроси капитана.

Вестовой принес графин марсалы и две большие рюмки, поставил на стол и пошел за капитаном.

Адмирал налил рюмку, быстро выпил рюмки три и четвертую начал уже отхлебывать большими глотками, с удовольствием смакуя любимое им вино.

II

Осторожно и вкрадчиво, словно кот, вошел в адмиральскую каюту капитан, пожилой, толстый, круглый и сытый брюнет с изрядным брюшком, выдающимся из-под застегнутого сюртука с штаб-офицерскими эполетами капитана первого ранга, с волосатыми пухлыми руками и густыми усами.

Его смуглое, отливавшее резким густым румянцем, с крупным горбатым носом и с большими, умильными, выпуклыми черными глазами с поволокой лицо выдавало за типичного южанина.

Несмотря на необыкновенно ласковое и даже слашающее выражение этого лица, в нем было что-то фальшивое. Капитана не терпели и прозвали на баке «живодером греком».

Капитан, впрочем, называл себя русским и считал более удобным переделывать свою греческую фамилию Дмитраки, на Дмитрова, и испросил об этом разрешение.

— Что прикажете, ваше превосходительство? — спросил, приближаясь к адмиралу, капитан почтительно высоким мягким тенорком и впился в адмирала своими полными восторженной преданности «коварными маслинами», как называли его глаза мичманы. Но прежде капитан предусмотрительно взглянул на графин — много ли уровень марсалы понизился.

— И что это вы, Христофор Константиныч, словно ученый кот, меня прельстить хотите... Я хоть и превосходительство, а Максим Иваныч. Кажется, знаете-с? — насмешливо и раздражительно выпалил адмирал. — Присядьте... Хотите марсалы? — прибавил он любезнее.

По-видимому, капитан нисколько не обиделся насмешкой адмирала. Напротив, приятно улыбнулся, словно бы остроумие адмирала ему понравилось.

«Лишняя лесть не мешает, как и лишняя ложка масла в каше», — подумал «грек», никогда не показывавший неудовольствия на начальство.

И капитан, присаживаясь на стул, тем же льстивым тоном проговорил:

— Премного благодарен, Максим Иваныч... А что назвал по титулу — извините-с, Максим Иваныч... По привычке-с... Прежний адмирал не любил, чтобы его называли по имени и отчеству...

— А я не люблю, когда меня титулюют-с... И не благодарите-с. Хотите или нет-с марсалы?

— Выпью-с рюмку, Максим Иваныч... Отличное вино...

— Наливайте... Вино натуральное... — И, отхлебнув марсалы, прибавил: — Завтра у нас смотр, Христофор Константиныч.

Капитан изумился.

— Главный командир? — испуганно спросил он.

— Эка вы, Христофор Константиныч! Приезжай главный командир в Севастополь, давно бы у вас дрожали поджилки... К нам приедет в одиннадцать часов князь Собакин... Катер послать с мичманом!

— Его светлость?! — с каким-то сладострастием в голосе воскликнул облегченно капитан... — Почему его светлость пожелал осчастливить нас?

— А так-с. Взял да осчастливили!.. Захотел посмотреть, и с дочерью... Она пожелала... И насчет этого князь в некотором роде-с стеснился... После обеда... Обед ничего, только марсалы не подавали-с... Отвел меня к окну и тихонько спрашивает: «Только удобно ли дочери, адмирал?»

— В каком это смысле, Максим Иваныч?

— Не сообразили, Христофор Константиныч? А еще командир корабля!.. — насмешливо спросил адмирал.

— Не могу сообразить, Максим Иваныч...

— Поймете, как узнаете, что думает князь... А мне досадно, что этот брандахлыст, будь ты хоть разминистр и развелъможа, боится везти замужнюю дочь на русский военный корабль. Аристократка, — скажите, пожалуйста!.. Я и спрашиваю, будто не догадываюсь: «Почему-с сомневается ваша светлость?» А он улыбается по-придворному — черт его знает как понять! — и наконец с самой утонченной любезностью прогнусавил: «Я слышал, милый адмирал, что на кораблях в ходу такой морской жаргон, что женщина сконфузится... Так не лучше ли не брать графиню?» Поняли, Христофор Константиныч?

— Какое мнение у его светлости о флоте, Максим Иваныч! — с чувством прискорбия промолвил капитан.

— Дурацкое мнение-с!.. — выкрикнул адмирал, обрывая капитана. — Екатерина небось не обиделась, когда адмирал Свиридов, рассказывая ей о победе, увлекся, стал «загибать» и, спохватившись, ахнул... Она была умная и ласково сказала: «Не стесняйтесь, адмирал. Я, говорит, морских терминов не понимаю!..» А ведь на смотре мы барыньке о сражениях рассказывать не будем... Да хоть бы услышала с бака «морской термин»... Эка беда!.. Не слыхала, что ли, на улице, будь и графиня!.. Ваш, Христофор Константиныч, князь, — почему-то назвал адмирал князя капитанским, — не очень-то умен. Ты посмотри и увидишь, сконфузим ли мы даму, если захотим! И я дал слово, что не сконфузим. Поняли?..

— Есть!

— Чтобы завтра во время смотра ни одного «морского термина», Христофор Константиныч! — строго проговорил адмирал.

— Слушаю-с...

— Положим, на баке хоть топор повесь — так ругаются, особенно боцманы и унтер-офицеры... Но пусть хоть при dame воздержатся...

— Не посмеют, Максим Иваныч,— с какой-то внушительной загадочностью по-прежнему ласково проговорил капитан.

— И офицеры чтобы придержали языки... Ни одной команды не могут кончить без прибавлений... Так побольше, знаете ли, характера... На час, не больше...

— Помилуйте-с, Максим Иваныч.

— Что-с?

— Да уже одно посещение таких высокопоставленных особ, как его светлость и ее сиятельство графиня, обрадует господ офицеров и заставит их быть на высоте положения! — не без «лирики» проговорил капитан.

— Что вы вздор городите-с! — резко оборвал Максим Иваныч. — Что-с? Какая там радость и высота положения... лакейство-с!.. Это брехня на офицеров... Что-с? — выкрикивал, точно спрашивал, взбешенный адмирал, хотя капитан не думал возражать. — И вы ничего не говорите офицерам... Поняли-с?

— Понял, ваше превосходительство!

— Я сам им скажу, что адмирал не хотел бы видеть подтверждения глупостей князя и дамы в обмороке от... от «морских терминов», что ли... Одним словом... Я попрошу офицеров, и они воздержатся... Сыздали-с?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— А больше вас не задерживаю, можете идти-с!

Капитан вышел, улепетывая, как вежливый, боязливый кот от оскалившей зубы собаки.

«Подлинно собака!» — с ненавистью подумал капитан.

Адмирал, раскрасневшийся и от возмущенного чувства и от многих рюмок марсалы, сердито проговорил:

— Экая подлая лакейская душа! Думаешь, и ко мне в душу влезешь! Дудки, лукавый грек!

Адмирал раздраженно выпил рюмку марсалы и крикнул:

— Суслик!

— Есть,— ответил прибежавший вестовой.

— Марсалы на донышке, а ты не видишь?.. А?

— Не будет ли вреды, Максим Иваныч? — заботливо и осторожно промолвил Суслик.

— Молчи, чертова свайка! На ночь вредно? К какой-нибудь графинчик... да еще и «грекос» пил! — приврал вестовому адмирал. — Давно не учил тебя, губернера, идола, что ли? Да живо!.. И трубку!

Вестовой исчез и вернулся с трубкой и с графином марсалы, но наполненным до половины только.

III

Капитан призвал к себе старшего офицера, Николая Васильевича Курчавого, рассказал о счастье, которое выпало «Султан Махмуду», и обычным своим ласковым тоном продолжал:

— Так уж вы присмотрите, дорогой Николай Васильевич, чтобы смотр как следует... Чтобы паруса горели... при постановке и уборке... Орудия чтобы летали... И чтобы ни соринки нигде... Одним словом... идеальная чистота...

— Все будет исправно, Христофор Константиныч! — нетерпеливо проговорил старший офицер.

«Чего размазывать, коварный грек!» — подумал этот блестящий морской офицер и любимец севастопольских дам, молодой, красивый и щеголеватый капитан-лейтенант.

И его жизнерадостное, веселое лицо вдруг стало напряженным и подавленным.

— Уж я знаю, дорогой Николай Васильевич, что с таким превосходным старшим офицером командир спокоен... Я так только, для очистки совести напомнил...

— Так позовите идти, Христофор Константиныч?..

— Я не задержу вас, Николай Васильевич... Куда торопитесь?.. Или собираетесь на берег... на бульвар?..

— Какой бульвар?.. Работы много... Да и смотр завтра.

— Я так и полагал, что вы не уйдете с корабля, Николай Васильевич, хоть вы и жданный кавалер наших дам,— сказал капитан, словно бы сочувственно глядя на своего старшего офицера, имевшего репутацию ловкого «обольстителя».— Наверное, вас ждут на бульваре! — прибавил капитан и плутовски прищурил глаз.

— Никто меня не ждет, Христофор Константиныч! — небрежно бросил Курчавый.

И про себя улыбнулся, как вспомнил, что супруга пожилого капитана, молодая красавица «гречанка», наверно сегодня на бульваре и позволила бы ему заговаривать ей зубы.

«А эта ревнивая скотина и не догадывается!» — мысленно проговорил старший офицер.

— Ну-с, от поэзии перейдем к прозе-с, Николай Васильевич.

— Что прикажете?

— Не приказываю, а прошу-с объявить, что если завтра я услышу во время пребывания высоких гостей хоть одно ругательное слово, то всех боцманов и унтер-офицеров перепорю-с, дорогой Николай Васильевич, по-настоящему, без снисхождения. А кто-нибудь из них или из других нижних чинов выругается площадным словом, с того спущу шкуру, пусть в госпитале отлежится. И пожалуйста, внушите им, что пощады не будет! — тихо и ласково, словно бы речь шла о каком-нибудь удовольствии, проговорил капитан.

Он еще был первую кампанию на «Султан Махмуде» и стеснялся адмирала. Но изысканная жестокость «грека» была известна во флоте.

Подобная угроза, перед исполнением которой он не затруднился бы, изумила даже и в те жестокие времена во флоте.

И старший офицер, далеко не отличавшийся гуманностью и, как все, считавший лучшей воспитательной мерой телесные наказания матросов и «чистку зубов», был возмущен «жестоким греком».

Но, сдерживаемый морской дисциплиной, скрывая волнение, он официально-сухим тоном проговорил:

— Приказание ваше передам, но внушать основательность жестокого наказания всех за одного и притом

за ругань, которая до сих пор не считалась даже проступком и никогда не наказывалась, не считаю возможным по долгу службы. И, пожалуй, наказанные заявят претензию адмиралу. Адмирал — справедливый человек.

«Грек» струсиł.

— Адмирал же приказал, чтобы ни одного ругательства. Он обещал его светлости, что дочери можно привезти. И как же иначе поддержать честь флота, Николай Васильич? Но если вы можете заставить боцманов не ругаться завтра без страха взысканий, то я ничего не имею... Я не жестокий командир, каким меня расславили... Поверьте, Николай Васильич! — необыкновенно грустным тоном прибавил капитан.

И даже «маслины» его будто опечалились.

— Будьто покойны, Христофор Константиныч. Меня послушают.

— Тогда вы маг и волшебник! И как я счастлив, что имею такого старшего офицера, уважаемый Николай Васильич. Всегда говорите мне правду. Не стесняйтесь. Я люблю правду!

«И как прелестная «гречанка» выносит этого подлого «грека»!» — внезапно подумал Курчавый.

Он вышел из каюты оживившийся, повеселевший и довольный и оттого, что капитан, испугавшись претензии и адмирала, отменил свое нелепое, неслыханное по жестокости приказание, и оттого, что это «лживое животное», наверное, скоро будет рогатым.

«Не беспокойся, «грек». Я не буду «зевать на брасах»!»

IV

Старший офицер собрал на баке всех боцманов, унтер-офицеров и старшин и, войдя в тесный кружок, проговорил:

— Слушайте, ребята! Завтра у нас смотр. Приедет петербургский генерал и с ним дочь, молодая графиня... И такой моды, братцы, что не может услышать бранного слова... Сейчас испугается и... в слезы! — проговорил, смеясь, Курчавый.

В кучке раздался смех.

— Не видала, значит, матросов, вашескобродие! — заметил один из боцманов.

— Жар-птица объявилась!.. — проговорил какой-то унтер-офицер.

— Пужливая, видно, генеральская дочь, вашескобродие! — насмешливо сказал кто-то.

— То-то и есть, братцы! — заговорил старший офицер. — И генерал опасается... Думает, как на корабль приедет то тут и срам дочке от вашей ругани... Боцмана, мол, не могут даже при даме поберечься... Беспардонные черти!

«Беспардонные черти» добродушно улыбались.

— Однако наш адмирал защитил вас, ребята, перед важным генералом... Привозите, мол, ваша светлость, боцмана не оконфузят!

— Небось доверил, молодца адмирал... Не оконфузим, вашескобродие... Постараемся! — раздались горячие голоса.

— Так завтра, во время смотра, ни одного боцманского слова, братцы! Я уверен, что мы покажем себя! — с подкупающей, вызывающей веселостью проговорил статный и привлекательный Курчавый.

И почему-то он в эту минуту вспомнил, как сильно и благодарно-трогательно ценили эти люди, обреченные на жестокую флотскую муштру, даже небольшое человеческое отношение начальства и как много они прощали человеку только за то, что он считал и матроса человеком.

Вспомнил Курчавый, как берегли его, тогда мичмана, матросы во время ледяного шторма, вспомнил в эти секунды многое, и вдруг этот блестящий офицер сильнее почувствовал, как близки ему матросы, и в его голове пролетела мысль, что они точно к чему-то его обзывают и что, собственно говоря, и ему можно было бы поменьше драть и бить матросов.

Польщенные доверием адмирала и старшего офицера, которого давно на баке звали «козырным» за его морскую лихость и любили за открытый добрый характер, — все, проникнутые добрыми и горделивыми намерениями показать себя и не оконфузить, дали старшему офицеру обещание.

— Взгляни ты на саму приезжую графиню вроде быдто как на кварту водки — язык и при тебе, ваше-

скобродие! — промолвил, словно бы подбадривая себя, один из унтер-офицеров, торопливо обещавший, что на смотре он «ни гу-гу».

Только старший боцман Крякva раздумчиво молчал.

Это был сухощавый и крепкий старый человек, со скрюченными корявыми пальцами левой руки, давно сильно помятой высушенным марса-фалом, и слегка искривленными цепкими, жилистыми босыми ногами, со спокойно-лихой посадкой небольшой, ладной фигуры настоящего «морского волка», видавшего всякие виды.

Перешибленный сизоватый нос и отсутствие нескольких передних зубов, следы тяжелых карающих рук, разумеется, не украшали загорелого, красного и грубого бритого лица, с короткою щетинкой седых усов и с плешинаами на черных клочковатых бровях, под которыми светились умные, зоркие, слегка иронические темные глаза. Все повреждения лица имели, впрочем, свою жестокую историю, о которой Карп Тимофеич Крякva и рассказывал кому-нибудь из матросов, но только на берегу и когда, после бесчисленных шкаликов, был еще в словоохотливом периоде воспоминаний, во время которых начальству икалось.

Первый ругатель-художник на эскадре, творчество которого было для черноморских моряков классическим образцом сквернословия, он, видимо, сомневался в исполнении сослуживцами легкомысленно принятого на себя обязательства и добросовестно не решался давать зарок хотя бы на время смотра.

— Надо стараться, вашескобродие! — сказал, на конец, боцман поощрительным тоном. — Разве только, ежели не стерпеть, хучь тишком, чтобы барышня не вмерла с перепугу, Николай Васильич! — предложил Крякva, словно бы устраивающий обе стороны компромисс. — Она, видно, щуплая и пужливая, ровно как борзая сучонка, вашескобродие... Так она не услышит, ежели тишком...

Все засмеялись.

Засмеялся и старший офицер и сказал:

— От твоей выдумки барынька умереть, пожалуй, и не умрет, а в обморок, чего доброго, и упадет... А голос-то у тебя... сам знаешь, такой, что и тишком на

юте слышно... Так уж ты, Кряква, постарайся, поддержи.

— Разве подлец я, что ли, чтобы изобидеть барышню, вашескобродие! И оконфузить наш «Султан Махмуд» перед князем и обезнадежить адмирала и вашескобродие никак не согласно... Во всю мочь буду стараться, но только от зарока освободите, Николай Васильич, чтобы совесть не зазрила.

— Ну, ладно... ладно... Спасибо, Кряква... И уж если не сможешь, так заткни рот рукой и себя облегчи про себя... Так завтра, братцы, чтобы все было в исправке,— прибавил старший офицер и вышел из кружка.

— Как есть «козырный»,— сказал один унтер-офицер после ухода Курчавого.

— «Козырный» и есть! — раздались голоса.

Кучка разошлась.

Каждый унтер-офицер внушал своим подчиненным матросам приказ адмирала и старшего офицера, чтобы во время смотра все было по-хорошему... благородно.

И, разумеется, унтер-офицер уже от себя прибавлял к этому обещание форменно «начистить рожу» того «сучьего матроса», который «оконфузит» адмирала.

— А еще какая шлиховка будет от капитана, ежели узнает... Только держись, ежели как сам будет считать удары. Он, видишь небось, какая «греческая Мазепа»! — в заключение прибавлял для остраски унтер-офицер.

Затем, словно бы отдавшись от служебной обязанности по временам «играть в строгое начальство», унтер-офицеры мгновенно делались простыми, далеко не страшными людьми и по-товарищески лягничали с теми же матросами, у которых обещали «искровянить хайлы», о посещении петербургского важного генерала и — главная загвоздка в том-то и есть! — о «щуплой и пужливой» дочке, боявшейся даже и духа матросской ругни. «Вроде как помрет, братцы!» — вышучивали рассказчики графиню. Представлялась она им именно такой «щуплой и пужливой», как вообразил себе боцман Кряква.

Старый боцман никому не внушал.

«Сама, мол, матрозня, в чувстве!»

После спуска флага адмирал хоть и был красен, но далеко еще не «намарсалился». Он попросил к себе офицеров и объяснил им, почему просит их воздержаться...

— Дама-с будет с ним... Дочь его! — прибавил адмирал.

Нечего и говорить, что офицеры обещали...

А молодой лейтенант Адрианов, интересовавшийся литературой и вдобавок влюбчивый, как воробей, не без торжественности проговорил, краснея как маковый цвет:

— Одно присутствие женщины. Максим Иваныч, женщины... которая влияет... благотворно... и... и... и...

У лейтенанта «заело». И адмирал поспешил на помощь к растерявшемуся лейтенанту.

— И прехорошенькая-с, Аркадий Сергеич... Да-с! И сложена... и... Одним словом — есть на что посмотреть... И... шельмоватая-с... Любит, что показать-с,— сказал, смеясь, адмирал.

V

Высокий и прямой старик в военном сюртуке с генерал-адъютантскими эполетами и эффектно одетая молодая блестящая женщина ровно в одиннадцать часов вступили на палубу «Султан Махмуда».

Адмирал, капитан и вахтенный офицер приняли почетных гостей у входа. Встреча была парадная, как полагалось по уставу. Музыка играла марш. Команда выстроена была во фронте. На шканцах стоял караул, и офицеры, в сюртуках и в кортиках, вытянулись в линию. Во главе стоял красивый старший офицер.

Его светлость, не отнимая руки в белой замшевой перчатке, отдавал честь и подошел с дочерью к офицерам. Адмирал представил их гостям. Князь протянул старшему офицеру руку. Пожимая руку Курчавого, графиня на секунду приостановилась, бросила на него быстрый любопытный взгляд и двинулась за отцом. Он всем подавал руку... То же делала и дочь. Штурманам и двум врачам его светлость руки не подал. Графиня любезно пожала им руки.

«Молодчага!» — подумал Максим Иваныч, видимо не очень-то довольный «накрахмаленным» видом его светлости.

Затем князь поздоровался с матросами. Те так рявкнули, что князь едва заметно поморщился. Обойдя фронт по обеим сторонам, он вместе с молодою, высою и цветущею графиней пошел по приглашению адмирала «заглянуть вниз, в палубу».

Между тем приказано было разойтись.

Матросы, видимо, были чем-то удивлены и сдержанно хихикали на баке.

— Вы что, черти, зубы скалите? — вполголоса спросил старший боцман одного матроса, подошедшего покурить.

По «политическим» соображениям старший офицер приказал Крякве не быть на палубе при осмотре, и боцман наскоро курил трубочонку.

— Как же, Карпо Тимофеич... Щуплая—графиня-то?

— То-то и я полагал: сучонка. А как есть форменная сука. Должно, не пужливая! — тихо промолвил старый боцман и, сплюнув в кадку, усмехнулся.

После того как гости в сопровождении адмирала, капитана и старшего офицера обошли все палубы, заглянули в пустой лазарет и побывали в кают-компании, все вернулись наверх и поднялись на полулют.

— Я в восхищении от безукоризненной чистоты и порядка на корабле. И какой бравый вид у матросов! Какая идеальная тишина, любезный адмирал! Я вижу больше того, что ожидал, любезный адмирал! — говорил князь утонченно-любезно, протягивая слова и чуть-чуть в нос. — Почту за долг лично доложить, когда возвращусь в Петербург, — прибавил князь с особеною аффектацией серьезной почтительности в тоне, словно бы желая осчастливить этого «маловоспитанного моряка», каким считал князь адмирала.

Адмирал не был особенно тронут комплиментами его светлости, ничего не смыслившего в морском деле и словно бы удивлявшегося, что на корабле черноморского флота чистота и порядок. И это снисходительное высокомерие в дурацкой манере звать «любезным адмиралом», и желание облагодетельствовать своим докладом, и апломб... все это начинало раздражать самолюбивого адмирала.

«Брандахлыст ты и есть. «Почтешь за долг»! А во-
ображаешь: умница», — подумал адмирал.

Зато «грек», получивший и на свою долю несколько
любезных слов, таял и рассыпался в восторженно-льстивой
благодарности.

Тем временем в нескольких шагах от отца графиня
болтала со старшим офицером.

Это была брюнетка лет тридцати, эффектная и
красивая, с надменно приподнятой головой, бойкая
и самоуверенная, словно бы имеющая право сознавать и
неотразимость красоты лица, и привлекательность
своих форм и роскошного сложения.

Казалось, она хорошо знала, чем именно привлекает
мужчин, и словно бы нечаянно показывала Курчавому
то руки, то ослепительную шею и, играя черными, слегка
вызывающими и смеющимися глазами, говорила
старшему офицеру:

— У вас очень мило... Мне понравилось... И какие
вы, господа моряки, любезные...

И, бесцеремонно оглядывая красивого блондина
значительным, и пристальным, и ласковым взглядом
красивого и холеного животного, вдруг с дерзкой на-
смешливостью проговорила:

— А вы, кажется, имеете здесь репутацию опасного...
Очень рада видеть местную знаменитость.

Курчавый, самолюбиво польщенный, вспыхнул и с
напускною серьезностью сказал:

— Репутация, графиня, незаслуженная...

— Не совсем, я думаю... Приходите — поболтаем! —
почти приказала она.

Курчавый, снимая фуражку и наклоняя голову,
спросил:

— Когда позволите?..

— А сегодня, в семь часов...

Его светлость повел бесстрастные глаза на дочь.
«Новый каприз!» — подумал он и поморщился.

«Проблематическая» репутация единственной дочери,
жены известного сановника, товарища князя по пажескому
корпусу, давно уж была болячкой князя, и уж
он только смущался теперь забвением «апарансов» красавицы
графини.

Его светлость опять взглянул на дочь.

Но она не обратила внимания на значительный, предостерегающий взгляд отца, который — графиня хорошо знала — говорил: «Люди смотрят!»

— С чего прикажете начать, ваша светлость? — слегка аффектированным тоном младшего по должности и по чину спросил адмирал, прикладывая руку к козырьку своей белой фуражки, слегка сбившейся на затылок.

— Я в вашем полном распоряжении, любезный адмирал! — с подавляющей любезностью ответил князь и тоже немедленно приложил два длинные пальца руки в перчатке к большому козырьку фуражки, надвинутой, напротив, на лоб.

— Угодно вашей светлости сперва посмотреть артиллерийское учение, потом парусное?.. Или пожарную тревогу прикажете, ваша светлость? — настойчивее спрашивал адмирал, продолжая играть роль подчиненного.

— Так покажите мне, любезный адмирал, сперва ваших молодцов матросов артиллеристов и затем лихих моряков в парусном учении. Больше я не злоупотреблю вашей любезностью, адмирал.

— Слушаю-с, ваша светлость.

Адмирал позвал к себе вахтенного офицера и приказал:

— Барабанщиков.

Старший офицер, слышавший разговор двух старииков, похожих в эту минуту на «ученых обезьян», извинился перед графиней и бегом бросился к компасу, чтобы подсменить вахтенного лейтенанта и командовать авралом.

И слегка перегнувшись через поручни полуята, звучным, красивым и особенно радостным голосом крикнул бежавшим по палубе двум барабанщикам:

— Артиллерийскую тревогу!

Барабанщики с разбега остановились и забили тревожный призыв.

— К орудиям! — рявкнул с бака Кряква.

В мгновение раздался топот сотни ног по трапам и по палубе. Ни одного окрика унтер-офицеров.

Через минуту на корабле царила мертвая тишина. У орудий на палубе и внизу, в батареях, недвижно стояла орудийная прислуга.

— Где угодно, ваша светлость, посмотреть учение?
Здесь или внизу?

— Пожалуй, здесь, адмирал.

Пробила дробь, и ученье началось.

Старый артиллерист, по обыкновению, волновался, но не закипал гневом и не ругался. Он, по счастью, не забывал, что на полуяте его светлость и графиня, которая...

«Пронеси господи смотр!» — мысленно проговорил колченогий капитан морской артиллери и наконец просиял. Он заметил, что и гости, и адмирал, и «коварный грек», и старший офицер видимо были довольны.

Еще бы!

Матросы откатывали орудия в открытые порты и подкатывали назад для примерного заряжания, словно игрушки, и делали свое дело без суэты, быстро и молча.

— Превосходно... Ве-ли-ко-леп-но! — говорил его светлость, любуясь ученьем и обращаясь к адмиралу, точно лично он — виновник торжества.

— Привыкли матросы, ваша светлость!.. И в море боевыми снарядами недурно палят! — отвечал адмирал без особой почтительной радости и словно нисколько не удивлялся лихости матросов.

Но в душе радостно удивлялся, что старый артиллерист из вахтеров не произнес ни одного бранного слова.

— Удивляет меня наш Кузьма Ильич! Хоть бы свою любимую «цинготную девку» сказал! — тихо и весело проговорил адмирал, подходя к старшему офицеру.

— Еще как окончится учение, Максим Иваныч!.. Зарежет!.. Особено перед графиней! — взволнованно отвечал старший офицер, не спуская глаз с артиллериста, точно хотел внушить ему не прорваться.

— А эта дамочка-с, видно, все свои онеры вам показала, Николай Васильич? — с улыбкой бросил адмирал и вернулся к его светлости и графине, от которых не отходил капитан и восторженно улыбался.

Скоро его светлость просил дать отбой, и матросы были отпущены от орудий.

— Ну-ка, теперь покажем гостям, как мы ставим и убираем паруса, Николай Васильевич? — уже сам возбужденный при мысли о быстроте парусных маневров, весело сказал адмирал старшему офицеру.

И, обратившись к его светлости, промолвил:

— Не угодно ли, графиня и ваша светлость, поближе подойти.

Князь и графиня подошли к поручням.

Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный, с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и, казалось, еще красивее, со своим вызывающим видом лица и всей посадки его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул:

— Свистать всех наверх! Паруса ставить!

Боцмана засвистали. Все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам.

— К вантам! По марсам и салингам! — крикнул старший офицер.

Сигнальщик уже перевернул минутную склянку.

Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице духом.

Адмирал отошел от гостей и, подняв голову, впился глазами на мачты. Казалось, теперь он весь жил постановкой парусов.

— По реям!

Матросы разлетелись по реям как бешеные, словно бы по ровному полу.

Еще минута — и весь корабль, точно волшебством, весь оделся парусами.

И адмирал, и старший офицер, и боцман Крякva только довольно улыбнулись. Нечего и говорить, что князь дивился быстроте маневра.

— Одна минута, вашескобродие, — доложил сигнальщик старшему офицеру.

— Прелестно... Весь маневр в одну минуту... Это волшебство! — проговорил князь.

Адмирал не опускал головы с верху и зорко поглядывал на паруса, все ли до места дотянуто. Не спускал глаз и Курчавый и не заметил, что графиня бро-



«ПЕРВОГОДОК»



«ТЯЖЕЛЫЙ СОН»

сала по временам на него восхищенные взгляды, словно бы на первого тенора на сцене.

Адмирал слышал слова князя и не подумал ответить.

«Точно могли на «Султан Махмуде» ставить паруса более минуты! Точно матросы не работают как черти!» — подумал адмирал, и, конечно, в голову его и не пришло мысли о том, какими жестокими средствами дрессировали матросов, чтобы сделать их «чертами».

Вместо адмирала «грек», весь сияющий, благодаря светлость за то, что быстрота так понравилась князю и графине, и точно он, капитан, виновник такого торжества.

Через несколько минут раздалась команда старшего офицера «крепить» паруса.

Снова побежали наверх марсовые и стали убирать марселя и брамсели. Внизу в то же время брались на гитовы нижние паруса.

По-прежнему царила тишина на корабле, и адмирал и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полуята.

Но вдруг — на фор-марсе заминка. Угол марселя не подбирается.

Курчавый в ужасе взглянул на фор-марсель. Адмирал нетерпеливо крякнул.

В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она «заела» и не шла.

И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей:

— Иди, миленькая! Иди, упряменькая!

Но так как «миленькая» не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал:

— Иди, подлая. Иди, такая-сякая... Чтоб тебе, такой-сякой.

Унтер-офицер услыхал непотребное слово и, негодящий, чуть слышно проговорил матросу:

— Ты что ж это, Жученко, такой-сякой, ругаешься? Что я тебе приказывал, растакой с... с...

Боцман подскочил к снасти, раздернул ее и сдержанно сердито воркнул:

— Чего копались тут, такие-сякие, словно клопы в кипятке? Матрос, а насекомая, такая-сякая!

Мачтовый офицер в благородном негодовании воскликнул:

— Не ругаться, такие-сякие!

Среди тишины до полуята долетели и «морские термины». Князь весь съежился. Графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленный, что вышла заминка, как сумасшедший бросился старший офицер вниз, и, не добегая до бака, он крикнул:

— Отчего не раздернули?

— Раздернули! — крикнул Кряква.

— Раздернули?! А еще обещали... Постараемся!

И с уст старшего офицера как-то незаметно сорвалось «крылатое» словечко, и он полетел назад.

«Грек» замер от страха. «Все пропало! Его светлость?! Что он доложит в Петербурге?» — пронеслось в голове капитана.

И он уже был на баке и, по обыкновению мягко, проговорил:

— Перепорю вас, такие-сякие!..

Князь совсем сморщился... Графиня сдерживала смех.

Максим Иваныч, услыхавши всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак. Но до бака не дошел и, увидавши ненавистного ему «грека», прошептал:

— Разодолжили-с... Нечего сказать... При dame-с!..

И позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова.

Только что взбежавши назад на полуята, адмирал вспомнил, что сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера:

— Слышно было?

— Слышно, Максим Иваныч! — угрюмо проговорил старший офицер и продолжал командовать.

Закрепили паруса отлично. Никто из гостей и не заметил заминки на несколько секунд, которая «зарезала» моряков.

Марсовых спустили с марсов.

— Я в восторге, адмирал, — проговорил с утонченною любезностью князь. — Парусное ученье великолепно. Благодарю за доставленное наслаждение, любезный адмирал.

Адмирал смущенно поклонился.

— Прикажете продолжать учение, ваша светлость?

— К сожалению, не могу... Обещал смотреть сегодня пятнадцатую армейскую дивизию.

— Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?

Но князь извинялся, что нет времени, и скоро, любезно простившись со всеми, направился к трапу...

— Так вечером приходите! — промолвила, весело смеясь, графиня, протягивая руку Курчавому.

Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно накрытый стол и на вестового в полном параде, воскликнул:

— Ну и черт с ним, если не захотел завтракать...

И, обращаясь к вестовому, крикнул:

— Старый сюртук и зови всех офицеров к столу, Суслик! Да башмаки свои можешь снять!

ВОЛК

(Из далекого прошлого)

I

Однажды, под вечер воскресного дня, баркас с матросами первой вахты пристал к левому борту парусного корвета «Гонец», стоявшего на севастопольском рейде.

В числе возвратившихся с берега пожилой фор-марсовой Лаврентий Чекалкин, носивший кличку «Волка», поднялся со шлюпки озлобленный, мрачный и бледный. Голова его была обмотана тряпцей, пропитанной кровью.

Другой матрос, тоже пожилой фор-марсовой, Антон Руденко, поднялся на палубу, прихрамывая на одну ногу. Вспухшее его лицо было окровавлено. Половина уха была оторвана.

— Это что такое? — сердито спросил старший офицер Петр Петрович старшину баркаса.

— Передрались, ваше благородие.

Быстрый и решительный во всяких случаях, Петр Петрович крикнул боцману Гордеенку:

— Завтра до флага перепороть обоих!

— Есть, ваше благородие! Но...

— Какие там «но»? Я тебе «но» пропишу на морде!

— Слушаю, ваше благородие. Однако дозвольте переждать порку.

— Почему?

— Волк былто поранен ножом, а Руденко вовсе измят. И ноги, должно быть, перелом.

— Были вдребезги?

— Выпимши, но при полном рассудке, ваше благородие!

Старший офицер изумился.

Оба матроса были исправные и приятели.

— И вдруг так изувечили друг друга? Из-за чего?

— Не могу знать, ваше благородие. Должно, из-за этой самой Феньки,— со снисходительным презрением к женщинам прибавил боцман.

— Какая такая Фенька?..

— Молодая вдовая матроска.

— Ну, так что ж?

— С Волком два года путалась и в один секунд: «Отваливай! Очертел, мол, сразу». Беда какие торопливые есть матроски! — насмешливо промолвил боцман.

— Так, значит, Руденко не зевал на брасах... А Волк приревновал?..

— Не должно... Фенька в Симферополь утекла. Новый город пожелала увидать. Любопытная, видно! — усмехнувшись, пояснил старый боцман.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Петр Петрович.

— Как баба облестит — никакого не выйдет понятия, ваше благородие!

— Тоже нашли — из-за бабы драться! А еще хорошие матросы! Позови-ка их сюда! — приказал Петр Петрович.

Он решительно был изумлен романической историей, и у кого же? «У пожилого умного Волка, казалось, не способного на такие штуки!» — подумал старший офицер, питавший некоторую слабость к лихому марсовару.

Уж очень хорошо он вязал штык-болт на ноке формарса-реи и вообще был «отчаянный» в работах матрос... Первый на «Гонце».

И вдруг — скажите, пожалуйста!

Через минуту оба матроса подошли на ют, где стоял старший офицер.

— Так как же, Волк? Обезумел, что ли, под старость?

— Никак нет, ваше благородие! — застенчиво промолвил Волк.

— Хорош: «Никак нет!» Полюбуйтесь оба на себя. Доктор сейчас осмотрит. Нечего сказать: старые петухи! А еще приятели!.. Прежде пьянистовали вместе... А теперь, видно, отстал пить?

— Отстал, ваше благородие...

— Ну, говори, Волк, чтобы мне знать, как вас выдрань после починки. Из-за чего разодрались?

— Так, ваше благородие! Из-за разговора.

— Не ври, Волк... Из-за Феньки?.. Сказывай!

Волк молчал.

— Точно так, ваше благородие! С позволения сказать, из-за непутящего ведомства и вышла раздрайка! — проговорил виновато Руденко.

Волк только презрительно взглянул на приятеля.

— И ты, Волк, из-за бабы изувечил Руденку? А эта злая скотина пырнул тебя? Кто зачинщик?

— Я, ваше благородие! — безучастно вымолвил Волк.

— А ты, верно, подзадорил его, подлец? Волк зря не начнет! — сердито обратился старший офицер к Руденко.

— Я, ваше благородие, думал, чтобы как следует... Для его старался... Открыть, значит, глаза его хотел... Вижу, Волк здря в тоску вошел. Я и обсказываю: по той, мол, причине Фенька от его сбежала, что не очень-то лестно ей хороводиться с им. Прикидывалась, говорю, будто обожает... Как пить, в Симферополе тую ж минуту молодого солдата нашла. Лукавая, ваше благородие! Вокруг пальца обводила Волка, а он...

— И Волк за твои подлые слова изувечил тебя, Руденко?

— Точно так, ваше благородие!

— Ты, подлец, как разбойник... ножом? Ну уж и отполирую я тебя, мерзавца!

— Не оборонись я ножом, не жить бы мне, ваше благородие! Освирепел из-за слов Волк. Извольте взглянуть на морду... И ухо... И нога...

— Мало еще тебе. Будешь помнить выволочку... Зачем лез с подлым разговором к Волку?.. Просил он тебя насчет Феньки?.. Говорил, что ли?

— Никак нет, ваше благородие...

«Какой же он привязчивый дурак!» — подумал старший офицер, взглядавая на Волка. И, казалось,

теперь понял причину перемены Волка в последнее время.

Волку было стыдно и обидно. То, что скрывал он от всех, стало предметом общего внимания. Главное, о Феньке пойдут разговоры.

— Ступай оба. Доктор осмотрит! — сказал Петр Петрович.

И значительно смягченным тоном прибавил, обращаясь к Волку:

— А ты не тронь больше этого подлеца!

— Есть, ваше благородие!

— Ведь до смерти его изобьешь... У тебя кулак!.. И угодишь в арестанты из-за мерзавца. Помни, Волк.

— Есть, ваше благородие!

И тон голоса Волка, и выражение его лица как будто говорили, что не стоит в арестанты из-за такого человека, который своим подлым разговором довел до драки и теперь, как «последний матрос», обсказал причину старшему офицеру.

— И ты, Волк, знаешь... того... Не распускай шкотов... Нечего матросу скучать... Плюнь! — почти ласково промолвил Петр Петрович.

II

Через полчаса в кают-компанию вошел худощавый и маленький старый врач Никифор Иванович. Обыкновенно веселый и легкомысленный «папильон», он несколько озабоченно сказал старшему офицеру:

— Дело-то «табак», Петр Петрович!

— Больных не любите, так и «табак», Никифор Иваныч? — проговорил, подсмеиваясь, старший офицер.

Он хорошо знал, что этот «мичман», несмотря на его почтенный возраст, не любил лечить больных. Давно уже позабывший медицинские книжки, он всегда весело говорил, что природа свое возьмет, а не то госпиталь есть, если матросу предназначено в «чистую», как Никифор Иванович называл смерть.

По счастью для него и, главное, для матросов, на корвете больных не бывало.

— Да что их любить, Петр Петрович! А Волка нужно бы в госпиталь!

— Разве на корвете нельзя засинить?

— Все можно, а лучше отправить на берег. Природа у Волка свое возьмет, и хирург живо обработает. Рана глубокая, под ухо прошла... Перевязку сделал, а теперь пусть дырку чинят в госпитале. Верней-с. Ну, да и я, признаюсь, давно не занимался хирургией, Петр Петрович!.. И вообще не любитель лекарств! — откровенно признался Никифор Иванович.

— А Руденко что?

— Отлежится... Дня через три с богом порите его, Петр Петрович!

— А нога?

— То-то перелома будто нет. Посмотрю, как завтра... И ловко же его изукрасил Волк! Счастье, что Руденко еще цел! — весело промолвил старенький доктор.

Старший офицер послал вестового сказать на вахте, чтобы подали к борту четверку, и сказал юному, несколько месяцев тому назад произведенному смуглолицему мичману Кирсанову:

— Отвезите, Евгений Николаич, вашего любимца в госпиталь. Да попросите сейчас же его осмотреть и спросите, нет ли опасности.

— Слушаю, Петр Петрович!

— И ведь с чего сбрендил старый дурак! Знаете, Евгений Николаич?

— Знаю, Петр Петрович. Оттого он переменился в последнее время и тосковал.

— То-то и удивительно... Волк... и... из-за какой-то Феньки!..

— Волк не похож на других... Он по-настоящему любит женщину! — краснея и взволнованно промолвил мичман, словно бы обиженный за удивление старшего офицера.

Мичману было двадцать лет. Ему казалось, что и он «по-настоящему любит», и навеки конечно, эту «божественную» Веру Владимировну, к сожалению жену капитана первого ранга Перельгина. Он знаком с нею три месяца, и с первой же встречи влюбился в эту хорошенькую блондинку лет тридцати и таил от всех свою любовь. «Божественная» с ним кокетничала, а он благоговел, по временам втайне желал «кондравки» толстому, короткошерстному капитану, раскаивался и верил, что

госпожа Перелыгина — пушкинская Татьяна. Недаром же она любила декламировать:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Вымытый, перевязанный и переодетый, с «отсылкой» (бумагой) в госпиталь, вышел Волк на палубу.

Перед тем как Волку спускаться в шлюпку, его окликнул старший офицер и сказал:

— Скорей починись, Волк!

— Есть, ваше благородие!

Вся команда, уже в палубе, пожелала Волку скорей вернуться на корвет.

Он хотел было идти на нос шлюпки, но мичман приказал матросу сесть на сиденье рядом с ним, и четверка отвалила.

Вечер был обаятельный. Звезды загорелись в небе. Волк задумался.

Это был здоровый, крепкий человек, далеко за сорок, мускулистый, широкоплечий, мешковато одетый, спокойно-уверенный в своей физической силе, привыкший к морю и любивший его, с грубоватым, суровым лицом, с тем выражением искренности, простоты и в то же время какого-то философски-спокойного ума, которым отличаются моряки, много видавшие видов на своем веку.

Еще недавно его серые глаза светились радостно, и по временам в его серьезном лице появлялась горделивоторжествующая улыбка счастливого человека. В то время он и бросил пить, вдруг сделался бережлив и стал мягче характером.

Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но, когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до исступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержать силой.

В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.

От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока

не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.

— Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! — говорили тихонько на баке.

Но подсмеиваться над ним не смели.

Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.

И это хорошо помнили на баке.

Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту. Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо... Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».

Огоньки мигали в домах слободки.

Волк глядел на огоньки... Еще месяц тому назад Фенька здесь жила...

«Конец!» — подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки... Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкротила»...

Слова Руденки жалили его сердце, точно змея...

— Что, брат Волк... Болит голова? — вдруг участливо спросил мичман.

— Самую малость, ваше благородие!

— Верно, скоро выпишешься...

— Как бог, ваше благородие...

— Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!

— И без того... избил... А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером... Зачинщик-то я... Я и виноватый!

— И ты еще заступаешься за подлеца? — воскликнул мичман, тронутый словами Волка.

— А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошараши ножом, пожалуй быть бы мне убивцем... За это в арестанты.

— Разве убил бы?

— В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие,— необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.

«Он по-настоящему любит»,— снова подумал мичман.

И ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.

«И какой я подлец в сравнении с Волком!» — мысленно проговорил мичман.

Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:

— Знаешь что, Волк?

— Что, ваше благородие? — чуть слышно ответил Волк.

— Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале... Так скажи адрес. Я напишу.

— Спасибо, ваше благородие... Не надо!

И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:

— Не приедет, ваше благородие!..

— Шабаш! — крикнул мичман.

Четверка остановилась у пристани.

Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на берег.

— Скорей поправься — и на конверт, Лаврентий Авдеич! — горячо проговорил молодой загребной на четверке.

— Спасибо, братцы! Чуть починят башку — на конверт!

Мичман с Волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину.

— Иди рядом. Волк! — наконец проговорил Кирсанов.

— Есть, ваше благородие!

И Волк поравнялся с мичманом.

— Отчего, ты думаешь, не приедет?.. Только написать... Навестит.

— Не надо, ваше благородие.

— Недобрая, что ли, она?

— Она?! Руденко все набрехал на нее! — возбужденно проговорил Волк.

— Так отчего же она уехала?.. Ты так привязан к ней. Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только...

— Не пытайте, ваше благородие! — перебил матрос. В его голосе звучала почти что мольба.

Юный мичман сконфузился и смолк.

В госпитале как раз был вечерний осмотр главного доктора, и были все врачи, когда пришел мичман с раненым.

Хирург внимательно осмотрел рану Волка, ковырял ее каким-то инструментом и велел фельдшеру поместить Волка в палату.

— Счастливо оставаться, ваше благородие! — ответил Волк на ласковое прощание мичмана.

И когда матрос ушел, мичман спросил пожилого рыжеватого врача:

— Что, доктор, опасна рана?

— Опасна! — умышленно преувеличивая опасность раны, отчеканил резко, с апломбом, рыжий врач, словно бы недовольный недостаточно почтительным тоном профана к жрецу.

— Волк умрет? — испуганно, чуть не со слезами проговорил мичман.

— С чего вы это взяли? Опасна — не значит смертельна! — внезапно смягчаясь, промолвил рыжий врач при виде испуга мичмана за матроса. — Не волнуйтесь, молодой человек... Бог даст, выживет... Здоровый... А странная фамилия: Волк...

— Это, доктор, кличка... А фамилия его Чекалкин... Первый матрос у нас на корвете... И какой хороший человек, если бы знали!.. Вы, доктор, почините его! — умоляюще и краснея просил мичман.

— Постараюсь... А вы первый год мичманом? — ласково улыбаясь, промолвил врач.

— Первый... А что?

— Свежестью веет... Приятно смотреть на такого мичмана... Позвольте познакомиться... Зайдите ко мне как-нибудь...

Они назвали фамилии друг другу, и оба, по-видимому, были довольны новым знакомством.

Когда мичман вернулся на корвет и доложил старшему офицеру, что сказал хирург, Петр Петрович поморщился и пошел к капитану доложить о происшествии.

Ввиду серьезности раны капитан недовольно заметил, что придется написать начальнику эскадры рапорт, и прибавил:

— А как Руденко отлежится, дайте ему триста линьков...

— Есть!

— А потом под суд... Законопатят в арестанты... Ножом пырнуть! Мог и убить!

Капитан помолчал и прибавил:

— И как это Волк втемяшился в какую-то там бабенку-с!.. Не первогодок, кажется... Не понимаю-с!

— И я не понимаю... Мог бы понять, что ему сорок шесть, а этой Феньке, говорят, двадцать пять!

— Конечно, возраст основательный... Но... но Волк молодец и ведь не старик же, однако! — с внезапным раздражением крикнул капитан.

И старший офицер спохватился, что дал маху.

Капитану было сорок пять, а его жене — двадцать.

III

Волк лежал на койке рядом с матросом Бычковым, сломавшим себе ногу при падении с марса-реи фрегата «Проворный».

На третью ночь после поступления в госпиталь Волк не спал. Болела голова и тревожили тяжелые мысли. Не занятый работой, он вспоминал недавнее время, — и не мог от него оторваться.

И с какою-то мучительной проясненностью проносились перед ним картины счастья. А теперь?

Волк только встряхивал головой, словно отгоняя от себя тоску.

Припоминал, в чем виноват был перед Фенькой, и мучился раскаянием.

«Оттого и бросила!» — объяснял внезапное решение Феньки этот не понимавший женщин матрос. И с тоской любящего сердца, потерявшего навеки Феньку, прошептал:

— Крышка!

— Чего не спишь, Волк? Это насчет чего крышка? — спросил сосед по койке.

Волк не отвечал.

Но ему вдруг захотелось открыться, выкрикнуть кому-нибудь про боль смятеною души, не дающей покоя.

И сдерживаясь от волнения, проговорил:

— А я, братец ты мой, думаю: не может этого быть, чтобы бабья душа была вроде как беспардонная... Сегодня, к примеру, ты хороший, а завтра — подлый человек, и чтобы духа твоего не было... Такой загвоздки в секунд нет... Видно, другая какая загвоздка...

— Стоит и обмозговывать! Нашел чем заниматься! — ответил Бычков, удивленный, что такой степенный и старый матрос думает о таком нестоящем предмете, как бабья душа, да еще ночью, когда спать надо. Но так как и Бычкову не спалось — нога ныла, — то он тотчас же прибавил: — Всякая баба беспардонная и есть. Но только мало полного нашего понятия о бабе. От нее столько загвоздок, что лучше и не думай, по каким причинам, а бей ее! Оно верней.

Бычков, матрос лет за тридцать, уверенно и убежденно проговорил эти слова и притом без всякого озаблчения. Напротив! И в его некрасивом, грубом лице и в тоне его голоса было много добродушия.

— За что бить? — спросил Волк.

И в его голову пришла мысль: может, не обескуражила бы его Фенька, если бы он ее бил? Но в ту же минуту мысль эта исчезла. Стал бы он ее бить! Да и Фенька в его глазах была особенная. Тронь только ее!

— А за все, братец ты мой! Такая уж в их природа. И которые лестнее, вовсе беспардонные шельмы! Видал ты вчера мою матроску, Волк? Проведать забегала...

— Видал.

— Так завсегда вертит подолом, стерва! По глазам ейным вижу... И чем глаза ласковей, тем больше облыжности... Значит, уж продает меня. Заметает, подлая лиса, хвостом... Как, мол, ловчей обмануть законного своего матроса!

Волк жадно слушал. Это суждение Бычкова казалось откровением. И ревнивые подозрения невольно закрадывались в голову Волка.

А Бычков среди тишины палаты, нарушаемой храпом или каким-нибудь словом во сне, вполголоса продолжал:

— Уж сколько я дубасил свою матроску — все загвоздок искал.

— И что же?

— Зря! Только мужчинское свое зло срываю. Бывало, бьешь — клянется... Прибавишь бою — Аришка взвоет и сперва поклянется, а потом зарок даст... «Никогда, мол, не буду... В потемнении рассудка, дескать, закон нарушила... Подлый матрос, мол, слабую матроску облестил... Так — по пути ветром надуло... А я, говорит, тебя только, законного матроса, и обожаю...» И ведь так ублажит, что, по нашей подлости, и поверишь...

— А веры-то нет?

— Верь подлой! Синяки прошли, она опять за свое. Кровь в ей бунтует. Никак не может. Ну, и приверженности ко мне такой нет, чтобы закон Аришке в охотку... Однако — врать нечего — добрая матроска и всегда уважит... Пойми-ка эту линию, Волк!

Но Волк не понимал, казалось, и возмущенно сказал:

— Подлость одна бить так бабу.

— То-то и я бросил потом Аришку. Вижу, не выучишь. И нет во мне прежней обиды. Служи, мол, такая-сякая, как обвязанная жена, и мой хлеб жри, и черт с тобой, ежели ты вроде быдто влюбленная... Путайся с другими... Вот, братец ты мой, как я полагаю насчет загвоздок... Плюнь и шабаш!

Волк был возмущен и молчал.

— А ты, Волк, чего не спиши?.. Какая загвоздка? Или башка болит? С чего это тебя матрос ножом пырнул?..

— Избил его... Не догадайся он ножом, я б его до смерти...

— Пьяный?

— То-то тверезый.

— Так чем же тебя матрос до точки довел?

— А он не будь что ни на есть подлой! — взволнованно начал Волк, закипая гневом. — Нечего сказать, открыл свою подлую душу... И ведь нет больше подлости, как обессуживать бабу... Бреши на ее — всякий по-

верит. А она что с подлецом сделает? Он-то расславит... Пакость на ей и останется. Понимаем ли мы бабу? Нам только чтобы себя потешить... И ты, Бычков, как ее понимаешь?

— Да так и понимаю. На то и дадена баба.

— Разве это правильно, ежели по совести? Можно, что ли, так форменно жить? Вот ты Аришке считаешься будто мужем. Собаки и есть. По-собачьи и живете... А знаю я одну, так она не такая. Позволит кто-нибудь ее лошматить? Наплюет тебе в рожу, да и от тебя в утек... Горда. Не то, что прочие... Ваши все на обман. А главное, Фенька наотмашь всю причину сказывала. Ничего не боялась.

Голос Волка звучал восторженно.

— Чудно что-то... Так ты из-за этой Феньки...

— А ты как думал?

— Ты, значит, вроде быдто...

Но Волк перебил:

— Не вроде быдто, а форменно привержен. Меня она, может, другим обернула... Тоже и я до Феньки вроде как пес был... А как бог мне счастья послал... Феньку узнал, так прямо-таки под всеми парусами временясь на мель... И шабаш... Понять можешь, Бычков?

— Бывает, видно... Втемяшится, будто как в потемнении рассудка человек...

— Небось не в потемнении, а в полном рассудке... И жизнь пошла другая. Будем мы, мол, по-хорошему... Мною не брезговала, понимала, что Волк душу ей отдаст... И как это... в секунд поворот от меня... Так и сейчас не войду в понятие... В чем загвоздка...

Голос Волка оборвался.

Невыносимая тоска томила его. Прошла минута-другая в молчании.

Наконец Бычков сказал:

— Так, значит, этот самый матрос, которого ты избил...

— Что матрос? — грозно перебил Волк.

Бычков испуганно промолвил:

— Набрехал все про Феньку...

— А ты полагал: она по-собачьи? Сейчас меня обнадежила, а завтра с другим?.. Ты про нее подумай! Даром что ты со сломанной ногой... Нешто не понял, что я обсказал?..

— Так по какой же причине Фенька вдруг тебя обанкротила?

— По какой причине? — переспросил Волк.

И сам терзающийся непониманием, с какой-то отважной отчаяния произнес:

— Есть, значит, причина. Из-за моего подлого характера бросила...

Волк смолк.

Ввиду предупреждения Волка, не расспрашивал более и Бычков и, разумеется, не смел сказать своего мнения о Феньке.

А Волк чувствовал неодолимую потребность убедить и Бычкова и, главное, себя, что Фенька не беспардонная душа.

И он проговорил:

— Слушай... Я обскажу тебе, какая это матроска... Ты увидишь...

— Обскаживай!

Волк вздохнул и начал.

IV

— Из-за ей — прямо сказать — свет увидал. А ты как думал, неверный матрос? Небось всякий жизни ищет, а не то чтобы очень рад, когда шкуру твою оббивают, словно она барабанная шкура, а больше как о ей и не смей полагать. По каким таким причинам ты вроде быдто арестант?.. И всего у тебя и радостей, что напился на берегу да пьяный облапил бабу. Что Машка, что Аксюшка — все равно, а потом и айда на корабль. Жди там боя да шлиховки из-за всякой малости, ежели строгость самая что ни на есть форменная. И какой ты ни покорный матрос, и у тебя, может, душа требует отдыши. Чтобы хоть на берегу по-хорошему пожить, узнать привет и ласку. Чтобы настоящая душевная баба, с понятием, и могла понимать, какой я приверженный и доверчивый... И чтобы она не боялась... и безо всякой облыжности... На совесть... Хвостом не верти!.. Да только такой бабы, может, и не встретить во всю жизнь... Только в башке полагаешь да в душе тоскуешь... А то если и встрел, а она начхала... Отваливай, мол!

— И ты такую бабу встрел, Волк? — недоверчиво спросил Бычков.

— Такую самую и встрел. Поздно только по своим годам... Не состоял в рассудке... Привязался, как смола. Тоже обезумел старый матрос. На мертвом якоре оставаться обнадеживал я себя в ослепленности... А заместо того — крышка!.. А все-таки обидно, а сердца против Феньки нет... И в каких смыслах крышка?.. Не все ли равно? А она не виновата... И не забуду, что из-за ейной доброй воли я два года был во всей своей форме человеком. Душу получай, мол, всю. Только бери! И чтобы ей никакой обиды... Понял я с ей, какая приверженность во мне... Бывало, с конверта на берег — так ног под собой не слышу, как бегу в слободку... Одним словом — новый оборот жизни... И пить бросил... Пойми, ведь я кто такой?.. Грубая матрозня и из себя вроде старой швабры. И она... обратила на такого внимание... И ведь я чуть было от судьбы не убежал...

Волк вздохнул и примолк.

«Прост ты, Волк. Поверили бабе. Лучше бы не встревал эстой Феньки!» — подумал Бычков и спросил, заинтересованный рассказом:

— Ты почему полагаешь?

— А по той самой причине, что не хотел тогда идти к Иванову — боцману с «Костенкина». Беспременно звал приходить в слободку. Женка, мол, именинница... Пирог и ведро водки.

— Как же не хотел на такое угощенье? — удивился Бычков.

— Накануне меня отодрали на «Гонце». С берега вернулся в беспамятном виде. Так я остерегался... Однако отпросился у старшего офицера — и на именины. Ладно. Вошел я это в ихнюю хибарку... Поздоровался с хозяевами, и как увидал Феньку, словно тую самую встрел, что давно знал в мыслях... Оконфузился даже и всего только пять шкаликов выпил... Зашабашил. И украдкой взглядываю на матроску... Около нее матрозня. Всякую брехню брешут... Видит — приваживает. Отсмеивается, но очень-то не позволяет... Так и отбреет, ежели уж очень матросы пристают... А мне и обидно... Как она такие собачьи разговоры позволяет?.. «Нехорошо», — думаю. А сам нет-нет да и взгляну... А из себя белая, чистая лицом и, видно, башковатая. Глаза большие-пребольшие, и взгляд переменчивый...

То смеется, то ласковый, то вдруг быдто невеселый... Задумается — и опять встряхнет головой и смеется... Вижу: молода, а тоже, видно, на сердце что-то есть... И что больше взглядаю, то жальчее... И все дивуются, что я не жру винища... И стал тут боцман рассказывать, какой я, мол, отчаянный матрос и какой я пьяница. Не будь пьянства, был бы, мол, давно боцманом.

«Чего ж не пьешь, Волк?» — вдруг кинула Фенька.

Ну, еще больше оконфузился. Ответил: «Не хочу, мол». Пронзительно так посмотрела и улыбнулась. Видно, поняла, что с первого раза ошарашила. И правильно, ошарашила как есть, и стыдно перед ей быть в пьяном виде. А матросы хмелели. И давай к Феньке пуще приставать. «Упоцелуй, мол, вдовая матроска! Тебя не убудет!» Она смеется и грозит в ухо. «Свиньи, говорит, вы невежливые с вдовой». А один унтерцер облапил. Ну, я не стерпел этого охальства. К унтерцеру — да отдернул. «Никто, говорю, не смей, матросы, обидеть бабу!» Все видят, что не шутю, и в шутку обернули. Однако оставили Феньку. И она взглянула на меня. Вижу — удивилась. А молодой белобрысый марсовый с «Костенкина», бледный и словно командир над ей, говорит: «Хвостом не верти, так и матрос не обидит». — «Ты мне муж, что ли?» — это Фенька в ответ и злая и прескучная стала. Отошел. Воззрился на Феньку, а она и не глядит на марсового.

— Кто ж он для нее был?

— А ты, матрос, не перебивай... Узнаешь, какой это подлец... Хорошо... Фенька еще посидела, пить не пила, а пригубила рюмку да в девятом часу стала с хозяевами прощаться. Уходить, мол, пора — поздно. И со мной попрощалась. «Спасибо, говорит, Волк, что не свинья, как прочие! Буду помнить». И вышла, а с ей белобрысый увязался. Вышел и я следом. «На конверт, говорю, срок». А я на случай около Феньки быть, чтобы не обидел ее этот белобрысый. Мало ли нашего брата подлеца с бабой... да еще с глаза на глаз. В слободке темень... ни зги... И тучи на небе... и ни души... Только часовые с города перекликаются... Глухая слободка ночью... Небось знаешь, какие подлости там бывают? А глаз у меня зоркий. Вижу, как Фенька с матросом идут в город. А я за ими. И вдруг между ими разговор.

И чем дальше — громче, в расстройку. Слыши, матроска отчекрыжила:

— Больше не согласна... Отваливай!..

А белобрысый вскричал:

— Это как же, подлая? Давно ли говорила, что люб тебе...?

— Ну и что ж? Мало ли что говорила и кому говорила... Хочу — люб, хочу — нет. Я в своей воле...

— Так ты так? Думаешь, смеешь?..

— Испугалась, что ли?..

— Видно, другого нашла?

— А хоть бы нашла? Тебе какое дело?.. Я не обвязанная...

Тут матрос обругал Феньку последним словом и стал драться. «Подлец... не смей!» — отчаянно крикнула Фенька. А я уже подскочил и давай бить этого подлеца. До смерти бы избил, да Фенька меня в рассудок привела. «Брось!» — говорит. И пошла. А я за ей. Привожу, мол, до людной улицы. Идем — молчим. Слыши — плачет, тихо, ровно забиженный ребенок... И так мне стало ее жалко, что и не обсказать. Вышли этто мы на Большую улицу, а она во все глаза смотрит на меня... видно, удивленная... И говорит: «А я полагала, что ты заступился из-за своей мужчинской подлости... Вижу, ты, Волк, первый матрос, что не надругался надо мной, как над последней тварью... Дай тебе бог всего хорошего... ты, может, и меня заставил на себя взглянуть, какая я есть...» И так это мне было лестно, что она поняла обо мне. Ведь до какого понятия о мужчинском сословии довели матроску. Нечего сказать, вовсе как звери были с ей. И такая стала она мне родная, такая светлая и так жалко ее, что и не обсказать. Сразу оказалось, какой она человек. В ту же минуту сердцем почуял ее смятенную душу, тоску и отчаянность в разговоре с матросами. Быдто и в самом деле беспардонная. А какая она беспардонная?! Она обиженная и другой жизни хотела, а не то что... Сразу беспардонность ейная прошла, как с ею добром. «Иди, говорит, Волк, на свой конверт, а то опоздаешь и наказание из-за меня получишь. И то защитил, добрый человек!» А у меня и слов нет. Не смею оказать себя и даже спросить не осмеливаюсь, можно ли когда повидать. А она мне: «Может, и захочешь меня проводить когда?» И так,

братец ты мой, словно виноватая,тишком проговорила. «Так зайдешь?» — спрашивает. «С полной, говорю, радостью, Федосья... А как по батюшке?» — спрашиваю. «Фенькой зови... Какая я Федосья!» И объяснила, что вроде куфарки у антиллериейской офицерши, и сказала дом. И, прощамшись, кинула: «А ты, Волк, не думай, что я болтала тому матросу... Так, зря, от отчаянности».

Ушел я на Графскую пристань и совсем по-другому быдто понимаю, какая есть на свете жизнь. Нанял ялик — и на конверт. Назавтра выпороли за опоздание на полчаса. Лупцуйте, мол! А я быдто безо всякого внимания. И вовсе другим стал. И Фенька на уме. Вот поди ж ты! — словно бы оправдываясь, прибавил Волк.

Минута-другая прошла в молчании.

— А что дальше? Сказывай, Волк... И по какой причине раздрайка? Чудна что-то твоя Фенька! — проговорил Бычков.

— Небось не видал такой?

— То-то не видал...

— Так ты слушай и пойми ее беспокойную душу... И Волк продолжал.

V

— Вскорости пошел к ей. Посидел. Чаем угостила. Балакаем. И такая понятливая ко всему — совсем не бабий в ей рассудок. Стал чаще ходить — сказываю про всякое понятие мое, и о том, как матросу нудно на свете, и как не по правде люди живут, и как обидно простому человеку... Вижу — слушает, не скучает. И простая со мной. А мне — хоть не уходи с кухни... Поняла, значит, что я вовсе привязалась, и не гонит... Зовет, а обнадежить себя не решаюсь. Не к рылу, мол. Однако как кампанию кончили, перебрались в казармы поздней осенью, пришел к Феньке и сдерзничал — открылся. «Не обессудь, говорю, за мою приверженность по гроб жизни». И Фенька на это: «Такой не видала, говорит, приверженности, и ты мне люб», — говорит... Однако в закон не согласилась.

— Отчего?

— По своей гордости... вот отчего... «Не хочу, говорит, быть обвязанной и ни твоей, ни своей воли решаться... И обманывать тебя не стану».

Оставила Фенька место, и наняли мы комнату в слободке. Стала белье стирать. Не хотела, чтобы я один для нее старался... Жалела. И никакой в ей корысти не было. Не льстилась на деньги... И жили мы душа в душу так два года... Заботливая обо мне была—придешь, бывало, с конверта или из караула—точно в раю... И щекотливая была... Не любила, если я приревную... «Ты, говорит, верь моей совести... Не думай, какая прежде я была... Я, говорит, в рассудок пришла. Что было — было. Лучше и не вспоминать. И самой стыдно... И помни: станешь ты мне чужой — скажу. Обидно тебе будет, а правды не скрою...» А я верю Феньке и в полном доверии и изо всех сил стараюсь, чтобы ей было хорошо... Чем-нибудь потешишь. Одно слово, при ей вроде крепостного... И чем дольше, тем сильнее моя приверженность... И опять в закон прошу...

«Подожди», — говорит...

Обнадеживаю я себя и счастью своему краю не знаю. Только быдто обидно, что бог ребенка не дает. Так прошло два года. И стал я замечать, что Фенька нет-нет да и заскучит. И приду, бывало, с конверта — я обсказываю, что было,— она уж не в охотку слушает. Обнимешь — она чаще отстранять стала. И страшно сделалось. Думаю — не та Фенька и обо мне не заботливая... Подозревать стал — мука одна. Молчу — скрываю; только приду и сердце свое срываю. То куда ходила, то отчего есть не приготовлено, то отчего без дела сидишь... Жду — лаской ответит, простит грубость, догадается, отчего сердце кипит во мне, а она мне: «Ты что с попреками... Я не жена, слава богу... Я сама по себе...» Обвязала голову платком, да и ушла... Вернулась, и глаза заплаканы.

А я сам не свой... В полной расстройке души. Кажется, кожу с себя готов снять, и меня же вроде быдто подлеца поняла... Чтобы пепрекать? За что?

— А ты, Волк, оттаскал бы Феньку за косу. Нешто нельзя сказать бабе, чтобы сполняла свое дело?... — взвужденно проговорил Бычков.

— Феньку да за косу?.. И какой ты, матрос, дурак! Сам-то только и понимаешь, когда тебя по уху...

— Так ты что же?.. Сам же и виниться стал перед ей?..

— То-то и повинился. И со всей покорностью, глупая башка. Без Феньки мне жизнь — что вроде могилы. Пойми ты, ежели в тебе настоящая душа... Ведь приверженность не сапоги. Снял и шабаш!..

— Ну, ладно... Обскаживай!.. Тоже и ты, я скажу, чудной!..

— Замирились... Простила... И после говорит: «Незадачливая я... Только тебя мучаю и себя расстраиваю... Ты обо мне лучше полагаешь, чем я есть... Бедный ты мой, бедный Волк!.. Видно, не умею я ценить твою ко мне любовь... Обиженная от бога природой!..» Так прошел месяц... Я, дурак, опять успокоился... Вижу, не брезгает мною... А что-то в ей беспокойное — дума какая-то... Не объясняет... А уж прежней ласковой и веселой Феньки нет... То скучная, то вдруг приникнет ко мне и приласкает... И я рад... Думаю: сбойдется... И как-то раз говорит: «Уеду от тебя, Волк, в отлучку на несколько дней... К сродственникам, в Симферополь хочу...» Попрощались. Уехала... Обещала дать весточку, как вдруг через два дня отписала: «Не жди меня больше, Волк. За все добро и приверженность много благодарна. Но нет во мне прежней любви... Прости, если виновата, за зло и не поминай бесталанную Феньку...»

Волк смолк. Казалось, долгий рассказ не успокоил его. Он по-прежнему не понимал причины этой внезапной перемены и не сомневался, что и Бычков думал о Феньке то, что говорил и Руденко.

Он не верил и отгонял подозрения... Но, когда его глазам мучительно грезилась пригожая Фенька, такая же ласковая и порывистая, в объятиях молодого солдата в Симферополе, в голову Волка невольно закрадывалась мысль, что Фенька — беспардонная душа.

VI

Прошло две недели.

Волк поправился и явился на корвет.

Матросы обрадовались Волку. Старший офицер потребовал его в каюту и шутливо спросил:

— Совсем починили тебя?

— Точно так, ваше благородие.
— И больше не «скучишь» из-за бабы?..
Волк смущенно молчал.
— Не стоит, братец... Понял?
— Есть, ваше благородие!
— Особенно в твоих годах. Молодые не очень-то любят пожилых. Слышал об этом?
— Точно так, слышал, ваше благородие,— угрюмо ответил Волк и весь побагровел.

Петр Петрович не сомневался, что утешил матроса, и отпустил его.

А Волк далеко не успокоился и был по-прежнему молчалив и угрюм. И все дивились, что башковатый матрос мог так долго тосковать из-за бабы. Даже мичман Кирсанов, который уже забыл госпожу Перелыгину и «по-настоящему любил» госпожу Дышлову, не с прежним уважением и симпатией смотрел на Волка. Он слышал кое-что о Феньке и теперь считал Волка порядочным дураком. Можно любить по-настоящему хорошую женщину, а не какую-нибудь... Разве можно любить женщину, которая не заслуживает уважения... Вот хоть бы он... Убедился, что госпожа Перелыгина далеко не пушкинская Татьяна, и... наказал ее своим забвением... Госпожа Дышлова, та... вполне понимает, что такое настоящая любовь...

И мичман как-то завел разговор с Волком на эту тему, но встретил такой иронически-холодный взгляд матроса, что лишил его своего расположения и больше с ним уже не разговаривал.

«Решительно, он — грубая скотина, не понимает сочувственного человеческого отношения!» — не без некоторой горечи подумал мичман и уже начинал разделять мнение кают-компании насчет того, что бить и драть матроса обязательно нужно и для службы полезно.

Вскоре «Гонец» пошел в крейсерство к кавказским берегам.

У Анапы быстро разыгрался штурм. Просвистали спускать стеньги.

На фор-марс^е вышла какая-то заминка. Там был мичман Кирсанов. Был и Волк. Когда после спуска реи все спустились, мачтовый офицер стал ругать Волка.

Мичман ни слова не сказал в защиту лихого матроса. Не то не хотел противоречить лейтенанту, не то не принял к сердцу несправедливости. «И то всего обругали! Стоит ли из-за этого вступаться?»

И тем не менее мичману стало неловко, когда он встретил взгляд прежнего своего фаворита. И сколько было в этом взгляде недоумения и укора! Ведь мичман видел, что Волк не виноват...

А ведь он думал, что мичман добер к матросам и справедлив...

«Где же правда на свете?» — подумал Волк и ничего не ответил на ругань лейтенанта.

И в этот штормовой день Волк работал за двоих, и его, как всегда, посыпали делать опасное дело. И он казался еще хладнокровнее и угрюмее.

А шторм усиливался. Показалась течь. Откачивали во все помпы. Вода прибывала. Корвет трещал по всем своим старым швам. У матросов закрадывалась мысль о гибели. Только Волк, казалось, был равнодушен.

«На что теперь мне жизнь?» — пробегала в его голове мысль неразрывно с мыслью о Феньке. Но он все-таки наваливался во всю силу на помпу.

К вечеру шторм стал стихать, и «Гонец» вбежал в Анапу.

Когда затихла погода, командир возвратился в Севастополь и вошел в док, чтобы починиться после шторма. «Гонец» порядочно таки расшатало.

VII

В первое же воскресенье первую вахту отпустили на берег.

И только что Волк вышел на Графскую пристань, как увидал Феньку.

Бледная, исхудавшая, стояла она около него.

— К тебе вернулась, если не забыл Феньку... Не бось состарилась?

Волк не находил слов и крепко сжимал своей мозольной, шершавой рукой маленькую руку. Глаза его сияли восторженным счастьем.

— Идем, Фенька... Так не брезгуешь мною?

— Глупый... Я уж две недели тебя жду...

Голос ее звучал лаской. И глаза улыбались.

— И знай... Никого я не знала в Симферополе... И снова к тебе потянуло... Без тебя соскучилась. Больше не буду тебя мучить. Узнала, как тебя из-за меня ранили.

Волк сиял.

Через неделю они повенчались.

Прошел год, и началась война. И Волк на четвертом бастионе часто встречал свою храбрую матроску, носившую мужу булки, еду и гостинцы, несмотря на то, что пули и ядра свистали над ней. Встречал и, забывая о близости смерти, глядел на нее такими счастливыми глазами, что Фенька только ласково улыбалась, угождая мужа, и расспрашивала о делах бастиона.

Оба уцелели. Ужас войны окончательно сблизил их. Нечего и прибавлять, что Волк по-прежнему был «подвластенным» у Феньки.

БЛЕСТЯЩИЙ КАПИТАН

I

Был девятый час сентябрьского утра.

Тулонский рейд точно млел в мертвом штиле. Солнце еще не томило жгучими лучами.

Капитан «Витязя», стоявшего рядом с флагманским кораблем французской эскадры, только что принял обычные утренние рапорты и, оставшись на мостике, радостно, почти что влюбленно любовался своим красавцем корветом, с изящными линиями обводов, стройным, с высоким рангоутом, белоснежною трубой и сверкающею белизной палубой.

Капитан-лейтенант Ракитин, молодой моряк, впервые назначенный командиром, еще переживал медовые месяцы власти и командования одним из лучших судов балтийского флота и щеголял безукоризненным порядком, умопомрачительной чистотой «Витязя» и «идеальной» быстротой работ на нем.

И «Витязь» приводил в восторг даже иностранных моряков.

То было время обновления и во флоте. Только что были отменены телесные наказания. Капитан умел и без жестокости властствовать командой, и его «молодцы», как он называл матросов, рвались на работах изо всех сил, рискуя из-за «идеальной» быстроты на учених увечьями и даже жизнью ради самолюбивого щегольства и желания отличиться блестящего капитана. И он был доволен «молодцами». Они не осрамят «Витязя».

Щеголевато одетый, весь в белом, стройный и хорошо сложенный блондин лет под тридцать, красивый,

с самоуверенным лицом, с шелковистыми светло-русыми усами и бакенбардами, Ракитин взял бинокль и смотрел на флагманский французский корабль. И торжествующая победоносная улыбка играла на его лице.

Он отвел бинокль и, щуря голубые глаза, кинул, обращаясь к вахтенному офицеру, мичману Лазунскому:

— У французов, верно, сегодня парусное ученье.

— И у нас будет, Владимир Николаич? — почтительно и весело спросил мичман.

— Конечно.

— Опять французы «опрохвостятся», Владимир Николаич! — взвужденно проговорил мичман.

И его юное, безбородое и жизнерадостное лицо светилось счастливой улыбкой победителя.

Но Ракитину, щепетильно оберегающему свое капитанское достоинство, вдруг показалось, что мичман фамильярен, вступая с капитаном в разговоры. И Ракитин оборвал мичмана, проговорив резким тоном:

— Сигнальщик пусть не спускает глаз с крюйсбрам-стеньги адмирала!

— Есть, смотрит! — мгновенно делаясь серьезным, отвечал мичман.

— И вы посматривайте. Не прозевайте сигнала.

— Есть! Не прозеваем! — еще серьезнее, тоном служебной аффектации, ответил несколько обиженный мичман.

И несмотря на то, что сигнальщик не спускал подзорной трубы с адмиральского корабля, мичман крикнул ему:

— Хорошенько смотри на адмирала!

«Эзя кричишь!» — подумал сигнальщик и крикнул:

— Есть! Смотрю!

Капитан не сходил с мостика и то и дело взглядал на флагманский корабль, по юту которого расхаживал невысокий худощавый адмирал, горбоносый, с седой эспаньолкой, в темно-синем длинном форменном сюртуке, с отложными воротничками белоснежной сорочки, необыкновенно любезный и вежливый старик орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем.

Ракитин нетерпеливо теребил бело-русую жидкую бакенбарду в ожидании торжества «Витязя». Еще бы! Не раз уже «Витязь» возбуждал профессиональную за-

висть и национальную досаду иностранных моряков и тешил самолюбие русского блестящего капитана.

Когда «Витязю» приходилось стоять в каком-нибудь рейде с французской или английской эскадрой, Ракин, соблюдая любезность международного этикета, по сигналу иностранного адмирала делал на «Витязе» те же учения, какие делались и на чужих эскадрах. И большей частью русский корвет оставался победителем. Все на «Витязе» радовались. Даже доктор и батюшка торжествовали, что на корвете ставили и убирали паруса минутой или полминутой раньше французов или англичан.

II

— Сигнал! — крикнул во весь свой голос сигнальщик.

На крюйс-брам-стеньге флагманского корабля «Terrible» взвились три комочка и у верхушки развернулись сигнальными флагами: «Поставить все паруса».

В ту же секунду на всех судах французской эскадры поднялись ответные сигналы, и среди тишины рейда раздались командные французские слова.

— Свистать всех наверх! Паруса ставить! — неестественно громко и взволнованно крикнул мичман, срываясь с голоса, которым старался напрасно басить.

Засвистали дудки. Прозвучали голоса боцманов иunter-офицеров.

Словно вспуганное стадо, бросились матросы к своим местам. Офицеры стремглав выбегали из кают-компаний и неслись к мачтам. Старший пожилой штурман рысцой побежал на мостик, а младший тем же аллюром пронесся за ним и взял в руки минутную склянку, чтобы усчитать время маневра.

Старший офицер «Витязя», Василий Леонтьевич, маленький, кругленький, толстенький и свежий, как огурец, лейтенант, лет за тридцать, уже взбежал на мостик и расставил свои короткие ноги, подавшись всем своим корпусом через поручни.

Все стихло.

— Марсовые к вантам! По марсам и по салингам! — громко, весело, задорно и точно грозя кому-то вызовом,

скомандовал густым и сочным баритоном Василий Леонтьевич.

С этой командой он бросил взгляд быстрых и острых, как у мышат, карих глаз на «француза»: побежали ли там по вантам.

Нет еще! Слава богу!

А марсовые «Витязя» уже ринулись как бешеные по натянутым вантикам. Лишь мелькали голые пятки. Одни уже были на марсах, другие бежали выше — на салинги, когда французские матросы еще только добегали до марсов.

И шустрой живчик Волчок, как называли на баке Василия Леонтьевича, нетерпеливее и громче крикнул:

— По реям!

Белые рубахи разбежались по марса- и брам-реям, придерживаясь рукой за выстрелы (вроде перекладины поверх реи) для баланса, с такой смелой быстротой, словно бы они бежали по полу, а не по круглым попечерным деревам — реям, которые своими серединами висели на страшной высоте над палубой, а ноками (концами) — над морем.

Матросы точно и не думали, что малейшая неосторожность — и сорвешься, чтобы размозжить голову о палубу или нырнуть с высоты в море и не вынырнуть на свет божий.

— Отдавай!.. Пошел шкоты! С марсов и салингов долой!

Голос старшего офицера звучал нервнее и нетерпеливее.

Капитан, не спускавший глаз с рея, едва сдерживался от нетерпения и самолюбивого волнения. Ему казалось, что вот-вот — и позор: «Витязь» не обгонит французов...

— Сколько минут? — вздрогивавшим голосом крикнул он.

— Две с половиной! — ответил младший штурман.

«И чего эти подлецы копаются!» — думал Ракитин, словно бы забывая, с какою быстротой и с какою смелой удалю делали матросы свое трудное и опасное дело.

— Василий Леонтьич! Скоро ли?! — с упреком воскликнул капитан.

Старший офицер пожал плечами.

— И без того люди рвутся! — ответил Василий Леонтьевич.

Еще минута, бесконечная минута...

И «Витязь» сверху донизу, и с боков и впереди по бугшприту, оделся парусиной и походил на гигантскую птицу с опущенными крыльями.

По-прежнему на корвете царила тишина.

Минуту спустя поставлены были паруса и на судах французской эскадры.

Но торжество капитана было неполное.

Он сердился. Самолюбие блестящего капитана было уязвлено.

Еще бы!

Сегодня на «Витязе» поставили не с обычной сказочной быстротой, приводившей в изумление моряков, а на сорок секунд позже, и «Витязь» опередил французов только на минуту.

— Прикажите команду во фронт, Василий Леонтьевич.

— Есть!

Через минуту матросы стояли во фронте.

Быстрой и решительной походкой, приподняв голову, подошел Ракитин к средине фронта. Все глаза были устремлены на капитана. В напряженных взглядах матросов была подавленность. Несколько секунд Ракитин молчал, остановив прищуренные серьезные глаза на одном матросе, стоявшем против него. И молодой марсовой еще больше и бессмысленнее выпячивал глаза на капитана.

— Не ожидал от вас, ребята! Подгадили сегодня. Копались! — проговорил капитан строго и торжественно-мрачно.

И матросы словно бы почувствовали себя виноватыми. Лица стали еще напряженнее. Эффект вполне удовлетворил капитана, и он, уж смягчая голос, продолжал:

— Смотри!.. Впредь не осрамитесь и меня не осрамите перед французами. Уверен... Вы ведь у меня молодцы...

— Рады стараться, вашескобродие! — облегченно и весело рявкнули матросы.

Капитан велел разойтись, успокоенный, что «молодцы» не осрамят его и ценят слова капитана.

III

Матросы считали Ракитина «молодчагой» по флотской части командиром.

Обрадованные «отдышкой» после прежнего капитана, типичного «мордобоя», с расточительностью наказывавшего людей линьками, матросы находили, что новый командир хоть и донимает службой и спешкой куда больше «мордобоя», но зато «добер». Дрался редко и «с рассудком», зря в штрафные не переводил «для всыпки», не очень уважал, чтобы офицеры занимались сильным «боем», и не взыскивал за пьянство на берегу.

Они, почти не знавшие отдыха и работавшие как бешеные, в самом деле поверили, что «подгадили» из-за сорока секунд и мало стараются, чтобы не осрамить капитана и не осрамиться перед «французом».

И старый боцман Терентьевич, сам взвинченный словами капитана, возбужденно говорил на баке матросам:

— Ужо постарайтесь, черти! Не осрамите капитана перед французом, дьяволы! Другой по форме вышиб бы всем марсовым зубы, а капитан — «молодцы, мол»! Небось при «мордобое» лупцевали бы ваши спины, и не была бы у меня цела морда, если бы он распалился за что-нибудь... Еще счастье, что за секунд не взыскивал...

Многие марсовые успокаивали боцмана.

— Не бойся, Терентьевич. Постараемся!

— Строг на спешку, а добрым словом...

— Обнадежил, значит... Молодцы, мол.

— И не зудил... Не осрами — и шабаш.

— Покажем, братцы, как закрепим паруса.

— То-то покажем! — подхватили многие голоса.

И громче и возбужденнее прозвучал голос молодого, краснощекого и жизнерадостного марсового Никеева с большими ласковыми черными глазами.

IV

В то же время капитан говорил в своей каюте старшему офицеру:

— Надеюсь, Василий Леонтьевич, мы утром нос французам при уборке парусов... Не подгадим. Прикажете сигару?



«ОТЧАЯННЫЙ»



«ЛЕДЯНОЙ ШТОРМ»

— Благодарю... я папироску... Чем же подгадили, Владимир Николаич? Разве что на сорок секунд позже закрепили... Невелико опоздание...

— Невелико, а могло его не быть, Василий Леонтьевич... И не должно быть... У нас команда — молодцы! С ними можно и без порки... Умей только понимать психологию русского матроса... Я, слава богу, знаю его! — самоуверенно произнес Ракитин.

— Золотой народ! — горячо проговорил Василий Леонтьевич. И виновато прибавил: — Иногда и ударишь... привычка... Но если за дело — не обижаются.

— А все лучше бы господам офицерам полегче... Того и гляди еще в «Колокол» попадем... Неловко...

Шпилька была направлена в старшего офицера.

Он понял, но ничего не сказал.

— Кто это мог сообщить про бывшего командира «Витязя»?.. Читали?

— Читал... А кто сообщил — и не думал.

— Пожалуй, младший механик Носов отличился. Тоже либерал этот сынок старшего писаря! — с презрительным высокомерием проговорил Ракитин. И, поморщившись, продолжал: — В кают-компании он проповедует глупости... Какой-то механик, а тоже... Вы, Василий Леонтьевич, не очень-то позволяйте этому механишке... Мы на военном судне... Чтобы он и не думал заниматься обличительной литературой... Живо сплавлю! — прибавил капитан, с каким-то особым удовольствием подчеркивая о своей власти «сплавить».

Василий Леонтьевич далеко не уважал этого «бесшабашного карьера», каким считал Ракитина. Он возмущался и его требованиями какой-то сказочной быстроты, и его высокомерием, и хвастовством, что может офицера сплавить, и самомнением человека, воображающего, что он один сделал «Витязь» таким образцовым судном, и пролазничеством, и нахальством...

«Ишь задается хлыщ! И мне еще ни за что делает выговоры!» — подумал старший офицер. Он вспыхнул и, сдерживая себя суровой школой дисциплины, официально-сухо ответил:

— Андрей Петрович Носов, — нарочно назвал старший офицер механика по имени и отчеству, — не говорил в кают-компании возбудительных речей, за которые я был бы вправе его остановить. А что он говорит

в своей каюте или на берегу, до этого мне нет дела. Я старший офицер, а не сынщик-с! И если вам угодно не позволить ему писать, коли Андрей Петрович пишет, то извольте ему приказать или прикажите мне передать ваше приказание...

Блестящий капитан дорожил Василием Леонтьевичем, как отличным старшим офицером, понял свою бес tactность перед ним и в первое мгновение был огорожен словами Василия Леонтьевича, казалось недалекого и покладливого служаки.

Тем было досаднее Ракитину, что он не смел оборвать старшего офицера, который так настойчиво противоречил капитану и отказался исполнить его приказание, выраженное в форме совета.

И Василий Леонтьевич, видимо не желавший сближения с Ракитиным с первого же дня его командирства, вызывал в капитане теперь злобное чувство мелкой самолюбивой душонки.

Струсивший служебного разрыва, Ракитин и не показал вида неудовольствия. Напротив, словно бы удивленный, он самым любезным товарищеским тоном, желая очаровать старшего офицера, проговорил:

— Да что вы, Василий Леонтьич?.. Извините, если я вас без намерения обидел... Я и не думал делать вам замечания... И не имею повода... На днях слышал с мостика через открытый люк кают-компании слова механика, и мне показалось... Вас, верно, не было... Я ведь знаю, что вы не допустите чего-нибудь предосудительного... Точно я не знаю, какой вы идеальный старший офицер и незаменимый помощник, Василий Леонтьич!

«Экий подлец! Без всяких правил»,—подумал Василий Леонтьевич.

И, сам честный человек, имевший правила, от которых не отступал, он смягчился от комплиментов и извинения блестящего капитана.

— Я в частном разговоре, по-товарищески, высказал вам, Василий Леонтьич,— говорил капитан еще мягче и вкрадчивее,— свое мнение о механике.

Пустив душистым дымком хорошей гаваны, продолжал:

— Между нами говоря, не люблю я штурманов, механиков и артиллеристов... Порядочные таки хамы...

И сколько презрения к этим париям флота было в тоне Ракитина и сколько уверенности, что старший офицер вполне с ним согласен!

Хотя и Василий Леонтьевич не был лишен кастового предрассудка, но далеко не был таким ненавистником офицеров корпусов, как Ракитин.

И старший офицер сказал:

— Наши штурманы, механики и артиллерист достойные офицеры, Владимир Николаич!

— Еще бы были у меня лодыри!..

— И вполне порядочные люди... А если не особенно показные... не светские... Так ведь это, я думаю, не порок, Владимир Николаич! — проговорил Василий Леонтьевич.

— Очень рад слышать такой отзыв... Значит, наши... приятное исключение...

Наступило молчание.

Старший офицер поднялся с кресла и спросил:

— Я вам больше не нужен, Владимир Николаич?

— Нет, Василий Леонтьевич...

Когда Василий Леонтьевич вышел из каюты, Ракитин ненавидел своего старшего офицера.

V

На флагманском корабле поднят был сигнал: «Убрать паруса».

Матросы «Витязя» превзошли ожидания даже Ракитина.

Они уже кончали крепить марселя и брамселя, когда французские матросы еще только расходились по реям.

— Экие бабы! — произнес с веселой улыбкой капитан и стал смотреть на реи «Витязя».

Марсовые точно волшебством забирали мякоть подобранных парусов марселяй и связывали их сезнями (бечевами), упираясь ногами на перты — веревки, протянутые вдоль рей.

Обещавшие не «осрамить» капитана, марсовые с возбужденными, вспотевшими и раскрасневшимися лицами торопились, словно обезумевшие, для которых мгновение — сокровище. Казалось, в эти секунды они не знали чувства самосохранения и забыли, что тонкие веревочные перты, качавшиеся от движения сильных

и цепких ног, были опасной опорой, требующей осторожности и владения нервами.

А восхищенный капитан, предчувствовавший торжество победы, только любовался, как бешено рвутся и «идеально» крепят марселя «молодцы», покачивающиеся на высоте рей.

Старший офицер, напротив, взволнованный, с тревогой смотрел наверх. Бешеная торопливость марсовых возбуждала опасения, и совесть его была неспокойна. И он взволнованно крикнул:

— Марсовые! Осторожнее! Крепче держись, братцы!

Ракитин метнул на старшего офицера злой взгляд и насмешливо кинул ему:

— Марсовые не бабы, Василий Леонтьич!

— Люди, Владимир Николаич! — значительно и возбужденно ответил он.

— Знаю-с, что люди! — надменно сказал капитан, краснея от негодования, что его учат.

И только что он это сказал, как перед его глазами с гrott-марса-реи сорвался человек.

Что-то белое ударило о ванты, отбросилось вбок и звучно шлепнулось о палубу.

Ни крика, ни стона

Работавшие на шканцах матросы ахнули и отвернулись от недвижного человека, вокруг которого палуба окрасилась кровью.

Голова была размозжена, но красивое молодое лицо марсового Никеева уцелело. Большие черные глаза выкатились, померкнувшие в застывшем взгляде ужаса.

Многие торопливо перекрестились.

Гrott-марсовые невольно взглянули вниз и снова стали вязать сезни.

Безумный пыл исчез. Явилось вдруг чувство самосохранения.

— В лазарет человека! — скомандовал старший офицер.

Голос его дрогнул. Василий Леонтьевич не смотрел на убитого.

Боцман Никитич уже прикрыл размозженную голову, и двое шканечных отнесли Никеева вниз. Матросы отводили глаза от убитого, крестились и снова трекали

снасти. Офицеры поторапливали. Прибежал бледный и испуганный судовой врач. Какой-то старый баковый матрос, забулдыга и пьяница Кобчиков, крепивший кливер, промолвил вполголоса:

— Тоже спешка. Вот и спешка!

— Молчать! — окрикнул первый лейтенант, распоряжавшийся на баке.

Работы горели.

— Марсовые с марсов и салингов долой! — скомандовал Василий Леонтьевич.

В его команде не было прежнего возбуждения. Убитый не выходил из его головы.

«Витязь» был победителем.

Еще на французской эскадре не были убраны паруса, а «Витязь» красовался с оголенными мачтами. Снасти были убраны.

Несмотря на торжество русского корвета, на палубе стояла зловещая тишина только что бывшего несчастья.

Потрясенные матросы притихли и угрюмо молчали, стоя у своих снастей.

Только забулдыга Кобчиков тихо говорил с иронической ноткой в сиплом пропитом голосе двум товарищам:

— А вы рвись, такие-сякие... Подыхай из-за секунда!.. Зато молодцы! А ему начать, что Егорка расшибся... Ты погляди, что ему... Это не Волчок... У того душа!

Действительно, блестящий капитан был под впечатлением торжества.

Напрасно он старался принять озабоченный вид. В его еще торжествующем лице было лишь выражение досады, когда он произнес, обращаясь к старшему офицеру:

— Экий неосторожный матрос...

И, не получив ответа, спросил:

— Кто сорвался, Василий Леонтьевич?

— Егор Никеев... Уже второе несчастье в течение месяца! — взволнованно-сердито проговорил старший офицер...

И скомандовал:

— Подвахтенные вниз!

Капитан, раздраженный и еще выше поднявший голову, ушел в каюту.

Разговаривая между собой, офицеры спускались в кают-компанию.

Мичман Лазунский вскочил на мостик, вступая на вахту.

Расстроенный и грустный, словно бы желая поделиться с кем-нибудь тяжелым настроением, он сказал старшему офицеру:

— И если бы вы знали, Василий Леонтьич, какой был славный Никеев!

— Знаю. Всякого было бы жаль. Человек! — раздумчиво и серьезно промолвил Василий Леонтьевич.

— Еще бы... Конечно, всякого, Василий Леонтьич...

И, мгновенно вспыхивая, чуть не со слезами в голосе, точно боялся, что Василий Леонтьевич может дурно подумать о мичмане, Лазунский торопливо и застенчиво прибавил:

— Вы не подумайте обо мне, Василий Леонтьич, будто я...

— Что вы, что вы, Борис Алексеич?.. Я думаю... я уверен, что вы славный юный мичман... Таким и останетесь, когда будете капитаном! — ласково сказал Василий Леонтьевич... И уходя, прибавил: — Панихида будет в одиннадцать... Дайте знать капитану в одиннадцать... И половину вахтенных отпустите вниз...

— Есть, Василий Леонтьич! — ответил мичман. А глаза его говорили:

«И какой добрый этот Василий Леонтьевич».

VI

Через полчаса старший офицер прошел в лазарет. У двери стояла толпа, ожидая очереди. В маленькой каюте лазарета толпились матросы, пришедшие взглянуть на покойника и, перекрестившись, поцеловать его лоб.

Уже обмытый и одетый в чистые штаны и рубаху, с парусинными башмаками, он лежал на койке. Голова покоилась на подушках. Глаза были закрыты, и уже мертвенно пожелтевшее лицо казалось спокойным, с тем выражением какого-то важного недоумения, которое часто бывает у покойников. Образной читал псалтырь.

Василий Леонтьевич постоял минуту-другую, не спуская глаз с покойника, потом перекрестился, поклонился ему и вышел, испытывая тяжелое чувство виноватости.

— Послать ко мне в каюту боцмана! — приказал вестовому Василий Леонтьевич.

Через минуту Никитич вошел в каюту старшего офицера.

Василий Леонтьевич велел покойника перенести в палубу перед образом и сказал, что панихиды будут два раза в день, а через день его похоронят на французском кладбище.

— Чтобы взвод провожал, и может идти на похороны кто пожелает.

— Есть, ваше благородие...

— Да вот еще что, Кириллов... Уэнай, из какой деревни покойный Никеев и живы ли у него родители?..

— Никого у его в живых, ваше благородие...

— Так, может, близкие кто у него на родине?..

— Точно так, ваше благородие, и по той причине дозвольте разрешить...

— Что?

— Собственные вещи Никеева отправить на родину. Покойник беспременно наказывал своему земляку Иванову... Ежели, говорит, случаем расшибусь, отпиши в Кронштадт и без промедления отправь вещи...

— Хорошо. Я отправлю. А какие вещи?..

— По малости бабы гостинцы, ваше благородие! На платье штучка, два колечка, платок и сорок франков... Покойный не занимался вином, ваше благородие.

— Ладно. Принеси мне. И адрес дай.

— Очень благодарны, ваше благородие... Душевный был матросик. Простой. Вся команда жалеет... Горяч был на работе. Из-за горячности и сорвался. Хвастал не осрамить капитана. И не осрамил, ваше благородие!

— А кому же послать?.. Кто она?..

— В законный брак с ей собирался, ваше благородие, как «Витязь» вернется. Той самой невесте и копил гостинцы. Пригвоздила, значит, покойного Егорку эта вроде не то, с позволения сказать, вроде девицы, матросская дочка. И сама пригвоздимшись... Три года

с им зналась, как мужняя жена... И часто отписывала ему... Только и была близкая ему.

— А отчего Никеев, такой молодец, думал, что убьется?..

— Так, зря болтал, а вышло быдто чуял судьбу, ваше благородие... Азартный был сердцем. А капитан еще давеча приказывал не подгадить... И лестно так... Никеев и распалился... И дозвольте, ваше благородие, еще доложить...

— Что?.. Говори!

— Очень эта спешка самая может извести команду... Так попросили бы командира. Он добер... Дасть ослабку, ваше благородие...

Василий Леонтьевич сморщился и обещал поговорить.

После похорон матроса старший офицер осторожно поговорил с капитаном... и разговор кончился тем, что Василий Леонтьевич на другой же день списался с корвета и уехал в Россию.

ЛЕДЯНОЙ ШТОРМ

Посвящается А. В. Вергежскому

I

Яйла «курила» и сверкала под блеском южного солнца своими белоснежными гребнями, расщелинами и склонами.

Срывая и крутя алмазную пыль, порывы горного ветра налетали с бешеною силой все чаще и чаще и так пронизывали своим ледяным дыханием, что напоминали близость не Черного моря, а Ледовитого океана.

Ветер дул и с гор, и с моря, и, казалось, с самого неба, подернутого бирюзой, по которому величаво и словно бы лениво поднималось ослепительное солнце, появившись из-за гор.

Над ними неслись нежно-белые перистые облачка, а на противоположном горизонте, над морем, надвигались черные, тяжелые и нависшие тучи и точно грозили приближением шторма.

И, чуя его, бакланы и чайки тревожно, короткими концами, носились низко над волнами, как будто скользя по ним.

И белые как снег чайки словно бы предостерегали друг друга своим грустным криком, похожим на плач обиженного ребенка.

В маленькой открытой гавани Ялты, у набережной, трепыхались, прыгая на своих якорьках, зимовавшие каботажные суденышки.

Этот десяток маленьких бригантинон и шкунок до-потопной конструкции не внушал большого доверия.

По-видимому, не особенно доверяют им и господа шкипера — из отставных боцманов военного флота или «из греков» — и не плавают на своих «каботажках» в зимнюю пору, когда Черное море задает «форменные трепки», от которых не спасет моряков даже заступничество св. Николая Мирликийского. Да и тихое, оно на долгое время заволакивается таким густым туманом, что здешние шкипера, умеющие плавать только «на глаз», вблизи знакомых берегов, и не имеющие понятия о прокладке курса по карте и о компасе, знают, что легко вместо Феодосии попасть в Одессу, а то и в Константинополь.

Ошвартовавшийся у мола, раскачивался пассажирско-грузовой «Баклан», только что пришедший из Севастополя. Выпущенные пары прогудели о приходе. Ветер подхватывал черные клубы дыма из горластой трубы. Несколько палубных пассажиров в порты Кавказа вышли на берег, чтобы купить кое-чего и попробовать твердой земли после сильной качки на пароходе... А что еще будет впереди?..

Крепчало.

Волны взбухали и «разгуливались». Сталкиваясь между собою, гребни пенились с сердитым воем, и ветер подывал волнам, срывая верхушки «зайчиков» и разнося брызги.

Море вблизи седело и становилось сердитей.

А вдали, совсем вдали, оно казалось холмистым, темным, таинственно-грозным и жутким.

Прибой гудел.

Особенно был высок подъем столба воды у волнореза мола.

Эта, суженная вверху, прибойная волна взлетала с бешеною стремительностью на высоту тридцати футов, почти вертикально... Еще мгновение — и, рокочущая и обессиленная, она низвергалась, сливаясь с широкими волнами. Через несколько секунд взлетала следующая могучая и бушующая волна.

Кучка людей уже пришла на мол.

Грузчики подавали тюки и ящики к лебедке, поворачивающейся с парохода к пристани. Несколько зрителей из «серой» публики напряженно и испуганно взглядывали то на море, то на пароход, словно бы изумляясь и сожалея людей, которые пойдут на «Баклане», казав-

шемся скорлупой перед взъерошенным, вздувшимся морем.

Были и «господа».

В отдалении от стенки, чтобы не получить ледяной ванны, они любовались высоким и грозным прибоем, и бессмысленная его сила невольно наводила почтительный страх.

Какой-то художник с подстриженной бородкой, худощавый, молодившийся старики, быстро, размашисто и самоуверенно писал масляными красками эскизы прибойной волны. Но неуловимо харacterный, трепетавший жизнью, грозный, красивый и, казалось, каждое мгновение менявший и цвет, и мощь, и прозрачность воды, прибой едва ли был почувствован художником.

В выражении его изжитого и скептического лица виден был ум, но «бога» в нем не было.

И он, ловя натуру, в то же время взглядал на молодую, красивую и изящно одетую девушку, стоявшую от него в двух шагах с пожилой дамой. Обе восхищались и ужасались прибоем, не обращая ни малейшего внимания на художника.

Зато дамы невольно заглядывались на пригожего, белокурого студента с худощавым и одухотворенным лицом и необыкновенно мягкими и «чистыми» голубыми глазами. Возбужденный и зарумянившийся на стуже, он озабоченно расставлял фотографический аппарат, чтобы снять в разных видах прибой, произведший сильное впечатление.

II

Один из «серых» зрителей, обращавших исключительно внимание на сравнительно небольшой, низко нагруженный пароход, молодой человек с болезненным и напряженно-встревоженным лицом, лихорадочными и угрюмо-насмешливыми глазами, с жидкой черной бородкой и маленькими усиками над тонкой бескровной губой,— по-видимому, находился в отчаянно скверном положении.

По крайней мере костюм его далеко не соответствовал собачьему холоду в Ялте, побаловавшей еще вчера чудной, теплой погодой.

Летнее «легкомысленное» пальто, тонкое и прозрачное на локтях, настолько выцвело, что определить его цвет было трудно. Дырявые и стоптанные ботинки обнажали голые грязные пальцы. Легонькая фуражка, когда-то модная, очевидно, попавшая с большой головы, была с вентиляцией... Одним словом, вся одежда несомненно плохо защищала молодого человека, пронизываемого ледяным норд-остом.

Только шерстяной шарф, в который он прятал нос, представлял собою лучшую и основательную часть костюма и, казалось, именно он и придавал некоторый апломб всей этой худенькой, бессильной и вздрагивающей фигурке. И молодой человек носил свое рванье с таким же достоинством, с каким сытые люди носят свое хорошо сшитое платье.

Молодой «зритель» пытливо смотрел на пароход и не без зависти думал о солидно одетых матросах, работавших на лебедке, и о теплом помещении на кубрике. Да и у машины было тепло...

И, несмотря на грохочущий в конце мола прибой, на гул взвымающегося моря и на вой ветра, молодой человек, словно бы озаренный вдруг решением, обратился к одному из грузчиков. Он показался молодому человеку умнее и симпатичнее других, этот пожилой здоровый брюнет, обросший сильно заседевшими бородой и усами. Он только что спустил с широкой сутулой спины изрядный ящик и, остановившись в нескольких шагах от парохода, ловко закурил на ветре папироску.

— Пойдет в «рейц», господин рабочий?

И, приложив к козырьку засиневшие пальцы, молодой человек махнул головой на пароход.

— Пойдет! — обрывисто и далеко не любезно ответил грузчик.

— В такого-то дьявола-шторм?

— Капитан знает, коли идет! — строго и авторитетно промолвил грузчик и отвернулся.

— Разве по воле пойдет в бурю?

— Отстоялся бы здесь, если б хотел.

— Может, и очень бы хотел, да службы решиться не смеет...

— А ты знаешь, что ли? — резко спросил грузчик.

— То-то знаю... Небось, ваши шишки, главные, значит, начальники в страхе капитанов держат... Лестно, мол... Я, такой-сякой, захочу — прогнал с места, захочу — оставил... Им ведь, вашим начальствам «оборомтам», сиди на сухом пути да жри хороший харч с мадерой вином, а вот ихние подначальные капитаны, по опаске и глупости, хоть сам потопай да матросов топи!.. Они и виноватые останутся... А управляющие, мол, не при чем... Очень просто... И ежели в тебе есть понятие, то обмозгуешь, что везде одна и та же идет линия... Все, что по своему mestu или по капиталу над людьми куражатся,— одно слово, озверелые свиньи и сволочь! — прибавил с злой насмешкой молодой бояк.

И эта неожиданно дерзкая речь, не совсем понятная грузчику, который никогда и не думал о людской неправде, хотя, быть может, и чувствовал ее своими боками, и оборванный вид этого бояка, видимо, дошедшего до точки,— вызвали в грузчике неодобрительные чувства к оратору.

И он, основательный и домовитый семейный человек, тепло одетый и хорошо напившийся чаю с хлебом в своем маленьком домишке в слободке, купленном на деньги жены, неизвестно как добытые ею,— строго взглянул на бездомного бояка и ничего не проговорил.

Однако, заинтересованный этим оборванцем с такой дерзкой «фанаберией», не уходил.

А молодой оборванец неожиданно сказал:

— А если капитана этого парохода спросить... не возьмет ли он матросом?

— Это кого взять матросом? — удивленно спросил грузчик.

— Меня.

— Тебя!?. Такого... господина?

И грузчик рассмеялся.

Но оборванец, казалось, не обратил внимания на презрение в смехе этого сильного и здорового человека к слабосильному, нищему и самоуверенному проходимцу. И он спокойно ответил:

— То-то такого господина... Сию минуту нанялся бы. Бури не боюсь...

— Ты хоть и отчаянный господин, но капитану не требуются матросы. Да тебя, все равно, не возьмут... Тоже лодырь, объявился матрос!..

— Правильно рассудил, сытый грузчик!.. А ежели, например, наняться грузчиком на пристани, а то носильщиком?..

— Проваливай лучше... Замерзнешь в своем легком кустюме!

— А я полагал, по тому самому ты и порекомендуешь меня на должность!..— с резкой и угрюмой ironией проговорил молодой человек.

— Другой должности ищи... А пока что... оденься.

И с этими словами грузчик торопливо отошел, испытывая какую-то неловкость, вроде виновности, перед этим вздрагивающим бояком с чахоточным лицом.

— Сволочи!— негодующе бросил искатель занятий, два месяца тому назад приехавший из Керчи, где был, по болезни, рассчитан с табачной фабрики и со штрафом за дерзкие слова управляющему.

Замерзнувший от ледяного ветра, молодой человек почти побежал с мола и направился в «матрёсскую слободку», где жил у старой квартирной хозяйки, ялтинской мещанки, которой платил три рубля в месяц за крошечную конуру, без отопления, разумеется.

Ни у кого из встречных, шедших к молу — посмотреть на прибой и на пароход, собирающийся уходить в бурю,— он не решился попросить гравенника, чтобы купить десяток папирос и выпить в кофейне стакан горячего чая.

Уже два месяца он напрасно искал работы и продал все, что было возможно, чтобы не умереть с голода.

Вчерашний день он не ел.

III

Ветер усиливался с быстротой. Барометр падал.

Прибой у мола взлетал выше и рокотал грознее.

Нагрузка парохода приходила к концу после того, как несколько бочек и ящиков были выгружены.

Был одиннадцатый час утра.

Капитан парохода, спавший лишь часа два на переходе из Севастополя в Ялту, встревоженный, озабоченный и не выспавшийся, торопливо напился чаю с свежими булками и вышел из своей каюты на палубу.

Взглянув на собравшуюся у пристани преимущественно серую публику, испуганную и по временам выра-

жавшую опасения, он, казалось, спокойно и уверенно приказал старшему помощнику поторапливать нагрузку и, поднявшись на мостик, стал смотреть на далекий горизонт чернеющего моря и на зловещие темные тучи, клочковатые и низкие...

Но горькие думы поднимались в душе этого, по-видимому, хладнокровного и сдержанного капитана.

Это был низенький и кряжистый человек с крупными, грубыми и добродушными чертами обветрившегося, красного и напряженно-серезного лица.

Никифору Андреевичу Москалеву далеко за пятьдесят.

Здоровый крепыш, он был очень неказист, морщинист и с седою, как лунь, бородой. Его неладно скроенная фигура была гибка, поступь легка, и его маленькие, воспаленные от бессонной ночи и возбужденные серые глаза еще горели молодым блеском.

Он был в стареньком, сильно потертом пальто, подбитом густым и крупным крымским бараном, с мерлучечным воротником и в высоких смазных сапогах. Из под форменной фуражки с толстым потемневшим золотым галуном на окольше выбивались сильно поседевшие русые волосы.

Капитан впился в даль моря и тяжко вздохнул.

Штормяга будет серезная, и он его встретит.

Мысли наводили страх на старого моряка, давно плававшего по Черному морю. Сперва он ходил здесь на военных судах молодым штурманским офицером, потом на коммерческих пароходах, когда оставил военную службу, всегда мачеху для штурманов — этих обойденных, обиженных и обозленных пасынков морской семьи.

О, как хотелось ему быть теперь в Севастополе и там пережидать шторм, вместо того, чтобы идти в море.

И зачем он пошел из Севастополя? Зачем?

Капитан понимал: зачем. Он малодушно боялся выговора. Начальство подумает, что он струсили. Шторма еще не было в Севастополе. Но ветер уже крепчал, и волнение разводило большое. Следовало бы остаться. Пожалуй, и промело бы.

Никифор Андреевич служил в коммерческом флоте двадцать семь лет и пятнадцать последних командует

пароходами. Он дорожил местами и смолоду привык к неодолимому, чисто рабьему страху перед людьми, от которых зависела его судьба. Боялся, хотя бы не уважал и даже презирал в душе своих патронов.

И слава богу, до сих пор все шло благополучно. Исправный, пунктуальный и осторожный, он ни разу не был пароходов, даже аварий не случалось. И начальство, кажется, им довольно, хотя и долго не заикалось о пассажирском пароходе. А Никифор Андреевич никого не просил и не любил беспокоить начальство. «Само знает». Товарищи прямо говорили, что давно следовало бы Никифору Андреевичу получить пассажирский пароход на Крымской линии, но, верно, не дают за то, что он не представительный человек. Мало ли какие высокопоставленные пассажиры и какие важные светские пассажирки ездят в Крым.

Необыкновенно скромный, до болезни застенчивый Никифор Андреевич сознавал,— и очень страдал прежде,— что он не только не представительный, а простотаки «безобразная рожа», как самоотверженно называл он свое топорное лицо. Особенно возбуждал в нем чувство отвращения и словно бы виноватости перед людьми его мясистый, похожий на картофелину и багровый, как у пьяниц, нос. Он был самым главным изъяном его лица и самым «больным местом» мнительного и втайне болезненно самолюбивого Никифора Андреевича.

Он не увеличивал своих достоинств, а скорее умалял их. Он понимал, что не «боек умом», никогда не «заносился», ничего не читал, о чем можно бы задуматься и иметь шире кругозор, был не речист и терялся, особенно перед важными людьми. Даже и со своим начальством не умеет разговаривать и не умеет подлаживаться. Явится, бывало, по окончании рейса в Одессу, доложит, по возможности, лаконично о том, что все благополучно, и, робеющий, стесняющийся и застенчиво краснеющий, скорее вон из кабинета и на квартиру— повидать семью и пробыть «дома» два-три не всегда счастливые дня до следующего ухода в рейс недели на три, а то и на четыре.

И Никифор Андреевич старался подавить оскорбленное самолюбие обойденного человека и обиду усердного работника на семью, благосостояние которой явля-

лось для него чуть ли не главным и единственным смыслом жизни.

Положим, на пассажирском и выгоднее, и виднее, и пароходы быстрее и лучше, но, того и гляди, какая-нибудь история из-за пассажиров первого класса. И в рейсе капитан должен быть всегда начеку и одет щегольски. Замухрышка-капитан неприятен пассажирам. Они ведь требовательные, с претензиями и капризами. То покажется какому-нибудь генералу, что капитан недостаточно «приличен» и внимателен, то будто обед недоброкачествен, то вино скверное и дорогое, то качает, и виноват капитан, что не стоит на мостике, а болтает или спит; то зачем в туман пароход стоит по несколько часов и капитан не обращает внимания на советы идти в Ялту, до которой всего полчаса, и сирена гудит. Особенно дамы нервничают. То и дело спрашивают капитана, погибнет ли пароход? Есть ли надежда спастись?.. Капитан должен оберегать их. Они ведь жены известных лиц в Петербурге... Все генеральши и со связями... Или жены миллионеров из Москвы... И всех этих плачущих, перетрусивших барынь надо уговаривать и успокаивать... А пассажирам надо объяснять, что в такой густой туман, когда бака не видно с кормы, лучше переждать, пока не прояснится... И эти стрекулисты из газет тоже... народец. Задаются!.. Форсят!.. Не покажи особенного внимания к представителю прессы, не помести одного в каюту, не пусти на мостик,— начнет фыркать и... все нехорошо, не так, как на заграничных пароходах, и потом закатит корреспонденцию, в которой разнесет вдребезги капитана. А ядовитый генерал, у которого болит печень? Он едет в Ессентуки и, сердитый, выискивает за что бы придраться, и главным образом за то, что капитан не знает, что этот желтый и худой старик, с гладко выбритыми щеками и с застланым взглядом озлобленных глаз, тайный советник и директор департамента. Такой господин и того хуже... Он непременно напишет председателю правления письмо о беспорядках на пароходе, на котором, по несчастью, поехал, и попросит обратить внимание на недостаточную вежливость капитана с пассажирами... И тогда запрос правления директору... Тот, в свою очередь, капитану... Оправдывайся... Того и гляди, переведут на грузовой пароход... Бывали такие случаи.

«Бог с ними, с этими пассажирами. Лучше подальше от них... По крайней мере спокойнее!» — утешал себя Никифор Андреевич.

Но недавно Никифору Андреевичу обещали, что летом ему дадут пассажирский пароход... Под старость Никифор Андреевич показался начальству несколько благообразнее, и старый моряк обрадовался за семью. Тогда он будет получать жалованья с процентами до пяти с половиной тысяч. А теперь он получал с прибавками за долгую службу только три с половиной. Конечно, и с этими деньгами возможно жить, но осторожно и с уменьшением. Недаром же Анна Ивановна недовольна, что Никифор Андреевич так мало получает и не умеет обратить внимания на свои заслуги. Семья не маленькая: кроме Анны Ивановны, четыре дочери. Две уж невесты и... хоть бы один жених!..

«И что с ними всеми будет, если, боже храни, кормильца не будет?» — подумал вдруг Никифор Андреевич.

И сердце его замерло от тоскливого ужаса за близких.

Как дорога и любима семья — эти некрасивые, застенчивые, обидчивые «девочки». Они живут в скромной обстановке, при вечной воркотне матери о трудности сводить концы с концами, не знают развлечений, почти без знакомых мужчин. Особенно всегда недовольны и раздражительны две старшие дочери, часто говорят, вытирая слезы, что они жить хотят...

И по временам Никифору Андреевичу больно и тяжело в семье, когда, после рейсов, он проводил эти редкие, желанные дни дома. Он ждал тепла и любви, ждал отдыха в «гнезде», ради которого работал без конца, — и вместо этого ни ласки, ни внимания... Не такими хотел бы он видеть их.

Они точно безмолвно укоряли отца, что он не сумел сделать их счастливыми и не старался зарабатывать столько, чтобы семья жила прилично.

Жена, моложавая сорокалетняя Анна Ивановна, с ним холодна и несколько третирует, считая его недалеким и очень некрасивым. Никифор Андреевич это чувствует и побаивается жены. И прежде она не любила мужа и вышла замуж, чтобы пристроиться. Пригожей и бедной бесприданнице было восемнадцать, когда она

пошла за некрасивого, смешного и влюбленного сорокалетнего Никифора Андреевича, только что назначенного капитаном парохода.

Первые годы супружества пронеслись в голове капитана. Как он страдал, ревновал и любил! И сколько было у жены любовников! Он знал и не показывал, что знает.

Теперь нет и осадка. Он все простили. И жена стала ласковее, как узнала, что муж получит наконец пассажирский пароход... Семья будет жить лучше.

— И вдруг нищие! — прошептал Никифор Андреевич. — Нищие! — в ужасе повторил он, представив положение семьи, если...

«И как он беспомощен... И как он беззащитен!»

Словно бы только теперь, перед явной опасностью, он вдруг прозрел, что в глазах начальства он только исправный капитан, а не человек.

Заболей он — через шесть месяцев уволят. Состаришься — убирайся вон и живи, как знаешь. Умри — семье ни гроша пенсии. Погибни в море — семья моряка, проплававшего двадцать семь лет, нищая!

«Бессовестные! Бессердечные!» — подумал Никифор Андреевич и спустился с мостика, по-прежнему не понимая, что делает людей бессовестными и бессердечными.

IV

— Первый свисток! — приказал капитан первому помощнику.

— Есть! — неуверенно и смущенно проговорил статный красивый молодой брюнет в щегольской тужурке и высоких сапогах.

И, стараясь скрыть перед капитаном чувство жуткого страха, овладевшего им, и не спеша исполнять приказание, дрогнувшим голосом прибавил:

— Мы, значит, уходим, Никифор Андреевич?

Старый капитан, владевший собою несравненно лучше своего помощника, словно бы не понял его вопроса.

И в его серьезном, казалось, не встревоженном лице и в обычном спокойном голосе было словно удивление, когда он, в свою очередь, спросил:

— А то как же, Иван Иванович?

— Я полагал, Никифор Андреевич, переждем... шторм...

— Не оставаться же здесь... Заштормуй — пароход разобьет в щепки об мол. Вот в Керчи и отстоимся, если штормяга прихватит...

«Уже бушует в море!» — подумал Никифор Андреевич. И, стараясь подбодрить и себя и помощника, прибавил:

— Слава богу, дойдем!

Помощник взглянул на море.

— Ведь не загружены, Иван Иванович!

— Да, Никифор Андреевич... Здесь пустяки груза.

— А машина у нас здоровая. Отлично выгребали из Севастополя...

— Как бы не заливалась нас продольная волна, Никифор Андреевич... Взгляните, что там! — испуганно проговорил брюнет.

И в голове его пронеслась мысль:

«Здесь пароход разобьет, зато все живы будем!»

Но сказать этой мысли не смел. Громадная волна, которая будет заливать и обледенять палубу и бугшприт, тревожила и капитана.

И, вероятно, оттого, что это его мучило и вселяло опасения, Никифор Андреевич, обыкновенно ровный и добродушный с подчиненными, раздражительно и даже с озлоблением воскликнул, глядя в упор на красивое, взволнованное и румяное лицо помощника.

— Да что за ранее трусу праздновать, Иван Иванович! И что вы каркаете, Иван Иванович! Вы не ворон!

— Я вовсе не трус, Никифор Андреевич! — обидчиво вымолвил помощник.

И в то же время почувствовал, что сердце упало и по спине забегали мурашки... И он прибавил:

— Я не каркаю... Я только хотел...

— Все равно, иди надо. Первый свисток! — повелиительно и резко перебил Никифор Андреевич, отводя глаза.

— Есть! — ответил в отваге отчаяния пригожий помощник.

И, бросив на «обезумевшего» капитана, не внимавшего резонов и внезапно «окрышившегося», жалко-испугу-

ганный и укоряющий взгляд своих бархатных и наглоласковых черных глаз южанина,— торопливо пошел на мостик.

Через несколько секунд, заглушая вой ветра и гул прибоя, прогудели пары короткого свистка.

Три палубные пассажира — один в лисьем шубепальто, пожилой, рыжий лавочник из Новороссийска, с плутоватыми раскосыми глазами, и два чеченца в бурках, из Туапсе, с мужественными, правильными, точно выточеными, худощавыми и глупыми молодыми лицами — примостившись на своих настилках у горячей трубы, посматривали то на капитана, то на матросов.

И лавочник, торопившийся домой, чтобы получить с кого-то в срок деньги и по алчности не решившийся, несмотря на страх, остановиться в Ялте до следующего парохода, хотя и смертельно боявшийся воды,— закусывал воблу и ситник, пока не качает, и, бледный, испуганно прислушивался к шуму моря и крестился. А чеченцы ели хлеб и овечий сыр и дрожали под своими бурками, покорные аллаху.

Вид капитана и матросов не наводил уныния и обнадеживал.

И лавочник говорил черкесам:

— Понимай, чиркес... Ежели пароход уходит, значит, секим-башки нам не будет! И капитан знает.

Черкесы слушают, едва понимают и безмолвствуют с видом фаталистов, ожидающих своей участи.

Матросы после свистка стали напряженнее и угрюмее. О том, что впереди, не разговаривали. Каждый про себя думал, что матросская жизнь каторжная и что в море жутко. Того и гляди, не увидишь берега.

Художник, окончив два эскиза, взглянул на море и, обращаясь к молодой девушке, словно бы в экстазе восхликал:

— Какая грозная красота!.. И как хорош прибой!

«Что за скотина!» — подумал пригожий студент и возбужденно и сердито произнес:

— Какой опасности подвергаются матросы!.. В ней красоты мало!

И красивая барышня посмотрела на пароход и догадалась, что едущим на пароходе не до красот природы.

— Бедные! — застенчиво промолвила барышня, обращаясь к студенту и словно бы извиняясь, что она, восхищаясь морем, забыла о людях.

И в эти минуты среди любопытных из серой публики раздавались восклицания, полные сочувствия и сожаления к морякам:

- Отчаянный капитан!
- И буря-то страсть!
- Небось, не боится идти!
- Как-то дойдет пароход.
- Матросикам-то как... Замерзнут!
- Вызволил бы их Николай-угодник!
- Спаси их господь! Не сделай сирот!

И кто-то истово перекрестился.

Капитан услышал эти замечания и опять вспомнил о своих.

«И какого черта я не остался в Севастополе!» — снова упрекнул себя Никифор Андреевич, скрываясь в рубку.

Он приказал буфетчику подать чаю и коньяк и, оставшись один, без свидетелей, Никифор Андреевич не выглядел решительным.

Но мысль о том, что остаться бы в Ялте и спастись, рискуя разбить пароход, даже не пришла ему в голову.

V

Как только «Баклан», прогудев о приходе, ошвартовался у мола, Антон Жученко, чернявый и курчавый молодой матрос с бесшабашно-смелым и жизнерадостным пригожим лицом, то и дело прибегал на корму и взволнованно и жадно вглядывался в начало мола, поджидая кого-то.

Он не обращал внимания ни на завывающее море, ни на ледяной ветер, трепавший его шелковистую бородку и кудрявые волосы, выбивавшиеся из-под матросской нахлобученной шапки, и, казалось, в своем не особенно теплом буршлате, застегнутом наглухо, не чувствовал резкого холода.

Словно прикованный, весь нетерпение и ожидание, он впивался в каждую женщину, показывавшуюся на повороте с улицы на мол и сколько-нибудь напоминавшую ему издали ту, которую он так взвужденно ждал.

И его острые, как у ястребка, карие и лукавые глаза

вдруг загорались радостным блеском, и взгляд становился нежным, ласкающим и влюбленным. Ему виделось, что спешит его желанная, любимая...

Это она, Матреша... Невысокая, аккуратная, такая франтоватая...

Но еще минута, и матрос увидел не ту, которую ждал.

«И что за рыло!» — мысленно досадовал Антон.

Его лицо, быстро меняющее выражение, уже омрачилось. И, подавленный и тоскливыи, Антон снова взглядывал в показывавшиеся женские фигуры и, не узнав Матрены, начинал волноваться и злиться.

Прошло полчаса. Время казалось бесконечным.

Прогудел долгий свисток и за ним короткий первый.

Антон был в отчаянии. В следующее мгновение, взбешенный и ревнивый, он уже питал злые обвинения против Матреши и мысленно повторял:

— Подлая!.. Шельма!

Антон уже решил, что из-за такой «подлянки» не стоит убиваться. Ну ее, сволочь, к черту. Наплевать! При первой же встрече искровянит ее обманную рожу.

Однако не отходил от кормы.

Антону делалось обиднее и оскорбительнее.

Он был привержен до дурости, сохранял закон, был ласков, не пьянистовал, не ругал и — дурак, как есть дурак — не бил, как бы следовало, чтобы понимала. Он в бурю уйдет, а ей все равно... Видно, опять зашило-хвостила...

— Бесстыжая обманщица!.. — прибавил он вслух.

И Антону нестерпимо захотелось видеть сейчас, сию минуту эту «подлую», чтобы все обнаружить. Он покажет себя, как обманывать... Покажет, и потом пусть убирается навек.

Матросу казалась теперь секунда целой вечностью. Он загорелся и, словно бешеный, сбежал с парохода и бросился к агентству.

Два пожилые, носильщика-армяне сидели у стены, притулившись за ветром.

— Братцы!.. Спешка!.. Кто съездит духом в город?

Оба равнодушно подняли большие, влажные и ленивые глаза на нетерпеливого матроса и спрятали в гарусные шарфы, намотанные на шею, свои большие, сизые, мясистые носы.

Ни один даже не ответил.

— Идолы! Не даром. Заплачу!

— Дежурный. Нельзя! — ответил один.

— И мне нельзя! — промолвил другой.— А ты не барин, не ругайся! — обидчиво прибавил он.

— Целковый дам!

— А куда? — вдруг разом спросили оба носильщика, несколько оживляясь.

— В Виноградную.

— Мороз-то какой. Хо-хо-хо! А тебе какая такая спешка? — спросил более добродушный и любопытный носильщик.

— Дать знать женке, чтобы явились. Наживешь карбованец, армяшка!

— Не подходит. А ты вот мальчика пошли, сродственник, племянник. Умный, все справит. Наумка!..

Подошел черномазый, черноглазый и носатый мальчик.

Антон облегченно вздохнул и торопливо заговорил:

— Живо, Наумка! Бери первого извозчика и жарь в Виноградную, дом Кукораки... Знаешь?

Мальчик утвердительно кивнул.

— В доме меблированные комнаты барышни Айка-нихи... Не забудешь?

— Знаю Айканыху.

— У нее в горничной Матрена. Пусть в один секунд сюда на извозчике с тобой... Мол, матрос Антон наказал, чтобы беспременно. «Баклан», скажи, в «рейц» отходит... Шторм! Понял?

— Все поняли! — хитро улыбаясь, ответил Наумка.

— Вали, Наумка! — кинул Антон, подавая мальчику деньги на извозчика.— Постараешься, целковый!

— А если пароход уйдет? — вкрадчиво спросил Наумка.

Оба носильщика хихикнули.

— Беги же! Да лётом! Отдам дяде! — грозно закричал Антон.

И маленький Наумка, словно бы жеребчик, получивший внезапно плеть, помчался со всех ног.

— Наумка молодца... Исправно сполнит. Он — башка, даром что мал! — любовно сказал носильщик, восхищенный предусмотрительностью племянника, и подумал, что следует с Наумки получить «могарыч».

Но матрос не уходил и волновался.

— Будь спокоен, Наумка не обманет — возьмет извозчика! — прибавил Наумкин дядя.

— То-то не обманет... А уж и шельмоватый Наумка!

— Понятливый. И привезет твою супружницу. Только отпустила бы Айканиха. Стrogая барышня... уксусная! — протянул армянин.

— Знаю, что уксусная и зудит. Однако не посмеет... И Матрешка не овца... Отчекрыжит... Бойкая на язык!

В эту минуту мальчик сел в коляску, въезжавшую на мол, и скрылся.

— Спасибо, братцы!

С этими словами Антон побежал на пароход.

Снова прислонившись к борту кормы, он впился вперед на мол и, взволнованный и вздрагивающий, будто в лихорадке, повторял:

— И что за сволочь Матрешка!

И в голосе его невольно дрожала нотка любви.

Прогудел второй звонок. Лебедка еще работала, принимая бочки. Сердце Антона усиленно забилось.

И им овладела лишь одна мысль:

«Успеет ли приехать эта подлая Матрешка?»

VI

«Айканиха», как вульгарно и неподходяще называли носильщики и Антон фамилию Ады Борисовны, да еще считали ее «уксусной», — была тонкая и деликатного обращения девица, точный возраст которой никто в точности не знал, но во всяком случае предполагали, что Аде Борисовне от тридцати до сорока.

Белобрысая, с щурящимися, маленькими, близорукими, порой мечтательными глазами, с мелкими кудряшками у лба, высокая и худая, как спичка, благоухающая chipr'ом и втайне влюбчивая, Ада Борисовна, благодаря изяществу сдержаных манер, пышным складкам на лифе, выхоленным рукам в кольцах и кое-каким секретам нежности кожи лица, казалась близоруким мужчинам еще недурной, особенно под густой вуалеткой и без солнечного или лунного освещения на берегу моря.

Иметь пансион, как считала Ада Борисовна приличнее называть свои меблированные комнаты в двухэтаж-

ном доме, она не считала «компроментантным» занятием хотя бы для образованной девушки из порядочного общества и генеральской дочери, жаждавшей самостоятельности и какого-нибудь дела. Вдобавок пансион, вполне приличный и семейный, дает не только полезную деятельность, но вместе с тем и хороший доход во время сезона, когда порядочные приезжие ошалевают от серьезных цен, произносимых с любезной улыбкой изящно одетой, благоухающей и корректной Адой Борисовной.

Хоть Ада Борисовна и влюбчива, но это не мешает ей быть деловитой и аккуратной хозяйкой, понимающей значение сезона и несоответственных цен за комнаты. Она необыкновенно заботлива о своих жильцах, особенно зимой, когда приезжих так мало и пустующих комнат так много. Она умеет примирять беспокойных и нервных жильцов с кое-какими неудобствами, вроде холода в комнатах, щелей в рамках и слишком маленьких порций за завтраками и обедами,— бесконечной внимательностью, знанием трех языков и научно доказанных фактов о пользе для здоровья прохладного воздуха в комнатах и домашнего простого и свежего обеда без излишества. И, в подтверждение своих теоретических сообщений, Ада Борисовна рассказывала, как быстро поправлялись жившие в ее пансионе прошлой зимой князь Булатовский, известный писатель Ракушкин и один молодой офицер фон-Дорф.

Участливая к своим жильцам, что сказывалось и в ласковом взгляде маленьких глаз и в мягком сопрано, иногда доходящем до трепета, Ада Борисовна или заходила к жильцам, или приглашала в свою уютную и хорошо убранную гостиную со множеством фотографий прежних жилищ и жильцов с более или менее известными фамилиями. И, чтобы сколько-нибудь развлечь тоскующих на чужбине по семейной обстановке, хозяйка не без увлечения и мастерства беседовала о разных темах, дипломатически приоравливаясь к взглядам гостьи или гостя.

Ада Борисовна болтала о литературе, о политике, о своем знатном происхождении, о дорожковизне в Ялте провизии, о задачах жизни, и, случалось, не без патетических ноток рассказывала об одиночестве непонятых душ. В интимной беседе с какой-нибудь понимаю-

щей собеседницей Ада Борисовна рассказывала, разумеется, в третьем лице, об одном романе, испортившем жизнь. Она любила. Он представлялся, что любит, но вскоре обнаружилось, что он хотел жениться из-за низменных целей — из-за приданого и протекции отца. И она отказалась и с тех пор уже никогда не любила... Знала Ада Борисовна и много пикантных романов привезжавших в Ялту дам. Осторожно, не называя имен героинь, Ада Борисовна рассказывала о наивной простоте завязок этих романов, брезгливо удивляясь, что можно увлекаться такими героями, как татары-проводники. И не без негодования прибавляла, что им «бог знает за что» московские купчихи и даже генеральши платили шальные деньги. Вообразите?

Зимой, ради экономии, Ада Борисовна держала только одну горничную, Матрешу, которая живет в пансионе уже пять лет и, расторопная и знающая свое дело, должна была, по мнению Ады Борисовны, одна справляться, хотя ей, конечно, трудно везде поспевать.

Но зато Ада Борисовна давала Матрене соответствующие инструкции о том, в каких номерах следует быть исправнее и к кому внимательнее, имея в виду характер и положение жильцов, размер их платы и время возможного пребывания в пансионе.

Стараться в остальных номерах, о которых не сообщалось особых инструкций, предоставлялось самой Матреше, чтобы не было неудовольствий со стороны жильцов.

Ада Борисовна, разумеется, не могла не дорожить расторопной, ловкой и приличной горничной, хотя и считала ее «продувной бестией» и не без тайной зависти злобствовала на Матрешу за то, что она особенно нравится жильцам.

Как ни возмущала Аду Борисовну безнравственность Матреши, тем не менее практическая сметка хозяйки пересиливала зависть и невольную брезгливость добродетельной поневоле, увядавшей девицы. И она не преследовала Матрешу за флирт, хорошо понимая, что жильцы более привязываются к пансиону, не поднимают историй из-за каких-нибудь пустяков и как-то становятся веселее, когда видят в комнате внимательную и услужливую горничную. Тем более терпела, что Матреша настолько была сообразительна, дорожила местом и зна-

ла строгие правила барышни, что не допускала «гадостей», которые могли бы испортить репутацию ее пансиона.

К тому же Матреша год тому назад вышла замуж и, конечно, должна вести себя осторожнее. Ведь любит же она этого влюбленного Антона. Недаром же она, не послушав добрых советов Ады Борисовны, сделала глупость — вышла замуж за грубого, без гроша матроса и тем огорчила ее. Хоть Матреша и обещала оставаться, но ведь, того и гляди, уйдет и оставит без опытной и привычной горничной хозяйку, которой была обязана и своим положением и деньжонками.

«Неблагодарные!» — думала Ада Борисовна.

VII

Матреша была хорошо сложенная, ослепительно-белая, рыжеволосая блондинка, лет двадцати пяти-шести на вид, небольшого роста, крепкая, свежая, дышавшая здоровьем, с приветливым и сдержанно-лукавым взглядом быстрых и смысленных глаз, умевших, казалось, говорить красноречивее слов, с слегка вздернутым носом, пышными губами и черной родинкой на щеке, придающей пикантность миловидному и кокетливо-задорному лицу Матрещи.

Щеголевато приодетая, в белом фартуке и в высоком французском чепце, опрятная, вежливая без угодливости, Матреша в одиннадцатом часу убирала третий номер, особенно рекомендованный барышней. Матреша старательно и усердно вытирала каждый день со всех вещей пыль, после того, как подметала пол, и убирала постель в маленькой соседней спальне, потом прибирала письменный стол, складывала к месту газеты и быстро являлась на электрический звонок жильца.

Он, требовательный, мелочной, страдавший болезнью печени, платил за свои две комнаты дороже, чем другие, чтобы только пользоваться особым вниманием и быстрым исполнением своих законных просьб, как внушиительно говорил «№ 3», отучневший петербургский чиновник второй молодости, приехавший в Ялту для отпуска от неимоверно долгого сиденья в департаменте и не терявший еще надежды на возвращение сил первой молодости.

«№ 3» жил уже более месяца и, видимо довольный, заплатил Матреше пять рублей за месяц услуг. Он напускал серьезный вид, когда Матреша приходила убирать и подавала самовары, завтраки и обеды, хотя из-под густых седых бровей незаметно бросал на Матрешу загоравшиеся глупые взгляды и снова отводил глаза и делался серьезнее, не решаясь на авантюру, о которой втайне мечтал. Аккуратный, он часто прикидывал, во что обошлась бы авантюра, если бы эта «штучка» согласилась хотя бы на флирт и, главное, не болтала бы об этом, чтобы не скомпрометировать репутации солидного, видного чиновника в генеральском звании.

Однако сегодня, когда Матреша окончила уборку и хотела было уходить из комнаты, жилец внезапно проговорил серьезным тоном:

- А сегодня прохладно у вас, Матреша... А?..
- Сильный ветер, барин.
- Какой?..
- Норд-ост...
- Вы, Матреша, говорите, норд-ост?..
- И, внезапно понижая голос, прибавил:
- А вы не озябли, Матреша?..
- Мне не холодно! — улыбнулась Матреша.
- И вечером не холодно?.. А?.. Вечером холоднее...

Или у вас горячая кровь, Матреша...

- Я молодая, барин... Оттого и кровь горячая...

И Матреша кокетливо и вызывающе повела глаза на жильца «второй молодости».

Старик осоловел и шепнул:

- А ведь вы прехорошенькая, Матреша.
- Будто?..
- Право, очень хорошенькая... Где ваш муж?..
- В разлуке!.. Он матрос...
- У такой милой Матреши и матрос?.. Удивительно! И скучно по муже?
- Как по муже не скучать...
- А знаете ли что, Матреша?..
- Чё, барин?..
- Только между нами...
- Я не болтушка, будьте спокойны...
- Вы мне очень нравитесь, Матреша... И вот вам позвольте подарить золотой...

С этими словами жилем подошел к Матреще и подал пять рублей.

— За что?

— А за вашу красоту... И постоянно рад вам давать по стольку, если... если... позволите вас поцеловать... В этом... ээ... ээ... право, Матреща, ничего дурного! — прибавил жилем.

Торопливо и почти что с серьезным деловитым видом Матрена сунула золотой в карман юбки и подстанила свою белую, упругую щеку.

Не глядя на раскрасневшееся, млевшее лицо жильца второй молодости, который припал к шее носом, Матрена с брезгливым чувством ощущала слюнявые губы и поцелуи, которых столько продавала во время сезона с таким же деловитым равнодушием. И, прислушиваясь к двери, Матреща, привыкшая к курортным нравам, думала:

«Никакой тут мерзости нет. Здесь барыни еще хуже. Меня не убудет от этих поцелуев блудливого старика. А между тем лишние деньги пригодятся для дома: для меня и Антоши».

Через две-три минуты она уже решила, что за пять рублей уплата произведена, и, оттолкнув осоловелого старика, шепнула:

— Будет! Еще барыня войдет... Каково?

Старик испуганно отошел к столу и, присаживаясь, пролепетал сдавленным голосом:

— Милая... Обворожительная! Если б вы знали, как я вас... люблю!

— Знаю!.. — насмешливо промолвила Матреща.

— Так заходите вечером... на четверть часа... Придете?

— Может быть! — неопределенно засмеялась Матреща.

— Я снова подарю золотой...

— Но только помните уговор: кроме поцелуев, как сейчас, ничего!..

— И флирт с вами наслаждение, Матреща... О, какая вы милая, Матреща!..

«И какой ты противный!» — подумала Матреща, улыбаясь глазами.

В эту минуту в двери тихо постучали.

Матрена уже сметала книги с этажерки пуховкой, как ни в чем не бывало, а жилем хриплым голосом разрешил войти и успокоился, что в дверях стояла толстая, пожилая кухарка. Извинившись, что осмелилась беспокоить генерала, она сказала, что зовут Матрешу.

— Мальчик какой-то ждет тебя в кухне! — шепнула в коридоре кухарка.

Обе спустились в кухню. Наумка торопливо доложил Матреше о своем поручении и что извозчик ждет. Пароход скоро уходит. Уж второй свисток.

Матрена обрадовалась, почему-то смущаясь, бегом вернулась наверх и нетерпеливо постучала в комнату Ады Борисовны.

И, впущенная, возбужденно и почтительно проговорила:

— Позвольте на полчаса отлучиться, барышня!

— Это зачем? — с неудовольствием спросила хозяйка, подозрительно взглядывая на взволнованное лицо Матреши.

— Антон прислал за мной. «Баклан» уходит. И какая буря, барышня! — прибавила тревожно Матрена.

— Твой матрос мог бы сам забежать... И что матросам буря... А ты дома нужна.

— Антону, значит, нельзя.

— И тебе нельзя... Скажите, пожалуйста, что за проводы!

«Экая злюка и бессердечная!» — подумала Матрена.

Оскорбленная, возбужденно возвышая голос, Матрена проговорила:

— Кажется, без необходимости утром не прошусь, барышня. Ровно каторжная у вас работаю... Не зудите, барышня, и отпустите, а не то и без спросу уеду...

— Не будь дерзкая, Матрена!.. Номера третий и пятый убраны?

— Убраны.

— Уезжай и скорей возвращайся!.. И что у нас за прислуга! — вздохнула Ада Борисовна.

Но Матрена этих слов, верно, не слыхала. Она была уже в своей маленькой комнате в первом этаже, против комнаты Ады Борисовны, торопливо обвязала шею голубой лентой, надела теплое пальто с барашком на воротнике, новую шляпку, переложила из кармана золо-

той, только что полученный от жильца № 3, в портмоне, и выбежала на улицу.

Через минуту она с Наумкой ехала на мол.

Чем ближе подъезжала коляска к молу, тем ужаснее казалась буря.

И Матреша чувствовала себя виноватой перед Антоном, что он все еще матросом и должен идти в такую бурю.

«Могла бы уже с ним не разлучаться. Деньги-то прикоплены»,—думала Матреша и взволнованно повторяла:

— Ради бога, поскорее, извозчик! Поскорей, голубчик!

VIII

Едва сдерживая безумную радость, охватившую Антона, когда он увидал коляску, в которой сидела Матреша, казалось, еще красивее и франтоватее,— он уж и не подумал больше о том, чтобы «показать себя» Матреше и искровянить ее «обманную рожу».

Но, словно бы стыдясь показать, как он обрадовался и как он ее любит, Антон встретил Матрешу, когда она взвежала на пароход, не особенно горячо и, напуская на себя беззаботный вид, пожал руку и проговорил:

— Однако и поздно, Матреша... Полагал, и не приедешь...

— Не знала, что пришел... Письмо бы послал...

— Послал...

— Не получила, Антоша, честное слово!..

Антон отдал рубль Наумке и повел Матрешу вниз, в матросскую каюту.

— Небось, торопилась?..

— Еще бы!

Матреша обвила шею Антона и крепко-крепко поцеловала его. Глаза ее блестели такой любовью, что Антон, счастливый и радостный, восторженно любовался Матрешей и, словно не находя слов, несколько секунд молчал.

И спросил наконец:

— А живешь как у своей уксусной?

— Подлая... Не хотела отпускать сегодня... Сказала, что и без спросу уеду...

— Молодца ты у меня, Матрешка.

Он крепко сжал ее руку и прибавил:

— Вернемся с рейца, к тебе забегу.

— Не ходи ты в рейц. Слышишь? Оставайся здесь. Едем! — возбужденно говорила Матреша.

И в голосе ее звучала мольба. И глаза ее так нежно ласкали.

— Никак нельзя.

— Сделай для меня... Шторм-то какой... О, господи!

— Служба. И нехорошо уйтить. И под суд уйдешь, если сбежишь... Понимаешь?

Матреша понимала не то, что уйти нехорошо, а то, что посадят в тюрьму. Но теперь она понимала, что виновата перед Антоном, когда уговаривала его не оставлять пока места рулевого на пароходе, благо жалованье хорошее, и сама не хотела бросать места горничной. Доходы соблазняли ее и после интимности с Антоном и выхода за него замуж.

Она скрывала это от него. Ведь доходы не мешали ее любви к Антону, но он бешеный, ревнивый... Вызнал бы все, живя в Ялте.

И, охваченная поздним раскаянием, она заплакала.

— Не реви, Матрешка... Чего реветь? — с необыкновенной нежностью проговорил матрос, тронутый страхом Матреши за него и сам отлично понимающий опасность шторма.

И, стараясь поцелуями вытереть слезы, он, чтобы подбодрить Матрешу, прибавил своим уверенным и бесшабашным тоном:

— И чего бояться? До Керчи дойдем, там и отстоимся... И телеграмм тебе пошлю!

Матреша улыбнулась сквозь слезы. И через минуту, хорошо знающая власть своего обаяния над Антоном, решительно и повелительно сказала:

— Как рейц кончишь, проси расчет. Слышишь? Не хочу я больше мужа матросом!

— Обязательно возьму расчет, коли ты хочешь быть при муже!..

— То-то хочу, и чтоб вместе жить, Антоша... на одной квартире... Надоело врозь... Брошу я свою Айкануху!

Обрадованный Антон сиял победоносно.

— То-то пришла в рассудок, Матрешка... Давно звал тебя вместе жить, как полагается форменно супругам... И я место прищу... в дворники поступлю, а то не здесь, так в Севастополе. Небось, тебе не нужно в людях жить.

— Придумаем, как лучше, Антоша... Деньжонки есть.

— Скопила?

— Так по малости на месте...

И, заметив, что Антон не обрадовался этим словам, прибавила, любуясь своим пригожим и ревнивым мужем:

— Не нравится, что живу в горничной?

— А ты как полагала, Матрешка? Лестная, что ли, твоя должность! Разве что только выгодная, ежели вертишься день-деньской да жильцам ублажай, чтобы были довольны... Хуже нет... И между ими есть прямотаки подлецы! Думают — с деньгами и господа... Облестительная, мол, горничная... Так и без разговора ее упоцелует Свиньи!

— Всякие есть... И отваживаешь! — лгала Матреша, чтоб не оскорбить Антона.— Недавно еще... в третьем номере, старый генерал приставал...

— А ты бы его в морду, Матрешка! Мол, в законе! — вспыльчиво воскликнул матрос.

— И так отстал... Не воображай... Будь покоен, обожаю своего Антошку... Милый! Вернешься только в Ялту — ну их с пансионом! — горячо говорила Матреша, охваченная страхом за мужа.

И прильнула к его губам. Потом вспомнила о золотом и сунула его Антону.

— А ты, Матрешка, знай, что, кроме тебя, ни на кого не взгляну. Завладела!..

В каюте сильно покачивало. В открытые двери донесся окрик:

— Свисток!

Антон истово и серьезно поделовался троекратно с Матрешей, и они вышли наверх.

— До свидания, Матрешка!

— Прощай, мой желанный!

Загудел третий свисток. Матреша сбежала со

сходни. Антон поднялся на мостик и стал к рулю с подручным.

Старый капитан, в дождевике поверх теплого пальто, обмотанный шарфом и в теплых английских перчатках, озабоченный, стоял на мостике, обернувшись к корме, чтобы не прозевать хода вперед при отдаче швартовов и пароход не ударился бортом о стенку мола.

Увидав своего любимца, славного рулевого, Никифор Андреевич кинул:

— Легко, Антон, снарядился. Зазябнешь. Есть полушубок?

— Есть, вашескобродие. Не успел одеться. Снимемся, надену.

— Видно, жена помешала?

— Приезжала проводить. Никифор Андреич!

Убрали сходню. Никого из посторонних не осталось.

— Отдавать швартовы! — скомандовал капитан.

И сию же минуту, как только что стали отдавать швартовы, капитан возбужденно крикнул по телефону в машину:

— Полный ход вперед!

Машина застучала, и винт забуровил. «Баклан» отходил от пристани и, раскачиваясь с бока на бок, обдаваемый верхушками волн, направился, сделав поворот налево, в море.

Капитан тихонько перекрестился и, полный решимости не оставить мостика, чтоб бороться с штормом, с угрюмым видом человека, для которого нет выхода из положения, смотрел вперед и тоскливо смотрел и слушал, как на просторе дьявольски поднимаются и ревут волны.

Придерживая зазябшей рукой шляпку, Матреша стояла у края пристани, не спуская глаз с Антона, ворочавшего рукоятку штурвала. Ужас отражался в расширенных зрачках Матреши при мысли, что Антону не вернуться. Напрасно стараясь улыбнуться, она кивала на пароход головой, чувствуя, как рыдания перехватывают горло.

Прибой грохотал, и волны гудели.

В публике ахнули. Многие крестились, точно прощались. Никто не спускал глаз с отошедшего парохода.

«Баклан» только что отошел, как качка уже «трепала» пароход. Нос его стремительно опускался, словно

зарываясь в воду, и корма взлетала словно на дыбы. И мгновениями «Баклан» скрывался от глаз и снова показывался, такой маленький, метающийся, захлестываемый бешеными волнами и, казалось, обреченный на гибель.

По мере того, как «Баклан» удалялся от мола, пароход казался с берега еще беспомощнее и чаще закрытым волнами.

Публика стала расходиться.

Зрители «посерее», подавленные, под впечатлением потрясающего зрелища обреченных людей, бросали недружелюбные короткие взгляды на тех из немногих возвращающихся с мола господ, которые, тепло одетые и довольные, внушительно и громко восхищались грозным морем и беснующимся прибоем и с веселой развязностью болтали и смеялись.

Матреша, с красными от слез глазами, удрученная тоскливыми думами об Антоне, тихо и раздумчиво, ни на кого не глядя, проходила в толпе, направляясь к извозчикам, чтоб спешить домой. Ее нагнал жилем пятое номера пансиона «Айканихи», маленький круглый молодой человек в щегольском меховом пальто и в бобровой боярке, месяц тому назад приехавший из Петербурга в Ялту отдохнуть от чего-то и зачем-то вдохновляться морем. Неказистый, со скуластым, румяным и самодовольным лицом, он заглянул в лицо Матреши и слегка победоносным и наглым тенорком воскликнул:

— И вы полюбоваться природой, Матреша?.. Вы на морозе преходо...

И внезапно оборвал слово.

Оборвал и, решительно сбросив золотое пенсне и словно бы лично оскорбленный страшным порывом ледяного ветра, быстро спрятал в серебристый бобровый воротник свой чувствительный к холоду, пухлый, маленький вздернутый нос.

Глаза Матреши сверкнули презрительным огоньком. Она отвернулась от «пятого номера» и пошла скорее. А молодой человек удивленно и обиженно взглянул на Матрену, такую внимательную и любезную в пансионе и такую грубую на улице.

— И глупый же однажды кобель! — громко проговорил какой-то рабочий.

А Матреша слышала, как около нее какой-то старый, обросший, смуглый грек говорил такой же старой гречанке, что «Баклану» не дойти и что такого шторма и не вспомнить. Слышала и от других проходящих такие же безнадежные замечания и видела тревожные лица.

Совсем потеряянная, села Матреша в коляску и вела ехать домой.

Вернувшись, она стала прибирать неубранные номера и накрывать в столовой к завтраку... Пансион ей стал нестерпим.

Ада Борисовна увидела мрачную Матрешу в столовой и проговорила мягким, вкрадчивым голосом, искренности которого Матреша не верила:

— Чё с тобой, Матреша? Нельзя же быть горничной с таким мрачным лицом. Можно подумать, что тебя обидели, и ты дуешься. На кого ты дуешься? Уже не на меня ли?

— Я не дуюсь, барышня.

— Вот и порадовала. Ведь я, кроме добра, ничего тебе не сделала. Пять лет живешь, и, слава богу, и я довольна и жильцы тобой довольны. А мне было казалось, что дуешься на меня.

— Зачем дуться? Не понравится, и взяла расчет! — проговорила Матреша.

Ада Борисовна испугалась.— «Дерзка!» — подумала она.

И, охотница до бесед по душе, она позвала Матрешу в комнату и просила рассказать откровенно, что с Матрешей. Ведь Ада Борисовна так привязана к Матреше. Она такая отличная горничная. Недаром же все жильцы вознаграждают за ее внимательность. Даже такой требовательный, как номер третий, и тот очень доволен и говорил, что такой добросовестной, как ты, не видал. А этот старик важный генерал и богатый... Только будь внимательна, и он хорошо заплатит за услуги... Он до осени думает прожить... И пятый номер, молодой человек благодарил, что у нас в пансионе такая аккуратная горничная.

— Ты ведь умница, Матреша, и всегда приветливая. А между тем такая мрачная.

Матреше хотелось скорее отделаться от Ады Борисовны, которая стала «облещивать» и запела свои разговоры.

И Матреша отрезала:

— Антона жалко. Оттого и невеселая!

— Но отчего жалко? Ведь он, слава богу, здоров?

— Буря на море. А пароход ушел. Кажется, понятно, барышня?

— Но, милая... Ушел пароход и дойдет, куда нужно... Зачем же ты тревожишься?..

«Зачем тревожиться!?» — подумала Матреша.

И, едва сдерживая слезы, Матреша сказала:

— Мне некогда, барышня. Надо накрывать к завтраку!

Но, чтобы утешить Матрешу и она «не имела мрачного вида», совсем не подходящего приличной горничной приличного пансиона, Ада Борисовна сказала, что задержит на минуту, и проговорила:

— Верь, Матреша, что опасности нет (и подумала: «а если будет, тогда и плачь!»). Капитан же знает, и хороший капитан... И будь благоразумнее: не тревожь себя. Не распускайся. Не кажись неинтересной, Матреша... Ты ведь хорошенькая, и надо беречь красоту... Мало ли какие мнительные мысли приходят в голову, но не следует давать им воли... Ты думаешь, Матреша, и у меня нет тоскливых дум? И мне бывает грустно, но я знаю, что у меня есть обязанности перед жильцами, и... на людях я любезна... Я обязана... Будь же хоть при жильцах не такой грустной... Сделай для меня... У нас ведь в пансионе порядочные люди, а не бог знает какие.

Матреша наконец вышла.

Все эти льстивые разговоры «Айканихи» не только не успокоили и не обрадовали, но еще более возбудили Матрешу против хозяйки. И она казалась молодой женщине бессердечной, сухой и отвратительной с ее «подлыми», лукавыми советами, чтобы удержать жильцов.

С каким злорадством объявит она Айканихе об уходе... «Только получу телеграмму, что пароход пришел в Керчь и Антон здоров!»

Так думала Матреша, накрывая на стол, и по временам надежда закрадывалась в ее сердце.

Вечером, когда Матреша подала самовар жильцу второй молодости, он проговорил:

— Ты придешь?.. Ты ведь обещала, Матреша... А я опять золотой дам.

Но генерал был оскорблен, когда Матреша, не скрывая отвращения, со злостью ответила:

— Никогда не смеите приставать... бесстыжий старишка... Наплевать мне на ваши деньги... Туда же, ухаживатель!

Матреша вышла и в своей маленькой комнатке плакала.

А ветер, казалось, усиливался и завывал громче и сильнее. Рвало крыши. Лестницы визжали и свистали. Из труб точно вылетал стон.

Матреша выскочила на улицу и — боже! что за вихрь! Под бледным светом месяца блестели замерзшие канавки и лужицы. Ледяной, захватывающий холод! И какие порывы ветра, пригибающие к земле деревья и рвущие крыши и вывески!

«О, господи! Что там, в море!» — думала Матреша.

И, вернувшись в комнату, она, рыдая, молилась:

«Спаси, боже, пароход!»

На следующий день штурм бушевал, как вчера, и жильцы жаловались, что в комнатах холодно. Номера третий и пятый, необыкновенно злые и недовольные Матрешей, говорили ей, что жить в этаком пансионе нельзя — морозят здесь, — и к вечеру Ада Борисовна упрекнула Матрешу, что она стала дерзка с жильцами. Жаловались, что она долго не идет на звонки.

— Свиньи они, вот что! — со злостью ответила Матреша и прибавила: — Холод в комнатах. Они и за это сердятся!

К вечеру Матреша стала еще нервнее и раздражительнее. Телеграммы не было. Ночь Матреша беспокойно спала, часто просыпалась и прислушивалась, нет ли стука в прихожей.

Прошла ночь. Настало утро. Штурм не стихал. Телеграммы не было.

После уборки комнат, не спросившись Ады Борисовны, Матреша поехала в агентство узнать, где «Баклан»?

В агентстве ответили, что о нем нет никаких известий.

Матреша вернулась убитая.

Никифор Андреевич с ужасом видел, что штурм крепчал, и через несколько часов после выхода из Ялты понял, что идти прежним курсом, в Феодосию или в Керчь, нельзя.

При громадной боковой качке волны нападали на груженый пароход с обеих сторон, поминутно вкатываясь и на палубу, и на корму, и на бак. И вода, застоявшаяся на палубе и беспрерывно обрызгивающая бугшприт и борты, быстро замерзала, покрывая их льдом.

Матросы и пассажиры то и дело скальвали лед, но новые волны снова наносили новый лед. И матросы зябли, изнемогали и снова работали, в исступлении невольного ужаса, охватывающего при мысли о неминуемой опасности, и испуганно взглядывали с мольбой и вопросом на укутанного капитана, дождевик на котором обледенел.

А капитан, придумывающий средства спасения от гибели, думал:

«Волны зальют, и лед будет лишней тяжестью — она нас увлечет ко дну. Надо повернуть и пойти полным ходом по волне — и, бог даст, дойдем до Новороссийска или Батума, куда попутно».

«Только повернет ли счастливо пароход? Не зальет ли его при повороте? Тогда смерть!» — промелькнуло в голове Никифора Андреевича. Казалось, смерть в этих кипящих волнах, от которых дышит ледяным холодом, так близка и неминуема!

«О, господи!» — шепнул капитан и мысленно прибавил:

«Выбора нет!»

Он видел, что ледяной штурм неистовствовал. Нос уж обледеневший и не так легко поднимался на волну. Везде лед. И матросы его не побеждают. Брызги мгновенно обращаются в льдинки. И какая жестокая стужа! Он чувствует, что ноги коченеют...

Все больше и больше волн вкатываются на бак, и людям работать там невозможно.

Капитан видел испуганные и молящие взгляды кучки людей, работавших на обледеневшей палубе около

трубы. Они вздрагивали от стужи, посиневшие, с одеревеневшими пальцами, окачиваемые брызгами, покрывающими буршлаты ледяною корой.

Был пятый час утра, когда капитан решился.

Придерживаясь за поручни, чтобы не быть снесенным в море, капитан подошел к штурвалу, помещенному в маленькой рубке, и приказал Антону:

— Лево на борт!

И, выйдя из рубки, он смотрел, как покатил нос вправо, и... и... вдруг... закрыл глаза, опять их открыл и секунду-другую ждал гибели...

Правый борт кренился все ниже и ниже, все ближе и ближе к волнам. Они уже вливались и покрывали словно смертным покровом...

И все матросы, охваченные ужасом, подбежали к трубе и... замерли, потрясенные.

Ни один не крикнул... не молил...

Только мещанин из Новороссийска выл и молился, каялся в грехах и обещал не грешить, если бог смигнет... спасет...

Эти несколько мгновений предсмертного страха казались бесконечно долгими.

И вдруг вздох облегчения вырвался из десятка грудей...

Борт поднялся... Волны отхлынули... И, сделавши оборот, пароход выпрямился и раскачивался уже не боковой качкой, а килевой.

Всем казалось, что положение стало лучше.

И Никифору Андреевичу показалось, что пароход безопаснее. Надежда закралась в изнывшую душу. Капитан вызвал старшего помощника подсменить, бросился в каюту, чтобы немного согреться. Перед этим он велел матросам очищать пароход от льда по-сменно.

Боже, какое физическое наслаждение тепла испытал Никифор Андреевич в каюте! И с каким удовольствием он выпил стакан горячего чая с коньяком... И с какою надеждой он думал, что штурм хоть немного стихнет!

Но к ночи надежды почти не было. Отчаяние уже овладевало капитаном.

Еще бы!

Бугшприт представлял собою уже гору льда. То же было и с кормой. И пароход заметно сел ниже... Нос все тяжелее взлетал из воды...

Но Никифор Андреевич, несмотря на отчаяние, не потерял еще упорства в борьбе.

И, озаренный счастливой мыслью, всегда трусивший начальства, Никифор Андреевич теперь не подумал его бояться, когда приказал старшему помощнику выбросить за борт часть груза...

В эту минуту из-за стремительно несущейся к югу черной зловещей тучи вдруг обнажился полный месяц, красивый и бледный, ливший мягкий и серебристый трепетный полусвет.

Бессстрастно и холодно глядел он сверху и на гудевшее море, и на этот, словно бы заблудившийся, маленький пароход, судорожно метавшийся в качке, изнемогавший под ударами бешено нападавших громад-волн, и на эту маленькую кучку испуганных и иззябших от пронизывающей стужи людей, напрасно работающих, чтобы освободить пароход от нарастающего льда.

Глядел месяц и на Никифора Андреевича, казалось, замерзшего в своей неподвижной позе, и на искаженное от панического ужаса и жалко-страдальческое лицо, с вздрагивающими челюстями, старшего помощника, который глядел на капитана бессмысленными, выкаченными и неподвижными глазами.

Убитым голосом помощник спросил:

— Выбросить груз?

— Десять тысяч пудов! Поняли? — крикнул капитан.

— Есть! — уныло ответил Иван Иванович.

— А сию минуту отдать якорь, а то и два! — резко и повелительно кричал Никифор Андреевич.

— Есть! — отвечал оцепеневший от страха старший помощник, казалось, не понимавший цели этих приказаний.

«Гибель неизбежна! О, господи!» — думал Иван Иванович и воскликнул:

— Стоит ли бросать груз, Никифор Андреевич?

И, чуть не рыдая, вдруг разразился жалобными упеками:

— Зачем в Ялте не остались? Зачем? Пароход мог разбиться в щепы об мол, но мы были бы живы. А теперь — смерть. Зачем пошли на погибель? Ведь у вас семья... у меня—невеста... Все хотят жить!.. И вы виноваты... вы!..

— Якорь! Груз за борт! Вы обезумели от страха? Как вам не стыдно! Мы отстоим пароход! — громовым голосом крикнул Никифор Андреевич, разгневанный, что помощник не верит тому, во что он хочет верить.

Этот бешеный окрик капитана задел самолюбие старшего помощника, и в то же мгновение проблеск надежды на жизнь вспыхнул в его сердце.

И он, приободренный, бросился с мостика исполнять приказания, которые казались теперь малодушному молодому брюнету необыкновенно значительными.

А у капитана, напротив, прежней надежды уже не было.

— Стоп машина! — крикнул Никифор Андреевич.

Якорь упал на глубине двадцати сажен.

«Баклан» остановился, вздрогнул всеми своими членами и бросился к ветру.

С лихорадочной поспешностью матросы выбрасывали за борт груз.

Облегченный, пароход приподнялся над водой. Надежда снова воскресла в людях.

X

Но недолго надеялись моряки.

О, что за бесконечно длинная была эта ужасная ночь на Черном море!

Шторм, казалось, ревел «вовсю» и дошел до своего апогея. Мороз захватывал дыхание.

Непрерывающийся гул моря и вой ветра, потрясающий мачты и проносиившийся то стоном, то визгом по мачтам, трубе и бортам, и эти тяжелые, ледяные и освирепевшие волны в такой жуткой близости наводили ужас на несчастных моряков, не испытавших еще такого жестокого шторма. Смерть смотрела в глаза, беспощадно близкая.

Пароход метался, как в бешенстве агонии. Он, точно в судорогах, вздрагивал на цепи. Она то натягивалась,

как струна, то «сдавала». И тогда «Баклан» подбрасывало, и он стонал и скрипел, вздрагивая на своей привязи.

Часы тянулись без конца. И каждая минута этих долгих часов говорила о смерти.

Матросы и два черкеса-пассажира скальвали топорами и ломами лед, стоя по колени в ледяной воде, привязанные концами, чтобы не быть смытыми в море. А лед все выше и выше поднимался над носом.

Вместо короткого бугшприта и носа белела бесформенная уродливая глыба.

Выдерживать на такой стуже больше нескольких минут было невозможно. Почти у всех были отморожены лица, ноги и руки. Смутная надежда заставляла людей переносить муки и скальвать лед. Но скоро они бросили работу и прижимались к горячей трубе. Но обмороженные люди не чувствовали жара.

И сонная апатия охватила этих мучеников.

«Заснуть! Заснуть!»

Погреввшись несколько минут в каюте, Никифор Андреевич был с матросами и работал с ними. Он приказывал, просил, умолял изнемогших людей не спать и взять топоры и ломы, и, сам потерявший надежду, обнадеживал, что шторм стихнет и пароход отстоится.

И многие не слушали.

«Зачем?» — угрюмо говорили матросы и шли вниз...

Только Антон и два младшие помощника капитана, обмороженные, все-таки с каким-то остервенением отчаяния, уже едва владея руками, продолжали работать.

Но и они понимали, что работают напрасно. Чем могут они сделать?

Антон все-таки напрягал все свои молодые силы.

Ведь ему так хотелось жить и так много обещала жизнь вместе с Матрежей!

И Антон в бешенстве рубил лед топором, пока не обессилел и тут же упал, готовый заснуть.

Никифор Андреевич немедленно велел отнести его на кубрик.

Там Антон бросился в койку. Он не чувствовал боли отмороженных ног и, внезапно охваченный равнодушием ко всему — даже к смерти, заснул как убитый.

Никто более не работал. Никто уж не надеялся. Всякий думал только о тепле и о сне.

И, добравшись до тепла, многие молились и плакали.

Никифор Андреевич дремал в своей каюте на мостице тревожной, прерывистой дремотой. Каждую минуту он в ужасе просыпался, вскакивал и выбегал.

Шторм ревел. Пароход все больше и больше покрывался льдом.

Только вахтенный и рулевой на мостице и двое часовых на палубе уныло бодрствовали.

«Через час, другой... смерть!» — мысленно проговорил Никифор Андреевич.

Уж он перестрадал предсмертные муки, простился заочно с семьей и теперь с покорным отчаянием ждал смерти.

Он как будто уже не жилец... И ему безразлично, пожалеют ли его близкие и что скажет начальство.

Мещанин из Новороссийска громко читал молитвы.

Вахтенный помощник вдруг зарыдал.

Капитан не чувствовал сожаления. И, изнеможенный, усталый от всей этой каторжной жизни, понятой им только теперь, — проговорил почти что с мольбой:

— Скорее бы смерть!

XI

Забрезжило утро.

Осунувшийся за эту ночь и казавшийся дряхлым стариком, Никифор Андреевич недоверчиво встретил надежду, охватившую измученное сердце, словно приговоренный к смерти весть о помиловании.

Море, казалось, миловало, и надежда крепла в сердце капитана. И в голове его проносились мысли о жизни, когда он смотрел вокруг.

Шторм еще ревел, но уже обессиленно. Волны вздымались, но не с прежней мощью и злобой нападали на изнемогший «Баклан». Он уж не метался. Хоть качка и трепала его, но волны не вкатывались и только обдавали брызгами. За ночь весь пароход обледенел, и глыбы высились над кормою, бортами и носом, и борты хоть и понизились, но не были еще совсем близки к воде.

Еще можно уйти от могилы.

И капитан, умиленный и оживший, горячо прошептал несколько благодарных молитвенных слов и приказал разбудить матросов и сниматься с якоря.

Все вышли. Многие еле двигались. Антон, более других обмороженный, поднялся на мостик к рулю, и лицо его дышало смелостью и верой в жизнь.

Все ожили. Волны не заливали.

Скоро якорь был поднят.

И, чтобы воспользоваться попутным штормом, капитан приказал снова взять курс на Батум и идти самым полным ходом.

К вечеру моряки обнажили головы и, радостные, крестились. Перекрестился счастливый и Никифор Андреевич.

Пароход, почти касавшийся бортами воды, уже не боялся шторма и входил в Батумскую гавань.

Еще минута — и «Баклан», представлявший собой какую-то ледяную массу, ошвартовался.

XII

Агент поздравлял капитана с счастливым приходом. Никифор Андреевич просил немедленно отправить обмороженных в госпиталь. Со всеми больными простился и обещал завтра же навестить их.

Чуть не обезумевший от восторга, мещанин из Новороссийска оставил пароход. Крепко пожали руку капитану два черкеса и ушли. Они не захотели в госпиталь, хотя у них и были отморожены руки.

Никифор Андреевич, снова уже трусивший начальства, не переодеваясь, написал в главную контору в Одессу следующую телеграмму:

«Не мог выполнить рейса и прибыл благополучно в Батум. Принужден был выбросить 10.000 пудов груза, чтобы облегчить пароход во время шторма. Подробности донесением».

Затем, чтобы успокоить семью, Никифор Андреевич написал телеграмму жене о прибытии в Батум. Отправив телеграмму в город, капитан пошел полечить свои отмороженные пальцы на ногах и щеки, вымыться и переодеться.

Через десять минут Никифор Андреевич, обрадованный, что не сделался калекой и может быть кормильцем семьи, сидел в своей теплой натопленной каюте за стаканом горячего чая, сильно разбавленного коньяком для предупреждения простуды.

Когда к нему вошел агент, Никифор Андреевич первым делом просил прислать людей для очистки парохода от льда и, словно бы виноватый за убыток обществу, застенчиво и лаконически сказал:

— Никак нельзя было не выбросить груза... Прихватило штормом... Да-с!..

Несмотря на просьбы агента рассказать подробности о том, как Никифор Андреевич штормовал и что он испытывал, капитан, словно бы стыдясь рассказывать о своих испытаниях, ничего интересного не рассказал и только проговорил:

— Как видите... слава богу... Вот только груз выбросили, и матросы померзли... Особенно Антон, рулевой...

Не обмолвился Никифор Андреевич агенту и о том, что за эту ужасную ночь еще поседел, осунулся и обморозил порядочно-таки ноги, но зато просил агента обратить внимание директора, что только крайность заставила его выбросить груз, и прибавил:

— Не взыщут за это? Не обвинят?.. Как вы думаете?

Агент уверял Никифора Андреевича, что никто и не обвинит такого отличного капитана, который спас пароход... Напротив...

— Ведь какой ледяной шторм... Ужасный! — прибавил агент и, не добившись от капитана ничего любопытного, ушел, находя, что Никифор Андреевич глуп и нестерпимо скучен.

XIII

Все эти дни Матреша не находила места. Тоскующая, она немало проливала слез по ночам, мучилась думами об Антоне и считала себя бесконечно виноватой.

Прошло два дня, прошел третий... Матреша по два раза в день бегала в агентство спрашивать о «Баклане», и по-прежнему ей отвечали незнанием.

А шторм продолжался. Ни один пароход не приходил в Ялту. Рассказывали, что рейсы прекращены...

И Матреша возвращалась домой с мола еще более расстроенная и тоскливая.

Напрасно и Ада Борисовна и некоторые жильцы, недовольные, что вид Матреши «наводит скуку», утешали обычными банальными фразами, прибавляя к ним, что Матреша еще молода и такая хорошенькая.

Матреша угрюмо отмалчивалась или просила оставить ее в покое.

Особенно обрывала она хозяйку, когда та начинала говорить по «душе» и слашавым голосом утешать о силе характера и терпения.

Наконец, на четвертый день после этого ужаса неизвестности, Матреша получила сильно запоздавшую телеграмму:

«Вместо Керчи попали в Батум. Немного обморозил ноги и нахожусь в госпитале. Скоро на поправку и буду к дорогой супруге».

Матреша от радости смеялась и плакала. И решила ехать к Антону в Батум с первым же пароходом...

«Бедный, ведь обмороженный... Около него должна быть... И скорее, скорее!»

В тот же день Матреша справилась в агентствах, когда пойдет пароход в Батум. Ей ответили, что через три дня, если шторм стихнет, пароход придет из Севастополя в кавказский рейс.

И Матреша в тот же вечер, решительная и счастливая, что шторм затихал, пошла к Аде Борисовне просить расчета.

Ада Борисовна читала французский роман, наслаждаясь описанием любви виконта и графини на Ривьере, когда постучали в дверь.

— Войдите!..

— Я, барышня, к вам по делу...

— Что такое?.. Ну, ты теперь прежняя Матреша... Веселая, довольная... Надеюсь, больше уж нервничать и огорчать меня не будешь?

— Никогда больше не огорчу вас, барышня! — на-смешливо играя глазами, проговорила Матреша.

И, принимая серьезный вид, прибавила решительным и вызывающим тоном:

— Позвольте расчет, барышня.

— Как расчет?.. Зачем?.. Ты собираешься уходить от меня? — растерянно и испуганно промолвила Ада Борисовна, не предполагавшая, что Матреша оставит место теперь.

— Через три дня уйду... Потрудитесь найти себе горничную...

— Да как же я в три дня... Как же тебе не совестно так поступать со мной... Ведь это что же? Я так обращалась с тобой... У тебя такое выгодное место... И зачем же тебе уходить... Или тебя переманивают?..

— Я к мужу еду... Извольте дать расчет...

— Но хоть подожди, пока я не найду приличной горничной... Ведь так не поступают, Матреша... Ты меня подводишь... Я не одна... У меня жильцы... Кажется, могла бы... Ну, я тебя прошу, Матреша... Останься!

— Не могу, барышня. И осталась бы, да Антон болен.

— Антон!?. Может подождать твой Антон... Не серьезно он больной... Целый год без него жила и вдруг...

— Пожалуйте расчет, барышня! — упорно повторила Матреша.

— Но ты не смеешь уйти, пока я не найду другой горничной! — вдруг меняя тон, сказала Ада Борисовна.

— Уйду... Смею!..

— Я буду жаловаться наконец!

— Кому угодно, барышня... Мне наплевать... Через три дня уеду!

— Бессовестная... Неблагодарная!..

— Вы-то стыдливая... Вы-то благодарная! — с злой насмешкой ответила Матреша.

— Вон!.. Вон уйди... дерзкая!.. — вспылила Ада Борисовна...

— И завтра же уйду... А вы не ругайтесь... Недаром уксусная... Никто не влюбляется, так вы и злая! — бросила скороговоркой Матреша и вышла, хлопнув дверью.

Ада Борисовна заплакала.

— Господи, какая дерзкая и безнравственная эта бесчувственная тварь! — прошептала Ада Борисовна.

Через три дня шторма уж не было. Море успокоилось, и погода была прелестная.

Пароход пришел в Ялту и в девять часов вечера ушел в рейс. Матреша уже была на пароходе в восемь часов и везла с собой две больших корзины с вещами, и на груди был зашил билет ссудосберегательной кассы.

Через сутки пароход благополучно пришел в Батум, и Матреша, остановившись в гостинице, в одиннадцатом часу вечера была в госпитале.

Антон еще не спал, когда сторож ввел Матрешу в палату, где лежал уже поправлявшийся матрос.

— Матрешка! — едва выговорил Антон, увидав Матрешу.

А Матреша припала к лицу Антона и, плача от радости, говорила:

— Всегда теперь будем вместе жить... Всегда, желанный мой...

НА ДРУГОЙ ГАЛС¹

†

Однажды, когда июльский день в захолустном городке выдался особенно жаркий, Нилыч и я спасались от палившего зноя под густою листвой дикого винограда беседки в фруктовом саду.

Разумеется, Кудластый был с нами. Он спал, всхрапывая тяжело и беспокойно.

Нилыч, возвратившись ранним утром с купанья, нарубил сажень дров и аккуратно сложил их, потом дал обычный урок маленькому Абрамке и, по окончании урока, занялся починкой кое-каких погрешностей своего костюма.

Теперь, после двух рюмок водки, плотного завтрака и недолгого сна в своем сарае, Нилыч с чистою совестью и по праву благодушествовал, покуривая трубку и ловко сплевывая в сад через открытую дверь беседки.

Кругом стояла мертвая тишина. Зной точно истомил людей и животных. Все притихли. Городок будто замер.

Со двора и из дома ни звука.

Не слышно было гнусавого и нежного голоса «уксусной» хозяйки, имевшей обыкновение «скулить», как выражался Нилыч, упрекая Акцыну и Карпо решительно за все, за что только могла придумать придирчивая скаредность хозяйки.

Она «скулила» и за то, что наймиты не берегут хозяйствского добра и не жалеют «бедной слабой женщины», и за то, что получают жалованье совершенно напрасно.

¹ Лечь на другой галс — значит повернуться. (Прим. автора.)

Не раздавалось протестов Акцыны и иронических ответов Карпо. Не слышно было шуток и перебранок между собой их молодых певучих голосов. Обыкновенно болтливые, они словно набрали в свои рты воды. Не мурлыкал лениво и Карпо. И куда делся он, не могла бы ответить и Акцына, дремавшая в кухне.

Почтенная свиная семья — маменька, папенька и пять боровков — растянулись под забором и — ни хрюка. Не шелохнулась, ни разу не крякнув, стайка уток, забившаяся в траву. Не видать ни гусей, ни индюшек, ни хвастуна павлина. Даже два петуха не вскрикивали как оглашенные, что жарко, и курицы не кудахтали и куда-то попрятались.

Нилыч не раскис от жары и неожиданно и несколько возбужденно вдруг проговорил, понижая свой громкий голос бывшего боцмана:

— То-то оно и есть, вашескородие! Вовсе чудные загвоздки бывают на свете, ежели подумать... Поди обмозгуй их!

После этих слов Нилыч снова смолк.

Смолк и задумался, подняв глаза на кусочек голубого неба, с которого глядело ослепительно-жгучее солнце, заливавшее блеском замлевшие деревья и рдевшие плоды перед беседкой, словно бы искал в бирюзовой лазури объяснения «загвоздки», и даже не раскуривал потухшей в его зубах трубочки.

Прошла так минута, другая задумчивого созерцания Нилыча.

Наконец он отодвинулся в тень беседки, сунул трубку в карман своих широких полотняных штанов и, обративши ко мне сморщенное загорелое лицо, раздумчиво произнес:

— Я и говорю: не понять, вашескородие!

— Что не понять, Нилыч?

— Да человека... Жил себе, примерно сказать, все время на одном галце и вдруг круто обернул на другой галц. И раскуси, по какой такой причине? Что у его в душе? В том-то и загвоздка, что быдто из-за смеха... И уж как его ни утихомиривали — и так и этак — ничего не боялся человек, а смеха испугался... И ведь кто его поднял на смех? Прямо-таки вроде молокососа... И из-за такого зубоскала и — поди ж — переменил весь курс жизни, вашескородие!.. А доложу вам, что был

человек не то чтобы в легких годах, а в пожилом возрасте... За пятьдесят перевалило, как он вошел в другое понятие... Почему? В каких смыслах? А он ни гу-гу... На другой, мол, линии — и шабаш! Просто, вашескородие, ошарашил, и никто не обмозгует насчет поворота... Да и как не обалдеть? Небось вовсе обалдеешь рассудком, ежели, примерно сказать, здешняя уксусная барыня да вдруг встанет утром совестливой и не заскучит, что ее, скареду, обкрадывают. Так точно и тогда, вашескородие... Ума помрачение быдто нашло... Смотрим и не доверяем глазам...

— Да вы про кого это, Нилыч?..

— Да про боцмана Шитикова. Три года я с им ходил в дальнюю, на «Вихре». Добрый конверт был, вашескородие... Так вот этот самый боцман Шитиков... Может, изволили слышать?..

— Нет, не слыхал...

— Вовсе обозленный был человек и уж такой беспардонный по свирепости, что другого такого боцмана я во всю службу не видал, вашескородие... А кажется, видел боцманов! И был вроде смертного боя, и уж ежели кого пороть прикажут, то Шитиков обязательно сам лупцует линьками и как есть палач... Начнет и распляется... И что дальше, то больше... Вовсе в озверение входит... И никакой пощады... И никому...

— С чего он, в самом деле, был такой зверь? — спросил я.

— То-то и я хотел дойти своим понятием до этого самого. Почему, мол, в Шитикове такая озлобленность и на своего же брата — матроса? Не зверь же он в му-жиках был... Земляки сказывали, что никакой злобы не оказывал... И когда в матросы поступил, не было в ем характера, который временем объявился...

— Как же вы, Нилыч, объяснили себе зверство боцмана?..

— Самой флотской службой, вашескородие. Из-за страха перед тогдашними начальниками, чтобы не отшлифовывали самого, он и озверел... Отличиться хотел... Так по всему оказывало, ежели вникнешь с рассудком... То-то оно и есть, вашескородие. Такие загвоздки бывают, что и человек вдруг зверем станет по трусости перед боем и линьками... Небось изволили слышать, какая была прежде служба? Тоже хоть и теперь взять, на-

пример, укуснью... За что она теснит и на деньги зарится?.. Ежели обмозговать, так и она не зря паскудой стала! — не без философского поучения прибавил Нилыч.

И Нилыч примолк.

Так прошло несколько минут. Старик покуривал и сплевывал и, казалось, не хотел продолжать своих воспоминаний о боцмане Шитикове.

— Да вы что же не продолжаете, Нилыч?.. Только раззадорили началом... Вы расскажите про боцмана, и как смех изменил его... Это что-то удивительно...

— Очень даже удивительно, вашескородие.

— Так что же вы оборвали рассказ?

— После обскажу, как вышла с боцманом за гвоздка.

— Отчего не сейчас?

— Неспособно вам слушать...

— Почему? — удивленно спросил я.

— От жары изморились, вашескородие.

— Верно, вам жарко рассказывать, Нилыч.

— Мне! — не без обидчивости воскликнул Нилыч. — Я даже уважаю жару, а не то чтобы Нилыч словно окунь на песке... Жарит старые кости, отогревает от смерти... А вы: «Боится жары». Меня и на Явострове солнце не оконфузило... Небось и здесь не разлимонит, вашескородие, как здешних хохлов... Сама укуснкая, уж на что как домовая какая, бродит день-деньской и скулит, и эта подлая щука пасть раскрыла и отлеживается... И лукавая девка Акцына и шельма Карпушко не стрекочут. Лодырничают от жары... И жида на улице нет... Быдто все передохли как мухи... И животные попрятались... А я не сержусь... Главная причина: кожа не боится и сух всем телом...

— Так рассказывайте, Нилыч. Я буду внимательно слушать.

— Что ж, коли вгодно, объясню вам про боцмана и матросика.

— Это про зубоскала?

— Про этого самого... Ловко он зубы скалил и умел высмеять боцмана, то-то смешил ребят... А поди ж, и вовсе тихий и щуплый был матросик!

Нилыч сделал последнюю затяжку и продолжал.

— Был Шитиков и из себя, можно сказать, злущий. Такой худощавый и не входил в тело, хоть и ел много... Значит, внутри никогда не было замиренья — злость беспокоила... И глаз у его был тяжелый, вроде быдто рыбьего. И рыжий. И больше капитана и старшего офицера на конверте нашем «Вихре» требовал с матроса... Для их и старался, и нудил строгостью команду, и в тоску вгонял. Был ожесточенно и без пыла, а спокойно. И ни с кем не водился... Ни с кем не разговаривал... Так на конверте и был в одиночестве, вашескородие... Понимал, что ребята вовсе не терпели его и он как какой-нибудь ненавистник всем был... А попал он вскорости после поступления на службу к капитан-арестанту Тузову. Может, слышали, какой зверь был, вашескородие! Во флоте все знали.

— Слышал.

— Ну так у этого самого капитана и была выучка Шитикову, да такая, что там он и озлобился. В госпитале пролежал от боя и порки. Карактерный был. Бросил после того пить без рассудка, когда спускали на берег, и стал стараться, чтобы из матросского положения выбиться и сохранить свою шкуру. Из сил выбивался и по службе и по поведению. С берега возвращался завсегда на своих ногах и ни боцманам, ни унтерцерам ни боже ни непокорное слово, чтобы самому в унтеры выйти. И к этому он вел линию. Мол, лучше других шлифовать, чем с меня будут сдирать шкуру. А на «Нетрони» и капитан Лев Иваныч Тузов, и старший офицер Николай Васильевич Долгий были под масть. Два сапога пара. Обучали нашего брата по-старинному. Дня не проходило, чтобы на баке не стояло крика и стона... Я, вашескородие, служил на «Нетрони» и не раз кричал из-за линьков... Не приведи бог. Вы такого, прямо сказать, разбоя на флоте уж не застали. Другая мода насчет боя пошла при вас, вашескородие... Батюшка император, покойный Александр Второй, пожалел: и волю дал, и разбой на флоте отменил... Царство небесное нашему спасителю!

Эти слова Нилыч произнес с умилением и проникновенно. И, обнажив голову, встал со скамьи и истово перекрестился.

— Вскорости произвели Шитикова в унтерцеры —

на собачью должность на «Нетрони» — и в первый же раз, как приказали пороть, он, вроде как живодер, отличился... И если капитан или старший офицер желали, чтобы матроса отшлифовать во всей форме и без фальши, чтобы помнил, то беспременно приказывали, чтобы Шитиков принимал в линьки... И уж старался, оправдывал доверие начальства. Жарит это с расстановкой изо всей силы линьком по матросской спине, и что дальше, то сильнее жарит. Только побледнеет из себя и хучь до смерти забьет, если велено по счету всю плепорцию. И начальство очень даже одобряло Шитикова... А он тем азартнее старался... И матросы так и прозвали его живодером... Молчит... И сам понимает, что начальники на «Нетрони» живодеры и требуют, чтобы унтерцер был живодером, не то ему в кису, да и самого в линьки — звания небось не разбирали... По самой такой причине вовсе Шитиков из-за страха, как обсказывал, и продал свою душу... И бога забыл... А как старший офицер получил бриг под команду, Шитикова взял к себе... Можете понимать, как он нового капитана оправдал... Взвыли матросы!

Нилыч помолчал, откашлялся и продолжал:

— Лет через десять, а то и больше, опять довелось мне служить с Шитиковым на «Вихре». Уж он старшим боцманом был. Все на своем галце был. И, надо правду сказать, хоть и командир, и старший офицер, и прочие офицеры в строгости требовали службы, однако с ими можно было служить... Жестокости не было, и назначение линьков было не очень обидное... Все больше по двадцати пяти ударов всыпали. Редко когда по ста обескураживали, а свыше — вроде как на смертоубийство — не назначали... И бой был с рассудком... Но Шитиков и был без рассудка, и так сам отсчитывал двадцать пять, что как есть палач... И на «Вихре» по-старому и прозывали. Живодер да живодер... Плавали мы так с им около двух лет и терпели живодера... Одна рыжая морда его тоску наводила... И боялись боцмана за его ненависть к матросу... И ничего с им не могли поделать... Ничего он не боялся...

— А вы разве жаловались на боцмана? — спросил я.

— Это кому же, вашескородие, по старым временам? — не без иронической нотки задал в свою очередь

вопрос Нилыч.— И за что жаловаться?.. Так наказывал боцман не от себя, а по приказанию... А бой был дозволен боцману... Да и нельзя боцману без боя... Только с рассудком и без повреждения личности... В том-то и различка... И я был боцманом, вашескородие, доводилось — чесал морды, хучь голубь наш Василий Федорыч и запрещал... Однако никаких кляуз не было, и матросы не обижались... А на Шитикова все обижались... Хоть, нечего врать, зря Шитиков не дрался. Обязательно за неисправку какую. Только уж всякое лыко в строку было у его, обозленного, за то, что живодер и нет сил хотения отстать... Ежели ты столько лет живодерничал, то не отстать... И всячески мы пробовали утихомирить его... Ничего не брало...

— А как матросы пробовали утихомирить боцмана?

— Всячески. Два старые матроса усовещивали... Бога просили вспомнить...

— Что ж боцман?

— Больше отмалчивался... Тогда избили раз на берегу в Риве (Рио-Жанейро). В самом лучшем виде остался... После того недели три отлеживался...

— И вы били, Нилыч?

— А то как же? Очень даже бил. Все присогласились поучить боцмана, и я... Как же выучить такого живодера... И обязательно выучивали, чтобы боцманов...

— А Шитикова?

— То-то я и обсказывал, что ничего его не брало. Отлежался — и опять за свое.

— Что ж, жаловался он на матросов за побои?

— На это подлости в ем не было, вашескородие. И когда старший офицер выспрашивал его, объяснил, что расшибся... И ни на ком не вымешивал... А переносицу-то сломали... Однако не взыскивал за переносицу... Живодер, а, правду сказать, справедливость была в ем... Хорошо. Видим это мы, что выучка впрок не пошла, старые матросы решили, как на Яв-остров, в Батавь (Батавия) придем, снова проучить боцмана на берегу... Однако не пришлось, вашескородие.

— Отчего?

— Не съезжал на берег с командой... Догадался... А отпросился съехать одному... И на берегу один как

перст шатался... И вскоре вернулся... Видно, не скучно в чужом городе в одиночку скучить... На конверте хоть людей российских видишь... А с им даже баталер и фершал не хороводились. Таким родом терпели мы живодера без малого два года... Приходилось ждать еще год возвращения домой. А тогда Шитикову в чистую отставку. Ему уж предлагал старший офицер в ластовые офицеры. Однако не согласился. По другой части, по своему, мол, званию, простому, найду место! Это он обсказал старшему офицеру. Не полез в офицерское звание... Ума в ем, значит, хватило... Понимал, что ни пава ни ворона будет. Ну, плаваем это мы по морям, заходим в порты, ждем не дождемся, когда пройдет еще год, как загвоздка эта самая и случилась... Пришли это мы в Гонконг, как с клипера «Голубчика», что на рейде с нами стоял рядом, перевели к нам на конверт матросика, по прозванию Зяблик... Вот этот Зяблик и утихомирил живодера... Не иначе как через его Шитиков вдруг повернул на другой галц... Чудеса!.. А я, вашескородие, выкую трубку и опосля про Зяблика обскажу... Не изморились от жары?.. Подпекает... А по мне вовсе даже хорошо...

Нилыч набил трубку, не спеша выкурил ее и продолжал.

III

— И обскажу я вам, вашескородие, по своему понятию, что есть люди без всякой утайки и хитрости. Есть, хоть и редки. И как их обозначить, не умею. А только с ими жить лестнее... И — вот поди ж! — встрел ежели такого человека, еще не обознал его, а уж тебе стало веселей, и самый такой человек приворожил. Значит, сразу обозначил открытую свою душу... Вот, мол, она, братцы, глядите, какая приветливая, безобманная... И я так полагаю, что из этого самого и выходит приверженность к человеку.

— А разве твой Зяблик был такой?

— Такой и был, вашескородие. И с первого же разу Зяблик полюбился команде... вот этим самым, что какой-то особенный был... Главная причина, что глаз у него... и веселый и ласковый. И был он невысокенький, щупленький, чернявый матросик и такой

обходительный, и простой, и ласково так улыбается, быдто радуется жизни и нет у него никакого зла на людей... И как мы увидели Зяблика, словно, мол, его-то самого, веселого матросика, не хватало на «Вихре»... В тот же вечер уж он на баке развеселил команду — услыхали, как Зяблик рассказывал... И так это ловко и затейно, так все одно к одному, что на баке заслушались... Откуда только берется?.. И как представил опосля, как старший офицер на «Голубчике» зудит, а боцман ругается, ребята покатились со смеху... Быдто живые перед нами... и смешные... Но только Зяблик пересмеивал без всякой злобы, вашескородие... Простодушный сам. Да и на «Голубчике» хорошо было служить... Добрые попались начальники... И боцман на «Голубчике» больше пугал словами, а дрался не очень, да и с большим рассудком... Видно, Зяблику от бога было дадено, чтобы умел матросскую тоску разгонять смехом и обнадежить обескураженного флотского человека... А сам вовсе не был обескуражен, хотя у нас на «Вихре» и тиранствовал боцман, и от хорошего житья на «Голубчике» пришлось матросику попробовать наших вроде арестантских рот на конверте...

— А Зяблику попадало? — спросил я.

— То-то попадало, вашескородие.

— За язык?

— Никак нет, вашескородие. Боцман придирки не оказывал за то, что Зяблик мастер был на смешливые слова... Даже сам, случалось, тихо подойдет и прислушивает, когда наочных вахтах Зяблик сказки сказывал или от себя что-нибудь выдумывал, вроде быдто смешную сказку... Ребята всегда просили Зяблика... И уж так рассказывал, что, бывало, заслушаешься... До самого сердца захватывала какая-нибудь чувствительная сказка, вашескородие... А Зяблик всякие знал... И опять же: голос его был такой, что просился в душу... Попадало Зяблику за службу. Он хоть и старался, а по флотской части не входил в понятие... Форменным матросом не вышел... Ну, Шитиков и взыскивал... Боем донимал за всякую неисправку... И безо всякой поблажки... И Зяблик часто таки то с расшибленным носом, то зубы в крови... И даже боцмана удивлял, вашескородие, Зяблик и даже пронял...

— Чем?

— А тем, что сносил бой покорно, но только безо всякой серьезности... Получит да еще улыбается; зубы в крови, а скалит их. Быдто ему в шутку... и быдто за зверство над боцманом же смеется... Вот это самое и озадачивало Шитикова,— много в ем было амбиции. Бой Зяблик терпит: принял, отошел и улыбается. Ребята, бывало, жалели его, а он... смеется... «Не убьет, говорит, боцман... Злость его, братцы, поддерживает, а то бы вроде шкелета стал...» И раз после отчистки боцмана пришел наш Зяблик на бак. Губы подобрал, щеки втянули и стал зедить как Шитиков: «Я, мол, все могу, я, мол, хочу, чтобы меня пужались... И тем живу... А как ежели вы, такие-сякие, не будете бояться за бой, то мне беда... Хучь в лазарет... Ой, ой, ой... Помогите, братцы... Бойтесь меня, что я живодер... Дохтур... пожалуйте! Я бедный... меня матросик обижает. Не боится, а смеется». И точно боцман как живой... И такой, я вам доложу, смешной... И голос, и походку... все Зяблик перенял... И на баке так и раскатились смехом,— даром что все мы в скуке были, потому штормовали в Тихом океане... Конверт под штормовыми парусами так и валяло во все стороны... И волны так и захлестывали... Обдавало водой здорово... И смутные мысли приходили в голову. А Зяблик всю скуку разогнал... Гогочем... И вот — извольте понять, вашескородие,— боцман уже не так страшен быдто стал, а над им смеемся... Ишь ведь какой оборот дал Зяблик смехом... И хучь у его здорово подбит глаз, а он смеется и говорит: «Бедного прикормил... а то без меня не было бы, братцы, ему скучной пищи... Бедный и есть!» И опять смеемся... И перекрестили мы живодера в бедного... Услыхал это «бедный». И не раз слыхал, как Зяблик его передразнивал... И матросы, как вспомнят Зяблика, глядючи на боцмана, тоже тишком улыбаются... Дошло и до офицеров... Мичман один видел, как Зяблик представлял боцмана, и очень смеялся... И, видим, еще свирепей стал с виду боцман... Ходит это по баку на вахте и все, верно, входит в понятие насчет смеха Зяблика... И так, вашескородие, по-прежнему чекрыжит морды... И Зяблику попадало, как свиноватит по службе... Матросика вовсе во весь бой жарил, видно полагал довести до страха, а матросик, как был, примет бой и улыбнется... И так это раз улыбнулся, вашескородие, прискорбно и вроде быдто с жалостью поглядел

на Шитикова, что боцман со всей силы вдарил в грудь Зяблика, и он упал... И грудью заболел... В лазарете лежал... Дохтур, однако, вылечил нашего Зяблика... И обспрашивал насчет причины. Однако Зяблик на боцмана не доложил... Так начальство и не узнало... А Шитиков, видно, рассчитывал, что Зяблик объяснит,— не понимал, значит, боцман человека, вашескородие... И, видно, понял наконец.

Вот в это время и вышла самая загвоздка... Вышел Зяблик из лазарета... Утром счасти уложил не в порядке, как велел боцман, и боцман вместо того чтобы его избить, только обругал... И никого в этот день не избивал... Только еще быдто угрюмистей стал. Мы в ошалении... Чудеса, мол, с живодером... Проходит неделя... Тиранства нет... Когда съездит, но с рассудком... И портить сам не вызывался... Одно слово: повернул на другой галъ, вашескородие!— заключил Нилыч.

И после паузы прибавил:

— То-то оно и есть... Какие загвоздки бывают, вашескородие... Из-за смеха на старости лет боцман вошел в другое понятие... Только очень редки такие загвоздки бывают. Я так полагаю, вашескородие.

О ЧЕМ МЕЧТАЛ МИЧМАН

I

Эта ночь в Атлантическом океане, под северными тропиками, градусах в пяти от экватора, была волшебная, чарующая ночь.

Небо сверкало звездами, точно брильянтами на темном бархате. Лениво, словно бы нехотя плывущая полная луна глядела сверху задумчиво-томной красавицей и лила свой серебристо-бледный свет, побеждая мрак тропической ночи и придавая ей еще большую прелесть. Океан притих, точно дремал, нежась под лунным сиянием, и волны тихо и ласково шептались одна с другою. И от них и от мягкого пассатного ветра веяло нежной прохладой, столь желанной после палящих лучей тропического солнца. Одетый сверху донизу своих трех высоких мачт парусами, имея их и между мачтами и впереди у бугшприта, военный клипер «Русалка» легко и грациозно скользит по сонным, тихо переливающимся, но все-таки могучим волнам среди волшебного полусвета, весь залитый лучами месяца, направляясь к югу.

С плеском, похожим на ласковый шепот, волны нежно лижут со всех сторон покачивающийся клипер «Русалку», загораясь от прикосновения к ней ослепительным фосфорическим блеском и рассыпая алмазную пыль своих гребешков.

И кажется, будто «Русалка» плывет в каком-то волшебном водяном царстве, полном чудес, в кайме растопленного серебра, оставляя за кормой блестящий след в виде широкой серебристой ленты, исчезающей вдали.

Все спят, кроме вахтенного офицера и вахтенного отделения матросов.

На «Русалке» и вокруг тишина.

Слышатся только словно бы вздохи океана да однобразно тихий гул воды, рассекаемой клипером, напоминающий лепет морского прибоя во время штиля, да по временам пониженные до шепота голоса вахтенных матросов, разговаривающих сказкой или бывальщиной незаметно подкрадывающуюся дрему.

II

Юный мичман Лютиков, худощавый и стройный блондин с большими ласковыми глазами, едва пробивавшейся бородкой и маленькими усиками, казавшийся при лунном освещении еще пригоже, чем был в действительности, только что вступил на вахту с полуночи до четырех.

Он поверил часовых, осмотрел огни, убедился, что паруса стоят хорошо и все шкоты дотянуты до места, поднялся на мостик и, оглядываясь вокруг, замер от восторга, немеющий и умиленный волшебной красотой ночи.

Охваченный ее властными чарами, он очень скоро охотно и неосмотрительно отдается во власть воспоминаний о чарах, которые еще так недавно сводили его с ума. Основательно ими отправленный, он все еще не может от них избавиться, несмотря на свои двадцать два года, изрядное легкомыслие, насмешки сослуживцев, укорительные письма матери и несмотря даже на то, что съезжал на берег и в Копенгагене и в Лондоне и ездил из Шербурга на три дня в Париж.

Это был совсем «диковинный» мичман, как выражалася молодой судовой врач Василий Парфенович, любивший объяснять все явления анатомически, физиологически и химически и возлагавший большие надежды на съезды на берег.

— Господи! Что за дивная ночь! — взволнованно шепчет мичман.

Он шепчет, готовый заплакать, полный тоскливого томления и жажды какого-то необыкновенного, захватывающего счастья, о котором можно мечтать только в чине мичмана, да еще в такую волшебную ночь и на

такой покойной вахте, когда вахтенному начальнику почти что нечего делать.

И он ходит по мостику в приподнятом и нервном настроении, жадно вдыхая ночную прохладу, мечтательно взглядывает и на мигающие звезды, и на самодовольно-красивую луну, и на сонный океан и прислушивается к его тихим, словно бы жалостным вздохам.

Но на что ни глядит теперь мичман, он все-таки видит неотступно перед собой гибкую, как ива, стройную, как пальма, по его мнению, обворожительную черноглазую женщину, краше, милей и привлекательней которой не было, нет, да, разумеется, и не будет на свете, что там ни говори доктор и «испанский гранд» (как звали смуглого-желтого брюнета и большого лодыря, лейтенанта Анчарова) насчет его ослепления Ниной Васильевной, женой чрезмерно тучного и потому не особенно счастливого в ~~семейной жизни~~ капитана первого ранга Ползикова.

«Идиоты! Если бы они знали!»

Положительно Лютиков был самый диковинный и нелепый мичман среди всех мичманов балтийского и черноморского флотов и недаром ставил в тупик судового врача, не оправдывая его физиологических объяснений.

Казалось бы, громадность расстояния между тропиками и Кронштадтом способна отрезвить самое пылкое воображение. Казалось бы, кое-что значило и то обстоятельство, что в Порто-Гранде — последней стоянке клипера — не было нетерпеливо ожидаемого письма за № 20 в ответ на его обширное послание за № 52 (это в два-то месяца) в прозе, а частью и в стихах, обращенных однако не к «Нине», а к какой-то королеве неизвестного государства — Стелле, единственным и действительно настоящим верноподданным которой был обезумевший мичман. Наконец и фотография «королевы», снятая перед уходом «Русалки» в плавание и хранившаяся в шифоньерке мичмана, была такая скверная и так мало похожа на «обворожительную», что не могла вызывать милого образа. Что же касается до прядки черных волос, свернутых колечком, и хранившейся под стеклом в медальоне, висевшем на часовой цепочке, то и эта «память» едва ли могла приводить в состояние невменяемости человека, понимающего разницу между стеклом и женскими губами.

А между тем «властительницею дум» и настроения мичмана теперь снова была та самая чаровница лет тридцати (а, быть может, и с хвостиком), которую мичман, влюбленный, как воробей, ревнивый, как старый муж молодой жены, и бешеный, как тетерев по весне, чуть ли не ежедневно в течение шестимесячного знакомства то возвеличивал, то низвергал. Он считал госпожу Ползикову то мадонной, на которую готов был молиться, то такой лживой, бездушной, легкомысленной и коварной женщиной, какой не существовало еще в подлунной,— хотя и были Лукреция Борджа и Мессалина,— и которую следует убить и затем застрелиться самому, предварительно однако отравившись ее горячими поцелуями, чтобы провести последние минуты жизни счастливо.

И если Нина Васильевна и мичман до сих пор были живы, то единственно потому, что госпожа Ползикова в моменты такой кровожадности мичмана умела внезапно превращаться в мадонну.

Так мичман и ушел в кругосветное плавание, не уяснив себе окончательно, мадонна ли Нина или коварная дама, но все-таки влюбленный до безумия в обе разновидности одного и того же лица.

III

Ночь так обаятельна, ночь так опьянильна, что мичман, сперва было великодушно пожелавший Нине всех благ и радостей без собственного в них участия, внезапно, при одной мысли, что Нину может целовать какой-нибудь другой мичман, меняет свое самоотверженное решение. Он озарен счастливой идеей о том, что высшее на земле счастье, по крайней мере для него, мичмана Лютикова, в гербе которого недаром же два лютника, соединенных в клюве аиста, олицетворявшего постоянство, не командовать клипером, не сделаться адмиралом, не искать славы, почестей и богатства,— все это ерунда,— а очутиться сейчас же, сию минуту, не дожидаясь смены с вахты, на каком-нибудь малообитаемом, а то и на необитаемом, но во всяком случае никому не известном острове. Разумеется, очутиться вместе с Ниной Васильевной, среди такого же чудного океана и в такую же волшебную ночь, чтобы взять ее обе малень-

кие, душистые руки с длинными, тонкими пальцами в свои, заглянуть поглубже в ее большие лучистые глаза и высказать ей все, решительно все, что не успел он высказать в течение шести месяцев, хотя и бывал у Нины чуть ли не ежедневно, болтая сперва как сорока, пока вдруг не смолк и только вздыхал, и наконец снова не заговорил счастливыми восторженными восклицаниями после безмолвных и долгих поцелуев.

И после того, как он все ей выскажет, она убедится в беспредельности и силе его любви,— убедится, что так «свято» ее никто не любил и не будет любить, и не станет его мучить, как мучила, меняя по нескольку раз в час свое настроение и делая его то бесконечно счастливым (когда бывала мадонна), то бесконечно несчастным (когда говорила, чтобы он уходил навсегда). Она поймет странность своего отношения, не станет больше приводить его в ужас своими резкими переходами от ласки к выражению презрения и не будет питать его ревности на необитаемом острове, кокетничая, за неимением мичманов, с чайками.

О, она раскается за то, что терзала так бедного мичмана, и, вся просветленная, после объяснения скажет:

— Никс! Я люблю тебя одного. Я твоя, и только твоя и никуда не хочу с необитаемого острова. Даже Гостиный двор позабуду ради твоего счастья!

Разумеется, не предполагалось, чтобы на необитаемый остров мог прибыть капитан первого ранга Ползиков или — что было бы еще ужаснее — несколько поклонников-мичманов, присутствие которых, особенно по одиночке, около кокетливой Нины вызывало в Лютикове бешеное желание отправить всех этих господ на тот свет или, по меньшей мере, сделать из них более или менее обворожительных, хотя, разумеется, и «подлых» лиц нечто, похожее на рубленые котлеты.

Вот почему, мечтая теперь о Нине, мичман забыл, как она его изводила, с веселой жестокостью играя его настроениями. Напротив, он благодарно вспоминал о том, как она его целовала, и, считая теперь Нину только мадонной, еще сильнее рвался на необитаемый остров.

Затем мечты его вдруг прервались воспоминаниями.

Начал мичман их в хронологическом порядке, то есть с маленьких рук, на которых не было, казалось, ни одной точки, пропущенной губами пылкого мичмана... За-

тем вспомнил шею, лицо, глаза, маленькие ноги в красных туфельках.

И из груди мичмана вдруг вырвался такой громкий вздох, что стоявший вблизи и клевавший носом молодой сигнальщик Ефремов мгновенно встрепенулся и, думая, что мичман его кличет, поспешил крикнуть:

— Есть, ваше благородие!

Несмотря на тоскливо-нервное свое настроение, Лютиков невольно улыбнулся и, приблизившись к сигнальщику, с обычным своим добродушием спросил:

— Верно, вздремнул, брат?

— Никак нет, ваше благородие. Маленько задумался.

— Задумался?

— Точно так, ваше благородие. В задумчивость вошел. Ночь такая.

— Это правда! Чудная ночь.

— Ахтильная, ваше благородие. В Рассее таких нет.

— О чем же ты задумался, Ефремов?

— Так, обо всякой, значит, всячине, ваше благородие.

— Так, может, ты думал...

Мичман запнулся и неожиданно спросил:

— Ты любишь какую-нибудь женщину, Ефремов?

Сигнальщик на минуту опешил. Но вслед затем усмехнулся несколько самодовольной улыбкой и ответил:

— Без эстаго никак нельзя, ваше благородие. Какая баба подвернется, тую и любишь. Известно, матросское звание: на брасах не зевай!

Оскорбленный такою профанацией, мичман не продолжал разговора и снова зашагал по мостику, продолжая мечтать о своей «королеве».

IV

Но теперь мечты его приняли другое направление. Он уже не на необитаемом острове, а в Петербурге, куда только что приехал, возвратившись из кругосветного плавания по болезни, как только получил от Нины письмо, в котором она пишет, что муж умер...

И мичман, безжалостно отправив на тот свет капитана первого ранга Ползикова, торопится к Нине Васильев-

не. Она теперь свободна и следовательно имеет возможность видеть мичмана не только часто, как ей хочется, судя по последнему письму за № 20, но постоянно.

Вот он подъехал к дому, в котором поместила Нину пылкая фантазия мичмана, взбегает на лестницу, звонит, входит в ее маленькую, но хорошенкую, конечно, квартиру и... Господи! Да как же она хороша в глубоком трауре!

Он целует ее руки, глаза, волосы, щеки, губы и только после того умоляет ее быть его женой. Она сперва говорит о разнице лет: ему двадцать два, ей тридцать, но скоро соглашается. Еще бы не согласиться! Недаром же ее письма говорят о том, как без него скучно, очень скучно.

И все складывается в мечтах мичмана удивительно хорошо. Даже финансовый вопрос разрешается без малейших затруднений выходом мичмана в отставку и получением места с хорошим жалованьем, тысячи полторы-две в год, и они отлично заживут...

Мичман представляет себе, как они заживут, но представления его ограничиваются лишь поцелуями, которыми он теперь может пользоваться à discrétion¹ и без всякого страха, что в гостиную неожиданно войдет капитан первого ранга Ползиков или влетит этот болван вестовой Егоров, совсем не соображавший, как надо входить в гостиную, когда там сидит мичман вдвоем с Ниной Васильевной. Не помешают и мичманы. Во-первых, они будут жить не в Кронштадте, а в Петербурге, и, во-вторых, он так-таки и не велит никого принимать. Ни единой души. Они будут всегда вдвоем. И выходить из дома будут всегда вдвоем.

Однако мысль о том, что придется по утрам ходить на службу, куда никак нельзя брать Нину с собой, возбуждает в мичмане ревнивое подозрение насчет того, что в его отсутствие кто-нибудь из этих подлецов-мичманов может являться с визитом и мало того, что разговаривать с Ниной, но и нахально целовать ее руки... Она несколько легкомысленно-свободно относится к тому, что у нее целуют руки, и это обстоятельство бывало не раз одним из мотивов, по которым мичман после бурной сцены уходил мрачный, с зарождающимися мыслями убить Нину Васильевну и потом застрелиться самому.

¹ Сколько угодно (франц.).

Более других возмущал его «подлец» Ракушкин, смуглолицый, красивый и фатоватый мичман, декламировавший стихи и игравший на фортепиано «с большим чувством», по словам многих дам. Возмущал он его главным образом потому, что в качестве товарища и бывшего друга знал, что Лютиков влюблён в Нину Васильевну, и вместо того, чтобы не мешать ему, как следовало бы порядочному человеку, и ухаживать за женой какого-нибудь другого чрезмерно тучного или чрезмерно худого капитана первого ранга, он стал ухаживать за Ниной Васильевной, торчал по целым часам, не спускал с нее глаз и с особенным чувством играл ноктюрн Шопена и добивался-таки того, что Лютиков демонстративно уходил мрачный, чувствуя себя бесконечно несчастным и готовым убить Ракушкина, если бы... И только записочка Нины Васильевны, звавшей его вечером «поскучать вдвоем», успокаивала его вместе с уверением «мадонны», что пока ей, кроме Лютикова, никто не нравится.

Но теперь, на ночной вахте, в таком далеком расстоянии от Кронштадта, при невозможности иметь успокаивающую записочку, мичман терзается ревностью, и ему снова кажется, что поселиться на необитаемом острове было бы лучше, чем в Петербурге...

Однако и необитаемый остров, и супружеское счастье в Петербурге, и горячие поцелуи — все это вдруг вылезает из головы мичмана, и напрасно он старается возвратиться к этим мечтам, приводившим его в приятное настроение.

Все его мысли сосредоточены на Ракушкине и Нине, которая снова представляется ему уже не «мадонной», а прямо-таки лживой и бездушной женщиной, с которой он на свое несчастье только встретился. В этот именно час («а в Кронштадте теперь около часа пополудни», — мысленно перевел время Лютиков) Ракушкин сидит около Нины Васильевны на том же самом небольшом диванчике, на котором вдвоем так удобно сидеть и на котором так часто сидел и он. Ивана Ивановича Ползикова, по обыкновению, нет дома. «Засиживается в канцелярии, дурак, вместо того, чтобы торопиться домой», — мысленно покорил теперь мичман тучного капитана первого ранга за то именно, за что еще недавно, когда сам сидел на диванчике, очень хвалил,

находя его одним из энергичных и деятельных экипажных командиров.

И Ракушкин без всякого стеснения говорит теперь Нине о своей любви и умоляет позволить ему поцеловать ее руку... Она слушает этого «мерзавца» и, бессовестная, забывает, что еще два месяца тому назад, на самом этом диванчике... Она забывает, что писала в письмах, как скучала без него, все забыла, коварная, и вместо того, чтобы прогнать, как бы следовало, Ракушкина, продолжает улыбаться, слушая его, и главное,— не отнимает своей руки...

Эта картина так живо и ярко представляется мичману, что сердце его замирает, затем негодование охватывает его, и он, полный отчаяния и злобы, сам не замечает, как говорит вслух:

— Бессовестная!.. Подлец, подлец! — несколько раз повторяет мичман, угрожая Ракушкину из-под пятого градуса широты и готовый непременно бросить его в океан, предварительно, конечно, дав ему в морду и сказавши, что так поступают только Иуды-предатели.

— Есть! — снова раздался неестественно громкий окрик сигнальщика Ефремова.

Пробудившись от дремоты, близкой к настоящему сну, которой сигнальщик предавался хотя и не в особенно удобном положении,— стоя с подзорной трубой в руках и прислонившись к поручням мостика,— но все-таки довольно основательно, Ефремов на этот раз явственно слышал, как вахтенный начальник ругался подлецом. Нимало не сомневаясь, что выругали именно его за то, что он снова «маленько задумался», сигнальщик поторопился доказать своим громким окриком, что он бодрствует.

— Ты что кричишь? Опять дрыхнешь? — не без раздражительной нотки спросил, останавливаясь, мичман.

— Никак нет, ваше благородие. Вы изволили меня обругать подлецом... Но только, осмелюсь доложить, я не дрыхал.

— Я не тебя! — проговорил мичман.

Он снова заходил, и снова воображение его представило Нину Васильевну рядом с Ракушкиным, который целовал уж не руки, а самые губы...

И волшебная ночь потеряла для него всякую прелесть. И он чувствовал теперь себя самым несчастным человеком в мире, каким только может быть мичман в двадцать два года.

V

Прошел месяц.

Лютиков опять стоял на вахте с полуночи до четырех в то время, как «Русалка» под парусами шла к выходу из Зондского пролива, направляясь после недельной стоянки в Батавии в Сингапур.

Опять была волшебная ночь, но мичман уж не мечтал так, как раньше. И сам он изменился: похудел, побледнел после болезни.

И он ее еще не пережил, эту болезнь молодости, этот первый удар, полученный им в виде нескольких строк от Нины Васильевны, полученных им в Батавии.

Эти строки гласили: «Не пишите более. Так будет лучше для нас обоих».

Мичман только ахнул, прочитав эти строки. Еще в последнем письме она писала, что любит его, и вдруг: «не пишите более»...

Он целый день не выходил из своей каюты и не находил от тоски себе места.

Но еще обиднее и больнее было ему, когда на другое утро «испанский гранд» сказал ему:

— А знаете, Коленъка, какие известия из Кронштадта?

— Какие?

— Дама вашего сердца... госпожа Ползикова обратила особенное внимание на мичмана Ракушкина, и он теперь при ней безотлучно...

— Ну так что ж? —зывающе крикнул, бледнея, Лютиков.

— Ничего... Я вам только сообщаю новость, — лениво протянул «испанский гранд».

А доктор, улыбаясь, прибавил:

— Не ждать же ей диковинного мичмана три года...

— Она не ждет ни меня и никого не ждет. И все эти известия — подлые сплетни... И я васзываю на дуэль! — вдруг неестественно громко выкрикнул Лютиков «испанскому гранду», а сам трясясь, как в лихорадке.

— Вы, Николай Николаич, того, напрасно волнуетесь... Лучше на берег, голубчик, съездите,— заметил доктор.

— А вы меня за что на дуэль? — добродушно спросил «гранд».

Мичман ответил:

— Вы не смеете так о ней говорить.

— Да что я сказал?

— Про Ракушкина... Это вздор... Этого не может быть... И я не позволю так говорить о порядочной женщине!..

Насилу его успокоили и заставили просить извинения у «гранда».

Все пять дней, что клипер стоял в Батавии, Лютиков пробыл у себя в каюте и лежал на койке. Напрасно доктор несколько раз заходил к нему, рекомендуя съездить на берег.

Мичман сердито отказывался.

И теперь, несколько успокоившийся, хотя все еще не переживший первого своего разочарования, он мечтает о том, с каким ледяным равнодушием он взглянет на Нину Васильевну, когда вернется в Россию... Ракушкину не поклонится... Пройдет мимо, осмотрит их обоих с холодным презрением и...

«Какие все люди подлые!» — мысленно говорит мичман и еще раз решает не любить больше никого.

— Не стоит! — шепчет он, подбадривая себя. Ему хочется поскорее показать «этой женщине», что он совсем к ней равнодушен и презирает ее, и в то же время чувствует себя одиноким на свете и готов заплакать.

А ночь такая волшебная, и мичману так хочется счастья.

ДИКОВИННЫЙ МАТРОСИК

I

Среди тишины чудной тропической ночи колокол пробил четыре удара. Был час ночи, и до смены вахтеных было еще далеко. А спать так хотелось.

Тогда грот-марсовой старшина Аришкин — степенный, пожилой человек, пользовавшийся на клипере «Голубчик» репутацией самого «башковатого» матроса, который в книжке мог читать и умел огороживать «занозистыми» словечками даже такого ученого человека, как фельдшер, проговорил, обратившись к кучке дремавших у грот-мачты матросов:

— Не спи, братцы. А то как бы вахтенный не разбудил по-своему... Небось, зубы начистит.

«Братцы» встрепенулись, услышавши мудрые слова, так как знали, что вахтенный лейтенант любил подкрасться ровно кошке и разбудить действительно «по-своему» заснувшего матроса.

Но ночь, волшебная тропическая ночь, тоже расточала свои сонные чары «по-своему», и не прошло и пяти минут после предостережения Аришкина, как уже среди кучки раздались подхрапывания.

— Ну уж и здоровы спать, идолы! — воркнул Аришкин и, наклонившись к спящим, проговорил: — Кошка идет!

Все моментально вскочили. «Кошкой» звали вахтенного лейтенанта Пыжикова, находившего, что «распустить» матросов не следует.

Аришкин засмеялся.

— Небось, проснулись?.. Садись... я вам лучше что-нибудь расскажу... По крайности сон разгонит.

— То-то расскажи, Никоныч... уважь... А то как бы взаправду не подкрадалась Кошка,— заметил один из марсовых.

— Как не уважить вас, дрыхалов, уважу! — ласково промолвил Аришкин.

И, плотней усевшись на бухту¹, откашлялся и начал вполголоса и слегка нараспев следующий рассказ.

II

— Тоже вот был у нас на клипере, на «Грозящем», когда мы на нем три года тому назад ходили в «дальнюю», матросик один, Васька Пернатый прозвывался. Отцы его, говорил, птицеловы были, и было им прозвище «Пернатые»... Так довольно даже редкий и диковинный матрос был, братцы вы мои. Такого никогда на флоте я не видывал. Человек, прямо сказать, с понятием и по матросской части знал, хорошим рулевым был и в Кронштадте веселым человеком оказывал себя, и характера тихого, и вином не занимался, а как уплыли мы из Кронштадта и вошли в заграничные места, тут, значит, и вышла эта самая загвоздка...

— В чем загвоздка? — спросил кто-то.

— А в том, братец ты мой, что вовсе в расстройку вошел. И чем дальше мы уходили, тем больше он быдто тронутый понятием становился. Ни с кем не говорил, чуждался, больше один да один, и все в тоске да в тоске, братцы вы мои. Глядит этто он на море, мырлычит себе под нос песню, а сам плачет... Однако тосковать — тосковал, а службуправлял форменно... А на берег съезжал, так ни на что и не смотрел, а прямо в кабак, и привозили его два раза размертвецки-пьяно... На клипере не дотрагивался и чарки своей не пил, а на берегу, значит, тоску свою залить хотел... Дошли мы таким родом до Мадер-острова, как остановил он старшего офицера и докладывает: «Дозвольте, вашескобродие, объяснить причину». «Объясняй!» — говорит. — «Так, мол, и так, как вам, говорит, будет угодно, а нет больше сил моего терпения!» Этто он докладывает, а сам бледный-

¹ Бухта — снасть, уложенная в круги. (Прим. автора.)

пребледный из лица и похудал весь, хотя никакой хвори в себе не имел. А старший офицер малого терпения был человек и как вскрикнет: «Ты что, говорит, такой-сякой, лясы разводишь? Говори толком, в чем дело?» Пернатый не испугался и отчесал: «Явите, говорит, божескую милость, прикажите меня сей же секунд отправить обратно в Расею, а то я преступником — беглецом могу быть! Пробовал, говорит, я всячески принудить себя и не могу, вашескобродие. Госка сосет».

— Ишь ты... Что ж старший офицер?

— Известно что... Подумал, что матрос «огурнуться» хочет от флотской службы... Сперва-наперво равно бы ошелел, что матрос с таким диковинным прошением осмелился, а потом: раз, два, три, и пошел лупцевать. Искровянил матроса в самом лучшем виде и говорит: — «Я тебе, говорит, покажу сил-терпения. Отшлифовать велю, так поймешь свою дерзость прошения». А Васька Пернатый свое: «Не пойму, говорит, вашескобродие. Не от лодырства я прошусь!» Велел ему всыпать двадцать пять. Всыпали...

— За прекословие, значит?

— То-то за оно самое. Потому старший офицер очень скор был и прекословия не позволял... Любил, чтобы молчали, хотя бы он приказал самого себя съесть... Малого терпения был человек... А который нетерпеливый — хуже глупого бывает... Оделся, значит, Васька Пернатый после порки и безо всякой это злобы и как бы в задумчивости говорит унтерцерам, кои его линьками драли: «Ниакие линьки, говорит, тоски не разгонят. Дойду до капитана, и вернут меня в Расею». Слушаем мы и думаем: «Спятил матросик», кои с дурости и смеялись. Думали: чудит человек... А он, братцы, как опосля оказалось, и вовсе не мог совладать со своей тоской. Хорошо. Ушли мы с Мадер-острова и вскорости зашли на Зеленые острова для запаса угля, живности и свежей провизии, потому, как сказывали, с островов Зеленых прямо хотели вальнуть на Яву-остров и минуя Надежный мыс (мыс Доброй Надежды). Ден в шестьдесят переход рассчитывали, потому и запасу всякого много брали. Как услышал про это самое Васька Пернатый — на нем лица нет. Ходит по клиперу как бы в потере чувств. И исхудал же он за это время — страсть... Было ему тогда этак годов тридцать, не боль-

ше, а с виду вроде старика оказывает... Однако до капитана не доходил... Боялся, видно, линьков... Он не очень-то их обожал... С умом человек был и хотя тихий, а обидчивый... Ладно. Стоим это мы в Портограндах (Порто-Грандо) четвертый день, грузим уголь, быков, свиней, уток и курей принимаем, у арапов пельсины покупаем, лакомимся, значит, как вдруг утром перекличка, а Васьки Пernатого нет...

— Сбежал? — нетерпеливо спросил один из слушателей.

— А ты слушай, тогда и узнаешь! — недовольно проговорил Аришкин.— А то «сбежал»!.. А может, и не сбежал...

— Так куда ж он делся?

Аришкин несколько секунд помолчал, словно бы жая, как опытный рассказчик, усилить внимание своей аудитории, и продолжал:

— Старший офицер, как узнал, что Пernатый в нетчиках, очень даже осатанел. «Мы, говорит, его, подлеца, сыщем. Он беспременно от службы удрать хочет. Беглым мигрантом сделаться. Я покажу ему мигранта!» Совсем без терпения человек был старший офицер... Не смозговал того, что Васька Пernатый в Расею бежать хотел, а он кулаками машет и кричит: «мигрант!» Это, значит, который человек со своей родины на чужую убегает,— пояснил Аришкин.— Ладно. Тую же минуту послали на берег шлюпку с мичманом к концырю, чтобы поймать, мол, и предоставить беглого казенного человека... А город этот самый Портогранда маленький... арапы больше живут... Пernатого-то скоро и разыскали в избенке арапской. После матрос, что с мичманом на поимку ездил, обсказывал, как беднягу под кроватью нашли... Забился туда... Насилиу вытащили. И бросился он в ноги концырю и мичману. Плачет: «Не берите, мол, меня на клипер. Я в Расею доберусь и явлюсь по начальству. Пусть со мной что вгодно делают, но я по крайности в своей стороне буду». А мичман что может? Тоже подневольный офицер. Ему сказано доставить, он и должен был доставить. И пожалел он матросика, а привез на катере да еще для верности связал... Это жалеючи-то! — не без иронии прибавил рассказчик.— Привезли и тот же секунд без допроса, как, мол, и почему матрос от тоски на ответ в Расею бежит,—

беднягу на бак и всыпали без счета... Вроде как в бесчувствии в лазарет снесли... А ведь все от непонятия... После уж только в понятие насчет матросика вошли... Тогда и старший офицер понял, что терпения в нем не было... То-то оно и есть...

В эту минуту неслышными шагами приблизился лейтенант Пыжиков. Аришкин тотчас же смолк.

— Вы тут чтó? Дрыхнете? — спросил лейтенант, вглядываясь в матросские лица.

Все поднялись и почти в один голос отвечали:

— Никак нет, ваше благородие!

— Я им сказку сказывал, ваше благородие! — доложил Аришкин.

— То-то... У меня на вахте поспи!.. Я разбужу! — проворчал лейтенант и пошел дальше.

III

Матросы опять уселись, и Аришкин продолжал:

— Отлежался Пернатый... Опять службу справляет... Опять тоскует... И боцман в ошалеватости... Не понимает... Однако пожалел. «Так, мол, и так, вашескобродие, как бы чего над собой Пернатый не сделал. В большой он, мол, расстройке!» — доложил боцман старшему офицеру. И старший офицер как быдто начал в понятие входить и торопливость свою оставил. «При-сматривай за им, говорит, хорошенько и зря, говорит, не обескураживай боем. А там видно будет!» Ладно. Идем это мы тропиками, как вот теперь... Благодать одна... Тепло, служба легкая... И встречали мы в этих самых местах Светлый праздник... А Васька-то Пернатый быдто отходить почал от тоски эти дни... Отстояли мы заутреню... А Пернатый около меня стоял... Гляжу: молится, с колен не встает и руками лицо закрыл... Плечи вздрагивают... Плачет...

Вышли это мы наверх... разгавливаемся... А солнышко поднимается... И светло стало... И матросики веселые... Праздник-то Светлый, праздник праздникам... Только Васька сам не свой. Глядит это на яйца, на куличи, не ест, и такая в его лице тоска, братцы вы мои, что и не обсказать. «Полно, говорю, Вась... Через три года вернемся, говорю, в Рассею»... А он ровно и не слушает. Уставил глаза на море, да как вскочит на

борт... На счастье, один матрос у борта стоял... схватил его за ноги... Насилу держит. А он голосом кричит: «Пустите, братцы, нет сил моего терпения... Лучше смерть».

Сняли его с борта. Привели к капитану,— он в то время команду обходил, поздравлял. «По какой-такой причине ты жизни хотел решиться, матросик, и в такой великий день? — спросил капитан.— То бежать хотел, а теперь топиться?» Тот опять свое: «Тоскую, говорит, в чужих местах». Видит капитан, что человек на извод готов. Велел позвать доктора. «Обследуйте и доложите...» Он и доложил, что у Пернатова вроде быдто болезни... мудреное слово какое-то сказал... А выходит, что тоска по родине... Ну, капитан тотчас же потребовал Пернатого и говорит: «Как приедем на Яву-остров, оставлю тебя, а ты с обратным судном вернешься в Расею!» И как услышал это Пернатый, то сразу же человеком стал. В настоящее понятие вошел... Повеселел... одно слово: матрос как матрос... А как пришли на Яву-остров и велели ему на конверт (корвет) перебираться, что в Расею шел, так и обсказать нельзя, как он обрадовался... Прощается со всеми и плачет от радости... Совсем диковинный матросик был! — заключил рассказчик.

Через несколько минут он поднялся и сказал:

— Трубочонку выкуриТЬ пойду... Смотри, опять не засните, черти!

— Не заснем, Никоныч. Ты разговорил сон... Да и скоро светать начнет... Ишь заря занимается.

ФОРМЕННАЯ БАБА

(Рассказ матроса)

I

— Это ты, Егорка, про вдову Аришку? — властно спросил, подходя к двум матросам, притулившимся у борта на юте, молодой, красивый, черноволосый матрос Александр Дымнов, казавшийся еще красивее при свете полного месяца, заливавшего своим серебристым светом и океан и палубу «Голубчика», который под всеми парусами спускался на юг, направляясь к Индийскому океану.

— Про нее! — отвечал, несколько робея, белобрюхий матросик Трофимов, которого Дымнов называл Егоркой.

— Не видал ты, значит, настоящих баб, ежели обожаешь Аришку. Какая это баба? Это, прямо говорить, кура, а не баба... Ке-ке-ке... Только и кудахчет... да знай норовит с матроса лишний грош за лук содрать. Торговка, а не баба... И Иудинская... С «крупой» тоже зенками вертит... Ей все равно, что смола, что крупа!¹ А ежели ты баба флотская, так и будь флотской.

— Это ты, Дымнов, вовсе здрия виноватишь Арину. Она баба ласковая! — заступился Егорка, несколько обиженный презрительным отзывом о молодой торговке, пленившей, в числе многих, и его.

Вдобавок две ситцевые рубахи, подаренные ею Егорке накануне ухода «Голубчика» в кругосветное плавание,

¹ В старину матросы звали солдат «крупой», а солдаты матросов «смолой». (Прим. автора.)

в значительной мере подогревали память о доброте и ласке Арины, напоминая вместе с тем добросовестному и благодарному матросу и об его клятвенном обещании исполнить ее просьбу — привезти ей из «далней» шелковый платок с «жар-птицей», какой привозил один матросик ее конкурентке по базару, «белобрыской Дуньке», и супирчик с Цайлон-острова.

— Мне что твою Аришку виноватить? Я ею не занимался... Начхать мне на таких баб! — высокомерно произнес красавец матрос. — Небось, и тебе две рубахи подарила, а заместо их: «Привези, мол, Егорка, на память гостинцев!» Не тебя одного, простоту, она этими рубахами облещала... Никакой настоящей приверженности в ей нет... Что Кузьма, что Архип... Только гостины бы ей возили... Корыстная душа... А ты и раскис: «Аришка да Аришка!..»

— Ты, небось, знал лучше Аришки!..

— Я-то? — хвастливо переспросил Дымнов.

— Ты-то.

— Перед той бабой, какую я знал, твоя Аришка, прямо сказать, ничего не стоит... Да такой бабы тебе никогда и не узнатъ...

— Это почему?

— А потому, что моя Нюшка форменная баба, и не по твоей она трусости...

— В каких это смыслах понять?

— А в таких, что из-за бабы ты и пятидесяти линьков побоишься принять, а не то, что в неделю по две сотни!

— Я и так до смерти боюсь линьков, а то еще из-за бабы!.. Вовсе и не стоит баба, чтобы из-за нее да пороли... И ты чудно что-то обсказываешь, Дымнов! — испуганно и недоверчиво проговорил Егорка, слишком тихий, спокойный и робкий человек, чтобы допустить даже в помыслах такую несообразную компликацию.

— То-то я и говорю, что тебе этого не понять! — не без снисходительного презрения кинул красивый брюнет.

— Довольно трудно понять... Небось, и ты сам этого не поймешь...

— По-ни-мал!.. Очень даже хорошо понимал... Из-за самой этой Нюшки меня страшали скроль строй го-

нять, а насчет порки нечего и говорить... Всыпывали довольно даже часто... Всего бывало!

— И ты не бросил этой самой бабы?

— Глупый ты, Егорка!.. Бросил?.. Я не только не бросил, а чем больше пороли меня из-за Нюшки, тем она мне любее становилась... Можешь ты это себе в понятие взять?.. То-то не можешь... Потому в тебе никакой отчаянности характера нет, и никогда ты настояще не был привержен к бабе...

И Дымнов хотел было отойти, находя, что и то, что он сказал, было достаточно, чтобы произвести на товарищей импонирующее впечатление, но Егорка, втайне во всем завидовавший Дымнову, хотя и очень расположенный к нему, проговорил:

— А ты, Дымнов, объясни про форменную бабу-то... Расскажи, как это все вышло у вас и по какой-такой причине тебя за нее пороли.

— Напрасно тебе это и объяснять. Все равно не поймешь...

— Может, и пойму... А ты расскажи.

— Я и сам знал тоже одну такую же занозистую бабенку! — начал было другой матросик, доселе не проронивший слова.— В горничных у нашего экипажного служила... Ну и заноза, я вам скажу, братцы!..

— Та-ку-ю!? — перебил Дымнов, взглядывая не без презрительного изумления на человека, имеющего дерзость сравнивать кого-нибудь с «форменной бабой».— Такую! Дурак ты, Антонов, дурак и есть!.. Такую!?

— Да ты за что лаешься-то? — спросил поклонник занозистой горничной.

— А по той причине, что твоей этой самой занозе так же далеко до такой, как отсюда до берега! — ответил Дымнов и взмахнул рукой на океан, кативший свои большие волны, обозначавшиеся во мраке ночи седыми верхушками.

— Ты нешто ее знаешь?

— И знать не желаю.

— Так как же ты можешь об ей полагать?

— То-то могу.

— Это еще почему?

— А потому, что такой, как Нюшка, нет и быть не может другой. Понял?

В убежденном и властном тоне Дымнова звучала такая восторженность, что оба матроса невольно притихли, словно бы внезапно понявшие действительное превосходство той женщины, о которой так горячо говорит матрос, несмотря на то, что из-за нее его пороли.

— Так расскажи нам про свою Нюшку! — снова попросил Егорка.

— Расскажи, Дымнов, уважь... Должно быть, очень облестительная баба. И прозвище у неё чудное: Нюшка!

Вероятно, не столько эти просьбы, сколько потребность поговорить о женщине, вызывавшей сильное чувство, с молодыми ребятами, которые не осмелятся отнестись с насмешкой к сердечным признаниям, заставила матроса согласиться.

— Уж так и быть, расскажу вам про Нюшку, чтобы вы могли хоть слышать, какие на свете бывают форменные бабы! — проговорил Дымнов уже не прежним резким тоном, а мягким и значительным, словно бы заранее стараясь расположить слушателей к героине своего романа.

И, присевши к борту, Дымнов покрутил усы и начал:

II

— Это я прозвал ее, братцы, Нюшкой, а звали ее все Анной Гавриловной, потому как она во всем своем параде, при серьгах, с браслеткой и в кольцах жила вроде быдто экономки у капитана первого ранга Ухватова. Он моим экипажным был и командовал кораблем «Нетронью»¹. Небось, слышали?

— Его еще бабьим боровом звали! — заметил Егорка.

— Он самый и есть. Лысый, чижелый, брюхастый, прямо сказать, боров, а туда же: на любовь льстился. Не понимал, что это ему не к рылу, и по своей дурости полагал, что можно через деньги настоящую приверженность получить. Очень обожал экономку. Ничего для нее не жалел. Рядил, как паву.

— А из каких она была? — спросил Егорка.

— Писаря Авакумова жена. Тот на деньги польстился: сказывали, две тыщи за нее взял и от правов отказался. Ну, и Нюшка из антиреса в экономки пошла...

¹ «Не тронь меня». (Прим. автора.)

Думала сперва, что очень это лестно вроде барыни быть да своего лысого черта вроде как турецкого султана ублажать... И жила она у его таким манером год, ровно заключенная. Никуда Ухватов ее не пускал... Страсть ревнивый был... И обожал ее больше да больше... Все надеялся, что Нюшка не из-за денег с им будет хороводиться... Но только напрасно... Без экономки остался!

Матрос проговорил эту фразу с злорадным торжеством. На его красивом лице сияла победоносная улыбка.

— Отбил, значит, у экипажного? — сочувственно и в то же время изумленно спросил Егорка, проникаясь необыкновенным уважением к Дымнову.

• Он хорошо знал, что Дымнов был мастер облещивать баб, и что кронштадтские торговки, горничные, кухарки и матросские жены бывали неравнодушны к красавцу-матросу. И рады были, если он обращал на них внимание. Но отбить полюбовницу от самого экипажного — это представлялось Егорке чем-то особенно блестящим и смелым. И чем менее способен был он сам на такую «отчаянность», тем сильнее восхищался, втайне завидуя ей.

— А ты думал, струсил? Небось, из-за Нюшки я бы и черта не испугался, а не то что экипажного команда-ра. Сделай, братец, одолжение! А увидал я ее поздней осенью, как теперь помню, в октябре месяце. Назначили меня ординарцем к Ухватову на тринадцатое число. Ребята, кои раньше ординарцами ходили, предупреждали: — «Не пять, мол, глаз на экономку, ежели увидишь, и не отвечай ей, ежели что спросит, а то экипажный, коли заметит или узнает через старую куфарку, — это вроде ведьмы была приставлена, — изобьет тебя в лучшем виде за то и велит отшлифовать — придется за что-нибудь! Были, мол, такие дела». — «Ладно, — говорю. — Что мне плятить глаза на ухватовскую полюбовницу. Баб, что ли, мало про нашего брата!» Явился в восемь утра к ему на квартиру — он в офицерских хлигелях жил — и дежурю в передней. Этак в десятом часу вышел из кабинета. Евойный вестовой подал ему пальто — в экипаж идти. Посмотрел это Ухватов на меня пронзительно так и сказал: — «С места, такой-сякой, никуда не отлучаться, а не то... запорю. Понял?» — «Понял, вашескобродие». — «Хорошо понял?» — «Точно так, ва-

шескобродие!» И опять смотрит на меня, разглядывает, точно никогда не видал. И, вижу, глаза злые-презлые. Ушел и, уходя, опять на меня обернулся и опять сердито посмотрел. Понял, видно, боров, что я не лыком шит, а матрос молодой. Опасался, значит, как бы экономка не обмолвилась со скуки словом с ординарцем. Хорошо. Сижу это я себе на рундуке в прихожей, и курить до смерти хочется, а курить боюсь — как бы запаху матросской цигарки не оказалось. Тихо кругом. Вестовой комнаты убрал и ушел себе на кухню, а я томлюсь, можно сказать, из-за того, что покурить нельзя. Наконец не смог терпеть. Вышел на парадную лестницу и наскоро выкурил цигарку, и будто полегчало... Вернулся, сел на место, как скрипнули из комнаты двери, и вошла Нюшка. Вошла, братцы вы мои, и как взглянула, ровно бы меня ганшпугом¹ по голове съездили... Вовсе в расстройку пришел. Встал это я и на неё гляжу, а самого в краску бросило. И даже чудно показалось. Знал я довольно много баб и ни одну не боялся, а эта словно бы ошарашила.

— Больно хороша была, что ли? — нетерпеливо спросил Егорка.

— Прямо-таки... пронзительная! — восторженно ответил Дымнов. — Другому, может, она и не хороша была, а для меня во всем свете лучше не было... Так от ее взгляда словно меня кипятком обдало. И в тот же секунд почуял я, что тут мне крышка из-за этой самой экономки. А из себя она была, братцы, чернявая и теплом не товаристая, а так, в плепорцию... и на ходу легкая-прелегкая, словно кошечка. И моложавая, хоть ей около тридцати было. Однако этих годов не оказывало. Глядит это она на меня. А глаза у Нюшки — как уголье, черные-пречерные... и приманчивые... Видит эту мою расстройку и смеется глазами... Играет ими, значит... «Здравствуйте, — говорит. — Вас как звать, матросик?» Пришел я немного в себя и даже в досаду вошел, что я перед экономкой оказал себя таким, можно сказать, желторотым галчонком, и довольно даже грубо ответил, что зовут меня Лександром. — «А по батюшке как?» — «Лександра, говорю, Иваныч». — «Так это вы, Лександра Иваныч, такой опасный мужчина есть, как

¹ Гандшпуг — деревянный рычаг, употребляемый на судах.
(Прим. автора.)

я слышала!?) — «Я самый, говорю, если вам вгодно знать!» — Смеется. — «Вы, говорит, видно, курить ходили. Так вы не ходите. Я вам сейчас хороших папиросов принесу. Здесь покурите». — «Свои, мол, цигарки люблю. Чужими не занимаюсь». Присела на рундук такая, я вам скажу, форсисто одетая. Золотая бруслетка и кольца на белых руках... И от нее запах хороший идет. Сидит этто, посмеивается, а сама прислушивается, как бы кто не вошел, ровно куличок на болотце. Просидела этак с пять минут, поднялась и говорит: — «Однако прощайте, Лександра Иваныч. Очень, говорит, рада была бы подольше с вами поговорить, но только за вас боюсь. Достанется вам, ежели Петр Ильич узнает, что я с вами разговариваю... Он у меня, говорит, ревнивый, вроде паши турецкой. Небось, слышали?» Сказала и руку подала... А рука у нее белая и ровно пух мягкая... И так она меня в задор взяла, что я за руку ее держу и говорю: — «За меня не опасайтесь, Анна Гавриловна... Посидите, ежели сами не боитесь, а я не боюсь. Пусть достанется!» — «Это вы только так говорите!» — «А вы, говорю, испытайте, вру я или нет. Посидите». — «Отчаянный вы однако. Я таких люблю!» И снова присела... И стала она говорить про скуку жизни своей, как вдруг вскочила и в комнаты... А вскорости куфарка у дверей. — «Не видал ли, матросик, Анны Гавриловны?» — «Не видал», — говорю. Ушла ведьма... А Нюшка из кабинета выглядывает и белые зубки скалит. — «Жалко мне вас, Лександра Иваныч. Попадет вам из-за меня». — «С большим, говорю, удовольствием из-за вас все приму!» — «Посмотрю, говорит, верно ли вы говорите, а пока что до свидания... Очень рада знакомству. С вами весело». — «И с вами, говорю, весело». — «Как бы не стало горько... Вы больше и не захотите меня видеть... я очень даже уверена... Петр Ильич жестоко вас накажет!» — «Как бы ни наказал, а видеть вас, Анна Гавриловна, для меня один, можно сказать, восторг! Может, когда и выйдете на улицу, а я вас сторожить буду». Назвала грубьяном, а глазами облещивает, привораживает быдто. И как скрылась, словно темно вокруг стало. Вовсе сразу меня обанкрutiла... Ушел и я в казармы обедать и, как вернулся, Ухватов уже дома и целый день никуда не выходил. Однако после обеда, когда он отдыхал, Нюшка показалась на минутку. — «Так очень

хотите меня видеть?» — спросила она. — «Очень», — говорю. — «Так я послезавтра утром в десять часов со двора пойду. Может, и увидите!» С тем и скрылась. А в восемь часов ушел я с ординарцев сам не свой, будто потерянный из-за этой самой Нюшки... Ну, на следующее утро была разделка. Экипажный зашел в нашу роту, велел ученье сделать, придрался ко мне и приказал дать пятьдесят розог. Это была, братцы, первая всыпка за Нюшку!.. Однако и покурить пора!

С этими словами Дымнов встал и ушел на бак.

— Отчаянный этот Дымнов! — проговорил Егорка.

— И Нюшка эта отчаянная! — вымолвил Антонов. — Я бы с такой бабой не связался! — прибавил он.

— То-то я и говорю... Не стоит баба того, чтобы из-за нее на рожон лезть...

— Облестила, значит, с первого раза... Ну и правду сказать: форменный мужчина, лестный бабам... Красив, шельма... Недаром в Бресте французинка за им на клипер приезжала... Втюрилась...

Через несколько минут пришел Дымнов, уселся и продолжал:

III

— Отпросился я у фельдфебеля и в десять был у офицерских флигелей... Вскорости вышла Нюшка... Я за ней в отдаленности иду. Завернула она в проулок... пошла тише... Я к ней. Поздоровались. Смеется. — «А вы и вправду отчаянный... Не боитесь. И наказывали вас, а вы пришли... Ну, теперь лучше уходите, а то, сохрани бог, узнает Ухватов, накажут вас больше». И опять меня этими словами только в задор привела. А я не только не ушел, а следом за ней с полчаса времени шел... Нюшка обернется, видит — я тут, и смеется, а мне и весело... Только у самых хлигелей наткнулся я на экипажного. Остановил. В зубы. — «Ты, говорит, зачем не в казармах?» И не дал ничего обсказать. Тую же минуту велел идти домой, а через полчаса меня уж разложили... Была здоровая всыпка... Так, братцы мои, лупцевал он меня раза по два в неделю. А раз даже страшал, что сквозь строй прогонит. Учуял, что Нюшка мною занимается. А я терплю... И все думаю, как бы мне только увидать Нюшку.

— И видал?

— А то как же. Всячески услеживал. На черной лестнице сторожил. Мимо окон ходил. Пропаду, думаю, а Нюшку покорю... Так прошел месяц, прошел другой... И, видючи, сколько из-за нее я принял мученьев, поняла она мою приверженность и велела приходить к ей вечером, на святки. Борова, мол, дома не будет, и вестовой со двора уйдет, а кухарка будет спать. И я, говорит, тебе сама двери парадные открою. Постучи. Только помни, говорит, ежели Ухватов признает, он тебе не простит. Ежели, говорит, не побоишься, значит, любишь, и я тебя, отчаянного, любить стану. Это она испытывала, значит. А я в радости и слов не найду... Однако на черной лестнице облапил ее да в губы... Жди, мол, буду. Ну и на другой день вечером: «тук-тук!» Отворила... И ласковая такая... Ушел я от нее, ног под собой не слышу, а на другую ночь опять к ей... стучусь... Впустила... Боров спал... Увела меня в свою боковушку... Ласкает. Путались мы таким манером недели две, и без Нюшки мне ровно не жить... Но только обидно, что она все при борове. Так обидно, что в тоску вошел и говорю ей: — «Брось своего подлеца, а не то я вас обоих прикончу». — «Будто? — смеется и еще дразнит: — А вот, говорит, ты уйдешь, я к борову пойду, его приласкаю. Он тоже любит меня!» Ну, тут я осатанел и избил Нюшку... — Не шути, мол, так. Избил, а потом жалко стало. Прощения прошу, а она зубы скалит. «Никого, говорит, не любила так, как тебя. И докажу!» — говорит... И доказала, потому что форменная баба была... После праздников прибежала в казармы. «Пойдем, — говорит, — я на вольной квартире живу. Ушла я от борова. Не могу больше его выносить. Стану, говорит, по швейной части заниматься...» И вечером обсказала мне, как Ухватов капиталом ее соблазнял, как в ногах валялся: «Не уходи, мол, Аннушка. Люби меня!» А Нюшка все отвергла... Вот, братцы, какая она была... Небось, такой другой нет! Верно ли я говорю?

— На редкость баба! — проговорил Егорка.

— Привязчивая! — вымолвил Антонов.

— А экипажный после того что с тобой сделал? — спросил Егорка.

— А под Новый год приказал отодрать меня до беспоиния за отлучку из казармы. Вот что он сделал. Не-

делю после в госпитале отлеживался. Нюшка приходила... жалела... И пропасть бы мне, братцы, вовсе из-за Ухватова, да бог спас. В самый Новый год произвели его в адмиралы и послали в Средиземное море начальника эскадры сменять. Вскорости он и уехал... И отышка мне вышла... И стал я, братцы, самым счастливым человеком... Во всей любовной покорности была Нюшка... Так год мы с ней прожили... И был я ей самый верный человек...

Дымнов примолк и задумался

— Как же ты ушел от нее в дальнюю?

— Из-за нее и ушел. Сам просился...

— Почему?

— А так... расстройка между нами вышла! — нехотя ответил Дымнов, не имея доблести признаться, что Нюшка через год бросила его, влюбившись в одного мичмана.

Он вспомнил это и, несмотря на то, что обида еще жила в его сердце, с восторженной задумчивостью проговорил:

— Да, братцы, форменная была баба!

ТОВАРИЩИ

I

В этот жаркий ноябрьский день на «Кречете», стоявшем на рейде Гонконга, было особенное возбуждение.

Ждали прихода в Гонконг нового начальника эскадры, контр-адмирала Северцова.

Матросы, взволнованные и серьезные, таинственно шушукались на баке, разбившись кучками.

Переходя от одной к другой, пожилой и степенный фор-марсовой Аким Васьков уверенным и ободряющим голосом, пониженным до шепота, говорил:

— Он, братцы, произведет разборку! Он дознается! Только не трусь, ребята! Поддержи по совести, как я всю правду обскажу: «Так, мол, и так, ваше превосходительство!»

Только что окончена была генеральная чистка и «приборка». Клипер «Кречет» так и сверкал на солнце блеском меди орудий, поручней, люков и компаса. Трубы была белоснежна. Борты заново выкрашены. Рангоутправлен на славу. Палуба безукоризненна. О том, что на смотре не подгадят работами, нечего и говорить.

А между тем капитан, старший офицер, ревизор, старший механик и два вахтенные начальника, видимо, были встревожены. Испуганно притихшие, они сегодня не били матросов и не ругались с обычною виртуозностью.

Адмирал шел на корвете «Проворном», вызванном телеграммой в Сингапур неделю тому назад. Только из этой телеграммы на «Кречете» узнали о новом начальнике эскадры и его неожиданно скором приезде из России.

«Нового» не знали.

Никто раньше с ним не служил. После службы в черноморском флоте и оставления Севастополя Северцов несколько лет был морским агентом за границей и тридцати семи лет, только что произведенный в контр-адмиралы, был назначен начальником эскадры.

Быстро делавший карьеру, обогнавший многих старших по службе, Северцов, по кронштадтским слухам, был хладнокровный, сдержаный, молчаливый и строгий человек, особенно преследующий злоупотребления, и хороший моряк. Передавали, что он не «разносит» офицеров, но придилично требователен и служить с ним не легкo. Говорили, что он имеет состояние и потому относительно независим и служит из честолюбия. В последнее время на эскадру дошли слухи, будто бы Северцов подавал высшему морскому начальству докладную записку о необходимости реформ во флоте.

Знал Северцова только капитан «Кречета» Пересветов. Они были товарищи. Но Пересветов знал товарища только в корпусе. После выхода в офицеры служба их разлучила, и они не встречались.

Пересветов хоть и помнил, что Северцов в корпусе был хорошим товарищем, тем не менее очень волновался приездом товарища-адмирала, слухи о котором были не особенно утешительны для капитана, который более чем фамильярно относился к счетам по поставкам угля и провизии. Положим, он пользовался скидками на счетах единственно потому, что был образцовый муж и отец и желал кое-что припасти для семьи; сам он отличался скромностью своих потребностей и был расчетлив до скупости,— но все-таки едва ли будут приятны объяснения с товарищем-адмиралом, если бы обнаружились как-нибудь его семейные заботы.

«Уж слишком высоки были цены по счетам»,— думал теперь Егор Егорович, почесывая свою лысину, и о чем-то конфиденциально шептался с ревизором, лейтенантом Нерпиным.

— Не беспокойтесь, Егор Егорыч... Все по форме... Не к чему придраться. Консулы удостоверяли цены. Чем же мы виноваты, если цены высоки! — успокаивал капитана молодой лейтенант, прокучивавший в портах шальные деньги.— И, наконец, откуда может узнать начальник эскадры? Разве мы, Егор Егорыч, делаем злоупот-

ребления? Мы пользуемся не от казны, а от поставщиков... И многие капитаны и ревизоры так делают... Точно уже оно такой секрет... Никто за такие безгрешные доходы не попадал под суд, Егор Егорыч. Может, и новый адмирал, когда был капитаном, знал, где раки зимуют. Он богач,— ему не нужны деньги, а ревизору у него, вероятно, были нужны, Егор Егорыч!

И лейтенант так добродушно рассмеялся, и в его веселых серых глазах сверкала такая беззаботная уверенность, что капитан несколько успокаивался, и в его голове проносились мысли: «Все-таки Северцов — товарищ и не станет придираться».

— А вы, Александр Иваныч, впредь будьте осторожнее.

— Есть, Егор Егорыч!

Но не одни только счеты пугали трусливого капитана. Тревожило его и «несколько строгое» обращение с матросами, как деликатно называл Пересветов нещадную порку людей, и, главное, это недавнее наказание матроса Никифорова, которого пришлось отправить на берег в госпиталь после трехсот линьков.

Капитан очень дорожил старшим офицером, который был настоящим помощником и действительно «собакой» и который так вышколил команду, что «Кречет» был образцовым судном и работали на нем превосходно; но теперь капитан вдруг стал находить, что Леонтий Петрович чересчур увлекается... Вот этот случай с «подлецом» Никифоровым... Что, если адмирал узнает? Может выйти целая история...

И капитан, толстый, с изрядным брюшком, небольшого роста, лысый и «мордастый», с маленькими бегающими глазками, с большими усами полного, рыхлого и бритого, несколько бабьего лица, еще более струсили при мысли о приходе этого молчаливого товарища-адмирала («Черт знает, каким он стал теперь!») и о матросе Никифорове, который так некстати опасно заболел после недавней порки.

Ввиду неизвестности, что будет, капитан, казалось, еще более затосковал о жене и своих трех детях. По крайней мере он несколько раз взглядал на фотографии, висевшие в его каюте, вздыхал, торопливо крестился и снова ходил мелкими неспокойными шагами по клеенке.

— Леонтия Петровича позови! — крикнул он вестовому.

— Что прикажете, Егор Егорыч? — с почтительною официальностью, довольно сухо спросил старший офицер.

Он был еще более хмур, желт и раздражен, чем обыкновенно, этот худощавый, высокий блондин с светло-русыми баками и усами, мученик службы и дисциплины, беспрекословный исполнитель и один из тех «собак» — старших офицеров, который, не зная отдыха, заботился о безукоризненном порядке и умопомрачающей чистоте «Кречета», вечно «собачился» и, самолюбивый службист, наводил страх на матросов беспощадною строгостью, чтобы судно было в порядке и чтобы капитан не мог быть недовольным лихими работами команды.

— Присядьте, Леонтий Петрович. Как Никифоров? Посылали сегодня в госпиталь справиться? — тревожно спросил капитан.

— Плохо-с, Егор Егорыч. Доктор ездил! — угрюмо ответил старший офицер, присаживаясь в кресло.

— Что с ним?

— Скоротечная чахотка.

— Быть может, прежде был болен?

— Что уж тут обманывать себя: просто заболел от наказания. Запороли, Егор Егорыч!

— Эх, Леонтий Петрович!.. Не похвалят нас, если адмирал узнает.

— Очень даже... Можно и под суд попасть! — с мрачною правдивостью промолвил старший офицер.

— И как это вы так наказали матроса, Леонтий Петрович? — проговорил капитан с видом сокрушения и досады.

Баклагин взглянул в глаза капитана, и во взгляде старшего офицера промелькнуло изумление и презрительное негодование.

И Леонтий Петрович сказал:

— Доктор говорил, что трехсот линьков нельзя, и я доложил вам, а вы приказали исполнить ваше распоряжение, наказать Никифорова.

— Я, кажется, не приказывал запороть человека, Леонтий Петрович!..

— Конечно, я виноват-с, что буквально исполнил приказание капитана... Я и не стану отпираться.

— Но, бог даст, вам не придется, Леонтий Петрович. Можно попросить доктора... Он доложит, что... что Никифоров заболел не от наказания... Скажите доктору...

— Уж говорите об этом доктору сами!..— негодующе вымолвил старший офицер.

— И, наконец, адмирал может и не узнать... Не правда ли, Леонтий Петрович?

— Узнает.

— Почему?

— Команда заявит претензию...

— Верно, скотина Васьков мутит?

— И он, да и все недовольны...

— Так как же вы довели до этого команду?

— Вы думаете, один я?.. Ведь пищей недовольны, Егор Егорыч... Я думаю, будут претензии на вас и на ревизора... По слухам, новый адмирал... справедливый человек... И песня моя спета! — неожиданно прибавил Баклагин с каким-то равнодушием отчаяния...

— Не отчайтайтесь, Леонтий Петрович... Северцов все-таки — мой товарищ... Я доложу, какой вы отличный старший офицер...

— Очень вам благодарен, Егор Егорыч. Не беспокойтесь... Я все-таки буду проситься в Россию и... выйду в отставку, не ожидая, что выгонят... за то, что я безусловный исполнитель... Больше я не нужен, Егор Егорыч?..

— Да что с вами, Леонтий Петрович?.. Я думал, вы меня успокоите, а вы...

— Валите теперь все на меня, Егор Егорыч?.. Быть может, ваш товарищ и удовлетворится вашими объяснениями о матросе Никифорове... Да, кажется, он скоро и помрет и не пожалуется...

С этими словами старший офицер ушел и, казалось, только теперь понял, что Пересветов не только плохой моряк и отчаянный казнокрад, но и трус, готовый ради спасения шкуры свалить свою ответственность на своего подчиненного, которого так лицемерно уверял в благодарных чувствах.

Баклагин, этот рыцарь исполнительности и строгости, не ожидал такого предательства от капитана, обязанного отвечать за все на вверенном ему судне.

И Никифоров, умирающий в Гонконге, и подлец капитан, чуть ли не отрекавшийся от своего беспощадного приказания, не выходили из головы старшего офицера. И он с угрюмой тоской думал о позоре суда.

Ведь он видел, что последние удары линьков ложились на синюю спину уже бесчувственного, притихшего человека. Он мог остановить истязание!

До такой исполнительности он еще не доходил в течение своей морской службы!

II

В пятом часу дня корвет «Проворный» под адмиральским флагом на крюйс-брам-стеньге вошел, попыхивая дымком, на гонконгский рейд и стал на якорь вблизи от «Кречета».

Капитан в полной парадной форме только что хотел идти на вельбот, чтобы ехать к адмиралу с рапортом, как сигнальщик доложил вахтенному офицеру, что адмирал отвалил от борта.

— К нам? — спросил капитан, возвращаясь от парадного трапа.

— К нам! — ответил молодой вахтенный офицер, взглянув на адмиральский вельбот.

Капитан рассчитывал поговорить наедине с адмиралом и «подготовить» его на всякий случай по-товарищески к строгости с командой старшего офицера. И, почти растерянный, он снова вернулся к трапу и приказал выстроить команду во фронт, вызвать караул и господ офицеров для встречи адмирала.

Через несколько минут, среди мертвой тишины, на палубу клипера вошел адмирал с новым флаг-офицером и приостановился, чтобы выслушать обычный рапорт вахтенного офицера.

— На клипере все благополучно! Воды в трюме — один дюйм. Больных нет.

Вслед за вахтенным офицером Пересветов с особенной служебной аффектацией подчиненного проговорил несколько взволнованным голосом, причем приложенные

к треуголке короткие, толстые пальцы слегка вздрагивали:

— Честь имею донести вашему превосходительству, что на вверенном мне клипере все обстоит благополучно.

— Здравствуй, Егор Егорыч. Давно не видались! — проговорил адмирал, пожимая руку капитана.

С этими словами он направился к офицерам, выстроенным на правой стороне шканцев.

Невысокий, худощавый, без импонирующего адмиральского вида завзятого моряка, а напротив, скромный и простой, не производивший впечатления строгого начальника своим серьезным, моложавым и довольно красивым лицом с темно-русыми бакенбардами и усами, он несколько застенчиво, краснея, подавал каждому офицеру свою маленькую руку в белой перчатке.

Не промолвив никому ни одного из тех любезных или внушительных слов, которыми считают нужным начальники при первой встрече «ободрить» подчиненных, Северцов пошел к выстроенной по обеим сторонам шкафута команде.

Без той молодцеватости в посадке и без зычности в голосе, какими обыкновенно приветствуют матросов адмиралы, — «новый» без всякой внушительности далеко не громко произнес обычные слова:

— Здорово, ребята!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — ответили матросы.

Но в этом ответе не было того громкого и веселого возгласа полутораста голосов, какой бывает обыкновенно на судах.

Адмирал заметил это. Заметил и напряженно-взволнованные лица людей.

По-прежнему молча спустился адмирал в палубу, молча и внимательно осматривал кубрик, шкиперскую и баталерную каюты, камбуз, заглядывал в некоторые офицерские каюты и только спросил врача, заглянув в пустой лазарет:

— И на берегу нет больных?

— Есть, ваше превосходительство. Матрос Никифоров в госпитале.

— Что с ним?

— Скоротечная чахотка.

— Опасен?

— Очень.

Адмирал пошел дальше, направляясь в машинное отделение.

От сердца капитана отлегло. Северцов, по-видимому, удовлетворился ответом.

И, сопровождая адмирала, Пересветов подумал: «Северцов не такой, как о нем слухи. Не будет придиরаться. И не к чему! Клипер — игрушка. И, если будет претензия, — он не поднимет истории. Все-таки товарищ, и крепко пожал руку, и не задается... Простой... И из-за чего ему так фартит!» — пробежала завистливая мысль.

Снова ни слова не говоря, адмирал осмотрел машинное отделение, залезал в коридор винтового вала, в трюм и, наконец, поднялся наверх и взошел на мостик.

Кажется, все в порядке, а он молчит, и неизвестно, доволен ли он, или нет.

Это молчание беспокоило и капитана, и старшего офицера, и механика, и ревизора.

Адмирал сделал несколько учений. Смотрел и перемену марселяй, и пожарную тревогу, и десант, и многое другое.

И ни слова.

Только во время артиллерийского учения подходил к офицерам, заведующим батареей, и интересовался:

— Как угол обстрела вашего орудия? Какова дальность полетов снаряда?

Моряки не умели ответить и конфузились. Никто об этом не спрашивал.

— Надо узнать! — тихо говорил адмирал, чтобы не слышно было замечания.

Адмирал, видимо, не понравился. Все только смотрит, такой серьезный и молчаливый и будто не радуется, что матросы отдают и крепят паруса с поразительной быстротой.

Раскрасневшийся и вспотевший капитан ждал, что хоть после учения, блестящего парусного учения, на котором матросы летали по вантам и разбегались, словно обезумевшие, молчаливый и серьезный Северцов заговорит и похвалит.

Но вместо того он тихо проговорил капитану:

— Напрасна такая быстрота.

Пересветов вытаращил изумленные глаза. Однако почтительно промолвил:

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

— Все эти... эти фокусы — дурная старая привычка. И для дела бесцельны. И люди рисуются упасть! — прибавил Северцов, словно бы желая пояснить свое замечание.

— Точно так, ваше превосходительство! Ваше приказание будет свято исполнено, ваше превосходительство! — угодливо поддакнул ошалевший капитан.

Северцов пристально взглянул на товарища и густо покраснел. Что-то брезгливое мелькнуло в серьезных серых глазах адмирала.

— Прикажи собрать команду и удались вместе со всеми офицерами.

— Есть!

И Пересветов перешел к старшему офицеру, бледному и мрачному, стоявшему у компаса.

— Людей во фронт!..

— Есть!

— Леонтий Петрович! — чуть слышно, упавшим голосом прибавил растерянный капитан.

— Что-с?

— Уговорите Васькова... Скажите: сделаем унтер-офицером, если не будет претензий...

— На такую подлость я не способен, Егор Егорыч! — зло прошептал старший офицер.

И словно бы обрадованно крикнул:

— Команда, во фронт!

Капитан и все офицеры спустились в каюты. Только вахтенный офицер, юный мичман Аркадьев, остался на мостице и, радостно взъявленный, посматривал на адмирала, остановившегося вместе с флаг-офицером посредине фронта.

«Узнает ли он наконец, что у нас творится?» — думал мичман.

Капитан стоял под приподнятым люком своей роскошной каюты, в которой еще недавно благодушествовал и чувствовал себя редким, заботливым мужем и отцом, когда подсчитывал, сколько «сбережения» привезет он домой. Уже тысячу двести фунтов отложил, и еще целый год впереди покупка угля и провизии. «Нельзя «дурaka строить», если семейный и предусмотритель-

ный человек, и многие не зевают на брасах», — не раз думал Пересветов, подписывая счеты и получая от ревизора свою львиную долю.

Теперь Егор Егорович напряженно прислушивался к тому, что покажут матросы («И какая свинья Баклагин!» — подумал капитан), прислушивался, и испуг перед серьезными неприятностями все более и более охватывал его сердце вместе с завистливою злобой к этому товарищу, желающему выскочить перед высшим начальством. «Тихоня, молчит, а выдумал что? «Напрасна быстрота». Где это слыхано?.. Он, слава богу, двадцать пять лет служит, и везде порют, чтобы матросы работали лётом, а Северцов — новые порядки. Скотина какая, а еще товарищ... Ни слова благодарности за порядок на клипере... Молчит... Того и гляди напакостит мне... Испортит карьеру...»

Мысль эта гвоздила Пересветова. Он малодушно трусил и старался возбудить себя надеждой на объяснение с Северцовым. «Он поймет, что у него семья... Он поверит, что не по вине командира Никифоров так наказан. И эти высокие цены... Он ни при чем... Ревизор делает покупки... Ведь товарищ же он... Не посмеет утопить товарища...»

И Пересветов торопливо крестился, умоляя господа бога, чтобы адмирал оказался порядочным товарищем и не поднимал бы истории из-за матросских претензий... Пусть уберут Баклагина, и на клипере не будет порки...

В каютах-компании царило подавленное молчание.

Старший офицер свирепо курил папиросу. Два лейтенанта, особенно расточительно наказывавшие матросов, вспомнили, что беззаконно наказывали даже унтер-офицеров. Сам ревизор, обыкновенно развязный и болтливый, притих, подумав, что еще не раздал матросам жалованья за прошлую треть. Был в меланхолии и старший механик Подосинников. Невесело глядел и доктор Моравский.

Только старый штурман и его помощник да несколько молодых мичманов без страха ожидали конца смотра нового адмирала.

— Никого не разнес... Редкий адмирал!.. — одобрительно промолвил один из мичманов, обращаясь к старшему штурману Василию Андреевичу, пожилому и ко-

ренастому плотному человеку с красноватым лобастым лицом, заросшим черными, едва пробритыми бакенбардами и густыми усами.

— Д-да. Кажется, серьезный человек. Не кипятится... Не болтает на ветер и не куражится: «Я, мол, молодой адмирал!» — ответил сам серьезный, основательный и добросовестный служака, «имеющий правила», как говорил Василий Андреевич про людей, которых считал порядочными.

И, помолчав, прибавил:

— Небось разберет основательно претензии. То-то капитан в тревоге. Еще какая выйдет история. Что обнаружится...

— Какая история? Что именно обнаружится?.. — резко и вызывающе спросил ревизор Нерпин, услышавши тихий разговор штурмана с мичманом.

— Многое-с! — сухо ответил Василий Андреевич.

— Например-с?

Штурман хотел было ответить, как с дивана вдруг мрачно и резко выпалил старший офицер:

— А хоть бы болезнь Никифорова, которого запороли... А гнилое масло у матросов?.. А... Да мало ли что... Или вы ничего не помните, Александр Иваныч?

Ревизор принужденно засмеялся. Мичманы изумленно взглянули на старшего офицера, который присутствовал при наказании Никифорова, и опустили глаза. Все молчали. Снова наступила в кают-компании тяжелая напряженность.

III

Среди мертвей тишины на палубе «Кречета» раздался негромкий, слегка басоватый голос адмирала:

— Есть ли какие-нибудь претензии, ребята?

И его серьезные глаза оглядывали особенно насупившиеся и встревоженные лица матросов...

Прошла секунда, другая, и из фронта вышел пожилой, побледневший матрос Аким Васьков и, остановившись перед адмиралом, проговорил:

— Имею претензию, ваше превосходительство!

— Как твоя фамилия?

— Васьков, ваше превосходительство.

— Говори...

— Мочи нет терпеть, ваше превосходительство. Всё нудно от дёрки и боя, ваше превосходительство... За всякий пустяк наказывают... Господин капитан и старший офицер, ровно с арестантами, обращаются и наказывают, можно сказать, без всякого закона... Недавно пороли матроса Никифорова, когда уж он в омертвении был... И, когда пришел в чувство, его отправили в госпиталь, и там он помирает, ваше превосходительство... И за третью левизор жалованья не выдает... Просил — так говорил: потом, мол... Шесть месяцев не выдают, ваше превосходительство. И, осмелюсь доложить, харч неправильный. Извольте обследовать мою претензию, ваше превосходительство.

— Я разберу... У кого еще претензия, ребята? — спросил адмирал.

Тогда сразу вышло несколько десятков матросов. Они заговорили сразу.

— По очереди! — промолвил адмирал.

Лицо его по-прежнему было серьезно и спокойно.

Все говорили почти одно и то же, что докладывал Васьков.

Жаловались на безмерную порку, если на секунду опаздывают марсовые крепить или отдавать паруса, и на «бой с повреждением»; жаловались на гнилое масло, на тухлую солонину, на порченые овощи...

Претензию заявило человек сорок.

Адмирал терпеливо выслушал жалобы, и когда последний жалобщик окончил, Северцов сказал:

— Все претензии будут рассмотрены, ребята.

— Покорно благодарим, ваше превосходительство! — гаркнули вдруг весело матросы как один.

— Защитите, ваше превосходительство! Прикажут за претензии отодрать до беспчувствия! — раздался вслед за окриком голос Васькова.

— Васьков, подойди!

Матрос вышел из фронта.

— Ты сейчас говорил?

— Точно так, ваше превосходительство!

— Почему ты предполагаешь, что тебя накажут?

— В прошлом году обсказывал на смотру такие же претензии начальнику эскадры, и как они изволили уехать, мне было дадено двести линьков, ваше превосходительство. В лазарет снесли опосля...

— За твои претензии не накажут. До свидания, ребята! — проговорил адмирал.

— Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — крикнули матросы...

До капитана дошли некоторые жалобы. Он слышал эти веселые окрики и, совершенно растерянный, вышел наверх. Адмирал попросил вахтенного офицера велеть подать адмиральскую гичку к борту.

Все офицеры были во фронте, и караул вызван для проводов начальника эскадры.

Он подошел к капитану и отвел его к корме.

— К сожалению, я слышал очень серьезные претензии! — совсем тихо и снова нисколько не меняя своего покойного тона, сказал адмирал.

— Я слышал, ваше превосходительство, как команда бунтовала, стараясь...

— Если претензии справедливы, — тогда твое счастье, что команда и не подумала бунтовать... Матрос Никифоров засечен?

— Старший офицер недоглядел, ваше превосходительство...

— А мне не сказали, что есть больной в госпитале...

— Он на берегу...

— Попрошу тебя не наказывать людей за подачу претензий... И ты поймешь, что я вынужден просить тебя и старшего офицера съехать сегодня же на берег и ожидать окончания дознания... Завтра дознание начнется...

— За что же, ваше превосходительство? — почти умолял капитан. — Обращаюсь к товарищу... Не губи меня... Позволь объясниться с тобой наедине...

— Я попрошу к себе на корвет, я выслушаю тебя... Приезжай после сдачи клипера. Об этом получишь приказ.

С этими словами Северцов повернулся к шканцам, сделал общий поклон офицерам, протянул руку капитану и отвалил от борта.

— На корвет! — проговорил адмирал, обращаясь к флаг-офицеру, севшему на руль.

Через полчаса адмирал в статском платье ехал на своем вельботе по направлению к городу.

— Верно, едет в госпиталь навестить Никифорова! — заметил мичман на вахте, обращаясь к своему то-

варищу, подошедшему полясничать о событии, о неожиданном отрешении от должностей капитана и старшего офицера.

— Если только застанет Никифорова в живых! — вдруг раздался из-под мостика необыкновенно суровый и в то же время тоскливый голос старшего офицера.

Капитан о чем-то шептался с ревизором в своей каюте, пока вестовой его укладывал чемоданы и сундуки. Сборы Баклагина не беспокоили его. Они — знал он — недолги.

К семи часам адмирал вернулся с берега. Вскоре на катере приехали с вещами старший офицер и первый лейтенант с флагманского корвета, чтобы в звании временных капитана и старшего офицера «Кречета» принять клипер. Они передали отрешенным адмиральский приказ по эскадре и передали словесную просьбу адмирала — пожаловать капитану после ответа на допросные пункты.

В десятом часу вечера, когда уже команда спала, сперва Пересветов, а потом Баклагин оставили клипер и уехали в Гонконг. Оба остановились в одном отеле.

IV

Следственная комиссия под председательством командира адмиральского корвета окончила дознание, и все дело было представлено Северцову.

Ранним утром сидел он над ним в своей роскошной адмиральской каюте и внимательно прочитывал вороха исписанной бумаги.

Адмирал наконец окончил последний лист.

Дознание вполне выяснило, что на «Кречете» никто не чувствовал себя человеком, до того жестоко было обращение с командой. Особенно была значительна объяснительная записка бывшего старшего офицера Баклагина. Она еще с большею беспощадностью раскрывала тяжелое положение матросов, чем показания самих жертв. В этих показаниях чувствовалась как бы недосказанность и смягченность, словно бы уже счастливые, что избавились от капитана и старшего офицера, они не хотели губить их и ежели и не прощали им, то, во всяком случае, готовы были щадить их.

Никифорова адмирал не застал в живых. Но Баклагин описал возмутительную картину наказания, а

матросы словно бы не хотели класть настоящие краски.

Особенно удивило Северцова данное комиссии показание Васькова.

Этот часто наказывавшийся матрос, на словах ненавистник капитана и старшего офицера, был удивительно сдержан в своих показаниях. Он даже скрыл, что после какого-то резкого ответа он получил триста линьков и пролежал месяц в лазарете. Скрыл он и то, что у него было надорвано ухо и вышиблено несколько зубов.

Обо всем этом с педантическою подробностью было указано в записке старшего офицера, а потерпевший словно бы щадил мучителя.

Кроме несомненных фактов жестокости, не вызывающей даже серьезными поводами, дознание обнаружило и самые наглые злоупотребления.

Оказывалось, что Пересветов, товарищ адмирала, был в стачке с ревизором и механиком по казнокрадству, а ревизор — уже один обкрадывал матросов.

«Я им покажу! — подумал адмирал, убежденный, что он покажет отменный пример силы закона, если страдаст под суд нескольких офицеров. — Пусть виноватый — не только товарищ, а хоть бы брат: не пощажу!» — решил молодой адмирал и сам восхитился своим нелицеприятием.

И тем не менее бесспорно жестокий старший офицер находил в его уме какое-то снисхождение...

— Николаев!

В каюту вошел белобрысый матрос, только что назначенный вестовым к адмиралу.

— Попроси сюда флаг-офицера!

— Есть!

Через минуту в каюту вошел Охотин, приехавший с новым адмиралом из России; Северцов взял его флаг-офицером по рекомендации одного приятеля.

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Попросить сигналом ревизора «Кречета».

Охотин направился из каюты, как Северцов окликнул:

— Владимир Сергеич!

— Есть, ваше превосходительство.

И, сразу «осадив» и красивой, легкой походкой приблизившись к адмиралу, пригожий и румяный, черново-

лосый с маленькими усиками флаг-офицер смотрел в глаза Северцова серьезно, внимательно и спокойно, стараясь во всем подражать своему начальнику. Даже и говорил тихо и сдержанно.

— Когда сделаете сигнал, поезжайте на берег на моей гичке и пригласите от моего имени Пересветова приехать сейчас.

— Есть! А если не застану дома? Прикажете оставить записку, ваше превосходительство?

— Непременно. И зайдите к Баклагину. Попросите его приехать ко мне после полудня.

— Слушаю-с. Больше никаких приказаний, ваше превосходительство? — осведомился Охотин, точно щеголяя и своим бесстрастным видом, и своею предусмотрительностью.

— Нет, Владимир Сергеич!

Северцов снова задумался и лениво отхлебывал чай.

И наконец спокойно, решительно, с довольным сознанием рыцаря служебного долга, не останавливавшегося ни перед чем, прошептал:

— Лес рубят — щепки летят!

Несомненно, что в щепках адмирал видел виноватых людей, по-видимому не испытывая к ним ни снисхождения, ни жалости.

И, когда его превосходительство решил в своем уме, как он искоренит безобразия на эскадре, если и на других судах увидит что-нибудь подобное, что увидел на «Кречете», и окончил пить чай, — в комнату вошел ревизор.

Бледный, далеко уж не с наглыми и смеющимися глазами, молодой и щеголеватый лейтенант Нерпин сделал несколько шагов и, поклонившись адмиралу, которого теперь ненавидел как виновника своего несчастия, проговорил упавшим голосом:

— Честь имею явиться, ваше превосходительство!

Адмирал слегка наклонил голову, но руки не протянул.

И Нерпин сделался еще бледней.

— Из показаний видно, что вы вместе с капитаном при посредстве консулов получали в свою пользу деньги, остававшиеся от разницы между фиктивной и действительной ценою... Вы отрицали это в своих показаниях... А между тем и капитан с механиком сознались... Кроме

того, матросы показали, что им выдавалась скверная провизия... Вы остаетесь при прежних показаниях? — спрашивал Северцов тихо и, казалось, нисколько не волнуясь.

— Нет. Все правда, ваше превосходительство.

— Что вас вынудило? Были какие-нибудь особенные причины?

— Никаких. Кутыл, ваше превосходительство! Да и многие ревизоры и капитаны пользуются доходами и за это не обвинялись... И я не считал, что делаю преступление. Я только пользовался процентными скидками!.. Казна ничего не теряет...

— Не теряет? А более дорогие цены? А дурная провизия матросам?

— Цены даются консулами. А провизия редко бывала дурной...

Адмирал поднял глаза на Нерпина. По-видимому, он действительно не сознавал всей гадости, которую делал.

И Северцов продолжал:

— Положим, вы не понимаете настоящего значения этих скидок... Но на вас есть обвинения более тяжелые... Многие показывают, что вы не выдавали следующих им денег...

Ревизор молчал.

— Ответьте. Ведь это не правда? Вы не обкрадывали матросов?

Краска разлилась в лице Нерпина. В нем был тупой страх пойманного животного и больше ничего.

— Я эти деньги раздам завтра же.

— А если бы я не узнал, то не раздали бы?!. Таким офицерам не место во флоте...

— Я подам в отставку, ваше превосходительство! Не губите, умоляю вас... Не позорьте... Ведь жизнь впереди. Верьте, я больше не поставлю себя в такое положение.

Он был жалок, этот умоляющий, готовый на всякие унижения человек, чтобы только избавиться от оглашения позора — невыдачи жалованья матросам... Это он считал позором... Но ведь он уплатит, немедленно уплатит...

Адмирал слушал и не чувствовал в сердце сожаления, а ум, напротив, говорил, что такой молодой человек

и такой бесчестный не имеет никакого права на прощенье.

И Северцов, не поднимая тона своего тихого и монотонного голоса, сказал:

— Оправдать или обвинить вас — дело суда, а я не смею по долгу службы замять виновного дела... Не смею. Прошу вас завтра же сдать должность, удовлетворив жалованьем матросов, списаться с клипера и ехать в Кронштадт. А я представлю управляющему министерством, чтобы всех привлеченных к делу предали суду...

— Ваше превосходительство!.. Разве, погубивши меня, вы... вы спасете что-то?.. Искорените привычку?.. Ну, если я вор, так и выйду в отставку... А другие?.. Они занимают видные места... Все знают, откуда дом, называемый угольным, у адмирала Бедряги... Ведь вы не погубите его... О, ваше превосходительство!.. Не отдавайте под суд! — с какой-то настойчивостью отчаянья и страха воскликнул Нерпин.

— Объясните все это суду... Он примет во внимание... А я не смею, лейтенант Нерпин... Поймите это... Можете идти...

— Понимаю, понимаю, ваше превосходительство... Понимаю, что это жестоко, ваше превосходительство!

И с этими словами ревизор выбежал из каюты.

Адмирал, казалось, тоже не мог понять, как этот офицер, без всякого самолюбия и не имевший чувства чести, но все-таки не дурак, не мог понять непоколебимой справедливости адмирала и унизительно молил о пощаде.

Точно он мог рассчитывать, что адмирал, уже заслуживший репутацию рыцаря без страха и упрека, будет делать поблажку бесчестным и вредным для флота людям...

И Пересветов, этот естественный вор и палач, тоже воображает, что адмирал, потому что он товарищ, должен миролить бесчестному. Кажется, мог бы не красть и не запарывать людей! Кажется, мог бы сообразить, что в России новые веяния.

Так просто, благородно и прямолинейно рассуждал Северцов и не без удовлетворенного чувства вспомнил свою безукоризненную службу, щепетильную честность и независимость, благодаря которой он не только не

затерялся в толпе, а сделал блестящую карьеру, и в тридцать восемь лет — адмирал, начальник эскадры, а его товарищи только капитаны второго ранга...

И адмирал присел к письменному столу, взял большой лист почтовой бумаги и так начал рапорт морскому министру:

«С глубоким сожалением имею честь донести вашему высокопревосходительству о позорном деле, дознание о коем при сем препровождаю...»

Не успел адмирал написать и страницы своим размашистым почерком, как в каюту вошел флаг-офицер и, осторожно приблизившись к столу, остановился, выжидая, когда занятый адмирал поднимет голову.

Через минуту Охотин доложил:

— Капитан второго ранга Пересветов приехал с берега, ваше превосходительство! А капитан-лейтенант Баклагин явится к вашему превосходительству в два часа.

— Просите Пересветова ко мне. И скажите на вахте, чтобы никто не входил ко мне.

— Есть!..

V

— Здравствуй, Егор Егорыч!.. Садись...

И Северцов пожал руку товарища и проговорил:

— Ты, как умный человек, поймешь, конечно, что я должен дать ход дознанию. Знаешь: дружба — дружбой, а служба — службой,— прибавил адмирал, хотя в корпусе никогда ни с кем не дружил.

Егор Егорович тяжко вздохнул, вытер вспотевшую лысину и, словно бы еще не теряя надежды на товарища, старался скрыть свой страх и даже попробовал улыбнуться, когда вздрагивающим голосом проговорил, подсапывая носом:

— Что же, ваше превосходительство, ты хочешь сделать с товарищем?

— Предложить ехать тебе в Россию, Егор Егорыч... А уж там... морское начальство решит: предать ли тебя суду, или нет...

— А ты... ты, Николай Николаич... что напишешь? — с мольбой в глазах спросил Пересветов.

— Правду, конечно, Егор Егорыч...

— А именно?

— Прошу суда...

— За что же?.. Ты, значит, поверил показаниям матросов?..

— Не одним их показаниям... Они еще были очень мягки. А показания Баклагина противоречат твоим... Жестокие наказания ты приписываешь только бывшему твоему старшему офицеру...

— Я показывал справедливо... Я никого не засекал... Я, по данному мне уставом праву, приказывал виновных наказывать линьками... Старший офицер увлекался... Это он смотрел, как наказывали Никифорова.

— Баклагин хоть имел мужество не щадить себя, а ты, Егор Егорыч, извини, ведь в своих ответах говорил неправду.

— Я не отрицал, что ревизор меня запутал, Николай Николаич!.. Что ж... я виноват... Но за это не отдают под суд... И, Николай Николаич... Ты богатый человек и не семейный... А я... Ты думаешь, я запутался в этих делах ради наживы для себя?.. Клянусь, из-за семейного положения... Николай Николаич!.. Ведь я — сам-пят!.. А содержание... Нехорошо, не спорю... Но один, что ли, я?.. Разве нет смягчающих обстоятельств... Что ж ты хочешь по миру пустить мою семью... Так ведь это... того... не по-товарищески... Отдашь под суд... меня выгонят... без пенсии... Ты говоришь: строгость на клипере... Так ведь везде на флоте строго... Прежний адмирал в приказах объявлял благодарность... И всегда я был на хорошем счету. И всегда порол... А теперь я вдруг — изверг... Хорошо... Ну, изверг... Ты приказал не наказывать строго... Не гнаться за быстротой... Ну, я исполню твои приказания... И с этими процентами со счетов, и уголь... Черт с ними... Ну уж если тебе надо показать твою строгость и ретивость молодого адмирала, так отпусти меня в Россию по болезни... А то и позор, и нищета... О господи! За что?

И Пересветов больше не мог говорить. Рыдания вырывались из его груди.

«И какой же ты подлец!» — думал адмирал, взглядавая на рыдающего Пересветова, и словно бы не догадывался, что и этот жестокий человек с матросами и казнокрад может быть любящим семьянином. Он забыл, что можно избавить флот от таких капитанов и без то-

го, чтобы сделать их несчастными и, главное, забыл, что не лица виноваты, а система.

Но адмирал хотел «показать пример» и проговорил:

— Мы разно смотрим на службу, Егор Егорович. Ты меня не убедишь. Флот наш должен обновиться...

— Из-за того, что я буду с семьей нищим? Я запорол, как ты говоришь, Никифорова...

— Да... И за это и за злоупотребления должен потерпеть кару...

— А ты не запорешь, а сделаешь несчастными многих людей... и скажу как бывшему товарищу: знаешь ли почему? Можно сказать?

— Говори, пожалуйста.

— Из-за своей карьеры... А ты разве не порол марсовых, когда был старшим офицером на «Андромахе» в Черном море?.. Тогда мода была такая... А теперь ты... Что ж, отдавайте под суд, ваше превосходительство! — с отчаяньем в голосе крикнул этот возбужденный страхом трус.

И, злобно бессильный, Пересветов взглянул на адмирала и вышел из каюты.

Адмирал густо покраснел и стал продолжать рапорт.

VI

Пересветов возвращался на берег в Гонконг, хотя и очень расстроенный, но все-таки по крайней мере он знал, что с ним хочет сделать адмирал. Известность положения не так волнует, как неизвестность. И, несмотря на объявление Северцова, что он будет просить высшее начальство о предании своего товарища суду, Пересветов не терял еще надежды, что в Петербурге не поднимут дела и не отадут под суд, а отнесутся «полегче».

И министр, и другие более или менее влиятельные старики адмиралы посмотрят на эти обвинения в жестокости и в злоупотреблениях проще, трезвее и спокойнее «подлеца» Северцова, который готов погубить товарища из-за честолюбивого желания отличиться беспощадной карой.

И когда Егор Егорович представлял себе многих адмиралов, с которыми был знаком не по службе только, а бывал у них в домах и играл с ними в преферанс, когда он вспомнил, что очень любил тестем, тоже старым

адмиралом, то Пересветов еще более надеялся, что его не погубят. Ведь многие из них, когда были капитанами, запарывали не одного только матроса и не были без кое-каких слабостей в хозяйстве экипажа: и пользовались даровыми рабочими — матросами, и делали экономии на обмундировании и довольствии нижних чинов. И, когда делались адмиралами, эти капитаны, наводившие прежде трепет на матросов, становились мягче и уж не пользовались — да и не могли — тем, чем пользовались раньше по обычаяу, о котором хотя и не говорилось громко, но который не считался чем-нибудь позорным. Вот распустить команду, не держать судна в порядке, долго крепить паруса, ничего не понимать в своем деле — это позор!

Так как же эти почтенные и уважаемые служаки-адмиралы покарают того, кто делал то же, что делали в свое время и они, и попался «в передрягу» только потому, что имел несчастие нарваться на бессердечную, скрытную «собаку» Северцова и что появились какие-то новые веяния — черт бы их побрал! — о которых, однако, не объявили приказом по флоту.

Такие размышления занимали Пересветова, когда он ехал по застилевшему рейду на адмиральской гичке. И после первой остроты отчаяния и страха за будущее его и его семьи он оправился настолько, что мог обсуждать свое положение.

И тогда-то Егор Егорович мог вспомнить и общность взглядов, правил и привычек большей части дружной морской семьи, воспитанной тем же корпусом, и брезгливость выносить сор из избы, брезгливость да и боязнь, как бы не вызвать неудовольствия высшей власти, и главное, — добродушную снисходительность к своему же моряку, если он попал «в неприятности» не по морской службе и не по серьезному нарушению дисциплины.

«Тогда суди и наказывай!» — мысленно произнес Пересветов.

И будущее теперь казалось ему не таким уже отчаянным, каким представлялось после беседы с адмиралом.

Если Егор Егорович и не возносился чрезмерными надеждами, то все-таки надеялся не на что-нибудь ужасное, а только на «пакости», хотя и большие.

Уж если и не замнут совсем дела о нем, чтобы не «опрохвостить» этого высокочку-адмирала, имеющего, по-видимому, высокого покровителя в высших морских сферах,— то дадут домашнюю головомойку министр и начальник штаба и будут держать на службе до выслуги полной пенсии и уволят, по прошению, в отставку с производством в контр-адмиралы.

Но чем более смягчалась кара в уме Пересветова при мысли о своей отличной службе, еще недавно засвидетельствованной предместником начальника эскадры, о родственных узах с адмиралом-тестем и о знакомстве со многими адмиралами, которые были не бессердечными, а хорошими и добрыми людьми и «не зевали при случае на брасах»,— тем несправедливее казалась эта кара и тем ненавистнее становился в его глазах Северцов.

Но особенно злился Пересветов на бывшего своего помощника Баклагина.

По мнению бывшего капитана, Баклагин именно благодаря его показаниям и нежеланию помочь своему капитану был главным виновником того, что вся эта история открылась и с подлым удовольствием раздута адмиралом Северцовым.

Нечего и говорить, что о запоротом Никифорове и о тысяче двухстах фунтах, лежавших в виде чека в кармане, Пересветов в эту минуту не вспомнил.

Зато Егор Егорович злился и, не понимая, чем, кроме подлости или несосветимой глупости, объяснить эти откровенные разоблачения «собаки», старшего офицера, спрашивал себя:

— Какая цель такой подлости? Кажется, я ему ничего дурного не сделал, и... такой подлец!

VII

Пересветов вернулся в отель, сбросил сукно, облачился в чесунчу и стал отпиваться содовой водой с brandy. После нестерпимо палящего зноя на улице— в прохладном, полутемном номере Пересветов несколько отышался, пересчитал изрядную сумму денег в золоте, написал жене длинное письмо о «подлости» товарища-адмирала и о скором приезде и вышел в контору отеля, чтобы сдать письмо и справиться о дне отхода первого парохода в Европу.

В это время в кабинете появился бывший ревизор, лейтенант Нерпин. Вещи его были внесены китайцем-боем гостиницы.

— Под суд еду, Егор Егорыч! Прямо в Россию и под суд, Егор Егорыч! — воскликнул, здороваясь с Пересветовым, молодой красивый лейтенант в щегольском статском платье.

И в лице и в голосе Нерпина была вызывающая, неспокойная наглость, и в преувеличенном смехе слышалась искусственность.

— Как же... И вас под суд — скажите пожалуйста! И всех нас, грабителей: вас, меня и Подосинникова, старшего механика... С ним и не говорил этот новый прохвост, а приказал передать — уезжать. Верно, и Баклагина отправит в Россию... Он, дурак, сам себя, говорят, описал извергом... Сегодня Баклагина зовет к себе Северцов... Верно, Баклагин еще порасскажет. Может, за откровенность грозный судья и не потребует примерного наказания... Всех, говорят, выдал в своем показании... Нечего сказать, по-товарищески, Егор Егорыч... Каков-с?!

Пересветов озлобленно промолвил:

— Да... Признаться, не ожидал такой... мерзости...

— А еще фыркал... Придирился ко мне... Ревизор, мол, худо кормит... Помните, из-за солонины чуть было скандала не сделал!.. Хорош товарищ... Вроде этого Иуды адмирала. И пожалуй, еще Иуда оставит Баклагина на эскадре... А ведь мы воры... ужасные воры... Он ведь так-таки и намекал мне об этом. Так и хотелось дать ему в морду... да удержался... Не захотел в матросы из-за мерзавца. И какой же скот его превосходительство... Реформатор... Неподкупный... Долг выше всего... Независимый!.. Имеет деньги, так и зудит, подлец. А как сам-то выскочил в адмиралы?.. Я слышал от ревизора на «Проворном».

— А что? — с замирающим любопытством спросил Пересветов.

— Из-за одной пожилой дамы, жены... (и Нерпин даже назвал фамилию какого-то сановника). И карьера оттого... Нелицеприятный! Независимый! — лгал Нерпин, перевиная слышанную им сплетню.

Пересветов теперь уж не останавливал лейтенанта, который хоть и в статском платье, а все-таки не смел

по долгу дисциплины так ругать начальника эскадры, и капитан прежде, разумеется, не позволил бы подчиненному таких речей.

Егору Егоровичу, напротив, было приятно слушать брань и сплетни на Северцова, да еще без свидетелей и в конторе иностранного отеля, в которой сидел англичанин-хозяин (конечно, «подлый» и «воображающий о себе»), разумеется, ни слова не понимавший и только недовольно пучивший и без того слегка выпяченные голубые глаза, словно бы находя, что для разговоров место не «*office*»¹, а «*parlour*»².

Но еще приятнее и успокоительнее было то, что ревизор, по-видимому, не был в отчаянии и, казалось, далеко не верил возможности быть под судом.

«Положим, Нерпин и легкомысленный человек, но неглупый и ловкий», — думал Егор Егорович и сказал бывшему ревизору:

— Едем, Александр Иванович, на одном пароходе...

— Обязательно с вами, Егор Егорыч... И старший механик вместе, Егор Егорыч...

— Обсудим, как показывать в Петербурге... А вы еще уверяли: не узнает! — не без упрека прибавил Пересветов.

— Да ведь вольно было вам, Егор Егорыч, признаваться... И Подосинников тоже... И какие доказательства? Книги и документы в полном порядке. И какие злоупотребления, если по совести разобрать? Ну, отдавай под суд! Я на суде скажу, что мы не воры... Да, не побоюсь многое сказать... Пусть мне докажут, что мы — воры оттого, что не отдали скидки со счетов поставщикам или консулам. Я объяснил этому упрямому подлецу!.. Он говорит: «Объясните суду». И объясню... Увидят! — не без горячности говорил Нерпин.

— А бог даст, до суда и не дойдет. Что мусор-то перекапывать!

— То-то и я иногда так думаю. А вы как думаете? Под носом у адмирала ревизор на «Проворном» не купит в Гонконге по шести фунтов за тонну угля? И разве скидку не спрячет? Так меня за что под суд!

Наконец Нерпин замолчал, и хозяин обратился к русским офицерам:

¹ контора (англ.).

² гостиная (англ.).

— Вам, кажется, я нужен?

Тогда Нерпин стал спрашивать о дне ухода парохода в Европу и о цене мест в первом классе.

Кстати, подошел Подосинников, и Нерпин взял три билета и сказал бывшему своему капитану:

— А вы, Егор Егорыч, одолжите своему ревизору двадцать пять фунтов... А то не хватит до России. В Кронштадте возвращу.

Пересветов поморщился и обещал дать деньги.

— Только в дороге... А то, пожалуй, просадите деньги в Гонконге, Александр Иваныч.

Все трое вышли, направляясь в свои комнаты.

Нерпин обещал сейчас же зайти к Егору Егоровичу и в подробности рассказать, как «точил» адмирал. «И все тихо так, спокойно. Этакий фарисей!»

VIII

В эту минуту в дверях своего номера показалось хмурое лицо Баклагина.

Все раскланялись с ним.

— Вы к адмиралу, Леонтий Петрович? — спросил Пересветов.

— К Искариоту? К этой скотине? — задал вопрос и ревизор.

— Потрудитесь вежливее говорить при мне о русском адмирале, — сухо, резко и повелительно произнес Баклагин. — Вы еще флотский офицер, — прибавил бывший «собака» старший офицер.

Нерпин скрылся в свой номер, а Пересветов проговорил:

— На пять минут, Леонтий Петрович!

— Что вам угодно, Егор Егорыч?

И он отворил двери и просил войти своего бывшего капитана.

— Пожалуйте!

И Баклагин указал на кресло.

Пересветов опустился на кресло. Присел и Баклагин.

— Леонтий Петрович! Что вы со мной сделали? — обиженным тоном спросил Егор Егорович.

— Что сделал с вами? — переспросил Баклагин серьезно.

— Вы подвели меня, Леонтий Петрович. И за что?
За что?

— Я не имею привычки подводить. Не понимаю.
Как я вас подвел?

— Да вашими показаниями, Леонтий Петрович.

— Вы тоже давали их?

— Конечно.

— Так при чем же мои. Я отвечал на вопросные
пункты по совести и по правде.

— А за вашу правду я иду под суд, Леонтий Пет-
рович.

— Значит, и я буду под судом. И за себя. Люби-
кататься, люби и саночки возить. И вы не за мою прав-
ду пойдете отвечать суду, а за что — вы сами знаете.
Я в показании говорил о своей жестокости, о том, как
я наказывал. О вас, конечно, не говорил. Это ваше дело
говорить за себя.

— Но вообще это не по-товарищески, Леонтий Пет-
рович.

— Что не по-товарищески?

— Да как же — эти ненужные подробности о нака-
заниях... И зачем?.. И ведь вы, Леонтий Петрович,
усердствовали... Могли бы и остановить меня, если бы
я требовал строгих наказаний, а вы все: «слушаю-с» да
«слушаю-с»... И теперь... я во всем виноват... И, наконец,
вы даже не хотели исполнить просьбы, чтобы не было
претензий, и сказать доктору... А у меня семья, Леон-
тий Петрович! — прибавил Пересветов.

— У меня другие правила-с. Таких просьб не счи-
тал возможным исполнить... Я не ожидал таких просьб
от капитана... А что я был жесток не менее вас — знаю...
И правду об этом написал в показаниях потому, что не
считаю нужным скрывать то, что делал. Надеюсь, мож-
но понять?

Но, по-видимому, Пересветов не понимал.

Пересветов поднялся с кресла.

Имея вид оскорбленного и обиженного человека, он
проговорил именно то, из-за чего и пришел к Баклаги-
ну перед его отправлением к адмиралу.

— Согласен... Не хотели покрыть меня, Леонтий Пет-
рович... У вас другие правила... Вижу, что вы во многом
меня обвиняете... И сознаю, что виноват в смерти Ники-
форова, и... ну, знаете, как нахально действовал ревизор,

и я... одним словом... Но, Леонтий Петрович!.. Вы знаете мое положение... Знаете адмирала и что мне грозит... И я прошу вас...

В голосе Пересветова звучала просительная, приниженная нотка. Лицо его имело выражение побитой собаки.

Баклагин отвел глаза и, вставая, нетерпеливо и удивленно спросил:

— В чем же дело?

— Вы едете к Северцову...

— Да. Потребовал...

— Так не говорите обо мне, Леонтий Петрович...

Не прибавляйте адмиралу его злобы к товарищу...

— Да что же вы смеете думать обо мне? — вдруг вскрикнул как ужаленный негодующий Баклагин.

И лицо его стало бледным...

— Вы... вы... верно, людей судите по себе?.. Так вы ошибаетесь! Я не скрываюсь за спиной другого...

Пересветов торопливо ушел, недоумевающий и испуганный бешеным окриком Баклагина.

С брезгливым чувством взглянул Баклагин на слегка сутуловатую фигуру бывшего своего капитана и через минуту вышел из отеля и поехал на пристань.

IX

У пристани дожидал Баклагина вельбот с «Проворного».

Леонтий Петрович вскочил в шлюпку, взялся за сучковые гордешки руля и сурово крикнул:

— Весла!

С первого же взгляда вельботных на хмурое и серьезно-строгое худощавое и осунувшееся лицо Баклагина, на длинной фигуре которого «вольное» платье сидело и мешковато и неуклюже, и с одного его отрывистого и повелительного окрика гребцы сразу почувствовали и поняли, что повезут «собаку» старшего офицера. И с первых же гребков навалились вовсю, словно бы хотели показать «собаке», как гребут матросы с «Проворного».

Вельбот быстро шел, разрезая, словно ножом, воду. Гребцы, раскрасневшиеся от гребли и от палящего солнца, гребли артистически, с небольшими и равномерными

паузами между гребками, во время которых все гребцы как один откидывались назад и поднимались.

И мрачное лицо Баклагина слегка прояснилось.

Прояснилось оно, и когда вельбот приближался к «Прорвоному» и к «Кречету».

В него и впились загоревшиеся глаза бывшего старшего офицера. И он словно бы выискивал чего-нибудь оскорбляющего его морской глаз, но не находил, и глаза светились любовным взглядом старшего офицера, который восхищался стройным своим клипером с его чуть-чуть наклоненными тремя высокими мачтами, с безукоризненно выправленным рангоутом и белоснежной каймой выровненных коек поверх борта...

И Баклагин отвел глаза, угрюмый и грустный при мысли, что клипер, за которым он так неусыпно додглядывал и заботился, который лелеял и любил, как близкое и дорогое существо,— теперь не его клипер... И все кончено... Служба, которую он любит, невозможна... И еще позор суда...

Да... Он был жесток...

И в смерти Никифорова, и в той почти молитвенной радости матросов, вызванной уходом капитана и его, он словно бы прозрел всю силу своей жестокости.

Баклагин не переставал думать о том, о чем до смерти Никифорова, в которой себя обвинял, и не думал.

Как он, Леонтий Петрович,— казалось, не злодей же,— сделался таким жестоким и самым неумолимым исполнителем, особенно когда сделался старшим офицером?

Он считал себя честным и правдивым человеком. Он был добродушен и ласков с вестовыми и с матросами на берегу, но на судне...

Конечно, без наказаний нельзя во флоте. Но ему теперь казалось, что можно было бы и легче... Он точно не видел, что жизнь на «Кречете» действительно была арестантской... И, кроме того, матросов обкрадывали. Он возмущался, но и только...

«И Пересветов ведь прав!» — с тоской думал Баклагин. Он, старший офицер, действительно усердствовал, во имя чего и перед кем? Мог бы и остановить тогда Пересветова, когда доктор говорил, что Никифоров не выдержит стольких линьков. Мог бы... Должен был... И капитан послушал бы своего старшего офице-

ра, как слушал всегда и во всем по морскому делу... Баклагин ведь знал, что когда засвежеет или придется штормовать, то трусивший и мало находчивый капитан всегда беспрекословно приказывал то, что под видом почтительных советов приказывал старший офицер.

А между тем...

И какая слепота! Он не догадывался, что ревизор делится... Он не думал, что Пересветов такой форменный подлец... Его же одного обвинял в жестокости и о чем же приходил просить... В какой гнусности подозревал его, не знающего подвохов и лакейства!..

Он служил со многими и всякими капитанами, но такого позорного человека, такой подлой душонки не видал, слава богу...

«Проворный» был в нескольких саженях.

Баклагин стал еще мрачнее. Ему было оскорбительно-неприятно встречаться с знакомыми на корвете...

«Что, Леонтий Петрович? Запороли человека и пожалуйте к адмиралу!» — казалось Баклагину, встретят его на «Проворном», на котором с командой не так обращались, как на «Кречете».

— Шабаш! — скомандовал Баклагин.

Он оставил на банке три доллара.

— Гребцам! — промолвил Баклагин загребному и поднялся на корвет.

X

Командир «Проворного», бывший на палубе, подошел к Баклагину, крепко пожал руку и деликатно, ни словом не упоминая о служебной серьезной неприятности, с приветливостью сказал:

— Ну как нашли корвет со шлюпки, Леонтий Петрович? Вы ведь дока... и я дорожу вашим мнением, вы знаете?

— В отличном порядке, Иван Иваныч... Красавец корвет... А я, извините... Адмирал потребовал... Адмирал...

— Да... да, ждет вас... Он, как я знаю, очень ценит в вас отличного морского офицера, Леонтий Петрович, и рыцаря правдивости! — прибавил капитан, который, как председатель следственной комиссии, знал об этом и счел долгом обратить на редкое показание Баклагина внимание адмирала.

Баклагин мысленно поблагодарил командира и попросил вахтенного офицера послать дождить адмиралу.

— Он приказал просить к нему, Леонтий Петрович, без доклада.

Баклагин вошел в адмиральскую каюту.

— Пожалуйте, Леонтий Петрович...

С этими словами Северцов привстал, протянул свою маленькую белую руку и указал на кресло у письменного стола, в глубине каюты, у открытого большого иллюминатора в корме, из которого точно в рамке виднелось море и бирюзовое небо.

— Прикажете папиросу, Леонтий Петрович? — предложил адмирал, пододвигая ящик.

— Очень благодарен, ваше превосходительство. Я привык к своим! — без всякой аффектации почтительности или благодарности, просто, видимо не пугаясь предстоящего объяснения, проговорил Баклагин тем покойным, слегка официальным тоном, каким говорил обыкновенно с начальством.

И достал из кармана объемистый портсигар, вынул толстую папироску и, вложив в янтарный мундштук, не спеша закурил.

Этот хмурый человек словно бы не знал, что может ему предстоять и в какой служебной зависимости находится от адмирала — до того Баклагин был непохож на испуганного или на представляющегося испуганным подчиненного. Северцов несколько удивленно посмотрел на Баклагина. И вместе с невольным уважением, которое вызывал Баклагин в Северцове, он словно бы рассеивал престиж молодого адмирала в его же глазах. И это сознание было неприятно Северцову. Он как будто терял с Баклагиным тон, которого надо было держаться справедливому, строгому и нелицеприятному адмиралу.

Баклагин невольно помешал внутреннему покойному довольству адмирала. И Северцов, при всей гордости своею независимостью, казалось, был бы более доволен, если бы Баклагин показал себя менее независимым и более чувствующим престиж адмиральской власти, безукоризненной справедливости и редкого повиновения голосу долга.

Его превосходительство несколько секунд помолчал и, слегка краснея от самолюбивого самоудовлетворе-

ния тем, что собирался сказать, с обычным своим серьезным спокойствием проговорил:

— Я считаю своим долгом прежде всего выразить вам благодарность за то мужество откровенности, с каким вы ответили на вопросные пункты. По крайней мере вы не побоялись серьезной ответственности и сознались во всем.

— Я говорю правду, ваше превосходительство, не в ожидании благодарности! — ответил Баклагин.

Северцов покраснел. Он понял, что Баклагин не только не обрадован благодарностью, а, напротив, отклоняет ее.

И, сбитый с позиции, он уже несколько нервнее проговорил:

— Из вашего показания видно, что наказания были жестоки. Вы знали, что закон, допуская телесные наказания, не имел в виду истязаний...

— Знал, ваше превосходительство.

— Но, быть может, вы исполняли приказания капитана?..

— Я и сам наказывал, ваше превосходительство.

— А кем наказан покойный Никифоров?

— По приказанию капитана, но в моем присутствии. И смерть матроса — моя вина... Я мог бы остановить наказание и доложить капитану, но я этого не сделал.

— Почему?

— Прошу разрешения не отвечать вашему превосходительству! — мрачно сказал Баклагин.

Он подумал: «И как смеешь ты залезать в мою душу!» И адмирал показался ему далеко не симпатичным.

И в ту же минуту Северцову Баклагин показался грубым и не понимающим такого справедливого адмирала, как он.

— Мне очень жаль, что в вас эскадра лишится хорошего морского офицера, но я все-таки обязан представить все дело высшему начальству и просить о предании всех прикосновенных суду.

Баклагин молчал. Ни проблеска желания просить о чем-нибудь адмирала.

И он уже с меньшим спокойствием прибавил:

— Впрочем, я буду просить министра, чтобы вас избавили от суда... Я ведь знаю, что вы были только

исполнитель в наказании Никифорова... И ваша прежняя служба...

— Прошу ваше превосходительство отдать меня под суд. К чему же нарушать справедливость ради меня, ваше превосходительство? Я виноват, и дело... суда покарать! — холодно и сухо ответил Баклагин.

Северцов покраснел и, едва сдерживаясь, несколько возвышая голос и раздражаясь, сказал:

— Это уж мне предоставлена власть. А вас покорнейше прошу отправиться в Россию и явиться к начальству. С богом!

Адмирал поклонился, но не подал руки Баклагину и, когда остался один, почувствовал себя словно облегченным и снова испытывал чувство удовлетворенности и сознания своего престижа.

Баклагин поставил на свой счет памятник матросу Никифорову и после этого вернулся в Россию.

Суда ни над кем не было. Все прикосновенные остались на службе. Только Баклагин сам подал в отставку.

КУДА УЙТИ?

I

Валерий Николаевич Привольев, крупный, свежий и видный курчавый блондин под сорок, с очень белым, отливавшим нежным румянцем и несколько рыхлым лицом, напоминающим недошедшее заливное, в этот зимний день обедал торопливо и без обычного плотоядного внимания к наваристому супу с фрикадельками, кровянистому ростбифу и трубочкам со взбитыми сливками.

Идеальный, еще влюбленный муж, любящий прелесть домашнего очага, Валерий Николаевич не рассказывал сегодня жене новостей и свежих сплетен, которые обыкновенно привозил со службы, мило пошутил с двумя птенцами, очень похожими на него, и не спорил со своим гостем Иваном Ивановичем Безбородовым, давнишним другом-ровесником, худощавым чиновником-скептиком и неисправимым спорщиком.

Привольев только любезно подавал реплики и помалчивал, пощипывая свою выхоленную шелковистую бороду и стараясь скрыть нетерпение поговорить с Иваном Ивановичем наедине.

Когда взрослые окончили пирожное, Валерий Николаевич с обычной своей мягкостью деликатного мужа попросил у хозяйки позволения встать.

Она поднялась, разрешив детям остаться и съесть еще по трубочке.

— Но не больше, фрейлейн, пожалуйста! — сказала бонне молодая женщина.

— О, ja! О, ja!¹ — ответила, вся краснея, немка из Эстляндии.

¹ О, да! О да! (нем.)

Вид этой девицы, самолюбиво-застенчивый и в то же время самодовольно-исполнительный, словно бы говорил об ее добросовестности и ревностной глупости.

И Привольева подавила вздох.

«Найди-ка бонну умнее за двенадцать рублей!» — подумала она.

Валерий Николаевич быстро поднялся, подошел к жене, горячо и крепко «по-влюбленному» поцеловал ее руку и проговорил, точно просил:

— А нельзя ли кофе нам послать в кабинет, Лика?

Лика, как звал муж Лицию Антоновну, стройная, хорошо сложенная и изящная, в ярко-пунцовом лифе и черной юбке, среднего роста брюнетка, разумеется, не имела ни малейшего повода уменьшать свои тридцать два года,— так она была привлекательна редким сочетанием красоты и ума.

Она не спросила мужа, какие тайны торопится он сообщить другу,— Лика к тому же и догадывалась.

И, ласково улыбаясь большими греющими глазами, она быстро, с нежной шутливостью, провела по щеке мужа ласковой, душистой и красивой рукой с несколькими блестевшими кольцами на мизинце и с обручальным кольцом на безымянном пальце и сказала:

— Сейчас подадут, Валерий...

И участливо спросила:

— Ты встревожен по службе?

— Не особенно, Лика...

— То-то... Не волнуйся... Право, милый, не стоит. Везде одно и то же... Всем порядочным людям трудно! — заботливо утешала жена мужа.

И, снова пригладив любящим и слегка покровительственным взглядом, прибавила:

— Ну, иди, иди в кабинет... Спорь с Иваном Иванычем... А я почитаю детям сказку...

— Милая! — сердечно шепнул Валерий Николаевич.

II

Привольев взял за талию друга и через залу провел в небольшой кабинет, убранный не без претензий.

Фотографии Лики, детей и нескольких писателей красовались на стенах. Большой письменный стол, мягкие кресла, шкаф с книгами и оттоманка, словом — все,

как следует у интеллигентного человека, получающего тысячу пять и подумывающего иногда и о «душе».

Валерий Николаевич запер двери и, внезапно возбуждаясь, проговорил:

— Нет... Ты послушай, Иван Иваныч, какую сделали пакость... Я, понимаешь, не хотел рассказывать при Лике. За что ее волновать заранее...

— Ну, конечно...

— Так ты выслушай, голубчик, и поймешь...

— Позволь, мой друг, только закурить твою сигару — твои лучше моих, ты ведь по десяти берешь — и сесть в кресло... Тогда присядь и говори.

Иван Иванович закурил, поглубже уселся в мягкое кресло и подумал, что лучше всего было бы вздремнуть четверть часа после обеда.

Но, считая одной из обязанностей друга быть складочным местом дружеских излияний, как бы ни были они однообразны и бесплодны, Иван Иванович самоотверженно готов был слушать то, что время от времени он уже добросовестно выслушивал в том же кресле, и не всхрапывал, чтобы не потерять единственного друга, которого, конечно, любил и у которого можно было пообещать и потом повинтить хоть до утра, если бы не строгая Лидия Антоновна, заботившаяся о здоровье этого откормленного и влюбленного Валерия Николаевича, — как сердито думал Иван Иванович, если приходилось уходить с проигрышем.

Не без снисходительно-ядовитой улыбки, обнаружившей скверные зубы человека некрасивого, совсем худого, желтого как лимон и лысого как колено, но зато не сомневавшегося, что он и умнее, и основательнее друга, и, главное, не под башмаком своей жены, — Иван Иванович проговорил своим скрипучим и назойливым голосом:

— Ну, рассказывай, Валерий Николаевич... Какая такая подлость тебя огорчила?..

И только было начал Привольев, как Иван Иванович перебил:

— Значит, опять нашла полоса возмущения?..

И хихикнул.

— Да ты не смейся... Ты слушай...

— Слушаю... Не кипятись... Побеседуем толком, дружище, а потом... винт устроишь?..

— Тебе только винт... Устрою, успокойся! Совсем ты, Иван Иваныч, опустился... Ты войди в мое положение...

Подали кофе, и Валерий Николаевич наконец стал рассказывать о той обыкновенной истории в правлении, где служил, которую он называл «подлостью».

Чем подробнее и картинее говорил он о лакействе и пролазничестве, о несправедливости и произволе, о взяточничестве и вымогательствах некоторых и завистливом попустительстве многих, о полной беспринципности людей, думающих только о наградах и деньгах,— тем Привольев возбуждался все более и более, и ему было приятно сознание, что все это он понимает и что все это его возмущает.

Недаром же он с молодых еще лет возмущался, и Лика знает и любит и уважает его за то, что он благородный человек, принимающий к сердцу все несправедливое и позорное... И сама она такая же благородная и сочувствуяющая...

— Ведь после этого нужно уходить из этой клоаки! — воскликнул Валерий Николаевич.

И в эту минуту возбуждения, подогретого своими же словами, Привольев, казалось, сейчас же ушел бы из своего учреждения.

— Ведь я сам подписываю то, что считаю ередным и в лучшем смысле бессмысленным... Я сам подписываю отчет, в котором раздуваются цифры, и многие верят, что наше дело, благодаря главному распорядителю, нашему коммерческому гению, стоит на идеальной высоте... А между тем еще сегодня...

Иван Иванович осторожно зевнул.

«Ведь порядочный и неглупый человек, а все-таки временам впадает в транс и дает представления!» — подумал Иван Иванович, уверенный, что все-таки никуда Валерий Николаевич не уйдет и даже испугается, если его «великолепная королева», Лидия Антоновна, хоть для испытания согласилась бы с его благородными намерениями бросить клоаку.— «Лидия Антоновна умная женщина и недаром же любит друга и держит его в узде. Ореол беспокойного общественного человека ему оставляет и милостиво разрешает приносить в дом каждое двадцатое число четыреста шестнадцать рублей

шестьдесят шесть копеек!» — подсчитал в уме Иван Иванович.

И когда Привольев объяснил, что сегодня он делал то же, что и вчера, но что надо же когда-нибудь кончить, то Иван Иванович не без ехидного намерения протянул и как будто бы сочувственно:

— А награду тебе большую назначили к Новому году?

— Разве мне дадут?

— Да ведь ты дельный служащий.

— Кажется...

— И обещали полторы тысячи?

— Обещали и надули...

— Сколько?

— Семьсот... Урезали, чтобы дать кому-то «племяннику», который и на службу не ходит... Порядки... Прямо со мною подло поступили...

— И очень... Нам, семейным людям, эти наградные деньги на затычки долгам...

— И к чему надувать?

— А ты рассчитывал?.. Ты еще, мой милый, пижонист...

— Ну, черт с их деньгами!.. А главное...

— Хочется бросить?

— Именно... И бросил бы...

— Что ж?.. Уж если тебе так опостылило, то уходи! — проговорил Иван Иванович, словно бы убежденный словами друга.

Но Валерий Николаевич покраснел и раздражительно сказал:

— Уйди!.. Тебе хорошо, вице-директору, говорить: уйди... А куда уйдешь?.. Точно ты не понимаешь моего положения?.. А ты так спокойно говоришь: уйди... Это просто свинство... С семьей я едва свожу концы с концами... И то еще благодаря Лике... Она во всем себе отказывает... Нарядов никаких... все переделывает, голубушка... Детям какого-то идиота за двенадцать рублей должны были нанять... Обивку надо бы в гостиной подновить и... не можем... Все безобразно дорого... И без того жмемся, а ты: уйди!.. Что ж, позволь тебе спросить, я должен Лике и детям в конуре поселить и получать где-нибудь сто рублей?.. И поищи еще их...

И Валерию Николаевичу представилось, что его любимая, милая и ненаглядная Лица, которая так греет и одна только дает смысл жизни, и голубчики птенцы, и он сам — в конуре. Она — этот ангел — безропотно терпит, дети больны, он за сто рублей целые дни корпит... Когда представилось, что придется есть впроголодь и Лику запрятать в кухне, и не болтать с Лицой в их уютной, теплой спальне,— Валерий Николаевич пришел в ужас.

И его небольшая квартира, и его родной очаг с Лицой,— этой верной подругой, заботливой женой и очаровательной женщиной, которую после семи лет он еще более любит и более влюблен в нее, чем прежде, и которая, казалось, тоже еще сильнее чувствует счастье близости и верного и влюбленного друга,— вся обстановка, все привычки, словом — все, все казалось ему таким необходимым, дорогим и близким, добытым после бродяжной жизни необеспеченных правильным заработком интеллигентных людей, что Валерию Николаевичу казалось бесцельной подлостью с его стороны лишить семью удобств...

И он снова обиженно воскликнул:

— А ты: уходи! Нечего сказать... совет!

— Так оставайся...

— К сожалению, должен... Понимаешь: должен! Ты, небось, не уходишь?

— Еще бы... И не думаю.

— И не думаешь!.. Или твой хомут такая прелесть?

— Такой же, как твой, дружище... И атмосфера такая же, как и твоя... И мне приходится фарисеевствовать, как и ты... И я, Валерий Николаич, такой же, как ты! Только не такой красивый здоровяк, как мой благородный друг, и... знаешь ли еще что? — с насмешкой прибавил Иван Иванович.

— Что?

— Меня называют ретроградом-чиновником, а тебя... либералом. Ты по временам любишь «поманиловствовать» о том, что было бы, если бы ничего не было, а я... помалчиваю, делаю, что велят — а ты знаешь, что иногда велят? — и получаю столько же, что и ты... Ну, а теперь... я тебе скажу, куда идти...

— Куда?

— К Лидии Антоновне!

— Зачем?

— Попроси ее разрешения послать за партнерами...

Винтить пора. Право, полезнее, чем сотрясать воздух.

III

Несколько сконфуженный вошел Валерий Николаевич в спальню.

Дети уж были уложены, и Лика сидела за книгой.

— Ну что, милый, доспорились?..

— Иван Иванович совсем закис, Лика, и только хихикает...

— А что?.. Да ты присядь, Валерий... О чём вы спорили?

— Да он не понимает, что можно возмущаться... Можешь себе представить, Лика?

И, присевши к Лике, Привольев поцеловал ее руку.

— Чего от него ждать... Сухой формалист и больше ничего!

— А говорит: уйди!

— Пусть он сам уйдет с своего места,— возмущенно сказала Лика.— Ты по крайней мере людям не вредишь, Валерий. Ты у меня ведь независимый... На сделки с совестью не пойдешь...

— Ну, положим, Лика!

— Что положим?.. Что ты хочешь сказать, Валя? — спросила Лика, сдерживая волнение.

— Я только что рассказывал Ивану Ивановичу, Лика...

— Напрасно считаешь его твоим другом. Хорош друг: «уйди». Что ж подало ему такой глупый совет?..

— Да ты не волнуйся, Лика... Не волнуйся, милая... Ну, ты ведь меня знаешь...

— Еще бы не знать своего хорошего?

— Ну, я говорил о неприятностях в правлении... Говорил, что бросил бы правление... Ну, конечно, если бы получил другое и лучшее место! — прибавил Валерий Николаевич, боясь огорчить свою Лику.

— Милый!.. Я знаю, как ты всех нас любишь и как мы тебя любим. Я первая сказала бы: уйди, если бы везде таким людям, как ты, не было подчас тяжело... Это вот только Ивану Ивановичу везде легко, а ты...



«ЛЕДЯНОЙ ШТОРМ»



«УТРО»

Так уж лучше оставаться там, где тебя знают и ценят все-таки тебя... Разве не так?

— Умница ты моя. Конечно, так!

— Они с тобою подлость сделали... большую подлость! — горячо и возмущенно говорила Лика. — Обманули с наградными. Я понимаю твое раздражение порядочного человека. Но бог с ними!.. Плюнь на них!.. Без этих денег ведь мы не пропадем!.. Живем же мы с тобою и не нуждаемся... Я счастлива... Ты ведь тоже, кажется, немножко любишь свою Лику?

Любит ли он?

И вместо слов Привольев обнял жену.

— Дети у нас прелестные. Все у нас, слава богу, мирно и хорошо! — радостно говорила Лика, улыбаясь. — Так не тревожься, мой милый... Не мучь себя на-красными и незаслуженными упреками... Помни, что хорошие люди в таких условиях, в каких мы живем, приносят большую пользу уже потому, что на их местах могли быть нехорошие люди... Разве ты не согласен?..

Еще бы не согласен! Ведь Лика говорит так умно и убедительно, что часто думает и он. Недаром же он возмущается и все-таки сам не делает ничего, что заставило бы его покраснеть.

И Валерий Николаевич уже совсем успокоился и, обрадованный, что Лика по-прежнему считает его если не героем, то во всяком случае честным общественным деятелем, принимающим участие в разных благотворительных обществах вместе с Ликой, горячо и восторженно сказал:

— Ты такая... такая прелестная, моя умница... И как я счастлив...

И через минуту весело проговорил:

— А на Ивана Иваныча ты не сердись, Лика... Он так посоветовал... Верно, думал, что у меня есть другое место... А потом, напротив, советовал не уходить, точно я в самом деле идиот и злодей перед тобою и детьми, что мог бы вас сделать нищими... Не сердись... Лика, на него... Он хоть и воображает, что очень умен, а... Но все-таки он в сущности добрый.

— Он и не стоит того, чтобы сердиться... Бог с ним!..

— И уж знаешь ли что?

— Что хочешь, милый?

— Я пошлю за двумя партнерами...

— И отлично... Но не заигрывайся, Валя. Тебе вредно.

— Конечно, в двенадцать окончим. А ты что будешь делать, Лика?

— Дома останусь... По крайней мере почитаю. А на неделе три сбивания... И мы везде должны быть...

В первом часу партнеры сели ужинать.

Хозяин с обычным вниманием отнесся к скромному ужину, умело и хорошо приготовленному и поданному благодаря заботам Лики, и, когда выпил несколько стаканов вина и раскраснелся, он поговорил о долге, об обязанностях общественных людей делать хоть маленькие дела, памятуя о больших, и не оставлять своих постов, хотя бы и встречались на них тернии.

Иван Иванович, выигравший десять рублей, не перебивал друга, не вставлял ехидных примечаний и не заводил спора. Он скромно помалчивал и усердно потягивал красное вино.

А Лика взглядывала на мужа блестящими ласковыми глазами и думала:

«И какой же он добрый и хороший человек, и как я его люблю!»

УТРО

(Из дальнего прошлого)

Посвящается
Александру Алексеевичу
Борисяку

I

Три дня океан бесновался.

Он ревел и вздымал свои громады, которые бешено набрасывались на маленький клипер «Красавец» и словно хотели его поглотить.

Но «Красавец» под штормовыми парусами и спущенными брам-стеньгами ловко ускользал между волнами. Он взлетал вместе с волной, с нею же падал и снова взлетал на новый вал, заливаемый седыми гребнями.

В эти тяжелые дни свирепого шторма не видно было ни солнца, ни неба под быстро несущимися клочковатыми черными облаками.

Мрачно кругом. Жутко было морякам на «Красавце». Не раз в этот шторм приходилось ждать смерти.

Наконец буря стала затихать и стихла.

И в это прелестное раннее утро океан застылел.

Он был так очарователен и ласков, светло-синий в своей гладкой мертвой зыби, так тихо, нежно и точно жалобно рокотал большими, но обессиленными и ленивыми волнами, так ласково лизал бока клипера, что, казалось, океан одумался и раскаивается перед моряками за то, что так напугал их смертью.

А на высоком бирюзовом небе ни облачка. Бездонное и таинственное, оно веет лаской и своею непонятною

загадочностью невольно манит к себе вдумчиво-вопрошающие взгляды.

А солнце, только что поднявшееся из-за горизонта, еще алеющего заревом, такое ослепительное, веселое и жгучее, заливающее блеском все вокруг, казалось, говорит соскучившимся по нем морякам: «Вот оно и я. Радуйтесь!»

II

Но это роскошное утро не радовало матросов «Красавца», который, раскачиваясь на зыби, шел под парами, попыхивая дымком из своей белой трубы, узлов по восьми.

На палубе, где шла обычная утренняя «убирка» и чистка, пронеслась весть, что пропала Дианка.

И эта весть смущила матросов и вызвала оживленные толки и предположения.

Встревоженный и испуганный, подходил к матросам приземистый и коренастый пожилой боцман Иванов и задабривающим голосом говорил:

— Братцы! Повинись, кто утопил капитанскую суку. Не сама же она бросилась в море. Дианка была башковатая шельма... Повинись — и шабаш! Отдерут, вот и всего... А не объявится убиец Дианки, командир всех вас вгонит в тоску... Небось знаете, как он был привержен к собаке... Команду обессудит... Вздумает, что против его взбунтовались и присогласились извести Дианку...

Матросы встревоженно соглашались, что дело «табак» и что боцман по совести говорит насчет тоски для команды. Только маленько «облещивает», будто «отдерут и всего». Из-за Дианки не меньше как шкуру снимут, как с сидоровой козы.

Но никто не винился. Никто не видел, кто выбросил Дианку. Еще ночью, под утро, рулевые видели, как она выбежала из каюты...

— Не доводи, виноватый, капитана до обезумия... Объявись! — горячо убеждал боцман.

Ни среди матросов, ни среди кочегаров, ни среди весловых не объявился убийца капитанской собаки.

Тогда боцман нахмурил черные, густые брови, заставил выдающиеся скулы своего приплюснутого лица, выпутил круглые, как у совы, большие глаза и, внезап-

но багровея и подрыгивая ногой, заговорил по-настоящему:

— Так слушай, бесстыжий собачий сын... Слушай, подлюга-раздрайка...

И боцман стал сыпать самые невероятные ругательства, на которые была только способна художественная выдумка вспылившего и негодующего боцмана. Он грозил, что подлеца, из-за которого капитан на всех «обидится», беспременно разыщут, и уж тогда...

— Тогда,— воскликнул боцман, придумывавший самые жестокие наказания,— тогда будет ему прописана плепорция в триста линьков!.. Отшлифуют до бесчувствия... Вгонят в чихотку... И никакой форменный матрос не пожалеет паршивую Иду, чтобы ей подавиться Дианкой!..

Боцман выдержал паузу и прибавил:

— Так лучше сей же секунд повинись!

И красноречивые предсказания боцмана, и советы трех старых «правильных» матросов: вспомнить совесть и не поступать против товарищней — не поощряли виновного сознаться.

Тогда негодующий боцман решил произвести свое предварительное и скорое дознание.

По общему мнению команды, он «дрался с рассудком и с опаской», и сильная его рука была «легкая». И действительно, боцман не очень серьезно ткнул в лицо нескольких ленивых матросов, имевших некоторое основание питать недобрые чувства к Дианке, и затем допросил слегка подозреваемых.

Не получив признания, боцман пошел допрашивать ненавистного ему продувного лодыря — Елисейку Зябликова.

Этот пригожий молодой матрос из кантонистов лениво оттирал суконкой медный кнект у борта на юте и, казалось, не обращая внимания на общую подавленность, беззаботно напевал себе под нос какую-то разухабистую песню.

Сильное и, казалось, основательное подозрение, которое внушал Зябликов, в боцмане еще более усилилось при виде этой беззаботности лодыря.

И боцман не сомневался в виновности Зябликова. Еще бы!

Недаром Зябликов не раз при всех грозился, что придушит Дианку, и боцман не раз видел, с какою жестокостью Зябликов при удобном случае бил капитанскую собаку.

В свою очередь и злопамятная Дианка ненавидела матроса.

Зябликов считался не только последним матросом на клипере, лодырем и трусом в море, но и ненадежным, лживым человеком, хвастуном, дерзким на язык, с которым лучше не связываться.

И матросы сторонились его и слегка побаивались.

Крупный и волосатый, с вздувшимися жилами, про смоленный кулак боцмана особенно сильно лег на красивое и несколько наглое лицо Зябликова.

Он довольно хладнокровно выдержал удар и, отступивши от боцмана, не без наглой и злорадной усмешки, искривившей его крупные губы, спросил:

— Ты это за что?

— Небось знаешь за что, подлец!

— Зря дерешься. Не я подарил Дианку акул-рыbam.

— Не ты? Кому ж другому, подлецу?

— То-то не я. А по правде скажу: очень даже рад, что нашелся другой матрос. Давно бы Дианку в воду... Недаром сучьего ведомства. Подлей и обманней была самой подлой бабы... Вроде быдто за боцмана бегала, подлая, в палубу и тишком цапала за ноги.

— За то Дианка и цапала тебя, что ты подлый матрос. Понимала тебя. Ты извел животную. Побереги лучше шкуру. Не барабанная. Винись, кантонищина.

— Считаешь себя умным, а зря грозишься. Давно утопил бы Дианку, если бы польстился на такое дело.

— И льстился. Обещал придушить собаку.

— Мало ли что скажешь от игры ума.

— Врешь! Ты утопил Дианку. Не губи людей. Признавайся. Не признаешься, так все равно по совести тебя отлепортую. Всем известно, какой ты арестант.

— А ты еще быдто праведный судья! Так докажи, что я утопил Дианку. Докажи, правильный боцман!

Боцман пришел в ярость.

Чувствуя неодолимую потребность возмущенного чувства сию же минуту истерзать это красивое и словно

издевавшееся лицо, он бросился к Зябликову с поднятым кулаком.

Но тот отскочил.

В ту же минуту боцман и матрос увидели старшего офицера, поднимавшегося на мостик.

Тогда Зябликов умышленно громко проговорил притворным обиженным тоном:

— За что безвинно дерешься, боцман! Не очень-то дозволено зверствовать. Старший офицер не похвалит!

— Ты... ты утопил Дианку. Ты, подлая тварь! — сдавленным уверенным голосом прохрипел боцман.

И, пригрозив кулаком, бросил на матроса взгляд, полный злобы и презрения, и пошел в прыжку на бак.

Зябликов снова стал оттирать киехт, но уже больше не напевал и взглядывал на небо и на океан встревоженными глазами.

Беззаботность с его лица вдруг исчезла.

III

После трех почти бессонных суток и после страшного душевного напряжения, пережитого трусливым человеком, который должен был скрывать от людей и опасность клипера и, главное, свой страх перед смертью, минутами, казалось, неминуемою, — старший офицер сегодня проспал. Он не поднялся, как обычно, с командой и не раздражался, упрекая себя.

Радостный, что он держал себя молодцом в бурю и капитан, кажется, доволен им, что опасность прошла и «Красавец» так хорошо выдержал страшный штурм, — старший офицер чувствовал себя счастливее и жизнерадостнее и, казалось, ощущал всем своим существом всю прелест роскошного утра, которой прежде не замечал.

Весь в белом, невысокого роста, с длинными расчесанными рыжеватыми бакенбардами, обрамляющими широкое и скуластое загорелое лицо, несколько осунувшееся после шторма, с маленькими глазами и мясистыми щеками, старший офицер стоял на краю мостика, вдыхая полною грудью чудный морской воздух, веющий свежестью океана. Он взглядывал и на небо, и на океан и, видимо довольный собой и природой, обратился к вахтенному офицеру:

— А ведь чудное утро, Виктор Андреич.

— Прелесть, Павел Никитич! — восторженно воскликнул совсем юный мичман.

— И океан какой... А ведь какую штормягу задал... я вам скажу!

О шторме, который наводил на старшего офицера трепет и заставлял уходить в каюту и там рыдать и молиться, чтобы снова скрывать на людях малодушный страх, старший офицер сказал несколько небрежным тоном и, самодовольно улыбнувшись, прибавил:

— Небось, Виктор Андреич, сердце ёкало?

— Совсем перетрусили... До стыда трусил, Павел Никитич! — ответил мичман и, считая себя бесконечно виноватым за то, что он такой трус, смутился и покраснел.

— Ничего... Попривыкнете, Виктор Андреич, — покровительственно сказал старший офицер. — И я в первый свой шторм, который испытал, когда был мичманом, вспоминал бога. Однако посмотреть «убирку»... И то проспал сегодня! — прибавил Павел Никитич.

И, словно бы считая неудобным быть при матросах необыкновенно радостным и счастливым, он спустился с мостика с серьезным и озабоченным лицом доки старшего офицера и пошел на свой обычный утренний осмотр клипера.

Когда Павел Никитич спустился, сопровождаемый боцманом, в палубу, боцман нашел, что время было доложить старшему офицеру о беде — и не при матросах, а без свидетелей, когда старший офицер, по мнению Иваныча, кое-что понимающего в психологии, легче «входит в понятие».

IV

— Осмелюсь доложить, ваше благородие!.. — угрюмо начал боцман.

— Осмеливайся... докладывай, Иванов! — с шутливым благоволением сказал старший офицер.

— Команда вроде потерянной из-за эстной беды, что стряслась, ваше благородие! — еще подавленнее и угрюмее докладывал боцман на ходу.

— Что такое? Какая беда, скотина? — тревожно спросил старший офицер, внезапно остановившись и повернувшись к боцману.

И маленькие, только что веселые глаза сердито забегали и зло смотрели на боцмана, вдруг испортившего превосходное настроение Павла Никитича.

— Дианка пропала, ваше благородие! — промолвил боцман с таким мрачным видом, точно сообщал о необыкновенном несчастии.

— Капитанская собака? Дианка? Куда ей пропасть? — испуганно протянул старший офицер, еще не поверивший, казалось, этому неожиданному и крайне неприятному известию.

Он знал, как любил командир «Красавца», капитан второго ранга Бездолин, Дианку и какое произведет на него впечатление пропажа его единственного и верного друга, как называл Дианку молчаливый и хмурый капитан.

— Весь клипер обшарили с капитанским вестовым Мартышкой, ваше благородие! Нигде нет. Мартышка вовсе взревел от страха... Беда!

— Так где же Дианка? — растерянно спросил Павел Никитич.

Боцман не без снисходительности к бессмысленному вопросу старшего офицера ответил:

— Надо полагать, что за бортом, ваше благородие!..

— Конечно, за бортом, осел!.. Значит, матросы? Этакая возмутительная подлость!.. Ты, боцман, как допустил? Как опозорил своего старшего офицера? Понимаешь ли, что матросы сделали? — резко и отчеканивая слова, говорил Павел Никитич, слегка бледнея.

«Пустой человек. Один форц, и нет настоящего понятия. Только одного себя обожает и о себе понимает!» — подумал боцман.

И, взволнованный огульным обвинением команды, он горячо проговорил:

— Команда непричинна, ваше благородие!

— Врешь!.. Потатчик!

— Дозвольте обсказать, ваше благородие!

— Ну?

— Врать не стану, ваше благородие, что команда не очень уважала капитанскую собаку за ейный подлый характер. Животная, а понимала себя вроде быдто начальницы и кусалась. Докладывал вашему благородию, что многие обижались на собаку... Однако как перед богом говорю... в мыслях даже не было, чтобы сообща взбунтоваться против Дианки и утопить... Все-таки бессловесная животная, а вроде как душегубство. Это разве са-

мый последний матрос выдумает и, не спросясь, утопит животную... Защитите команду, ваше благородие... Явите милость! Обскажите капитану, что команда непринчина.

Горячее представительство боцмана, казалось, убедило старшего офицера, что матросы не осмелились так нагло нарушить дисциплину.

И, несколько успокоенный, что хмурый капитан не спишет с клипера своего старшего офицера за распущенность матросов, вызвавшую бунт, Павел Никитич уже менее гневно посмотрел на боцмана и спросил:

— Кто этот подлец?

Боцман, только что в пылу гнева обещавший Зябликову указать на него как на виновника, был убежден, что, назови он Зябликова,— и он и команда будут спасены.

Но после мгновенной душевной борьбы он торопливо и решительно ответил:

— Не могу знать, ваше благородие!

И на душе боцмана вдруг стало спокойнее и яснее. Он точно нашел разрешение душевной смуты против правды.

— Должен знать!.. Убеждал, чтобы виновный признался?

— Сказывал, ваше благородие.

— Говорил, что за одного негодяя все ответят?

— Говорил, ваше благородие.

— И молчит?

— Молчит.

— Кого подозреваешь?

— Можно и ошибиться, ваше благородие.

— Однако?..

— Греха на душу не приму, ваше благородие...

— Какой тут грех?.. Наверно, Зябликов?

— Пытал. Не оказывает, чтобы он, ваше благородие.

Старший офицер на минуту задумался.

И наконец, подняв на лицо боцмана упорный и злой взгляд, приказал:

— Чтобы к шести склянкам, как капитан проснется, мне было известно, кто этот подлец. Понял?

— Понял! — с суровым спокойствием ответил боцман.

— Чтобы разыскать мерзавца. Если не сознается, скажи, кого подозреваешь, чтобы я мог доложить капитану... А не то...

И, оборвав речь, старший офицер пошел дальше.

V

— Приказал?! — с выражением презрительной злости прошептал боцман.

И, прибавив несколько особенно унизительных ругательств в женском роде, выскочил из кубрика на палубу.

Он счел долгом позвать унтер-офицеров и нескольких старых матросов, чтобы услышать их мнения насчет того, как поступить. Через несколько минут все собрались на тайное совещание в подшкиперской каюте.

И тогда боцман взмолнико и горячо сказал:

— Ну, братцы! Вовсе дырявая душа у старшего офицера. Вроде как обгаженный заяц. Всю команду прораст, чтобы только ему не попало. Выдай ему к шести склянкам того, на кого подозрение, чтобы старший офицер доложил капитану... Так пусть сам разыскивает, а я, братцы, не согласен лепортовать на Зябликова!.. Пусть и он, подлюга, утопил Дианку, а я не согласен. А там какая ни выйдет и мне и всем люзерюция, хоть бы с меня спустили шкуру и разжаловали из боцманов. Так ли, братцы?

Старый кривоглазый матрос Бычков первый проговорил:

— Это ты правильно, Иваныч! Начхать на старшего офицера, ежели он так подло о нас полагает!.. Не до смерти же будут шлиховать за суку. Небось примем пле-порцию... Примем! Шкура нарастет.

Бычков говорил спокойно и уверенно, точно подбадривал и всех и себя.

Его все поддержали. Раздались голоса:

— Некуда двинуться...

— Мы не кляузники!

— Небось бога помним!

— Обидно из-за такого подлеца Зябликова отвечать, а ничего не поделаешь!

Только два унтер-офицера молчали.

По их лицам было видно, что они недовольны решением боцмана.

Но этика прежних матросов не допускала кляуз по начальству, и оба унтер-офицера не имели смелости сказать, что из-за Зябликова не стоит терпеть и можно было указать на него.

Рыжий, веснушчатый унтер-офицер наконец предложил сейчас же форменно своротить рожу Зябликова и пристрашать, что на берегу его избоят до полусмерти.

— Тогда повинится! — прибавил рыжий.

Боцман нахмурился и сердито спросил рыжего:

— Это ты куда гнешь? По какой такой совести?

Рыжий заморгал глазами и, точно не понимая вопроса, ответил:

— Я, слава богу, по совести, Иваныч.

— Так не верти лисьим хвостом... Ежели избить сейчас Зябликова, так сразу обозначится, на кого мы указываем... Почище кляузы придумал... А еще «по совести»!

— Невдомек, значит, Иваныч. Не сообразил, значит! — увильнул унтер-офицер.

— То-то непонятливый! — насмешливо проговорил боцман.—На берегу Зябликова проучим, а пока что, как бог даст, какая будет отчаянная разделка от капитана! Он придумает! — прибавил угрюмо боцман.

Все подавленно молчали. Никто не сомневался, что капитан «вгонит в тоску» за Дианку.

Хотя капитан очень редко наказывал линьками и никогда не дрался, а между тем внушал какой-то почти суеверный страх именно редкостью, но зато и беспощадностью наказаний.

И главное — он словно гипнотизировал матросов своею загадочною молчаливостью и суровою нелюдимостью. Всегда наверху во время штормов и непогод, чистый «дьявол», как говорили матросы, спокойный, никогда не испытавший ни малейшего страха, он в другое время редко выходил наверх из каюты и никому, ни офицерам, ни матросам, не сказал за год ни одного приветливого слова. Только одной Дианке и показывал расположение. Мартышку, как все звали на клипере капитанского вестового, ни разу не ударил. А Мартышка боялся капитана несравненно больше, чем прежнего своего драчuna капитана.

Мартышка испуганно на баке рассказывал:

— И лба не перекрестит. И ничего не боится. И гла-

за страшные, такие пронзительные и горят. И все читает книжки. И ни разу к обеду офицеров, по положению капитанскому, не звал. И в кают-компанию его никогда не звали. Одним словом, вовсе будто с дьяволом знается! — таинственно прибавлял Мартышка.

— Однако валим, братцы, и к местам! — проговорил боцман, закрывая заседание.

— А я, Иваныч, сейчас попытаю Елисейку... — неожиданно сказал кривоглазый матрос.

— Как?

— А добром, Иваныч.

— Прост ты, Бычков!.. С Елисейкой ни крестом ни пестом... Оглашенный!

— Не говори, Иваныч. Знал такую загвоздку. Был на «Орле» со мной такой же оглашенный. Ругали да били его до точки и вдруг... добром. Он и поворот на другой галц!

— Что ж, попытайся, Бычков... Только зря...

Все поднялись наверх.

Боцман стал обходить палубу и, приглядывая за «убиркой», покрикивал:

— Поторапливай, черти! Не копайсь, братцы, такие-сякие.

И, когда замечал очень подавленные лица молодых матросов, тихо прибавлял:

— До срока не входи в тоску... Духом не падай, матросики!.. Чище валяй... Не жалей суконок...

И в грубоватом голосе боцмана звучала подбодряющая, почти ласковая нотка.

Тем временем Бычков «пытал» Зябликова «добром».

— И команда не верит?.. А ты, Бычков, хоть и похорошему пытаешь — спасибо и за то, — а зря пытаешь! Не топил я Дианки... Знаешь ты, кто ее потопил?

— А кто?

— По моему понятию, сам капитан и потопил.

— Это как же понять, Зябликов?

— Обмозгуй и поймешь! Не мирволь он подлой суке... при нем бы и осталась. Не было бы и смуты... Капитан, значит, совсем виноватый, что решился своей собаки... И выходит, будто сам потопил... Смотри за подлой, чтобы не кусала людей... И что еще объясню, Бычков?..

— Что?

— Загадливый у нас капитан... Страшный!.. А может, не такой он окажется страшный. И дойдет, что сам виноват. Тоже и понять надо всякого человека... Вы не понимаете и думаете: большая будет отмстка, а я понимаю его и за Дианку не боюсь, хоть и помню, как меня приказал разделать! — хвастливо проговорил Зябликов.

Бычков сообщил боцману о неудаче своей попытки и о словах Зябликова и прибавил:

— А ведь Елисейка правду выдумал.

— То-то подлец с понятием... Не держи капитан такой собаки! — сердито сказал боцман.— А Елисейка врет... Это он потопил Дианку!..— прибавил боцман.

— А бог его знает, Иваныч. Он ли? И хвастает, что не боится капитана за Дианку. Не такой, мол, страшный.

— А ты верь! И прост же ты, Бычков. Вовсе ты прост!

Пробило шесть склянок.

— Пойти к дырявой душе!

И боцман пошел на мостик.

— Разыскал? — спросил старший офицер.

— Никак нет, ваше благородие!

— Так укажи, кого подозреваешь!

— Ни на кого не имею, ваше благородие.

— Так ты Зябликова покрываешь? Вот ты какой боцман. Я тебе покажу! — говорил взбешенный старший офицер.

И он наскочил на боцмана и подносил к его темно-красному широкому носу свой маленький белый кулак.

Боцман не спускал своих вытаращенных глаз со старшего офицера.

Тогда он ударил боцмана по лицу и, словно бы вдруг облегченный, крикнул:

— Ступай!..

И, обратившись к вахтенному офицеру, сказал:

— Конечно, это тварь Зябликов! Я так и доложу капитану.

В ту же минуту из капитанской каюты выскочил Мартышка и подбежал к боцману.

— Встает! — сказал вестовой.

— Хватился Дианки?

— Нет... Сей секунд хватится. И что только будет!

И Мартышка во все лопатки полетел на камбуз — сказать коку, чтобы варил кофе.

О том, что капитан встал, стало известно на палубе. Подавленные и испуганные люди притихли. На палубе воцарилась мертвая тишина.

Никто и не взглянул на стаи белоснежных альбатросов, реюших в прозрачном воздухе.

VI

Дианка, из-за исчезновения которой сто тридцать человек переживали жуткий страх, действительно заслужила при жизни ненависть команды «Красавца».

Это была необыкновенно умная и лукавая молодая дворняжка, небольшая, гладкая, темно-каштанового цвета, с пушистым хвостом «крендельком» и торчащими ушами, в которой, казалось, были все подлые черты, возможные только в лживой собаке, попавшей случайно в привилегированное высокое положение.

В присутствии капитана Дианка казалась самой порядочной и доброй собакой, и, стараясь выказывать капитану горячую преданность, она заглядывала ему в глаза, лизала его руки и была особенно нежна и льстива, когда ей хотелось получить вкусную кость на тарелке. Нечего и говорить, что Дианка была послушна и предупредительна, угадывала желания капитана, не осмеливалась при нем выражать своего неудовольствия и старалась какой-нибудь забавной штукой обратить на себя внимание капитана и заставить его улыбнуться...

С офицерами Дианка была приветлива и даже льстива, когда приходила на мостик полежать на припеке, без капитана, и знала, что вахтенный офицер не особенно дсброжелателен к ней. Но стоило показаться капитану, чтобы Дианка стала держать себя независимо и подчас вызывающе. И тогда смелей попадалась под ноги офицеру и даже ворчала, если ее отгоняли.

С матросами Дианка положительно была заносчива и требовательна на почтение от них, особенно когда была в близком соседстве с капитаном или с офицером. Но, если ей случалось оставаться без защиты, она принимала обиженный и предупредительный вид и улепетывала в капитанскую каюту или на мостик, лишь только замечала серьезные намерения какого-нибудь матроса незаметно ткнуть или ударить ее.

Она просто таки не терпела матросов.

При всяком удобном случае Дианка выказывала недобрые чувства и даже презрение к ним и старалась куснуть матроса помоложе, точно понимая, что такой побоится серьезно огреть капитанскую собаку, и нападала на него с большим коварством и обыкновенно не в присутствии капитана.

С самым подлее-невинным видом собаки, словно бы почувствовавшей раскаяние и потому виновато и льстиво вилявшей хвостом, приближалась она к матросу. И, когда тот доверчиво начинал трепать Дианку, она быстро кусала и удирала на мостик.

С высоты мостика, вблизи вахтенного офицера, она с прежним, словно бы насмешливым, спокойным высокомерием смотрела на обманутого и, казалось, думала:

«Однако этот матрос глупее щенка».

Но необыкновенная изобретательность Дианки шла дальше. Она приняла на себя хлопотливую и, во всяком случае, небезопасную обязанность, которая особенно нравилась ей, удовлетворяя ее злое чувство к матросам.

Как только раздавался окрик боцмана: «Пошел все наверх!» — и матросы торопливо выбегали на палубу, Дианка как бешеная летела вниз и кусала за икры последних, поднимающихся по трапам матросов, причем чувствительнее кусала тех, кто внушал ей большую ненависть.

Как ни лукава была Дианка, налетавшая на матросов из засады и стремительно, ей все-таки приходилось получать торопливые пинки. Они озлобляли собаку и только изощряли ее хитрость, усиливая кровожадное удовольствие охоты.

Чаще других и ожесточеннее бил Дианку, когда ловил ее на палубе, Зябиков, нередко ходивший с покусанными икрами.

Взаимная ненависть их усиливалась, и они боялись друг друга.

Команда была уверена, что командир не знает о такой коварной охоте за матросами. И от кого мог он узнать об этом? Правда, боцман два раза докладывал старшему офицеру о подлом характере Дианки и о том, что ребята «обижаются» на нее.

Но Павел Никитич только смеялся и говорил:

— Глупости. Со вздором лезешь.

Павел Никитич и большинство офицеров восхищались выдумкой умной собаки, которая подгоняет лодырей, слегка хватая за ноги.

Только доктор Иван Афанасьевич, не особенно друживший с кают-компанией, штурман, недолюбливавший флотских, и один мичман возмущались.

Но никто не решился обратить внимание командира на поведение Дианки. Старший офицер отказывался докладывать капитану о «вздоре», о том, что собака, играя, носится за матросами, а другие не хотели вмешиваться не в свое дело.

Да капитан и ни с кем не входил в разговоры. Только говорил по службе и был лаконичен.

В офицерах капитан возбуждал неприятное и досадное чувство робости и какого-то невольного страха перед импонирующею властностью неустрасимости и дерзкого хладнокровия. Его одиночество и нелюдимость, и суровая молчаливость интриговали и оскорбляли офицеров. Все были недовольны «мрачным капитаном», как часто называли его.

Несмотря на год командования клипером, он оставался неразгаданным и загадочным. Конечно, еще чаще судачили о нем в кают-компании и пробирали его главным образом за то, что держит себя отчужденно, и, нарушая морские традиции, не приглашает офицеров по очереди к себе обедать и отказался раз навсегда обедать по воскресеньям в кают-компании, да и на берегу тоже всегда один. А со старшим офицером, своим ближайшим помощником, еще молчаливее и скрытнее и не особенно дает ему самостоятельности. Это случилось как-то само собой, без объяснений с какой бы то ни было стороны. Капитан, казалось, не очень-то ценит Павла Никитича, но не разносит. А Павел Никитич старается еще более и еще более боится капитана. Капитан никого не хвалит и никому не делает резких замечаний. И, будто не доверяя никому, во время шторма или во время плавания в опасных местах не сходит с мостика и пристаивает долгие часы подряд, ни с кем не советуясь. Он только приказывает.

Интересной и пикантной темой в кают-компании было самое неожиданное для всех согласие Бездолина на назначение его командиром «Красавца» взамен заболевшего капитана.

А Бездолин недавно вернулся из трехлетнего дальнего плавания, пробыл с семьей только полгода и... сноva в дальнее плавание на три года...

Разве было можно морякам не «ошалеть» от удивления, когда жена капитана была, конечно, обворожительная женщина тридцати лет и было двое детей у них, разумеется прелестные?

И после долгой разлуки только шесть месяцев остаться с «очаровательной женой» и «прелестными детьми»?

Конечно, явилось предположение о «страшной» семейной драме.

Разумеется, нашелся в лице мичмана Нельмина сплетник не без «выдумки», который, как все сплетники, знал «все... все» про близких и потому, конечно, месяца через два после ухода из Кронштадта сообщил в кают-компании имя любовника очаровательной жены капитана и...

— Вы понимаете?! — воскликнул с увлечением мичман.

И на основании письма одного товарища, полученного в Гревзенде, письма, в котором сообщались смутные слухи, мичман рассказал с подробностями, именно и обличавшими сплетню, о том, как «безумно влюбленный» в жену Бездолин, истосковавшийся за три года, вдруг узнал, что его, молодого еще мужа, «очаровательная» променяла... на адмирала Трилистного... «Очаровательная» могла хранить верность только год, и затем...

— Вы понимаете? — снова воскликнул мичман, словно бы для того, чтобы слушатели понимали, что он несомненно врет. — Вы понимаете, в какой ужас пришел Бездолин от такой подлости своей Муни. Вы догадываетесь, господа, как поздно прозрел он, что женатый человек, у которого очаровательная жена, рискует, уходя в плавание на три года... И на кого променять? Вы ведь знаете, какой старый, «цинготный» адмирал? Ну, Бездолин сурово сказал Муне, что она... вроде как дама из Амстердама... Он все-таки безгранично ее любил, но «прощайте отныне навсегда... О Муня! Наслаждайтесь жизнью со старым козлом»... И немедленно мундир и к министру... Вот откуда это назначение командиром «Красавца»...

— И врешь же ты как сивый мерин!.. Ведь жена провожала мужа в день ухода.. И капитан каждый вечер уезжал с клипера в Петербург.. И адмирал Трилистный родной дядя Марии Николаевны!.. Неправдоподобно соврал! — вдруг проговорил товарищ Нельмина.

Мичман на минуту смешался, и глаза его забегали.

Но вдруг в отваге отчаяния выпалил:

— Ну так что ж?.. Ну, приезжала... Может быть, апартансы... И могла приехать, чтобы просить прощения...

— А Трилистный?..

— Ну так что ж?.. Может, другой адмирал... И что пристаешь, Иван Иваныч... Разве я выдумал?.. Я передаю со слов Жиркова... Он писал... Он, значит, и переврал... Очень может быть, что переврал... Я очень рад, если несправедливо врут на Марию Николаевну... Прелестная женщина... Но я все-таки не ушел бы от нее на три года! — добродушно и весело прибавил Нельмин.

Однако многие поверили, что что-нибудь да есть и пахнет семейной драмой.

Но нашлись офицеры, которые, напротив, утверждали, что семейное счастье капитана не омрачено. Они любят друг друга, и Мария Николаевна благородная женщина... Про нее ничего не говорят... Но министр приказал: «Или отправляйтесь... или оставляйте службу!» Поневоле пойдешь...

Более честолюбивые прибавляли, что капитан — страшный честолюбец и, обуянный гордыней, чуждается всех, потому что считает себя выше других...

Так вопрос о «семейной драме» и остался открытым.

И в это чудное утро в кают-компании нетерпеливо ожидали приговора мрачного капитана над командой за Дианку и невыдачу виновного.

Кто же, как не Зябликов? Кто не знает этого арестанта?

VII

Приближалось время подъема флага. Восьмая склянка была в начале. Уборка кончена, и переодетые в чистые рубахи матросы собирались на палубе.

Никакого решения еще не было, и команда волновалась сильнее.

Капитан еще не показывался наверх, старшего офицера не призывал и даже не спросил вестового, где Дианка.

Молодой вестовой давался диву, и молчание капитана наводило больший страх. Подавая ему кофе, Мартын взглянул на лицо капитана, и ему казалось, что он мрачнее и суровее, чем обыкновенно.

Стараясь скрыть чувство тревоги и испуга, старший офицер нервно шагал по мостику и то и дело взглядывал на люк капитанской каюты. Он мысленно обещал примерно наказать боцмана. «Какая скотина! Не мог добриться сознания от Зябликова и даже не указал на него... Подлецы! С ними надо быть строже!» — думал он о матросах, негодуя, что ему не придется успокоить капитана докладом о «мерзавце», который сознался... По крайней мере старший офицер отличился бы в глазах мрачного капитана.

И почему этому арестанту не сознаться! Что выигрывает, запираясь?

— Немедленно послать ко мне в каюту Зябликова! — приказал Павел Никитич, внезапно осененный какою-то мыслью, и, быстро спустившись с мостика, ушел в каюту.

Через минуту Зябликов вошел в каюту старшего офицера.

— Слушай, Зябликов... Ты, конечно, утопил Дианку... Не сознаешься, а я все-таки велю отпороть тебя как сидорову козу сегодня и, как отлежишься, снова буду пороть, пока не сознаешься. И, кроме того, матросы на берегу тебя изобьют до смерти, хоть боцман и прикрывает тебя... Не говорит, что подозревает тебя... А я-то уверен. Слышишь: у-ве-рен!

Старший офицер говорил тихим, даже ласковым и несколько взволнованным голосом.

— Я не топил Дианки, ваше благородие! — ответил Зябликов, взглядывая на Павла Никитича.

В его умных, наглых глазах было что-то проницательное и фамильярное, дающее понять, что он, отверженец, нужен старшему офицеру и пойдет на соглашение.

— Не ври, Зябликов. Сознайся лучше. Буду ходатайствовать, чтобы больше ударов не получил. И наказывать будут легче! — еще мягче убеждал Павел Ни-

китич.— А откровенное сознание покажет мне, что ты можешь исправиться И, чтобы поощрить, дам от себя награду. На гулянку на берегу получишь два доллара! — прибавил старший офицер.

И, несколько смущенный, вдруг почувствовавший, что делает что-то очень подлое, Павел Никитич отвел глаза от упорного и наглого взгляда.

Зябликов быстро решил, что сделка выгодная.

Едва заметная ироническая усмешка мелькнула в его глазах, когда он ответил:

— Что ж запираться перед вами, ваше благородие. Вы нас克роль изволите видеть человека, ваше благородие. Я Дианку утопил.

— Давно бы пора. Совесть-то в тебе еще есть. Ступай! — сказал старший офицер, обрадованный, что тяжесть с его души упала и он может забыть свою подлость и снова быть довольным собою.

Через минуту на клипере было известно, что Зябликов сознался.

Матросы почувствовали облегчение. Страх прошел. Люди, сбирающиеся избить Зябликова до полусмерти, теперь пожалели его и хвалили за то, что поступил правильно.

Бычков подошел к отверженцу и ласково сказал:

— Молодца, Елисейка. Утопил Дианку и отдуешься. Не подвел нас.

— Я не топил подлой суки!

Бычков вытаращил глаза.

— Так зачем винился?

— А ты думал, вас, дураков, пожалел? — с наглым цинизмом откровенности возбужденно проговорил Зябликов.

И после паузы продолжал:

— По правде объясняй, что не топил собаки — шкуру сдерут, старший офицер обещал,— а наври на себя, так отпорят с рассудком... И вы, правильные анафемы, оставите меня в покое за Дианку, а то бы избили.

— Поучили бы... это верно, Елисейка... А ты не обижайся... Очень обозвверели ребяты...

— Подлец Елисейка, мол, во всем виноватый?! Взяли бы греха за напрасный бой. Виноватый в Дианке, может, потом пьяным проговорится, а я с переломанными ребрами. Глупые вы матросы, вот что! И старший

офицер тогда поймет, как он скропь понимает человека... Сволочь! — озлобленно прибавил Зябиков.

— То-то дырявая душа! — подтвердил Бычков.

— Я, скажем, последний матрос... подлец, но только на такую подлость не пойду... А он... во всем парате благородный?.. Довольно обозначил... Понял. Приму сто линьков безвинно, а как придем в Францики, сбегу... Ну вас, обормотов! Живите по глупости, как свиньи, а я по своему уму не согласен. Найду линию. Сам себе господином буду... Никто не посмеет на твою личность... Можешь ты это понять, Бычков? Не понять вам, необразованной матрозне!..

Действительно, Бычков недоумевал и только хлопал глазами.

И наконец добродушно промолвил:

— Здоров ты хвастать, Елисейка. Вовсе ты не матросского звания человек...

VIII

Капитан, небольшого роста брюнет, лет под сорок, с красивым, энергичным и суровым лицом, обрамленным заседевшими бакенбардами, с рано поседевшими волосами, сухощавый и крепкий, хмурый и задумчивый, ходил взад и вперед по каюте, когда старший офицер вошел в каюту.

— С добрым утром, Алексей Алексеич,—осторожно и серьезно-печально промолвил старший офицер.

Капитан остановился.

— Здравствуйте, Павел Никитич,—официальным, суховатым тоном сказал Бездолин, протягивая небольшую, длинную и худую руку с обручальным кольцом.

Густые его брови нахмурились, и у переносицы собирались морщины. Черные глаза, серьезные и пронизывающие, вопросительно смотрели на старшего офицера.

Этот взгляд всегда беспокоил и смущал Павла Никитича, в это утро особенно.

Он, невольно краснея и торопясь, проговорил:

— Мне неприятно, что приходится доложить вам, Алексей Алексеич, о неожиданном происшествии... Ваша Дианка пропала.

Капитан молчал.

Старший офицер еще торопливее продолжал:

— Команда не виновна в этом подлом поступке, противном дисциплине. Команда не знала о нем и негодует на виноватого, который долгое время не сознавался... Боцман отказался указать мне на подозреваемого человека, и я взыщу с него. По счастью, мне удалось убедить виноватого сознаться. Это, как я и не сомневался, Зябликов...

Капитан не проронил ни слова.

Он стал еще суровее и, казалось, невозмутимее. Только в глазах его было выражение какой-то брезгливости.

Павел Никитич, совсем изумленный, оробевший, но старавшийся не показать страха, проговорил не без некоторой развязности:

— Я прикажу наказать Зябликова, Алексей Алексеич. Мне кажется, такой поступок заслуживает строгого наказания...

Прошла минута.

Наконец капитан строго сказал:

— Не наказывайте.

— Есть! — проговорил старший офицер и вышел растерянный.

Капитан брезгливо поморщился.

— Мартын!

Явился вестовой. Он был встревожен.

— А ты чего боишься? — вдруг угрюмо спросил капитан.

— Не могу знать, вашескородие.

— И боишься?

— Точно так, вашескородие!

— Зверь я, что ли? — крикнул он.

В этом крике звучала тоскливая нотка.

Мартын подавленно молчал.

— Позови Зябликова!

— Есть!

Тот явился и вытянулся у дверей. Страха в его лице не было.

Капитан облегченно вздохнул.

— Зачем наврал на себя?

Зябликов сказал — почему. Объяснил, как боится команда из-за Дианки. Доложил, что Дианка кусала матросов и особенно его.

Капитан слушал, опять хмурился, снова на лице и в глазах залегало что-то угрюмое, тоскливо и виноватое.

— Ступай и пошли боцмана! Тебя не накажут.

— Есть, вашескородие!

Торжествующий и особенно наглый, нарочно прошел Зябликов мимо старшего офицера и направился к боцманду на бак.

— Небось капитан скрость видит невинного человека. Не считает, как вы, справедливые, меня за последнего подлеца... К капитану, Иваныч, зовет сей секунд!.. Не заболей животом, как медведь, смотри! — вдогонку крикнул Зябликов и захихикал.

Матросы снова уже не жалели «последнего матроса» и сторонились его.

IX

— Здравствуй, Иванов!

— Здравия желаю, вашескородие!

— Отчего не докладывал старшему офицеру, что Дианка кусала?

— Докладывал, вашескородие.

— И что?

— Отказали.

— А мне?

— Не осмелился, вашескородие.

— Почему? Говори все!

— Не допускали до себя, вашескородие. И как бы не изволили обидеться за собаку, — деликатно сказал боцман.

— То есть... накажу не собаку, а матросов?

— Опасался, вашескородие! — застенчиво промолвил боцман.

Личной нерв подергивал глаз и щеку капитана.

Но он, по-видимому, бесстрастно спросил:

— И когда Дианка пропала, ты и команда боялись, что я беспощадно жестоко накажу, если виновный не объявится?

— Точно так, вашескородие. Очень заскучали матросики, чтобы вашескородие не признали вроде бунта против Дианки... И я пытал: кто подлый человек, что утопил животную. И старший офицер изволили приказать: к шести склянкам найти виноватого или указать

на того, кого подозреваю. Но я — извольте меня наказать — ослушался...

Капитан знал, что не любим, но быть в глазах людей, и без того обездоленных, зверем?

«За что?»

В эту минуту ужаса и тоски, охвативших душу, ему хотелось бы крикнуть, что это неправда, что он не такой...

Он справедлив. Он не наказывает линьками...

Только два раза беспощадно наказал за воровство, считая это необходимым, но отвратительным средством.

Он не бьет, не беспокоит бессмысленной муштрай, не морит работами, бережет людей... Он все делает, что требуют долг и совесть. Правда, он не ищет у матросов расположения, не подделяется к ним, не говорит им шутливо-ласковых слов. Он знает, как это просто и легко... Но ему стыдно заигрывать с людьми, жизнь которых так жалка, бесправна и опасна, и какая пропасть служебного неравенства с ним.. Или будь капитаном, как он, или выходи в отставку, а начальников, которые порют и шутят, обкрадывают и зовут молодцами, дрессируют, чтобы отличаться, и бьют, и калечат с легким сердцем, и говорят, что любят матросика,— таких еще часто называют добрыми... Но он не может быть таким «добрый».

Он вызывает только страх!..

О, если бы они знали! Он, суровый и нелюдимый, одинокий и мрачный, и по характеру, и по разладу между правдою и ложью жизни, по ранам горячего сердца, хоть и чужой, но не враг, а друг...

Разумеется, капитан ни слова не сказал из того, о чем думал. Не подумал и признаться, что только вчера случайно узнал, что любимая им собака кусает людей и ненавистна им, и...

И разве поймет боцман Иванов?..

«Он прав: я не допускал до себя!»— подумал капитан и обычным суровым тоном сказал боцману:

— Не разыскивай. Я утопил Дианку!

Боцман вытаращил глаза.

— Ступай!

По обыкновению суровый и молчаливый, стоял на мостике капитан и оглядывал палубу.

Все блестело и сияло.

Вышедшие к подъему флага офицеры и рассыпавшиеся по палубе матросы с изумлением взглядывали на капитана.

— На флаг! флаг поднять!

Все обнажили головы.

Взвился флаг на гафеле, и начались обычные утренние рапорты.

Первым докладывал о благополучии на клипере старший офицер, и его белые пальцы, приложенные к козырьку фуражки, чуть-чуть вздрагивали.

Когда он отрапортовал, капитан громко проговорил:

— Напрасно открыли виновника. Я выбросил за борт Дианку...

И прибавил:

— Оказалась такой же подлой, лживой собакой, какими бывают и люди...

Выслушав все рапорты от начальников частей, капитан ушел в каюту.

А на баке шли оживленные разговоры, и матросы радостно недоумевали.

И в это чудное утро загадочность капитана, казалось, начинала проясняться.

ДОБРЫЙ

(Из дальнего прошлого)

Посвящается Е. Д. Синицкому

I

Однажды, в начале декабря 186* года, когда щегольской корвет «Кречет» стоял на двух якорях на большом рейде Батавии, я — тогда юный гардемарин — правил вахтой с полуночи до четырех утра.

Огни были потушены. Вокруг царила тишина.

Капитан и большая часть офицеров были на берегу. Старший офицер, штурман, механик и «батя», как все звали иеромонаха Антония, никуда не съезжавшего с корвета, давно спали в своих душных каютах.

Команда спала на палубе. Отделение вахтенных дремало, примостившись на бухтах снастей и у пушек.

Только бодрствовали двое часовых да шагал взад и вперед по шканцам вахтенный унтер-офицер.

Не спал и один из вахтенных матросов — Аверьян Шняков.

Это был старший рулевой, серьезный и старательный человек лет под сорок, любивший иногда пофилософствовать на баке и вступавший охотно в беседы с теми офицерами, особенно с молодыми, которые пользовались его расположением за то, что не наказывали линьками, не дрались и не очень ругались.

Прислонившись к борту на шканцах, Шняков тихо мурлыкал под нос какую-то песню. И вдруг, обрывая ее,

поднимал голову и вдумчиво смотрел на небо, усеянное бриллиантами мигающих звезд, среди которого медленно-величаво поднималась томная и словно бы самодовольная луна.

Она, как говорят моряки, светила во «всю рожу».

Шняков вдыхал полною грудью нежную прохладу южной ночи и, казалось, проникновенно любовался ею.

Действительно, почти безмолвная и таинственная, она была прелестна.

Море едва трепетало рябью, отливавшую серебром, и словно о чем-то ласково шептало. И оно манило бы к себе, если бы по временам не показывалась над водой, совсем близко, отвратительная плоская большая голова каймана с неподвижными глазами.

На такой рейдовой вахте делать решительно нечего.

Я уж налюбовался ночью, до усталости шагал по мостику, мечтая о писательской славе, обошел два раза палубу — убедиться, что часовые не спят, и, прислонившись к поручням, вдруг почувствовал, что неотразимая и властная дрема сию минуту охватит меня.

«О, как хорошо заснуть!.. Какое наслаждение!.. Но вахтенному офицеру нельзя... Я, конечно, не засну... Я только постою немного».

И в ту же секунду заснул.

Через минуту-другую не то дремы, не то крепкого сна, полного сновидений, я открыл глаза и, сконфуженный, отошел от предательских поручней, спустился с мостика и направился к Шнякову, чтобы в разговоре с ним разогнать сон.

Мы были в отличных отношениях.

Шняков знал, как я уважал его, отличного рулевого и необыкновенно чуткого к правде, и как любил слушать его. И он иногда рассказывал о прежней службе, о разных начальниках, с которыми служил, о правде и не-правде. Особенно любил он рассказывать, когда мы вдвоем катались, бывало, на двойке под парусами и когда Шняков деликатно учил своего юнца начальника не одним только управлениям шлюпкой.

В его рассказах чувствовался слегка скептический ум, но не озлобленный после двадцатилетней службы, а словно бы «смягченный» философией его доброго сердца.

— Не спится, Шняков? — тихо спросил я, приблизившись к нему.

Он встрепенулся, точно внезапно оторванный от дум, и повернулся ко мне залитое лунным светом простое с крупными чертами лицо, густо заросшее русыми баками, худощавое, крепкое и загорелое, с вдумчивыми и серьезными серыми глазами.

— Ночь, ваше благородие! — еще тише ответил он, словно бы боялся спугнуть чары волшебной ночи.

И прибавил:

— Задумался, глядючи...

— О чём?

— Мало ли о чём, ваше благородие... Уследи-ка...

Шняков примолк и через минуту сказал:

— Хотя бы взять в понятие эти самые места...

— Хорошо!

— А крокодил да акул-рыба кишмя кишат... Вот вам и хорошо, ваше благородие! Опять же и то: надо и таким подлецам кормиться. Господь создал их для разбоя... Живи, мол, разбойничай... Ну и они что ни попало, своя рыба или человек,— все пища, и в пасть... Так ведь крокодил или акул-рыба без всякого понятия живет... На то он гад... Его и осторегайся... И убий... Можно... А ежели ты человек, да хуже крокодила... От его не убережешься... Прямо лезь в глотку, и шабаш!..

— Да ты разве таких людей знал? Я только читал...

— То-то доводилось, ваше благородие... Мало ли околачиваюсь на флоте.

И, указывая рукой на рейд, прибавил:

— Вот на этом самом рейде матросики просто в отчаянность пришли... Кажется, наш брат не обидчив и терпелив, и то чуть было не начали вроде как бунтовать...

— И ты в Батавии был?

— Годов десять тому назад, ваше благородие. На клипере, на «Бойце», в дальнюю ходил... Капитаном у нас был Евген Иваныч Двинский... Может, слышали?

Я слышал, что Евгений Иванович Двинский, молодой адмирал, давно занимавший береговое место, был мягкий и очень добрый человек.

— И с таким добрым капитаном вы дошли до отчаянности? — воскликнул я.

— Что и говорить... Уж на что был добр! Не то чтобы наказать линьками или ударить, ругательного слова никому не сказал... Одно слово — вроде быдто анделя был, ваше благородие!

— Так почему же вы хотели бунтовать?

— А потому, что ни с одним, самым что ни на есть злым, командиром не жили мы, как арестанты, с андэлом Евген Иванычем... Не вызволи нас тогда один матросик, многим бы пришлось пройти сквозь строй... Небось изволили слышать, какие были наши права при императоре Николае Павловиче, да ежели еще за быдто как за бунт, за то, что дошли до отчаянности и хотели просить отышки... Небось на «Кречете» никто не подумает бунтовать! — прибавил Шняков.

Нечего и говорить, как я был изумлен в эту ночную вахту в Батавии.

— Расскажи, голубчик, про все... все... Это что-то непонятное... Порядочный и добрый командир и... вдруг... Да как же это могло случиться? — спрашивал я, взволнованный и недоумевающий.

— Что ж... Извольте слушать... Я вам обскажу про доброго командира, ваше благородие. Всяких видал, но только другого, как Двинский, не видал. Разве на сухой пути доведется услышать про такого анделя! — проговорил, усмехнувшись, Шняков и прибавил: — Сбегать на бак... Выкурю трубочонку и обернусь.

— Только, пожалуйста, поскорей, Шняков.

— Живо накурюсь, ваше благородие.

Через минуты две, которые показались мне бесконечными, Шняков вернулся на шканцы той быстрой походкой, какой обыкновенно ходят матросы на судах, прислонился к борту, взглянул на падающую звезду и среди тишины чудной ночи пониженным приятным голосом заговорил.

III

— Вот вы дивитесь, ваше благородие. А мы на «Бойце» спервоначалу вовсе в ошеломление пришли, словно тебя ежели да нежданно огорошили по башке марса-

фалом! Да как же это, господи? Евген Иваныч Двинский, командир, мол, добрый и жалостливый, сам по своим правам на вверенном ему судне вроде как царь, и у его на клипере с людьми зверствовали и до того начали вгонять в тоску, что и не обсказать... Небось ошалеешь и потом захочешь войти в понятие насчет такой обидной нашей тоски, ежели на баке с людей стали снимать шкуры... И вскорости поняли, ваше благородие, какая капитанская доброта...

— Какая?

— Никчемная, прямо сказать, здряная! — убежденно и взволнованно промолвил матрос, слегка поднимая голос.

И после паузы продолжал:

— И нет хуже такой доброты для матросов. Я так полагаю по своему рассудку, ваше благородие. Только напрасно она обнадеживает матроса и пуще его обескураживает... Вера в доброго человека смущает и вводит в большую тоску... По крайности видишь: командир вроде бешеной собаки, и знаешь. А ведь голубь, форменный голубь, а тебя обанкротил хуже, чем коршун... А все: голубь... И сам себя почитает голубем... И господа на «Бойце»: голубь да голубь... А как мы обрадовались, как увидали Двинского... Богу молились. Вот, мол, бог нам дал на редкость доброго командира... Приехал на клипер — такой смирный, приветный и с нами обходительный... А из себя высокий и аккуратный, вовсе чернивый, этак лет тридцати с небольшим, лицо белое, чистое и черные глаза добрые-предобрые... Вот небось этот подлец и дитю не обнадежит глазами! — прибавил чуть слышно Шняков и кивнул головой на воду.

В нескольких шагах от корвета плыл кайман.

Через минуту он нырнул, и матрос продолжал:

— А флотской части не знал — сразу видно было. Допречь он все в адъютантах по штабам околачивался и в плавания почти не ходил. А назначили его командиром, сказывали, из-за отца... адмирал в силе находился, там отпору ему не было. Хорошо. И думали, ваше благородие, что командир помаленьку к должности своей приобыкнет, а нашему брату лестно... Кроткий... Небось слышал, баринок, какая тогда была флотская служба и на каких правах состоял матрос? Так, изволите понять,

ежели голодному — и вдруг пища! Вовсе обескураженному матросу — и новый оборот жизни! Встал без страха и лег спать не избитый и не драный. И был я, ваше благородие, в таких обнадеженных мыслях, что душа взыграла... Радуюсь. Нас, мол, бесправных, бог вспомнил... А надо вам обсказать, ваше благородие, что до того я два года ходил марсовым на «Костенкине» корабле с командиром Обуховым... Может, слыхали? В прошлом году его уволили. Не срами, мол, флота и получай пенсион. Небось и без живодерства матрос не оконфузит.

— Слышал про Обухова... Говорят, был жестокий.

— То-то. Бык и есть. Так и звали его в Кронштадте, потому никакого в нем божьего рассудка, а вроде бычье-го. Всего и отпущенено ему было от господа бога. И когда он не находился в понятии и сидел в каюте и мар-салился — ничего себе, бык как бык, и вестовой очень даже обожал его. А ежели да ему войдет что в башку, то хотя на ней кол теши. Выкатит глаза, мотает головой и орет: «Чтобы по всей букве закона наказать!» Упрет-ся и одно мычит: «Наказать по всей строгости закона». И хотя бы за пустячную провинность он, по бычьему своему разуму, по закону запарывал. «Я, мол, ничего другого понимать не желаю». И только как это, ваше благородие, в прежние времена давали таким, прямо сказать, остолопам волю над матросами? Просто даже никак не поймешь. Теперь, как царь наш Александр Николаич приказал, в каком виде надо понимать матроса, небось мы вздохнули. Вроде как людьми стали, ваше благородие. А тогда?..

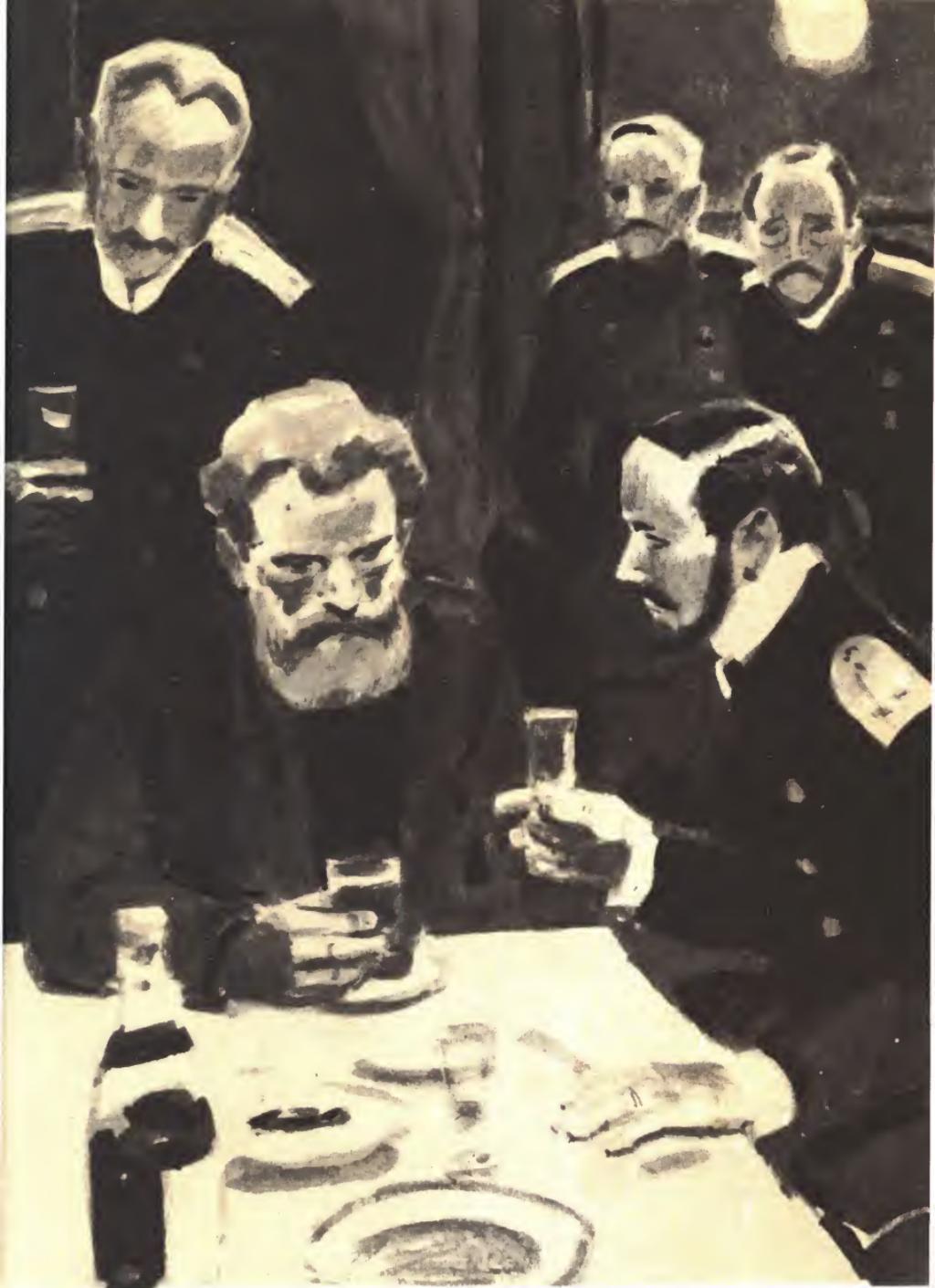
Шняков только вздохнул и примолк.

IV

— Таким манером освободился я от Обухова и попал на «Боец»... к доброму капитану... в полной надежде на отышку, и вместо того... нам вроде крышки...

— Да как же? — спросил я.

— А так же, ваше благородие. Из-за старшего офи-цера Перкушина. Очень даже бесстыжий и жестокий был человек, не тем будь помянут покойник. Он-то и



«ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР»



«МИССИС ДЖИЛЬДА»

был настоящим командиром и разбойником. Над всем волю забрал.

— А Двинский?

— Только хлопал добрыми глазами. И как вышли мы из Кронштадта, обозначилось, что наш Евген Иваныч вовсе не понимал службы и большого рассудка не имел и без всякого мужчинского характера... Перкушин словно заворожил капитана, и весь Евген Иваныч с его добротой был у старшего офицера в полном повиновении, а быдто со своей амбицией. Шельмоватый и прельстивый был Перкушин. Вел свою линию. «Как, мол, прикажете?» А приказывал-то все он. И дока по флотской части был. И, надо правду сказать, отчаянный и ничего не боялся, ежели, бывало, заштормует. Умел управляться и не сойдет с мостика, как в шторму наш маленький клиперок бедует и зарывается в волнах. Подлый был человек, а во всей форме молодчага — распоряжался. С им и страха не было.

— А капитан что?

— Тоже для видимости стоял наверху и, однако, не мешался. И на ночь Перкушин всегда, бывало, в бурю капитана упрашивал отдохнуть. Я, мол, все ваши распоряжения сполню. А какие распоряжения? Раньше и плавал Евген Иваныч на яхтах, между Петербургом и Кронштадтом. Без старшего офицера он ни боже ни. И хотел бы, да не смеет. Только почет да что добрый. И сам, сказывали, не хотел срамиться, идти в капитаны, так отец принудил: «Карьер, говорит, сделаешь, а мы, говорит, выберем старшего офицера, собаку по морской части, он говорит, твой клипер в лучшем виде будет держать и тебя не обанкрutит. Он с большим понятием помощник тебе будет, и ты его во всем слушай». И Перкушину тоже адмирал: «Так, мол, и так. Берегите сына и будьте ему настоящим помощником... Одним словом. А как благополучно вернетесь, говорит, не в пример выйдет награждение». Старший офицер сам опосля рассказывал левизору об этом, и вестовой сказывал на баке. Таким манером Перкушин и стал гнать свою линию, чтобы отличиться. Еще когда стояли в Кронштадте, готовились, хоть и строг был, а не оказывал всей своей подлости, но как ушли, по всей форме начал вгонять в тоску. Донимал учениями и требовал, чтобы матрос вро-

де как облизьяна летал по вантам и чтобы на секунд не смел опоздать с парусами или на другой какой работе. И вовсе как на скота смотрел на нашего брата. За каждую малость приказывал на бак и сам смотрел, как людей в линьки принимали. И цигарку курит да еще посмеивается. Вовсе без пыла, а с подлым, жестоким расчетом, спокойно изводил людей и без крика. И ругался мало. И не очень дрался, воздерживался, особенно при капитане. Но зато выучивал, ваше благородие, на баке... И такой страх навел, что матросы вроде как арестанты...

— Да как же капитан не знал, как старший офицер обращается? — спросил я.

— То-то не знал, ваше благородие. Порка шла обязательно в четыре часа утра, когда капитан спал.

— А пожаловаться?

— Не смели сперва дойти до капитана. Перкушин застрачивал. Только, мол, пикни. И при капитане он был с матросами ровно лиса... Вовсе обманный был человек... И настраивал при случае Евгена Иваныча против команды. Они, мол, бесчувственные, грубые и пьяницы. С ими, мол, трудно добром. Для пользы службы и для порядка военного судна нужна строгость. Капитанский вестовой, Лаврюшка, обсказывал нам, как настраивал капитана Перкушин.

— А капитан что?

— Известно что: очень жалел, что ежели нужна строгость, но приказывал, чтобы никаких утеснений не было и не наказывали без жалости линьками. Перкушин обнадежил, что он взыскивает с рассудком и, мол, от намерений капитана по долгам службы отступить не может. Одним словом, объегоривал капитана... С им и левизором и механиком — вроде шайки была... Перкушин вводил в тоску, а те двое «обуродовали» по угольной части, а уж левизор один по своей части прямо-таки грабил. И харч нам недобросовестный давал... А капитан все подписывал, что они ни дадут... Верь не верь, а подписывай, коли по должности своей не понимаешь... Таким манером вовсе обанкрutiла доброго-то капитана шайка. Врут ему как сивые мерины и, как следует, в глаза оказывают во всей форме уважение. И со стороны-то всем видно, а капитан будто ничего не замечает. Одно слово, оболванивают да еще про себя тишком над

капитаном смеются. Вестовые слышат. А раз на берегу в Риве (Рио-Жанейро) выпивший левизор — башковат был брехать капитану насчет будто бы дешевой покупки всякого припаса — при мне кричал товарищ: «Я, говорит, что вгодно, то и делаю по своей части... Какие счета подам... Только спросит: «Верно?» — «Обязательно верно...» И, не читая, подмахнет... Очень добрый Евген Иваныч... Ровно дите!» Кричит, заливается... Дескать, как сподручно матроса обкрадывать. Господам-то смешно, а нам не до смеха было, ваше благородие! Во всех смыслах с им была тоска... Кровные наши денежки и то левизор зажишивал. Иди-ка на разбойников искать правды к нашему добруму!.. Однако надо передохнуть, ваше благородие.

V

— Прошло около года. Переходы мы делали не очень большие. Перкушин любил закатывать на берег, и потому мы захаживали во многие порты и в хороших стояли на якоре подольше. И как Перкушин на неделю съезжал на берег, у нас был словно праздник. Первый лейтенант, исправлявший должность старшего офицера за Перкушина, ни учениями не допекал, не наказывал людей... Правильный и по-настоящему добрый человек был. Понимал матроса и не считал его быдто тварью. Бывало, и слово приветливое скажет, и матрос чувствовал, что им не брезгует. И по морской части дошлый... И мы, ваше благородие, без всякого страха, а только чтоб первого лейтенанта не оконфузить, просто из кожи лезли вон и на фок-мачте, которой заведовал, и на вахтах, когда он стоял, и ученье, когда за старшего офицера делал не до измора, а много-много полчаса, а то час... «Вот, мол, какого бы нам старшего офицера!» — толковали мы, бывало, промежду себя на баке. Тогда и капитан взаправду был бы добрый!.. И был у нас, ваше благородие, один молодой матросик, Василий Кошкин, вместе со мной на фор-марсе работал... Лучший был марсовой и отчаянный в работе. И смиренный, робкий был человек, вовсе безответный по терпеливости, а очень щекотливый к неправде. И, бывало, заговорит со мной, как жестоко изводит Перкушин людей, чуть не плачет. Большой жалостливости была

его душа, ваше благородие, за людей. Главное — других жалел, самого его редко пороли, да и с рассудком, потому очень уж он боялся Перкушина и даже разбойнику трудно было придраться к такому старательному и отчаянному матросу... Вскорости перестал со мной говорить о старшем офицере и вовсе в задумчивость впал и затосковал... и под конец стал ожесточаться сердцем... Вдребезги напивался на берегу и, робкий, как-то ответил Перкушину. Тот только ахнул и на другое утро отодрал как сидорову козу. В большую тоску вошел Кошкин... И шли мы из Ривы (Рио-Жанейро) на Надежный мыс (мыс Доброй Надежды), пришел перед вечером Василий на бак, вошел в круг около кадки с водой, закурил трубку и, сам бледный, сказал: «А так, братцы, никак невозможno. Дойдем, говорит, до капитана... Доложим, какой есть Перкушин! Капитан вовсе добер. Но только он не знает Перкушина... Доложим! Капитан, как узнает, ахнет. Увольнит, говорит, старшего офицера и назначит Алексея Николаича, первого лейтенанта, и всем нам, говорит, будет избавление». Удивились, как это смело обсказал наш смиренный. Молчим. И забрало нас, и страшно, что после будет от Перкушина. Старые матросы стали говорить, что как бы еще хуже не вышло. А боцман прикрикнул: «Ты, говорит, чуть не первогодок, а учить старых матросов! Терпели, будем еще терпеть. Бог даст и отойдет Кобчик!» Перкушину и было прозвание «Кобчик». Он был маленький, крепкий, и нос загнутый, как у птицы, и глаза пронзительные и круглые, как у кобчика... А Кошкин свое. И еще забористей... и сам чуть не плачет... И объявил, что он будет докладывать капитану про Перкушина. Пусть только выстроит боцман во фронт... И нас, ваше благородие, прорвало... Откуда и страх пропал. А капитан вышел наверх и ласково так поглядывает. «Во фронт!» — начал Кошкин. За им несколько голосов. А там все больше да громче. Видит боцман, что команда вошла в чувство, и сам в тоске из-за Перкушина. Тоже не отстал от своего же брата. «Ну и будет, черти, нам всем шлифовка», — сердито проговорил он и просвистал: «Всех наверх!» Через секунду команда стояла во фронтне. Кобчик выскочил обозленный. «Это бунт, Евген Иваныч! Не извольте к этим подлецам выходить! Позвольте, говорит, я с ими объяснюсь.

как они смели самовольно во фронт собраться. Это форменный бунт!»

— И что ж капитан? — невольно вырвалось у меня.

— Не послушался Кобчика. Сердце-то подсказало, что бунта нет, а одна, можно сказать, просьба. «Оставьте учить меня!» — вдруг окликнул капитан и весь за краснел, и тут же будто испугался прыти. Однако прямо к нам: сконфуженный, ласковый, глаза добрые-преб добрые и растерянные, будто в удивлении, что команда собралась в унынии. И доложу вам, ваше благородие, и досадно, и жалко мне было глядеть на капитана. За свою же доброту приходилось ему за других перед матросами стоять в растерянности и оконфузливости. Помолчал так секунд-другой, поглядел на нас ласково и будто жалеючи и приветливо тихим голосом поздоровался: «Здорово, братцы!» Ответили дружно и громко: «Здравия желаем, вашескородие!» Дескать, не против тебя мы осмелились. И капитан еще ласковей спросил: «По какой причине вы, братцы, собрались?» — «До вашескородия осмелилась дойти команда!» — доложил с правого фланга боцман. «Говори, боцман, в чем дело». И тогда вышел перед фронт Кошкин, бледный как ру баха. «Дозвольте доложить, вашескородие?» — «Говори, Кошкин, не бойся, голубчик!» И Кошкин начал обсказывать... И чем дальше, тем больше приходил в взволнованность, как докладывал, в какой тоске матросы за притеснение и какая каждое утро на баке расправка... И вместе с Кошкиным все более и более краснел и капитан и приходил в расстройку и в тоску, и добрые глаза стали такие придумчивые и печальные...

И попросил Кошкин расследовать, по правде ли все он осмелился доложить командиру. «Если, говорит, не правда, засудите меня, вашескородие, а если я по чистой совести обсказал, защитите людей, вашескородие!» И замолчал. И матросы молчали. А боцман Никитич вовсе насупился, нахмурил брови и вдруг сказал: «Осмелюсь доложить вашескородию, что Кошкин смиренный и примерный матрос по поведению и по службе и ни слова неправды не обсказал вашескородию». Молчал и поник головою капитан... И на палубе словно замерло. Такая вдруг стала тишина. Наконец Евген Иваныч поднял голову и, весь будто взбунтовавшись, по краснел и гордо так сказал, что сам разберет дело и

матросов ни в жисть не даст в обиду. «Больше, говорит, братцы, нещадности не будет». А Кошкина ласково приспокоил: «Спасибо, матросик, что объявил от полного своего сердца претензию. И не тоскуй, и не бойся. Тебе ничего не будет, и не будет никому взыску, что дошли до меня не по форме. Впредь сам буду по воскресеньям опрашивать... Расходись, молодцы!» — «Рады статься, вашескородие! Чувствуем!» — в благодарной радости крикнули ребята. С этим капитан раздумчиво так пошел в свою каюту, и тую же минуту следом пошел за ним и старший офицер, из себя побледневший. А форц прежний. Не понравился мне этот форц. Думаю: как бы он какой загвоздки не придумал, чтоб оправдать себя перед капитаном. Однако разошлись обнадеженные. Особенно радовался Кошкин. «Теперь, говорит, братцы, беспременно полный оборот нам будет. Капитан все узнал... По глазам видно, что не догадывался, как старший офицер живодерничал и как левизор кормил. Он защитит». И все хвалили теперь Кошкина, что придумал дойти до капитана и постоял за команду и так жалостливо обсказывал... И боцман Никитич похвалил за то, что Кошкин душу взбаламутил. А какой конец по капитанской лезорюции будет, боцман сомневался... Как, мол, Кобчик обкружит голубя и одурманит его.

— Что же вышло, Шняков?

— А вот доскажу. Только прежде надо покурить, ваше благородие.

И Шняков пошел на бак. А я снова обошел палубу. Сна уже давно не было, и ночная вахта проходила необыкновенно скоро. Уже пробило четыре склянки (два часа ночи).

VI

— В первое время Кобчик притих. Пороть порол, но без живодерства. Однако и к боцману и в особенности к Кошкину стал придираться — прямо-таки неизлюбил. И с капитаном во время первого же разговора была расстройка. Вестовой Лаврюшка и слышал, как старший офицер вломился в амбицию и пригрозил, что спишется по болезни с клипера на берег и возвратится в Россию. Матросы, мол, самовольно стали во фронт

и облыжно показали на своего начальника, а капитан вместо взыска их же обнадежил бунтовать. И стал обсказывать, что наказывал матросов в своем праве и без жестокости... И до того сбил капитана, что расстроил его. И стал он и перед ним быдто извиняться и просить не уходить, но только чтобы Перкушин не вводил матросов в тоску, чтобы все было по-хорошему и матросы не жаловались. Кобчик обещал не вводить капитана в расстройку и просил только не очень-то верить матросам по своему доброму сердцу. Из-за этого, мол, они и стали полагать о себе. Вот Кобчик какую линию подвел, ваше благородие. И левизор приходил объясняться насчет харча. Правым остался. Верно, говорит, что одна бочка солонины скверная попалась, так ее прикажет немедленно выбросить за борт. Одно слово — обанкротили Евген Иваныча. И он спрашивал раз насчет претензии, а потом уж перестал. И старший офицер на мысе Надежном и не думал списаться с клипера. И как вышли мы с Надежного, Кобчик опять по-старому стал зверствовать. И первым же делом боцмана разжаловал и дал двести линьков и Кошкина отшиховал до отчаянности. И обоим сказал: «Попробуй-ка оба бунтовать, ты строить во фронт, а ты, подлец, облыжно жаловаться».

И разжалованный боцман, как его отпороли, сказал на баке: «Вот и капитанская лезорюция! Вот доходили до капитана». А Кошкин еще хуже затосковал. И капитан быдто не видит ничего. Однако вестовой сказывал — загрустил... Чует, что слово не сдержал, и не знает, как ему быть... А боцманом Кобчик сделал неверного унтер-офицера... Все передавал про команду старшему офицеру и вовсе вроде Иуды был. И дрался вовсю. Последнюю совесть в себе уничтожил... И решили на берегу избить до полусмерти Иуду боцмана. Прочувствовать... Но когда еще берег, а пока вовсе обезнадежили, и никакой веры на защиту капитана не осталось... Дойди до его — еще хуже. И совсем покорились. Живем в страхе. И быдто в арестантских домах. А матросик Кошкин хуже затосковал и мучился совестью, что из-за его выдумки вместо избавления... еще товарищей подвел... И вовсе угрюмистый стал. И покорно терпел наказания Кобчика и бой боцмана Иуды... И ожесточился... Вот до чего довели, ваше благородие, тихого

и смиренного человека, ежели только и его сердце мучится по правде. Шли мы таким манером до Батавы... И перед самым приходом, в пятом часу утра, одного щуплого матроса Кобчик отпорол до бесчувствия, и его снесли в лазарет. Стали мы на рейд. Вышли вскорости к подъему флага. Ждем, как примет командир лепорт доктора о больном по слухаю жестокой порки, однако капитан и после лепорта веселый, что поедет, мол, на берег. И фельдшер нам объяснил, что доктор не доложил о больном. Кобчик его упросил. Очень обиделись матросы, ваше благородие. И так ненавистен нам был Кобчик, что хоть сквозь строй бы прогнали... Однако боимся его... Молчим... Только про себя слишком говорим: «Что ж это, братцы, в чихотку будет Кобчик вгонять, и капитан его держит в полном доверии и ничего не знает». И берегу не радуемся, не смотрим на радостное утро. Кому оно на радость, а нам в тоску... А на мостице и капитан и многие другие офицера весело разговаривают, точно человек не в лазарете еле дышит... «Где же, мол, правда?» Это я про себя думаю, и сердце бунтует, ваше благородие... Бунтует, и зло берет... Около меня Кошкин... Лица на ем нет... Глаза ввалившись и как уголья... И я ему: «Давай, Вась, соберем матросов и во фрунт... Дойдем до капитана... Пусть пойдет в лазарет и увидит... Пусть освобонит нас от Кобчика!» А Кошкин: «Не надо... Лучше, говорит, одному принять сквозь строй, чем всем. Небось братцы добром вспомнят!» — «Дак ты что надумал, Вась?» Я сразу понял по его глазам, что Кошкин надумал. Ни слова не сказал и уже пошел прямо к мостику, поднялся и, сняв шапку, остановился перед капитаном. Матросы так и ахнули... Ахнули и офицеры... Удивился и капитан. Однако сконфузился и с укором взглянул на Кобчика. Все замерли на палубе.

Взволнованный Шняков на секунду примолк.

VII

— Только голос дрожал, когда матросик доложил капитану: «Извольте, мол, заглянуть, вашескородие, в лазарет, как запорол утром человека старший офицер. И с той поры, как вашескородие обещали разобрать

Мою жалобу, старший офицер несколько ден притих и после стал еще более теснить людей... Вы, мол, обещали, что нам ничего не будет за претензию, а старший офицер и меня и прежнего бодмана нещадно наказал, и сказал, что за то, что дошли до командира. И с тех пор зря меня наказывал». — «Молчать! Как ты смеешь так говорить с капитаном!» — вдруг крикнул Кобчик. Ну, тут капитан осердился. «Молчите вы!» — велел он. И сказал Кошкину: «Говори!» Кобчик тую ж минуту вниз... Не пожелал слушать. «Больше нечего говорить, ващескородие. Только освобоните людей от старшего офицера. Не доведите команду до отчаянности... А меня извольте наказать, ващескородие, за то, что осмелился самовольно объяснить насчет старшего офицера!» Капитан только махнул головой и побежал в лазарет. И фершал сказывал, что капитан очень огорчился, когда увидал больного. И спросил фершала: попадали в лазарет такие больные? Фершал доложил, что бывали. И тогда капитан обнадежил больного и сам закрыл руками глаза. Верно, слезы хотел скрыть... Сердце-то добре и жалостливо... И увидал наконец, как окрутили его старший офицер и другие. Простоял он так с минуту и сказал доктору с тоской и укором: «И вы, доктор, вместе с другими меня обманывали?» И ушел в каюту. Так и не уехал на берег в тот день и все ходил в задумчивости по каюте. И не допускал к себе старшего офицера. А к вечеру уже послал за первым лейтенантом Алексеем Николаичем и велел быть ему старшим офицером, а Перкушину на его рапорте о болезни надписал: «По болезни можете вернуться в Россию и сегодня же уехать на берег». А мы прослышиали и все еще не верим. Думаем: допустит к себе старшего офицера, и опять он останется. Однако, видно, сам этого боялся. Так и не допустил Перкушина. И Кобчик стал собираться и громко в каютах-компаниях ругал капитана. И, как вечер, со всеми вещами уехал с клипера. Матросы крестились. И с той же минуты мы вздохнули с Алексеем Николаичем. И, должно быть, Алексей Николаич посоветовал — вскорости сменили левизора. Не осмелься Кошкин пойти сквозь строй за команду, не избавились бы мы от Кобчика. До чего бы он нас довел, господь знает... Матросик нас вызволил из-за щекотливого к правде серд-

ца. Вот оно что делает смелое сердце, ваше благородие! — заключил Шняков.

— А Кошкину ничего не было?

— Ничего, ваше благородие.

— И больше никогда не доходили на «Бойце» до командира?

— После Батавы оборот пошел. За что же доходить? За хорошее?

Оба мы молча глядели на чудное звездное небо.

И вдруг раздался окрик часового:

— Кто гребет?

— Офицер!

Я скомандовал фалгребных и пошел к трапу встречать возвращавшихся с берега капитана и офицеров.

ПАРИ

Рассказ

I

Быстренин и Муратов, лейтенанты черноморского флота, недавно назначенные командирами, были влюблены в свои парусные суда.

Первый — в красавца, с одной высокой мачтой, носившей большую парусность, тендер «Ястребок». Второй — в стройную, хорошенькую, с двумя слегка наклоненными мачтами, шкуну «Ласточку».

И «Ястребок» и «Ласточка» отлично ходили и мастерски управлялись лихими молодыми капитанами.

Они были товарищи по корпусу, закадычные друзья и оба завзятые охотники.

Ходили на охоту вместе, хотя несколько лет тому назад вспыльчивый Быстренин и всадил в ляжку друга заряд дроби за то, что Муратов стрелял не в очередь, как было условлено, и убил пару жирных перепелок. А очередь должна соблюдаться свято. Сознавая себя виноватым, Муратов даже не выругался и стал сконфуженно снимать сапоги и штаны. И когда Быстренин начал извиняться, Муратов остановил товарища:

— Брось, Николай Иванович! Я не в претензии. Сам виноват. А ты — порох. И вдобавок сегодня пуделял, а я без промаха. Досадно только, что нельзя сегодня охотиться! — добродушно прибавил Муратов.

Быстренин вытер кровь, сделал перевязку, забинтовал ногу, и друзья пошли в Севастополь.

Раскаяние свое Быстренин вымешал на своем «Джеке». Умный молодой пойнтер решительно не понимал,

за что его беспощадно вытягивали плетью. Ведь не он же виноват, что хозяин не заставлял птиц падать. Джек так непокорно визжал и с таким испуганным удивлением и укором смотрел на Быстренина, что тот ожесточеннее стал стегать собаку.

— За что это ты Джека, Николай Иванович? — спросил Муратов.

— Он знает... шельмец. Не гоняйся за птицей, если я не велел.

Муратов взглянул на раздраженно-сконфуженное лицо Быстренина и не продолжал.

Быстренин оставил Джека в покое и, повеселевший, стал обычным приятным собеседником и подчас остроумным зубоскалом.

Муратов, по обыкновению, более слушал и восхищался другом.

В Севастополе, конечно, не узнали, что Быстренин залепил заряд Муратову. На вопросы Алексей Алексеевич коротко отвечал: «Споткнулся... уронил ружье, спустился курок». Быстренин, напротив, подробно рассказывал, как это случилось. Через три дня друзья снова пошли на перепелов. Было время перелета.

II

Не омрачилась дружба лейтенантов даже и тогда, когда год тому назад они одновременно «втюрились» в севастопольскую чародейку «Марусю», как все за глаза называли единственную дочь крикуну-добряка адмирала Ратынского, старавшегося показать, что он... ууу... какой строгий, и когда-то писаной красавицы-адмиральши, которую мичмана не без основания прозвали «адмиралом», а мужа — «адмиральшей».

Стройная, хорошо сложенная и грациозная красавица брюнетка с белым матовым лицом и большими жгучими глазами, силу которых она часто пробовала с задорным любопытством двадцатилетней южанки и уверенностью балованной победительницы сердец, Маруся кокетничала с двумя лейтенантами и обоим подавала некоторые надежды.

Быстренин, пригожий, кудрявый брюнет со смеющимися, ласковыми глазами, не уставая, щеголял и умом,

и насмешливым остроумием веселой болтовни, и цитатами из Лермонтова, и мечтательными иносказаниями, и восторженным восхищением. Разумеется, при всяком удобном случае он крепко пожимал маленькую руку Маруси, словно бы хотел подтвердить свои чувства.

Маруся находила, что Быстренин интересен. И влюблен интересно. И, верно, сделает предложение интересно. И она не всегда сердилась на продолжительность и силу пожатий рук и сама слабо пожимала в ответ, словно бы не лишая влюбленного надежд.

Недурен был и Муратов,— высокий, стройный блондин с мужественным загорелым лицом. Быстренин без устали болтал. Муратов неизменно красноречиво молчал при Марусе. Но его голубые глаза, светлые и серьезные, говорили более, чем нужно было для такой любознательной чародейки.

И Маруся находила, что Муратов иногда молчит очень интересно и влюблен серьезнее, чем Быстренин. Ей было приятно и весело сознавать, что такой мужественный и серьезный человек, казалось, боится ее больше, чем самого адмирала Корнилова, и что достаточно ей ласково улыбнуться или обжечь взглядом, чтобы Муратов светел и бледнел.

Он, правда, не пожимал ее рук, как нахал Быстренин, но она чувствовала, как подчас вздрагивает его рука. Она чувствовала его горячее дыхание и блеск его упорных глаз во мраке волшебного вечера, когда он прощался с нею на бульваре или на Графской пристани.

И Марусе вдруг казалось, что Муратов был бы верным рыцарем-мужем, красивым, любящим навсегда, и она пожимала крепко его вздрагивающую руку, и голос ее нежнее шептал: «До свидания!»

Муратов, мало знавший женщин, уже возмечтал, что рай находится в Севастополе. И скоро на бульваре же, словно бы темнота и нега волшебного теплого вечера так же помогает признаниям, как и преступлениям,— вдруг прошептал, точно виноватый в чем-то:

— Марья Александровна... Разрешите просить вашей руки!

Маруся не испугалась. Слава богу, не первый раз просили ее руки. Она, конечно, поблагодарила за честь; не скрыла, что Алексей Алексеевич ей больше чем нравится, но...

— Позвольте подумать... А пока пусть это будет секретом... Не проговоритесь Быстренину... Он болтун... Обещаете?

— Еще бы... Никому ни слова!

Прощаясь, Маруся значительно шепнула:

— Пока мы друзья... Но, может быть, скоро...

Муратов вернулся на корабль.

Счастливый, он скрывал в кают-компании свои надежды.

Придется и Быстренину молчать. Нельзя. Дал слово.

Муратов пожалел друга и чувствовал себя точно виноватым перед ним за то, что он обнадежен... Нравится Марусе, а Быстренин за бортом.

Но ведь они не мешали друг другу в глазах чародейки. Еще бы! Он по совести влюбленно молчал, и сама судьба взыскала его.

«Никакой претензии тут нет!» — подумал Муратов.

На другой же день приехал к нему в гости Быстренин.

Он тоже скрывал такую же тайну до времени.

И, считая себя по праву быть более интересным женщинам, чем друг, Быстренин, не без искреннего участия счастливца к безнадежному «влюбленному», спросил:

— Ну как твои дела с Марусей, Алексей Алексеич?

Муратов смущился и застенчиво ответил:

— Втюрился... Вот и дела!

— Лучше брось, Алексей Алексеич!.. Право, брось, голубчик Алеша!..

III

Скоро друзья вернулись из осеннего плавания. Они одновременно съехали со своих кораблей на берег и встретились на пристани. Тотчас же пошли на свою маленькую квартиру и там увидели по конверту.

Муратов вошел в свою комнату, вскрыл конверт и прочел пригласительный билет на бракосочетание Марии Александровны Ратынской с капитаном первого ранга Иваном Ивановичем Киргизцевым. Прочел еще раз и стал необыкновенно серьезен, точно был на вахте в тот момент, когда неожиданно под носом корабля он увидел скалу.

Влетел Быстренин к Муратову и со злую усмешкою протянул:

— Однако! Ты как полагаешь, Алеша... Это как называется?..

— Полагаю, что Маруся выходит замуж,— с угрюмым спокойствием ответил Муратов.

— Да ты обалдел, что ли, Алексей Алексеич?.. Какого принца Маруся выбрала? Вот так принц!.. Это просто свинство!..

— Какое же свинство, Коля? Киргизцев понравился и...

— Понравился!? — воскликнул, закипая, Быстредин.— Боров... под пятьдесят... Запарывает матросов... Понравился!? Ты в здравом уме?.. Просто захотелось быть адмиральшей... Вот тебе и чародейка... Лермонтова слушала... И я-то дурак... Возмутительно! А по-твоему, что ли, Маруся влюбилась в борова?...

— Ведь бывает, Коля... Нравятся немолодые! — старался Муратов защитить Марусю.

— Иван Иванович Мазепа? Скажи, пожалуйста! Мазепа!? Просто скотина! И у такой скотины будет женой Маруся?..

— Ддда... Не стоит Киргизцев такого счастья! — мрачно промолвил Муратов.

— А мы-то втюрились... Стоило! Отлично оболванила... Еще недавно на бульваре: «Пока мы друзья. Но, может быть, скоро...» Очень скоро!..

— Это кому же Маруся говорила? — упавшим голосом спросил Муратов, хотя уже догадался — кому.

— Мне! — не без горделивости сказал Быстредин.— Я только не мог тебе сказать, что я «так и так»... сделал предложение. Маруся просила подождать, но никому ни слова... И особенно тебе... Верно, думала, что поссоримся... Ты приревнуешь...

— А ты рассказываешь, Коля? — упрекнул Муратов.

— Я молчал... Она просила «пока»... А теперь не все ли равно?.. И только тебе, Коля... Ты пойми... Ведь ты не свалял дурака, как я... Тебе ведь Маруся не говорила: «может быть, скоро»? — взволнованно и нетерпеливо спросил Быстредин.

— Свалял!.. — ответил Муратов.

— И тоже: «может быть, скоро»?

— Просто отказалась!

Быстредин облегченно вздохнул.

— Так ты не можешь почувствовать этого свинства... Тебя Маруся не обнадеживала!

Муратов понимал и чувствовал, что «свинство» не в том, за что Быстренин так возмущается, считая себя обиженным. И он проговорил:

— Ты, брат, умный и психологи разные любишь, а взъерепенился на Марусю из-за чего?.. Из-за того, что подала тебе надежду?.. Ну так что ж, что обнадежила... Тогда ты нравился, а потом... Да мало ли причин... Раздумала и шабаш! Да хоть бы слово дала... Разве уж не может взять его назад... В таких делах не позорно не сдержать слова... Любовь... это... сам знаешь, совсем особенная штука...

— Ну, положим... Особенная.

— Так извини, Коля, а в тебе только мужское самолюбие говорит. Втюрился, так и в тебя должны втюриться. А она не желает!

— Ну и черт с ней! — воскликнул Быстренин. — И ты, Алексей Алексеевич, пошли ее к черту. А то вообразит, что так мы и пропадем из-за нее... А выходить за борова все-таки свинство! — прибавил Быстренин.

— И не будем больше говорить о Марусе.

— Идет. Не будем. А за молодою женою борова не приударишь, Алексей Алексеевич?

— Это ты около чужих жен околачиваешься... А я не занимаюсь такой охотой. И тебя не хвалю.

— А я не вижу ничего дурного... Надо же нашему брату, лейтенанту, поухаживать за чужою женой, если своей нет...

— Женись.

— Маруся предпочла борова... На свадьбу пойдешь?

— Нет. А ты?

— Непременно пойду.

— Только смотри, Николай Иванович... У тебя ведь язык — враг твой...

— Так что же?..

— Не скажи Марусе чего-нибудь... понимаешь... обидного насчет замужества... Боров — не боров, а ее муж.

IV

Стояла чудная весна. В севастопольских садах цвели фруктовые деревья. На улицах благоухали акации. Бухты были оживлены с раннего утра. Суда обеих

черноморских дивизий, зимовавших в огромной Корабельной бухте, вооружались для предстоящего плавания. Мачты уже оделись такелажем и сетью снастей. Палубы приводились в порядок. Паруса были привязаны. С шаланд выгружались бочки с провизией и цистерны с водой.

В Корабельной бухте висела ругань боцманов. Через три дня все эти корабли — фрегаты, корветы, бриги, шкуны и тендеры — должны были выйти на рейд и выстроиться в две линии.

В начале первого часа дня Муратов и Быстренин, с пяти часов утра наблюдавшие за окончанием вооружения их судов, «Ласточки» и «Ястребка», возвращались домой, на квартиру, обедать последние дни перед плаванием вместе. Оба в стареньких рабочих сюртуках, в сбитых на затылки фуражках, с «лиселями», как называли черноморцы белевшие брыжжи воротничков сорочки, которые моряки носили, несмотря на николаевские времена, оба раскрасневшиеся, усталые и голодные, оба веселые и довольные, оживленно перекидывались словами о работах на их судах, боцманах и «молодчагах» — матросах, о скором плавании и о скором приезде в Севастополь Корнилова, начальника штаба главного командира черноморского флота и портов, — адмирала-умницы и грозы для командиров.

О Марусе друзья даже и не вспомнили. После выхода замуж она была забыта, тем более основательно, что уж перестала быть прежней чародейкой и не пробовала больше своих чар. Притихла. «Боров» был не из близоруких, на бульваре гулял вместе и не был любезен с молодыми людьми.

Друзья выпили по рюмке, с удовольствием съели суп, битки и блинчики, приготовленные вестовым Муратова Клименкой и поданные вестовым Быстренина Селезневым, и собирались было отдохнуть после обеда, как в комнату вошел охотник Бугайка, сильный и крепкий старик, в ловко сидевшем на нем измызганном старом буршлате и в стареньких грязных сапогах, в которые были засунуты побуревшие штаны.

Бугайка, отставной матрос, был отличным охотником, знающим все места в окрестностях Севастополя, Симферополя и Бахчисарайя. Он был бродяга по натуре и не боялся одиночества. Жена давно его бросила, и

Бугайка нанимал каморку в Корабельной слободке у старушки — вдовы боцмана. Но жил дома редко. Шатался с ружьем по крымским долинам и в горах. Выучился по-татарски и водил с татарами знакомство. Дичь продавал в Севастополе господам и часто дарил барчонкам ежей, лисичек, зайцев и кроликов. Деньги пропивал, угощая каждого. И затем снова уходил шататься с ружьем.

— Здравия желаю, Алексей Алексеевич! Здравия желаю, Николай Иванович!

Оба лейтенанта весело встретили Бугайку и удивились, что он в городе трезв.

Он осторожно достал из-за пазухи длинноухого с волнистой светло-желтой шерстью щенка и, прихватив его своею жилистой, корявой рукой за шиворот, поставил на пол и сказал:

— Правильный сеттерок! Полюбуйтесь, ваши благородия! Три карбованца прошу. Стоит!

Друзья подошли к щенку, и каждый из них с серьезным видом знатока выщупал визжавшего щенка, заглядывал в зубы, раздвигал глупые глаза, трогал нос, потягивал пушистый хвост и выворачивал уши.

Видимо, оба лейтенанта были от щенка в восторге.

И почти одновременно оба сказали:

— Беру, Бугайка!

— Возьму щенка!

Быстренин значительно прибавил:

— Не найденный?

— Не беспокойтесь, Николай Иваныч! Не подведу знакомых господ, ваше благородие! Ни у кого вокруг нет таких сук, чтобы... найти сеттерка. Одна Ахметкина сука под Бахчисараем недели три ощенилась. Ахметка и подарил утром кобелька... А хорош?

— Спасибо, Бугайка!

И Муратов и Быстренин полезли в карманы штанов за деньгами.

— Да кто ж берет щенка?.. Я думал, что я,— промолвил Быстренин.

— Я очень бы хотел, Коля!

— И мне хочется щенка!

— Да ведь твой Джек молодой, хороший пес. А моя Дианка стара... И чутье теряет...

— Джек горяч... Ни к черту... И сеттера у меня не было, а у тебя был...

И, любуясь сеттерком, Быстренин не без обиды прибавил:

— И как нам быть с щенком? Согласись, Алексей Алексеевич... Права на щенка одинаковые.

— Оттого-то я и прошу уступить его мне! — настойчиво проговорил Муратов, жадно взглядывая на щенка.

— И я прошу... Будь другом... уступи, Алеша!

В мягком голосе Быстренина звучала капризная нотка.

Муратов по совести считал, что его желание иметь щенка более основательно. И, всегда уступавший другу, на этот раз заупрямился и упорно сказал:

— Не имею оснований уступить!

— И у меня их ни малейших!

Бугайка насмешливо поглядывал своими маленькими острыми глазами на офицеров, которые не решили, по его мнению, «в секунд» насчет щенка, и, нетерпеливо ожидавший свои три карбованца, чтобы немедленно их пропить, проговорил:

— То-то всякому охотнику лестно иметь сеттерка... Выйдет собака! Он теперь что? Глупый! — ласково прибавил Бугайка, словно бы в оправдание за маленькую лужку под щенком. — А только войдет в понятие, хоть на палубу пускай — не оконфузит!.. Никак и не обсогласиться без того, что пустить сеттерка на фарт. Орел или решка!

— Видно, иначе нельзя! — серьезно промолвил Муратов и энергично пустил из длинной трубы клубки дыма.

— Никак без того не выйдет, и никому не обидно. Чье счастье... В один секунд объявится... Только вскиньте копейку, ваше благородие.

— Охота доверяться слепому слухаю, Алексей Алексеевич, — насмешливо сказал Быстренин.

— Приходится, Николай Иванович.

— Так уж, если ты упрям, лучше поддержим пари на щенка.

— Упрям, брат, ты... Какое пари?

— Кто из нас раньше снимется с якоря, — тому и щенок. Шансы у нас одинаковые! Согласен?

— Согласен!

«Щенок, верно, мой!» — подумал Муратов.

«Щенок мой!» — решил про себя Быстренин.

— Это вы ловко обмозговали, Николай Иванович, насчет «парея» на сеттерка. Ай да ловко, ваше благородие! Нашему брату, матрозне, и невдомек... Больше на фарт живем,— проговорил Бугайка с едва заметной иронической ноткой в своем сипловатом, приятном голосе и лукаво улыбаясь бойкими, смеющимися глазами.— И «Ласточка» Алексея Алексеевича — форменная шкунка, и «Ястребок» ваш — «дендер» форсистый... А матросы — на то и матросы... Не оконфузят своих командиров, чтобы самим не допроситься до дерки. Я часто просил и ведь жив остался,— усмехнулся Бугайка.

— Ты чего зубы скалишь, Бугайка? — строго спросил Быстренин.

— Известно... веселый охотник, ваше благородие, и пьяница... и спешка есть... Так уж дозвольте получить три карбованца... а магарыч сам справлю...

— Пропьешь?..

— Безотлагательно, Николай Иванович...

Бугайка получил три рубля. Муратов прибавил от себя полтинник, а Быстренин дал тоже полтину и велел вестовому дать охотнику стакан водки.

Бугайка довольно сдержанно поблагодарил за магарыч и торопливо вышел.

Щенок до совместной съемки с якоря «Ласточки» и «Ястребка» находился в общем владении.

На лето щенка решили отдать одному знакомому доктору при госпитале, охотнику и умеющему воспитывать щенков очень хорошо и не без той обязательной строгости, с какой воспитывали матросов.

А пока Муратов приказал вестовому немедленно купить молока и напоить щенка.

— И эти дни хорошенько смотри за ним! И не смей ударить! — прибавил Быстренин.

— Есть, ваше благородие... Как прикажете их звать? — деликатно спросил молодой матрос, указывая пальцем на щенка.

— Скажу потом. А теперь живо молока!

И, когда вестовой исчез, Быстренин сказал Муратову:

— Надо бы сейчас назвать щенка...

— Что ж, назовем.

— Хочешь, Алексей Алексеевич, назвать «Фингалом»? ведь звучно!

— Ничего... Но, признаюсь, не очень нравится...

— Выбирай, какое тебе более нравится... Спорить не стану, Алеша!

— «Шарманом», например... Он ведь действительно *charmant*¹.

— Кличка подходит к щенку... Но ведь «Шарманов» в Севастополе три. У доктора — «Шарман», у Балясного — «Шарман», у Захара Петровича — «Шарман»... Случится охотиться с кем-нибудь — неудобно... Впрочем, если ты настаиваешь, Алексей Алексеевич, назовем «Шарманом», — с усиленно ласковой уступчивостью говорил Быстренин.

— Ты прав, Николай Иванович! К черту «Шармана»! Придумай другую кличку. Ты придумаешь.

После нескольких прозвищ, которые не нравились обоим лейтенантам, остановились на кличке «Друг», внезапно пришедшей в голову Муратова.

Друзья остались довольны и разошлись по своим комнатам отдохнуть час, чтобы после снова идти на вооружение до вечера.

Муратов долго не мог уснуть.

Первый раз за время долгой дружбы в сердце Алексея Алексеевича внезапно явилось тяжелое чувство разочарования в друге.

Раздумывая о нем, он впервые отнесся к нему критически. И Муратов старался оправдать Быстренина и обвинял себя за подлые подозрения в черством эгоизме... И кого же? Единственного друга, которого так давно любит.

«Это невозможно. Это подло!» — повторял Муратов, отгоняя подозрения.

И все-таки не мог избавиться от назойливой, удручающей мысли, что Быстренин мог бы уступить щенка.

V

Через три дня черноморский флот стоял на севастопольском рейде. «Ласточка» и «Ястребок», оба заново выкрашенные, черные, с золотыми полосками вокруг бортов, с изящными линиями обводов, с красивой по-

¹ Прелестный, милый (франц.).

гибью мачт, с безукоризненной осадкой, отлично вытянутым такелажем и с белоснежной каймой выровненных над бортовыми гнездами коек,— стояли, недалеко друг от друга, в глубине рейда, в хвосте первой линии судов.

Оба были стройны, красивы и словно бы задорно блестали под блеском южного солнца.

С последним ударом восьмой склянки на всех судах взвились флаги и гюйсы, подняты брам-реи, и по рейду разнеслась музыка с кораблей, встречавшая подъем флага.

Майское утро было прелестно.

Ни облачка на бесстрастно красивом бирюзовом небе. Ни ропота моря. Полное властных чар, обаятельно-ласковое, дышавшее бодрящей свежестью, оно едва рябило.

Ни с простора моря, ни с гор не проносился ветер. Вымпелы едва колыхались.

Ни стоны, ни крики, то покорные, то ожесточенные крики беспощадно наказываемых линьками матросов, не нарушали тишины рейда.

Все злое, бесцельно жестокое и позорное, что творилось в старину, точно любило предрассветную полу-мглу и избегало яркого блеска роскошного утра.

Не оглашался заштилевший рейд и необузданно вдохновенной руганью старших офицеров и боцманов, обычной во время уборки судов. К подъему флага все суда уже блестали умопомрачающей чистотой.

Только изредка проносилось ожесточенно громкое морское окончание сухопутных слов, и среди тишины рейда раздавался исступленный капитанский окрик, похожий на дикий крик душевнобольного из буйной палаты.

С девяти часов на рейде воцарилась особенно торжественная тишина.

Старшие и младшие флагманы осматривали суда своих дивизий.

На кораблях то и дело играли марши, встречавшие и провожавшие адмиралов. По рейду разносился громкие матросские ответы на приветствия адмиралов.

Гичка с младшим флагманом пятой дивизии направилась в глубину рейда, где стояли корветы, бриги, шкуны и тендеры. Гичка приставала к разным судам и наконец пристала к «Ласточке».

На палубу шкуны вошла, быстро поднявшись по трапу, высокая, крупная, внушительная фигура старого контр-адмирала Ратынского с строгим и нахмуренным моложавым лицом, которого мичманы прозвали «адмиральшей» и «Сашенькой».

Он еще более выпятил грудь и приподнял густые адмиральские эполеты, еще более нахмурив брови, стараясь таращить свои добродушные глаза как можно сердитее, когда выслушал рапорты вахтенного начальника, молодого мичмана, и командира шкуны, лейтенанта Муратова.

Адмирал подал офицерам руки, поздоровался с выстроенной командой, велел распустить матросов и вместе с Муратовым пошел осматривать шкуну.

Добродушному адмиралу надоело казаться строгим, хмурить свои густые черные брови и подергивать широкими плечами, тем более, что он — и сам когда-то лихой капитан до женитьбы — приходил в восторг от образцового порядка и изумительной чистоты на «Ласточке».

И его лицо расплывалось в широкую улыбку, а небольшие темные глаза улыбались, и вся внушительная фигура адмирала, казалось, стала поменьше.

После осмотра, когда адмирал вместе с Муратовым поднялись наверх и остановились на шканцах, — адмирал проговорил:

— Вы знаете-с, Алексей Алексеевич, я строг. Очень строг-с!

Муратов не поддакнул, хотя и знал, что «Сашенька» любил, чтобы офицеры считали его строгим и на службе боялись его.

— Да-с. Служба... Нельзя без строгости. Но при всем том я не могу указать ни на малейшее упущение... Ваша шкуна — образцовая-с...

Муратов был всегда сдержан с начальством. Он не выразил на своем лице радостного чувства, не поблагодарил за похвалу и молчал.

А флагман продолжал:

— Да-с, обрадовали, Алексей Алексеевич... Такого порядка... не видел... Рад, что могу вам это сказать!

И адмирал крепко пожал руку Муратова.

— Вы увидите, ваше превосходительство, судно не хуже «Ласточки», — проговорил Муратов.

— Какое?

— «Ястребок», Александр Петрович.

— Вашего друга?

— Точно так. Быстренина.

— Посмотрю-с. До свидания.

И, перед тем как сходить по трапу, адмирал проговорил уже совсем не как начальник:

— А что забыли нас, Алексей Алексеевич? Жена недовольна... Зайдите к ней...

— Постараюсь, Александр Петрович...

«Ястребком» адмирал восхитился не меньше чем «Ласточкой», а молодой командир тендера просто-таки обвожил его.

Скрывая улыбку, Быстренин как будто слегка испугался появления нахмуренного «Сашеньки» и немедленно согласился с ним, что он строг и что его боятся. Быстренин очень тонко показал, что польщен горячей благодарностью восхищенного адмирала, обещал на днях же быть у адмиральши, ловко осведомился, когда Маруся обедает у своих, и получил приглашение обедать в воскресенье, если не уйдет в море.

В тот же день адмирал, докладывая старшему флагману о посещении судов, особенно хвалил «Ласточку» и «Ястребка». Хвалил обоих командиров, но Быстренина сердечнее и экспансивней.

— Муратов превосходный и достойный офицер... Только какой-то скрытный... Будто не очень ценит похвалу адмирала...

А про Быстренина сказал:

— Блестящий офицер. И капитан-умница. И на берегу умница. И душа нараспашку...

— Оба лихие офицеры! — согласился седой высокий старик.

И, подумавши, прибавил:

— Только полагаю, что Муратов основательнее и серьезнее.

Вечером друзья сошлись в морском клубе.

— Ну как «Сашенька»? Был доволен «Ласточкой»? Не выдержал роли строгого адмирала? — весело спрашивал Быстренин.

— Доволен! — скромно ответил Муратов и заботливо спросил:

— Твоим «Ястребком», конечно, остался очень доволен?

— В восторге!

— То-то! — обрадованно промолвил Муратов.

— Ну да я, признаться, не тронулся его восторгами. — Ведь он — «Сашенька» и «адмиральша»! — с презрительной улыбкой сказал Быстренин...

— «Сашенька»... «адмиральша», а службу понимает и добрый, честный человек... Я, брат, доволен, что «Сашенька» нас похвалил.

— В воскресенье звал обедать. Адмиральша недовольна, что давно не был. А тебя звал?

— Обедать не звал. Да и я хочу идти к доктору обедать. Только едва ли... Если задует хороший ветер, уйдем в море...

— И разыграется наш «Друг».

— Ддда! — протянул Муратов.

В субботу с вечера задул зюйд-вест, и в ночь за-свежело.

В воскресенье, в шесть часов утра, на флагманском корабле был поднят сигнал: «сниматься с якоря и идти в Феодосию».

Быстренин вернулся с берега поздно и спал, когда сигнальщик вбежал с докладом.

— Ваше благородие!

Ответа не было. Сигнальщик дернул Быстренина за руку.

Прошло две-три минуты, когда Быстренин выскочил наверх.

Хотя и без него работы по съемке с якоря были начаты, но молодой мичман не умел распорядиться как следует, и баркас еще не начинали поднимать.

— Баркас! Баркас! — как зарезанный крикнул Быстренин.

Он взглянул на «Ласточку». Там уже поднимали баркас.

Быстренин понял, что он опаздывает.

— Зарезали, Михаил Никитич! Запорю боцмана! Всех запорю! — в бешенстве крикнул Быстренин.

И в эту минуту, казалось, он мог запороть.

Боцман было бросился с людьми поднимать баркас, но Быстренин вдруг велел отставить. Все удивились

приказанию и тому, что командир уж не кричал, как бесноватый, что запорет, хотя и никого еще не запарывал.

По лицу Быстренина пробежала торжествующая улыбка. Он подозвал боцмана и приказал:

— Потопить баркас! Понял?

Боцман ошелел.

— Скотина! Потопи за кормой... Не заметят... и буек!.. Вернемся — поднимем...

Боцман понял и радостно ответил:

— Есть... «Ласточек» нос утрем, Николай Иванович!..

Боцман убежал, а Быстренин побежал на шпиль, где выхаживали якорь, и уже не грозил перепороть, а заискивающим голосом молил:

— Братцы, навались... братцы, ходом!

Матросы наваливались.

Быстренин просветлел. Он и отличится и выиграет pari. И, довольный, что придумал такую остроумную «штуку», не вспомнил, что pari будет выиграно неправильно и что скажет друг Муратов, если узнает.

«Разумеется, никто не должен знать. Никто на тендере не расскажет!» — подумал Быстренин, когда у него пробежала мысль, что начальник дивизии может узнать.

— На гроб... На кливера!..

Боцман прибежал и доложил, что баркас потоплен.

— Чехол надень на распорки... Будто баркас...

— Есть! — ответил боцман.

«И ловок же!» — подумал боцман.

Прошло еще несколько минут.

— Кливера ставить. Гроб садить! — точно в восторге скомандовал Быстренин.

На «Ласточек» только послали людей по вантам.

VI

Муратов уже пил чай в своей маленькой каюте, когда вбежал сигнальщик и доложил о сигнале.

И в ту же минуту Муратов услышал команду вахтенного мичмана:

— Свистать всех наверх. Сниматься с якоря!

Боцман просвистал и повторил команду.

Муратов выскочил на мостик.

Скрывая волнение, серьезный и, казалось, спокойный, он крикнул:

— На шпиль! Гребные суда поднять!

Матросы работали вовсю. Муратов не кричал, не ругался, как обезумевший. Он был строг, случалось, наказывал, но не «зверствовал».

И матросы были довольны своим командиром.

Не прошло и десяти минут, как все гребные суда были подняты.

Еще оставалось минут пять, чтобы якорь отделился от грунта,— стал на «панер»,— и шкуна, одетая парусами, пошла.

«Щенок мой!» — подумал Муратов.

Он слышал отчаянный окрик с «Ястребка»: «Баркас, баркас!» и обезумевший крик: «Запорю!» — Очевидно, баркас не был еще поднят на «Ястребке», когда на «Ласточки» уже поднимали. И у «Ласточки» несколько минут впереди. Он обернулся назад — взглянуть, что на «Ястребке». Но «Ястребок» стоял в линии последним, и за другими судами, стоявшими в кильватере,— нельзя было видеть, что делается на «Ястребке».

Эти последние минуты казались Муратову вечностью.

И самолюбие моряка, и щенок — по справедливости его щенок,— и честь «Ласточки», и честь его команды, которая может быть отличной и без модной жестокости, и незаглохшее чувство разочарования в друге,— все это волновало Муратова, и он желал победы, точно чего-то необыкновенно важного, решающего его судьбу.

И он невольно перекрестился и прошептал: «Слава тебе, господи», когда раздался голос боцмана: «Панер», и «Ласточка» тронулась...

Вдруг друг побледнел и, казалось, не верил глазам.

Мимо «Ласточки» несся, почти лежа на боку и чертя подветренным бортом воду, красавец «Ястребок», имея на своей высокой мачте всю парусину незарифленной и на бугшприте все кливера.

У наветренного борта стоял Быстренин, красивый, но слегка побледневший, улыбающийся, казалось, торжествующий, и, снимая фуражку, крикнул Муратову:

— Щенок мой!

— Твой! Ты — волшебник! — ответил Муратов.

Забирая ходу, тендер летел к выходу с рейда.

Шкуна летела за ним, нагоняя его.

Тогда на «Ястребке» подняли «топсель». Тендер совсем лег на бок.

На флагманском корабле взвились позывные «Ястребка» и сигнал: «Адмирал изъявляет свое удовольствие».

«Правильно. Молодчина Быстренин!» — подумал Муратов, любуясь бешеною отвагой друга и все еще недоумевая, как он мог так скоро поднять баркас и раньше сняться с якоря.

VII

Мичман с «Ястребка» проболтался о потоплении баркаса, и «штука» Быстренина стала известной в Севастополе.

Многие моряки восхищались выдумкой Быстренина.

Старый адмирал, начальник пятой дивизии, потребовал Быстренина на флагманский корабль.

Лейтенант вошел в адмиральскую каюту далеко не в приятном настроении.

Адмирал подал руку Быстренину и сказал:

— Находчивы, молодой человек, и лихо управляетесь «Ястребком», — хвалю-с.

Но старое, сморщенное лицо адмирала было серьезно и сделалось строгим, когда старик продолжал:

— И все-таки объявляю вам строгий выговор-с. Понимаете, за что-с?

— Понимаю, ваше превосходительство! — ответил Быстренин и самолюбиво вспыхнул.

— Впредь не фокусничайте. Нехорошо-с. Что бы вы сделали, если бы баркас был вам нужен в те дни, когда были в море? Я отдал бы вас под суд-с. И не пощадил бы... Служба — не фокусы...

И после паузы прибавил:

— Слышал-с, держали пари?..

— Точно так!

— Так ведь вы и проиграли... Не так ли-с?

— Разумеется... И щенок — не мой.

— Я был уверен, что вы так поступите! —мягче промолвил старик и, подавая руку Быстренину, сказал, что он может идти.

Через неделю «Ласточка» возвратилась в Севастополь из крейсерства у кавказских берегов.

Быстренин тотчас же поехал к Муратову и после первых приветствий сказал:

— Пари ты выиграл, Алексей Алексеевич! Щенок твой...

— Почему?

Быстренин рассказал, почему он раньше снялся с якоря, и прибавил:

— Не сердись, Алеша, увлекся...

Хоть Муратов и не сердился, и друзья продолжали болтать, но оба почему-то почувствовали, что между ними вдруг пробежала кошка.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР

Рассказ

I

В ночь сочельника трехмачтовый военный крейсер «Руслан» шел под всеми парусами, узлов по десяти, спускаясь к южным широтам.

«Руслан» легко рассекал воду и плавно раскачивался с бока на бок между волн, казалось, почтительно отступающих от него. Ветер был резкий, холодный, но не крепкий и ровный.

Океанская зыбь еще не улеглась. Она вздувалась, и высокие волны с однообразным тихим гулом лениво разбивались одна о другую, и пенящиеся их верхушки рассыпались алмазною пылью, облитые серебристым таинственным светом месяца.

Холодом и какою-то безнадежною тоской одиночества веет и от заседевшего холмистого океана, и от беспристрастно красивой луны, и от звезд, ярко мигающих с темной бездонной выси. Стоящие на вахте матросы, одетые в буршлаты поверх фланелевых рубах, словно бы поддаются тоске этой ночи. И им острее чувствуется, что жизнь их — скверная, служба — проклятая и море — постылое. Молчаливые и серьезные, они взглядывают на океан, отворачиваются от него, и в эту рождественскую ночь их еще сильнее манит домой. И они тихо лягничают между собой о далеких своих местах.

II

И «Ганцакурату Кару Карычу», как прозвали матросы педантичного, хладнокровного, справедливого и добросовестно-недалекого капитана, барона Оскара Оскаро-

вича Нордштрема, и офицерам «очертел» длинный переход. Казалось, в этот вечер большая часть офицеров, засидевшихся в роскошной кают-компании, освещенной электричеством, дольше обыкновенного, скучала и нервничала еще более, чем в прежние дни перехода из Шербурга прямиком в Батавию.

Особенно приуныли семейные.

Даже старший офицер Евгений Николаевич, красивый румяный брюнет с роскошной бородкой, блестящими зубами и золотым *porte-bonheur*¹ на руке, любивший казаться служителем суворого долга,— которому некогда скучать в море, да и неприлично — былдержанно и достойно серьезен и задумчив.

Обыкновенно великолепный и любивший вставлять веские, авторитетные слова в общие разговоры, любезный со всеми и ни к кому не выказывавший особого расположения,— старший офицер молчал и думал, что встречать праздник несравненно лучше дома, в Петербурге, чем на «Руслане», да еще с людьми, хоть и хорошими, но далеко не такими тонко чувствующими и умными, как он. И, разумеется, Евгений Николаевич не сомневался, что Вавочка, устраивая елку, поплакала о своем одиночестве и, бедная, очень горюет в разлуке.

И с наивно влюбленностью в себя он размышлял:

«Еще бы Вавочке не горевать о нем, внимательном, заботливом, любящем семью! Еще бы не ценить Вавочке такого умного и хорошего человека, который так развел ее ум, так балует подарками! Она знает, что он сделает блестящую карьеру, и семья будет обеспечена. Еще бы не любить такого безукоризненного мужа, который если и изменяет супружескому долгу, то только в дальнем плавании и единственно ради здоровья! Недаром же Вавочка боготворит и смотрит ему в глаза, всегда боящаяся огорчить его. Она — чудная, честная женщина и, разумеется, не позволит себе «подло увлечься», как увлекаются многие соломенные вдовы плавающих моряков... Она и не подумает!»

И в ту же минуту Евгений Николаевич мысленно решил, что в Батавии он непременно съездит на берег.

Другие женатые моряки, вероятно, не считали себя

¹ браслетом без застежки (*франц.*).

такими великолепными идолами, на которых их жены могли бы молиться. Напротив, если некоторые мужья и не были идолопоклонниками, то во всяком случае — верноподданными своих королев-супруг. Вот отчего они и не могли скрыть, что им сиротливо и одиноко вдали от любимых, да еще в такой вечер.

Особенно был подавленно-грустен старший механик Иван Васильевич, необыкновенно добродушный и милый человек, лет за сорок, которого машинисты и кочегары иначе не называли, как «нашим». И все знают, что старший механик тоскует по своей «королеве Марго», как мичманы прозвали Марью Васильевну.

Ни для кого не было секретом, что этот высокий, плотный и сильный молодец с характером и волей, не позволяющий начальству наступить на ногу, находился в полном рабстве у своей маленькой, худенькой и молодой жены с бледным лицом цыганского типа. Она называла себя непонятой женщиной двадцатого века и не скрывала от Ивана Васильевича, что у него грубая натура, не понимающая ее возвышенной души, и что может понимать ее один только мичман Севрюгин. В утешение она прибавила, что если не оставляет Ивана Васильевича и не ищет заработка, то потому, что она — благородная женщина и не хочет огорчать мужа... Он хоть и низменно ее любит, но любит и ее и детей, так пусть Иван Васильевич остается мужем, не понимая ее, а мичман в то же время будет понимающим другом...

Иван Васильевич еще благодарил жену и, уходя в дальнее плавание, ревел как белуга и обещал привезти все, что написала жена в списке, переданном мужу при проводах.

Лейтенант Вершинин, от скуки выпивавший третью бутылку портера, проговорил:

— Что, Иван Васильевич... Небось, об елке мечтаете?

— Вообще! — деликатно ответил Иван Васильевич.

— То-то вообще... И я вообще думаю, что скучиша... Тоже поехал бы к знакомым на елку... А вместо этого с полуночи на вахту... Что бы нам зайти на Мыс... Там по крайней мере... англичанки...

Молодой доктор, сидевший за книгой, поднял глаза на Ивана Васильевича.

«Тоже любовь!» — высокомерно подумал доктор и собирался предложить Ивану Васильевичу применить к нему новое средство излечения от страсти, вычитанное недавно им из медицинского журнала.

Видимо не имевшие темы для разговора два скучающие мичмана лениво перекидывались словами о том, когда Батавия и что там интересного, будут ли они произведены в Новый год в лейтенанты, сколько каждый выплыл ценза, и сели играть в шахматы.

— Что бы нам зайти на Мыс! Там по крайней мере англичанки! — раздражительно воскликнул Вершинин.

Мичманы оживленно встрепенулись. И один проговорил:

— Вот так чудесно... А то знакомься с малайками на Яве...

— И отчего в самом деле мы не зайдем на Мыс... И нам и команде следовало бы освежиться... А то за какие вины с ума сходить от одури?

— Вам, господа, только на уме берег... Тогда не поступали бы во флот! — заметил старший офицер.

— Я и уйду из флота, Евгений Николаич!

— В чиновники? — спросил старший офицер.

— В чиновники. Дядя — товарищ министра. Он устроит.

— Нынче везде без протекции ничего не получишь! — заметил Вершинин.

— Уж будто!.. Нужно и образование, и труд, и способности, — авторитетно промолвил Евгений Николаевич.

Мичман Каврайский, худой, нервный молодой человек с умными небольшими глазами, горевшими злым блеском, сидел в стороне, в кресле у фортепиано, слушал и злился. Злился и оттого, что ему противна служба и он служит, и потому, что он молод и часто кашляет, и потому, что он не знает, к чему приступиться и что делать, чтобы не чувствовать постоянного компромисса, и потому, что он не может отделаться от того, что считает позорным, — от лжи, от лицемерия и зависти. Он злился, что слышит здесь одну только пошлость и никто не обращает внимания на его речи, обыкновенно останавливаляемые старшим офицером. Он злился и за то, что не может написать на бумаге то, что волнует его и занимает его мысли, — о пересоздании общества, о но-

вой этике,— и за то, что не умеет сложить стихов. Он злился и за то, что он обречен на неизвестность, и что нет у него друга, перед которым мог бы излиться...

Каврайский услышал последние слова старшего офицера, главное — этот тон, увидал красивое, самодовольное лицо.

«Экая ты великолепная скотина!» — хотел крикнуть Каврайский и, вместо этого, волнуясь, проговорил:

— Вы, Евгений Николаевич, конечно, будете адмиралом...

Выходил как будто и комплимент, но старший офицер почувствовал, что хотел сказать Каврайский, и, словно бы не слыхал его слов и обратился с чем-то к доктору.

III

— К повороту оверштаг! Право на борт! — донесся через люк взволнованный и неестественно громкий голос вахтенного офицера.

И в эту же минуту прибежал сверху рассыльный и доложил:

— Справа шлюпка с людьми! Огонь подали.

Все оживились и бросились наверх.

«Руслан» повернулся к огоньку, лег в дрейф, и баркас спустили. Ехать на баркасе вызвался Каврайский. Лейтенант Вершинин, заведующий баркасом, охотно согласился. С Каврайским отправлялся доктор. Взяли одеяла и бочонок с ромом, и баркас отвалил.

— А ведь нас может и залить, доктор! — проговорил Каврайский, правя рулем и не отрывая возбужденных, уже не злых глаз с волн.

— Очень жаль, что вы окажетесь плохим моряком, язвительный мичман... У вас печень не в порядке...

— Не зальет! Людей спасем... — восторженно восхликал мичман.

И на лунном свете его худое, некрасивое лицо казалось таким проникновенным, счастливым.

Беспокоились за баркас и на «Руслане».

И белокурый барон говорил старшему офицеру с едва тревожной нотой в голосе:

— Надо было послать баркас, но если основательно сообразить, то, пожалуй, и не следовало бы...

— Уже поздно теперь соображать, барон!..

— О, нет. Сообразить всегда необходимо, Евгений Николаевич!.. Положим, Каврайский — толковый офицер... Найдется в трудном положении...

Старший офицер промолчал.

— Это про что «Ганцик»? — тихо спрашивал унтер-офицер, подходя к рулевым на штурвале.

— Опасается за баркас.

— Эря. Ежели люди на шлюпке в океане, то по какой такой причине нашему баркасу пропасть...

— И как людей не вызволить! — промолвил старший рулевой.

— Мичман вызоволит. Башковатый и отчаянный, — уверенно сказал унтер-офицер и отошел к своему месту, на шканцы.

Прошло полчаса.

Барон то и дело взглядывал в бинокль. Ни шлюпок, ни огня не было видно.

Барон вздохнул.

— Я и говорил, что надо было обсудить прежде, — снова проговорил Оскар Оскарович.

Прошло еще четверть часа.

— Сигнальщик, видишь?

— Никак нет, вашескобродиел..

— Конечно, надо было послать баркас, но...

Барон речи не досказал. Он увидел в бинокль, что баркас идет к «Руслану».

IV

Наконец подошел баркас и был поднят.

На палубу вошли десять англичан, видимо, матросов с купеческого корабля, спокойно радостных и счастливо улыбающихся, и совсем непохожий ни на моряка, ни на англичанина немолодой господин среднего роста с большой окладистой бородой, в летнем стареньком пальто, высоких сапогах и с сомбреро на красиво посаженной голове.

Обличье и манера показывали интеллигентного человека. Он, казалось, был равнодушен к своему спасению.

В первое мгновение его приняли за шведа или норвежца.

Но велико было общее изумление, когда доктор весело и радостно проговорил, обращаясь к капитану и офицерам, окружившим спасенных:

— Соотечественник... Русский... Сергей Сергеевич Курганин... Пойдемте, Сергей Сергеевич... Сейчас чаю и закусить...

— А поместитесь ко мне, Сергей Сергеевич! — воскликнул Каврайский, весь мокрый.

Все радостно жали руку бородатому господину. Со всех сторон слышались восклицания:

— Как сюда попали?

— Откуда?

— Куда шли?

— На каком пароходе потерпели крушение?

— Потом расскажете мне подробно, Сергей Сергеевич... А пока отдохните после этого ужасного испытания! — говорил капитан.

Курганин слегка приподнимал сомбреро, показывая кудрявые, сильно заседевшие волосы, и не выказывал никакой радости от того, что находится среди любезных соотечественников, и на все вопросы отвечал коротко и даже суховато: «Шел из Вальпарио на грузовом английском пароходе. Вчера ночью он сгорел. Все спаслись и успели взять свои вещи. Другая шлюпка с капитаном и штурманом ночью разлучилась...»

Затем Курганин пошел за инженером-механиком и Каврайским в кают-компанию. Всем бросилось в глаза это равнодушие Курганина, и его посещение Вальпарио, и какая-то сдержанность.

Особенно он удивил капитана. Подозвав доктора, он ввел его в свою каюту и тихо и несколько значительно спросил его:

— Кто такой этот господин?

— Я назвал: Курганин.

— Это я слышал, доктор. Но я бы спросил вас, какое его общественное положение, так сказать?

— Не знаю. Не спрашивал, барон... Курганин не из разговорчивых... Но по некоторым его словам видно, что он из интеллигентных людей.

— Зачем же он попал в Вальпарио? — спрашивал капитан, и его лицо выражало недоумение.

— Верно, путешествует, барон! — нетерпеливо проговорил доктор.

— На грузовом пароходе?

— А что ж... Если нет больших средств.

— Без средств не путешествуют так далеко. Вы заблуждаетесь, любезный доктор... Я плавал много, а в отдаленных странах таких туристов я не видел. Не понимаю. Решительно не понимаю, доктор!

И, видимо старающийся понять и обеспокоенный, что не может понять, барон раздумчиво покачал головой и продолжал:

— Очень странно! «Есть много, друг Горацио...» А вы, доктор, пожалуйста, не беспокойте пассажира распросами... И намекните, чтобы в кают-компании были деликатны... Все-таки не наше дело, почему этот господин в Вальпарио... Не наше... И вы, доктор, уж пожалуйста, как тоже больше статский человек, позаботьтесь о пассажире, и вообще, чтобы ему было, знаете ли, спокойно и хорошо... Мне кажется, что он болен... Такое у него лицо... Англичане счастливы, что спасены, а он... Может быть, пожар так подействовал на него...

И, несколько конфузясь, прибавил:

— И вот что еще, доктор... Знаете, так деликатно нужно... Если пассажир, вы понимаете... без средств в путешествии, то как-нибудь... предложите ему взять в долг... Я охотно могу передать вам некоторую сумму... У меня есть лишние сто долларов... Так я, доктор...

Все еще ошалелые глаза барона светились выражением доброты и в то же время стыдливости, когда он прибавил:

— И, прошу вас, доктор, чтобы ни одна душа не знала!..

«Славный ты немца», — подумал доктор и сказал:

— Будьте спокойны, барон. Но я думаю, что Курганин не возьмет... Что-то у него в лице есть... И — вы правы — нервы у него, должно быть, не в порядке.

В эту минуту вбежал рассыльный.

— Старший офицер велел доложить: прикажете сниматься с «дрейфы»?

— Разумеется... Сниматься...

И, когда рассыльный вышел, барон, любивший сообщать доктору все свои случайные недоумения, сказал:

— Вот и этих англичан... придется везти до Батавии...

— А им, барон, и Курганину нужно на мыс Доброй Надежды...

— То-то и затруднение. Я решил не заходить на Мыс... Так и доложил в Петербурге управляющему министерством... Мы можем делать шикарный переход... И адмирал мне сказал: «Ну что ж... хорошо!..» И мне хочется оправдать его слова...

— Да разве, барон, министру так и нужно, если он сказал: «Ну что ж... хорошо...» Право, ему все равно...

— Но мне не все равно! — не без горделивости промолвил капитан.— Правда, появилось новое обстоятельство... Эта шлюпка с русским и англичанами... В том и затруднение... Я уже решил не заходить на Мыс...

— Так завезите англичан и русского в Каптаун... И наша команда освежится... и офицеры... Да и вам, барон, надо развлечься...

— Но как же... Вдруг на Мыс...

— И, право, отлично, барон... Матросы уж затосковали... Да и кают-компания нервничает... Еще бы... Ну, я пойду, барон... Пассажира буду угощать...

— Так вы, доктор, можете по долгу службы подать мне рапорт о том, что для здоровья команды необходимо зайти на Мыс?..

— Обязательно и с восторгом, барон! — сказал доктор и, повеселевши, вышел в кают-компанию.

V

По случаю аврала офицеры были наверху.

Только старший механик оставался около Курганина и хлопотал, чтобы ему скорее подали закусить и чаю.

Неожиданный пассажир хоть и очень интриговал Ивана Васильевича, но уже не производил на него прежнего неприятного впечатления.

Его сухощавое и серьезное лицо, изрезанное морщинами, умное и спокойное, было не из веселых и довольных, и в его глубоко сидящих глазах было что-то тосклившее и вместе с тем непокорное. Но оно не казалось таким суро-равнодушным и пренебрежительно-сдержаным, каким казалось всем в первый момент появления соотечественника на «Руслане».

Но все-таки что-то странное, непохожее на других, что чувствовалось в этом скромно одетом молчаливом господине, несколько стесняло добряка Ивана Василье-

вича, и он деликатно не навязывался к нему с расспросами.

Старый механик то и дело пододвигал Курганину то сыр, то колбасу, то разные консервы и вино, и был очень доволен, что человек, только что выскочивший из большой опасности, сидит здесь, где тепло и светло, и уписывает все за обе щеки почти что с жадностью.

Пришел доктор и стал угождать гостя.

— Уж меня угождает господин инженер... Спасибо. Я ем за троих. Забыли взять провизию с парохода.

— И вы не ели сутки?

— Вода была...

Он потом выпил два стакана чаю и спросил:

— Вы куда идете, господа?

— В Батавию,— отвечал механик.

Несколько минут прошло в молчании. Пассажир с удовольствием пил чай.

— Ура! Идем на Мыс! — радостно воскликнул лейтенант Вершинин, входя в кают-компанию.— Сейчас барон велел переменить курс. И пообедаем же мы на берегу после подлых консервов! И увидим, доктор, женскую красоту... Там ведь англичанки. Готовьте только денежки, доктор и Иван Васильевич!

Старший механик добродушно запротестовал.

— Не врите... Я женатый...

— Скажите, пожалуйста, какой Иосиф прекрасный!.. Жена в Кронштадте, а вы будете в Капштадте... Наверно туда дернем. От Каптауна два шага...

И, обращаясь к Курганину, лейтенант сказал:

— Мы вас спасли, а вы — нас. Из-за вас да англичан капитан идет на Мыс... Следовательно, не спаси мы вас, не видать бы нам англичанок... Восхищайся малайками... Так позвольте выпить за ваше здоровье... Какого вина прикажете?

— Никакого.

— Почему?

— Не пью.

— По принципу?

— Из-за печени.

— В таком случае один выпью... Ваше здоровье! Пришли в кают-компанию и другие офицеры. Все были оживлены.

Еще бы! Через два дня моряки будут на берегу.

И по такому-то случаю кто-то велел подать бутылку шампанского. Содержатель кают-компании приказал подать десять бутылок.

— Согласны, господа?

Все, разумеется, согласились.

Выпили за скорый приход на Мыс. Выпили за капитана, за старшего офицера, за кают-компанию.

Доктор и Каврайский предложили тост за спасенного соотечественника.

Тост был принят сдержанно. Пассажир не разделял общего оживления и многим казался несимпатичным и даже подозрительным. Не рассказывает ни о пожаре на пароходе, ни о себе, ни о том, чем занимается и зачем путешествует.

Подвыпивший Вершинин даже подумал: «Уж не стибрил ли пассажир крупного куша и не бежал ли из России? По всему видно, что умный человек!»

Однако все подняли бокалы. Курганин только притупил из своего бокала.

А Вершинин чокнулся и «дипломатически» спросил пассажира:

— Мне кажется, я вас встречал в Петербурге?

— Возможно... Я долго жил в Петербурге.

— Так... так... Извините... Не были вы директором банка?

— Нет! — усмехнулся пассажир.

— Значит, ошибся... А очень на вас похож один директор банка...

— Если бы Сергей Сергеевич был директором банка, то не путешествовал бы на грузовом пароходе! — заметил мичман.

А Каврайский озлился и хотел проучить Вершинина, но вместо того сказал ему:

— Вы... много выпили шампанского!

Молчаливый пассажир взглянул на мичмана, и в глазах его мелькнула ласковая улыбка.

Особенно не нравился пассажир старшему офицеру. Он сразу почувствовал, что этот господин совсем чужой и не из «порядочных» людей. Это видно и по костюму, и по серой фланелевой рубахе, и по несколько грубоватым рукам.

«Да и черт знает, что это за птица? Русский — так и будь русским! Должен почувствовать, что с русски-

ми!.. А между тем сидит точно янки... Скотина!.. Точно не знает приличия».

И старший офицер с усиленной любезностью проговорил:

— Не будет нескромным, если спрошу, давно ли вы из России?

— Год...

— И, верно, соскучились по России?

— Нисколько! — просто и искренно ответил пассажир.

Многие переглянулись.

— Даже нисколько?.. Вы — оригинальный соотечественник! Ведь как там заграницы ни хороши, а отечество... свое... родное! — впадая в некоторый пафос, продолжал старший офицер.— И там свое дело... служба... друзья... И, главное, домашний очаг... Жена... дети...

И так как пассажир поднял свои внимательно-серые глаза на Евгения Николаевича и не торопился отвечать, ожидая, что еще скажет этот видимо влюбленный в себя моряк, то старший офицер почувствовал к пассажиру еще большую неприязнь и, внезапно закипая злостью, продолжал:

— И что, собственно говоря, особенно привлекательного в заграницах?.. Разве что природа, да, пожалуй, хорошие гостиницы... А если сравнить, где проще и сердечнее люди, где больше не показного, а настоящего патриотизма... Где?.. Неужели все эти говорильни не показали их бессилия сделать что-нибудь серьезное...

Пассажир по-прежнему молчал.

И старший офицер не без раздражения спросил:

— Вы, верно, не согласны со мной?..

— Не согласен!

Многие с удивлением взглянули на пассажира.

А старый механик, разрешивший себе кроме шампанского пройтись и по хересам и почувствовавший себя решительно несчастным вдали от королевы Марго, обратился к пассажиру и, слегка заплетая языком, проговорил:

— Сергей Сергеевич!.. Вы не согласны. И это ваше дело. Быть может, и я с вами соглашусь, если узнаю, почему вы не согласны... Но вот мы здесь... Черт знает где... Вы чуть не погибли. Так неужели вас не тянет в Россию... к домашнему очагу?.. А я так сейчас бы

в Кронштадт... Извините, Сергей Сергеевич... Сию бы минуту...

— Да у меня семейного очага нет, Иван Васильич! — промолвил пассажир.

— Вы, верно, спать хотите, Сергей Сергеич? — с дипломатической целью спросил доктор.

— И очень.

С этими словами пассажир встал и, сделав общий поклон, ушел в каюту в сопровождении Каврайского.

Когда шампанское было выпито и пора было расходиться, старший офицер не без таинственности произнес:

— А ведь загадочный пассажир!

Почти все согласились, что загадочный.

Были разные предположения: или у пассажира на душе преступление, или он — государственный преступник, бежавший из Сибири, или политически неблагонамеренный человек.

Доктор и Каврайский протестовали против всех предположений.

— Но кто же он такой? — допрашивали офицеры.

— Отчего не объяснит, кто он?

VI

В течение двух дней пассажир сидел в каюте и что-то писал. В кают-компании он по-прежнему был малоразговорчив и на вопросы отвечал лаконически. От предложения доктора дать взаймы он отказался.

Он поблагодарил доктора и сказал:

— Я могу зарабатывать везде... А у меня теперь скромные привычки!

Пассажир заинтересовал всех офицеров. А старший офицер даже начинал трусить. И перед приходом в Каптаун доложил и без того озабоченному капитану:

— Как бы чего не вышло, барон... Если пассажир и вдруг... опасный злоумышленник.

— Так нам какое дело... Мы спасали человека в море! — негодящее сказал барон. — И почему он должен быть злонамеренным?

Однако и барон был смущен. Ведь в самом деле он так и не знает, кто же у него пассажир. Надо же обозначить в рапорте, какого звания спасенный...

— Как же выйти из этого затруднения? — спрашивал барон.

— Очень просто. Спросите у пассажира... И пусть покажет паспорт...

— Пфуй, как вам не стыдно, Евгений Николаевич! Пфуй! Schandel!¹ Я и так поверю, что он скажет... И по долгу службы спрошу... И запишу, как он покажет...

Когда «Руслан» бросил якорь и пассажир пришел проститься с капитаном, барон крепко пожал руку Курганина, пожелал всего лучшего и, краснея, прибавил:

— Извините... Мне придется написать в рапорте, когда нам бог привел встретить в океане и отвезти в Каптаун... Ваше звание... или чин... или... ну, как вам угодно, Сергей Сергеевич... А мне никакого нет дела... извините... Или...

Пассажир улыбнулся и подал свой заграничный паспорт.

— О, мне не надо... Не надо...

— Так, верно старшему офицеру необходимо. Не угодно ли...

Старший офицер взял и прочитал:

«Отставной статский советник князь Сергей Сергеевич Курганин».

Евгений Николаевич, несколько сконфуженный, возвратил пассажиру паспорт.

Курганин простился с офицерами и с некоторыми матросами и уехал на берег.

Когда все офицеры узнали, кто был пассажир, он сделался во мнении всех еще более загадочным.

¹ Срам! (нем.).

МИССИС ДЖИЛЬДА

I

«Чайка», красавец военный трехмачтовый клипер, слегка накренившись, неся под всеми парусами с по-путным ровным зюйд-вестом, направляясь из Гонолулу, на Сандвичевых островах, к берегам Калифорнии, в Сан-Франциско.

Был седьмой час чудного июньского вечера.

Солнце, ослепительно заалевшее, медленно, величаво и словно бы нехотя опускалось за горизонт, заливая его блеском пурпур и золота и окрашивая часть бирюзово-голубого неба какими-то волшебно нежными переливами всевозможных красок.

Палящий зной дня прошел. От волнистого безбрежного океана веяло прохладой. Казалось, не надышишься этим чистым морским воздухом.

Океан тихо рокотал. В этом рокоте не звучал угро-зой морякам и не натягивал их постоянно напряженные нервы. Могучие волны прозрачной синевы с седыми, ослепительной белизны, верхушками одна за другою с тихим гулом разбивались о клипер, обдавая его алмазною водяною пылью, и покачивали его с бока на бок с ласковою осторожностью доброй няньки.

За кормой слегка пенилась серебристая лента и вдали исчезала, сливаясь с волнами.

Было тихо и торжественно кругом на беспредельном просторе океана, часть которого была охвачена заревом заката. И эта торжественность природы невольно передавалась многим чутким душам моряков.

Вахтенные матросы, стоявшие у своих снастей, не перекидывались словами. Они притихли и, любуясь на

величавый закат, невольно отрещались от обыденных мыслей, приподнято настроенные. У многих вырывались невольные вздохи, те вздохи безотчетной грусти, которая охватывает людей, чувствующих красоту и таинственную неразгаданность природы.

Один молодой матросик, маленький, худенький и пригожий, с большими глазами, пугливыми, как у дикого зверька, тоскливо смотрел, как закатывается солнце, и вдруг перекрестился и шепнул:

— О, господи!

И молодой голос его звучал грустно-грустно, словно бы он жаловался на что-то, просил о чем-то, жалел чего-то.

А между тем вокруг так хорошо!

Никто не обратил внимания на это скорбное восклицание молодого матросика.

Только стоявший около него, у той же фок-мачты, при снастях, пожилой матрос, рябоватый и вообще неказистый лицом, крепкий и приземистый, без среднего пальца, давно оторванного марса-фалом на жилистой, пропитанной смолой, правой руке, повел на вздохнувшего матросика бесстрастным, казалось, взглядом человека, давно ко всему притерпевшегося.

Повел и, сразу понявши причину грустного настроения первогодка-матросика,— проговорил своим грубоватым, сиплым от пьянства голосом, в котором, однако, несмотря на грубость, пробивалась участливая нотка:

— И дурак же ты, Егорка.

Егорка пугливо взглянул на старого матроса, который раньше никогда не удостоивал его разговором.

— А ты не оказывай перед им страху,— продолжал беспалый матрос, понижая конфиденциально свой зычный бас,— он и бросит над тобою куражиться... боцманто... Нешто больно даве съездил? Целы зубы? — небрежно прибавил он.

— Целы... Он зубов не касался.

— Так чего же ты заскучил, Егорка?

— Главная причина: вовсе обидно, Иваныч.

— Обидно? А ты не обиждайся. Плюнь! Такая уж флотская служба терпеливая. Не ты один матрос на «Чайке». Все терплют. А то какой обидчивый, скажи, пожалуйста,— насмешливо кинул Иваныч.

Матросик был, видимо, смущен таким напоминанием о «всех».

В самом деле, разве он один терпит? Других вот наказывают линьками, а его, слава богу, еще ни разу не пороли. Вот только боцман утесняет, за всякую малость дерется, а то господь пока миловал.

А Иваныч, словно бы желая подбодрить Егорку, продолжал:

— Это што, коли боцман или старший офицер съездит по морде с рассудком, без повреждений... Это несторящее дело для форменного матроса. Он должен к бою привыкать — на то она и служба. А вот меня, братец ты мой, так прежде форменно шлифовали линьками и, можно сказать, вовсе до отчаянности и безо всякого предела... Такой уже дьявол был у нас на корабле старший офицер... ну и капитан тоже... лют был на порку. И ничего: сusterпел все. Жив остался и безо всякой чихотки. А ты: «обидно»! То-то оно и есть, что ты еще вовсе глуп, Егорка!

И, помолчав, прибавил:

— А я ужо боцману скажу, чтобы не очень тебя оболванивал. Пужливый и обидчивый, мол, матросик... Покурить нешто!

И с этими словами Иваныч отошел от мачты и, вынув из кармана просмоленных штанов коротенькую трубку и кисет с махоркой, набил трубку и стал курить.

Егорка не успел и сказать слово благодарности, весь проникнутый ею.

Благодаря ласковому слову, он уже был иначе настроен. Обнадеженный, он уже не чувствовал жуткой сиротливости и снова стал смотреть на закат, но уже без щемящей тоски забытого существа, а в тихом, грустном и неопределенном раздумье.

И жить так хотелось, несмотря на обиды боцмана.

II

На мостице стоял, одетый во все белое, в сбитой слегка на затылок фуражке, из-под которой виднелись светло-русые кудрявые волосы, лейтенант Весеньев.

Он тоже любовался величественной картиной заката, душевно приподнятый и бесконечно счастливый, полный надежд таких же ярких и чудных, как эти краски неба.

Восторженно-мечтательное выражение светилось и в его молодом, свежем и жизнерадостном лице, опущенном шелковистой, вьющейся русой бородкой, и в его небольших живых серых глазах. Во всей его статной, хорошо сложенной фигуре было что-то вызывающее, победное и счастливое.

Он отрывался от заката, чтобы взглянуть на паруса, на компас, на вымпел, и снова устремлял свои глаза на запад, туда, где должны через день показаться красноватые берега Калифорнии, которая казалась теперь молодому лейтенанту самым милым, самым желанным уголком божьего мира.

И, любуясь закатом, любуясь океаном и небом, любуясь бледным диском луны, едва светящейся на небе и словно не смеющей показать своей красоты перед солнцем, глядя на паруса, на палубу, на рулевых, молодой лейтенант, весь проникновенный и восторженный, и в солнце, и в небе, и в море, и в парусах — словом, во всем видел маленькую, грациозную женщину с большими темными глазами, то грустными, то задумчивыми, то улыбающимися и всегда прелестными.

Он словно бы отожествлял весь мир с ней, и весь мир был полон ею.

Вот уже три месяца, как все мысли Весеньевы поглощены этой маленькой женщиной с большими, темными, загадочными глазами, с которой он познакомился в Сан-Франциско, и с первой встречи влюбился в нее так, как никогда еще не влюблялся ни в каких широтах, сам несколько испуганный и смущенный захватившим его чувством, которое в разлуке не только не проходило, как прежде, а, напротив, захватывало еще сильнее, и не было, казалось ему, другой женщины во всей подлунной, которая могла бы заставить забыть эту. Она одна, одна была именно тою родственною душой, другом и желанной женщиной, — словом, тем воплощением идеала и инстинкта, присущим каждому мужчине, который давно носился в его душе. И когда он в первый раз увидел в Сан-Франциско эту женщину, он сразу же признал ее за ту, свою любимую, давно знакомую, о которой тосковал, ища женской любви, в мечтах, еще на заре своей юности, — признал и радостно отдался чувству, не думая, зачем, к чему, что из этого выйдет.

Весеньев, обыкновенно экспансивный, болтливый и

общительный, охотно рассказывавший о своих увлечениях, на этот раз тщательно скрывал от всех сослуживцев свое чувство и даже закадычному другу своему, красивцу-брюнету Оленичу, не открывался. И только, чувствуя неодолимую потребность говорить о любимой женщине, он рассказывал иногда ему, какая умная, отзывчивая и милая женщина миссис Джильда. Однако друга своего не знакомил с ней.

Скрывал он от всех и переписку с миссис Джильдой и свое намерение жениться на ней. Ему казалось, что она не любит своего мужа, несколько нахального, хлыщеватого, с кольцами на руках, не всегда опрятных, в пестрых костюмах и малообразованного, довольно красивого янки, лет тридцати пяти, профессия которого была загадочна. По крайней мере кто-то предупреждал Весеневу никогда не играть с ним в карты и вообще остерегаться его.

Но ему до мужа не было никакого дела, и он очень редко встречал его в гостиной жены.

А она, эта маленькая брюнетка с лицом матовой белизны, с черными как смоль волосами, которой по временам казалось лет двадцать пять, а по временам и больше, уроженка Мексики, называвшая себя испанкой, так ласково, так проникновенно, казалось, слушала, не жась в ленивой позе на диване или лежа в гамаке под тенью высокой калифорнской секвойи в саду, почти всегда в ярко-пунцовом платке, который так шел к ней,— слушала стремительные речи этого кудрявого, белолицего блондина и загадочно улыбалась. Сама она почти ничего не говорила и только иногда подавала реплики, умные и подчас насмешливые, воспламенявшие еще более молодого моряка.

Весенев был представлен ей на балу, данном городом офицерам «Чайки» через три дня после прихода ее на сан-франциский рейд. Это было время междоусобной войны, и американцы-аболиционисты всячески выражали участие русским, правительство которых явно показывало свои симпатии северянам.

Все клубы, все гостиные широко открыли свои двери русским офицерам, и они были везде желанными гостями.

Весенев заговорил с миссис Джильдой, точно давно ее знал. Он танцевал почти с ней одной, получил на па-

мять от нее гвоздику и вернулся под утро на клипер, влюбленный по уши.

На другой день он был у нее с визитом, в небольшой вилле почти за городом, и просидел два часа, а затем стал ходить каждый день. Его неодолимо тянуло в эту маленькую гостиную, где миссис Джильда обыкновенно проводила целый день, лежа на диване с книгой в руках, или в сад к гамаку, под секвойей.

Он почти никого не встречал у нее в те предобеденные часы или по вечерам, когда бывал у нее, и она ласково, как добруму хорошему знакомому, протягивала ему свою крошечную руку с рубином на мизинце и уютнее усаживалась на диван, не скрывая своих маленьких ног в шитых туфлях. Приготавляясь слушать этого пришельца с дальнего севера, вдруг, как-то неожиданно, сделавшегося своим человеком в доме, она глядела на него умным, вдумчивым и грустным взглядом, казалось, нисколько не удивленная, что русский моряк ходит каждый день, но порою, казалось, недоумевала, что он даже не пользуется правами американского флирта и с робкою почтительностью целует ее крошечные холодные руки, и по временам глядит на нее так грустно-грустно, точно жалеет ее, точно прозревает, что в сердце этой маленькой женщины разыгрывается драма.

И миссис Джильда привыкла к Весеньеву и, казалось, не без удовольствия слушала, как стремительно, словно бы «волнуясь и спеша», говорил он без умолку на своем не особенно правильном английском языке о далекой России, о которой она имела представление, как о стране, где вечный снег и где везде гуляют медведи, о родных, о плавании на «Чайке», о своих планах и надеждах. Она слушала, слегка удивленная его горячностью и огоньком, сверкающим в его обыкновенно смеющихся глазах, когда он, со свойственою русским откровенностью, обнажал перед ней свою душу, высказывая свои решительные взгляды и нередко требуя самого радикального переустройства вселенной.

Скоро он стал менее болтлив. Он задумчиво примолкал, сидя около маленькой женщины, и глядел на нее восторженными глазами. Она тихо улыбалась и не отнимала своей крошечной руки, которую молодой лейтенант осыпал поцелуями.

Накануне отхода из Сан-Франциско Весеньев тоскливо сказал:

— Завтра мы уходим, миссис Джильда.

Она, казалось, была удивлена.

— Уходите? И я вас более не увижу? — протянула она грустно.

— От вас зависит. Я вас люблю, Джильда. Не на шутку люблю.

Лицо ее омрачилось печалью. Ее большие темные глаза нежно и благодарно глядели на Весеньева.

И она наконец прошептала:

— Это скоро пройдет.

— Это скоро не пройдет. Я чувствую.

— Зачем это случилось? Зачем? — уныло сказала она.

— Я не знаю, зачем. Я знаю только, что люблю вас.

— Но вы совсем меня не знаете?

— Вы... чудная...

— О, я совсем не такая, как вы думаете... Я далеко не хорошая...

И слезы показались на ее глазах.

— Не лгите на себя... Хотите быть моей женой, Джильда?

Она почти испуганно посмотрела на Весеньева.

— Мне тридцать лет... я почти старуха, а вы...

— Мне двадцать шесть... Но разве это не все равно? Я люблю вас больше жизни. Хотите быть моей навсегда, Джильда? Вы разведетесь с мужем... Ведь вы не любите его?

— Нет.

— Я приеду через полгода сюда и увезу вас в Россию.

Джильда с тоской глядела на Весеньева и молчала.

— Вы отказываете?

Джильда не роняла слова и сидела с поникшей головой.

— Вы, значит, нисколько не любите меня, Джильда? А мне казалось...

Лицо Весеньева вдруг побледнело, голос был полон тоски, и на глазах дрожали слезы.

Маленькая женщина быстро подняла голову.

Еще секунда — она рванулась с дивана и, обвивая шею Весеньева, прильнула своими устами к его устам и снова села на свое место.

А слезы так и бежали из ее глаз.

— Джильда! Родная! Голубка моя! — проговорил по-русски Весенев, умиленный и готовый плакать от счастья.

И, целуя ее руки, он по-английски продолжал говорить о своей любви.

А она, перебирая тонкими, бледными пальцами его кудрявые волосы, повторяла:

— Лучше забудь меня. Лучше забудь!

Определенного ответа она не дала, но не лишила его надежды.

Они расстались, обещая писать друг другу.

Письма ее были печальны и полны любви.

III

Солнце упывало за горизонт.

— На флаг! — скомандовал Весенев.

К спуску флага наверх вышли все офицеры.

Солнце исчезло из глаз, а на горизонте тотчас же потускнели яркие краски. Горнист заиграл зорю. Все обнажили головы. Спустили флаг. Со спуском флага день на военном судне окончился.

В скромом времени была пропета матросами молитва и розданы койки.

После коротких сумерек быстро опустилась ночь, чудная, теплая ночь. В небе засверкали мириады звезд, и луна, томная, задумчивая и красивая, медленно поднималась все выше и выше, обливая своим серебристым светом и полосу океана, и паруса «Чайки», и палубу клипера.

Каким-то волшебством дышала эта ночь.

Весенев шагал взад и вперед по мостику, вдыхая полною грудью, и мечтал о встрече с Джильдой.

Какое неожиданное счастье, что в Гонолулу, где собралась эскадра, адмирал приказал командиру «Чайки» идти в Сан-Франциско и там дожидаться его. Наверное, придется стоять около месяца. Каждый день он будет у Джильды, и вопрос о свадьбе решится. В последнем письме она писала, что согласна. Она и не догадывается, что послезавтра он будет у нее. Он нарочно явится сюрпризом.

И молодой лейтенант представлял себе радость встречи, и сердце его замирало. И он глядел на океан, глядел на луну и на звезды, и видел одну Джильду.

Пробило восемь ударов полуночи, и на смену Весеньеву пришел другой вахтенный офицер.

— Все паруса... Курс WSW. Ветер восемь баллов... Ходу десять узлов... Хорошей вахты! — весело говорил Весеньев, сдавая вахту мичману.

Он бегом бросился в кают-компанию. Там вестовой уж приготовил ему стакан горячего чая.

Там же сидел, читая книгу, и друг его, лейтенант Оленич.

Они были друзьями еще с морского корпуса и с тех пор жили душа в душу, братски привязанные друг к другу.

Весеньев был такой веселый, такой жизнерадостный, что Оленич невольно спросил:

— Чего с тобой, Боря?.. Отчего ты сияешь?

— А разве я сияю?

— Совсем... Точно собираешься идти на свидание с любимой женщиной, а не ложиться спать! — засмеялся Оленич.

Весеньев покраснел.

Он присел к столу рядом с Оленичем и тихо шепнул ему:

— Ты почти угадал, Володя... Я тебе ничего не говорил раньше, но теперь скажу... Ты ведь мой единственный друг.

И Весеньев рассказал о том, что любит миссис Джильду и собирается жениться.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Оленич, когда его друг кончил.

— Отчего с ума сошел?

— Да ведь ты совсем не знаешь этой дамы. Я видел тогда на балу, и...

— И что же?

— И скажу тебе по правде, она мне не понравилась...

— Отчего?

— Трудно сказать... В ней есть что-то скрытое... Точно ей есть что скрывать.

— Ты, Володя, гнусно смотришь на женщин вообще и потому говоришь вздор. Придем в Сан-Франциско, и

я тебя познакомлю с Джильдой... Тогда ты увидишь, какая это прелестная женщина.

— Но, во всяком случае, Боря, ты хоть спроси о ней у нашего консула. Он всех знает.

— К чему спрашивать?

— А как же? Быть может, твоя миссис Джильда просто авантюристка...

Весенев стал белее сорочки и вздрагивающим голо-
сом произнес:

— Оленич! Я люблю тебя, как брата, но если ты когда-нибудь осмелишься сказать о ней подобное слово... мы навеки враги.

Оленич пожал плечами с видом сожаления.

— Прости, Боря... Ведь я твой друг и потому поз-
волил себе сказать...

— Гадость! — прибавил Весенев. — О, я непремен-
но познакомлю тебя с ней, и ты убедишься, что это за
чудное создание.

— Однако муж ее, говорят, шулер...

— Может быть... Но разве она виновата... Может быть, она этого и не знает...

— Мудрено не знать, если весь город знает...

— Ну и пусть знает...

— И живет с ним и пользуется средствами шулера...
Боря, голубчик, не торопись, умоляю тебя... Прежде разузнай, расспроси... Ты ведь доверчив, несмотря на свой ум, и наивен, несмотря на то, что считаешь себя знатоком людей... Связать себя на всю жизнь...

Оленич замолчал, взглянув на страдальческое лицо друга. Он понял, что продолжать было бесполезно, не рискуя поссориться с человеком, которого любил.

И он решил иначе спасти друга от легкомысленной женитьбы.

IV

Через день «Чайка», слегка попыхивая дымком из своей белой трубы, тихим ходом входила на сан-фран-циский рейд.

Клипер еще накануне подчистился, прибрался и показывался теперь в чужие люди нарядным, изящным щеголем, взвуждавшим завистливое удивление на военных иностранных судах, стоявших на рейде. А их было немало.

И моряки разных национальностей ревниво смотрели, как ловко проходила среди купеческих кораблей «Чайка» и как хорошо она стала на якорь и быстро спустила все свои шлюпки на воду.

А Весенев уже торопливо одевался в своей каюте в новую летнюю статскую пару и в пробковом «шлеме», обернутом белой кисеей, в светлых перчатках, с тросточкой в руках, имел вполне джентльменский вид.

Он отправился в город с первой же отходившей шлюпкой.

Оленич, бывший на вахте, проводил своего друга взглядом, полным сожаления. Он сегодня же вечером собирался поехать к консулу и разузнать от него об этой миссис Джильде Браун.

Несимпатична была ему эта маленькая брюнетка с грустными глазами... Теперь же, после признания Весенева, он прямо-таки относился к ней враждебно и готов был поверить всяким дурным о ней слухам.

«И чего нашел он в ней привлекательного?» — задавал вопрос себе Оленич, вспоминая эту брюнетку, какою он ее видел на балу: в желтом газе с красным, сильно декольтированной, с красной гвоздикой в темных, беспорядочно спутанных волосах. Чересчур истомленное лицо, большие глаза, правда, грациозна, но в ее манерах что-то кошачье, что-то лукавое...

«Бедный Борис!»

А «бедный Борис» в это время ступил на набережную, предвкушая радость встречи. Жара была нестерпимая, и он тотчас же нанял коляску и попросил везти себя за город на виллу Браун.

— Знаете?

— Знаю! — ответил кучер-ирландец.

— А чем занимается мистер Браун, вы знаете? — спросил Весенев.

— Это его дело! — резко отвечал ирландец и прибавил, — а в карты вы все-таки с ним не играйте, сэр!

Не доезжая до виллы, Весенев просил кучера остановиться.

Отпустив коляску, он пошел пешком, рассчитывая обрадовать Джильду внезапным появлением.

«То-то обрадуется!» — думал он, вспоминая ее последнее, особенно нежное письмо, выученное почти наизусть молодым лейтенантом.

С сильно бьющимся сердцем вошел он в калитку сада. Масса чудных роз, олеандров, фиалок, гелиотропа и резеды наполняли сад благоуханием.

«Она, конечно, одна, в гамаке, с книгой в руках», — подумал Весеньев и, свернув в узкую каштановую аллею, направился к высоким секвойям, распространяющим смолистый аромат.

Вдруг раздался мужской голос, грубый и наглый, как показалось Весеньеву, и вслед за тем веселый, громкий и самодовольный смех.

«Это не муж», — пронеслось в голове Весеньева.

И у него екнуло сердце. Все радостное настроение внезапно пропало. В душе сделалось мрачно, и сад показался вдруг мрачным-мрачным... И все вокруг словно потеряло прелесть.

Он хотел уверить себя, что это голос брата или отца... Наконец какой-нибудь хороший знакомый... Но этот голос... этот подлый голос звучал какими-то торжествующими звуками, наполнявшими сердце Весеньева тоской.

«Разве уйти?» — подумал он.

Но сам подвигался вперед, замедляя шаги и чувствуя, как замирает сердце, словно бы его ожидало несчастье.

Он ищет жадными, лихорадочно загоревшимися глазами эти две знакомые секвойи... и они в нескольких шагах.

Между ними протянут гамак, и в нем, вся в белом, словно окутанная пеной, эта маленькая женщина... Белые туфельки видны из-под юбки. Голова лежит на подушке... Глаза полузакрыты... И это матовой белизны лицо кажется еще прелестнее.

А около, почти у самой головы Джильды, на складном стуле сидел плотный коренастый господин лет под сорок, хлыщеватого вида, с лицом, которое показалось Весеньеву до невозможности пошлым и глупым.

А между тем этот пошляк-янки, в каком-то ярко-зеленом пиджаке, взял волосатую грубою рукой маленькую бледную руку Джильды и жадно поцеловал эту руку своими толстыми сочными губами раз, другой, третий...

Скрытый деревьями молодой человек все это видел и чуть не вскрикнул от негодования.

Напрасно он старался побороть жгучую, острую боль ревнивого чувства, охватившего его. Напрасно он хотел изобразить на своем лице презрительное равнодушие.

Он имел самый жалкий, страдальческий и растерянный вид, когда, перейдя дорожку, подошел к гамаку и, почтительно поклонившись, проговорил глухим, точно чужим голосом:

— Здравствуйте, миссис Браун.

Джильда слабо вскрикнула. В ее глазах блеснула радость, и в то же время что-то виноватое промелькнуло в этом взгляде.

— Вот неожиданно. Я очень рада вас видеть!

Она крепко сжимала руку молодого человека, но, несмотря на слова о радости, лицо ее было грустно.

— Мистер Блэк... Мистер Весеньев, русский моряк,— проговорила Джильда.

— Тот самый, что ходил к вам каждый день, миссис Джильда? — с бесцеремонным смехом выпалил янки.

И, смерив молодого человека далеко не дружелюбным взглядом, протянул ему руку.

— Мистер Блэк не особенно воспитанный человек! — смущенно промолвила Джильда, взглядывая на Весеньева.

— Еще бы! Я не белоручка из Европы, а янки! — дерзко проговорил мистер Блэк.

— Пойдемте-ка, господа, лучше в дом... Здесь жарко.

Джильда спустилась с гамака и взяла под руку Весеньева:

— Мне некогда... Я на минутку только,— пролепетал он.

Джильда значительно взглянула на молодого человека и ласково проговорила:

— Куда вы? Посидите, прошу вас...

— А я ухожу, мне некогда. До свидания, дорогая миссис Джильда. До завтра, не правда ли? Завтра едем в Сакраменто? — говорил мистер Блэк и на прощание поцеловал несколько раз руку молодой женщины.

Весеньева передернуло.

Джильда смущенно высвободила свою руку из руки мистера Блэка.

— Я не поеду с вами в Сакраменто, мистер Блэк! — проговорила она.

— А почему, позвольте узнать, вы не поедете? Ведь вы хотели ехать.

— Я передумала.

Мистер Блэк засмеялся гадким смехом и пристально поглядел на Джильду.

— Это решительно? — спросил он.

— Решительно.

Янки еле кивнул головой Весеневу и ушел, насвистывая какой-то мотив.

Когда он вышел за калитку, Джильда умоляюще посмотрела на Весеневу и спросила:

— Что с вами? Вы сердитесь на меня?.. Вы... не доверяете мне?.. О, я вперед знала, что это будет! — печально промолвила молодая женщина, и по лицу ее пробежала грустная усмешка.

— Скажите, что это за идиот был у вас? — едва владея собой, спросил Весенев.

— Один мой знакомый...

— Нечего сказать, хорош! Он вам очень нравится? Джильда грустно усмехнулась.

— Отвечайте. Нравится?

— Нет, нет! — повторила молодая женщина.

— Но в вас он, конечно, влюблен?

— Да! — виновато шепнула Джильда.

— И бывает у вас каждый день?

— Бывает.

— И целует ваши руки?

— Целует! — покорно отвечала она.

— И вы обещали с ним ехать в Сакраменто?

— Обещала.

— А между тем вы писали, что любите меня...

— Писала...

— Но как же в таком случае вы принимаете этого болвана и позволяете ему думать?..

— Скучно одной. Я говорила вам: я нехорошая... Я люблю, когда за мной ухаживают...

Молодой лейтенант недоверчиво взглянул на Джильду.

— И только целуют руки? — негодующе спросил он.

— Вы мне не верите. Вы что-то подозреваете? А я никогда не лгу...

— И вы, в самом деле, говорите правду, что любите меня и пойдете за меня замуж?

— Люблю. Но, мне кажется, свадьбы не будет. Я несчастная. И вы мне не верите! — сказала она, и все в ней говорило о какой-то тоске.

— Верю... верю! — вдруг порывисто воскликнул Весенев, забывая все под чарами любви.

И, умиленный, стал целовать лицо маленькой женщины.

Она просветлела и нежно-благодарным взглядом ласкала молодого Весеньева.

Они пошли в полутемную прохладную гостиную. Джильда, по обыкновению, улеглась на широкий диван. Весенев сел около. Он говорил о свадьбе. Он торопил ее скорей сказать мужу и потребовать развода.

— Он не даст... Он и Блэк убьют вас.

— В таком случае уедем тихонько. Согласна?

Они решили уехать вместе тайно в Нью-Йорк и оттуда на пароходе в Европу. Весенев по болезни спишется с «Чайки». Его наверно отпустят.

— Только уедем скорей... Мне все не верится, что мы уедем, что ты меня любишь... Говори, что любишь! Говори! — шептала Джильда.

И Джильда горячо целовала жениха.

Решено было уехать через три недели. В седьмом часу Весенев ушел от Джильды, еще более влюбленный, обещая быть завтра вечером.

V

Через два дня Весенев привез к Джильде своего друга Оленича.

Оленич уже успел собрать справки у русского консула о миссис Браун, и справки эти были не особенно благоприятны. По словам консула, миссис Джильда женщина сомнительной репутации. Ее часто встречают с посторонними мужчинами. Что же касается до мужа, то это профессиональный шулер и человек вообще очень подозрительный.

Несмотря на неблагоприятные отзывы, Оленич был решительно очарован этой маленькой, бледной женщиной с большими темными глазами. Далеко не красавица, она показалась Оленичу прелестной с ее маленькой ленивой и грациозной фигуркой. В этой женщине было что-то привлекающее, точно магнит. Она, по обыкновению,

и с Оленичем говорила мало, больше слушала, подавая реплики и задавая вопросы, говорящие о тонком уме и отзывчивости, и при этом словно бы ласкала взглядом, полным чего-то манящего, загадочного и грустного. В этих глазах точно были и правда и обман...

И Оленич после визита, сам восхищенный, тем не менее пришел к заключению, что друг его делает величайшую глупость, собираясь жениться на Джильде.

«Это было бы величайшим несчастьем!» — подумал он и сам чувствовал, что что-то неотразимо тянет к этой женщине, и ласковый ее взгляд чарует и волнует его.

— Ну, что, голубчик, понравилась тебе моя Джильдочка? — торжествующе и радостно спрашивал Весеньев своего друга, когда они возвращались с виллы.

— Очень!

— Еще бы, это прелестная женщина... И какие добрые глаза!

— Загадочные...

— И, не правда ли, хороша собой...

— Да... недурна! — сдержанно отвечал Оленич и почему-то покраснел.

С этого дня между друзьями как-то незаметно наступило охлаждение. Оленич точно избегал говорить с Весеньевым и резко обрывал его, когда он начинал говорить о Джильде.

VI

Адмиральский корвет «Витязь» неожиданно пришел в Сан-Франциско десятью днями раньше, чем его ожидали.

Капитан «Чайки», ездивший к адмиралу с рапортом, возвратившись, передал старшему офицеру о приказании адмирала — через три дня идти «Чайке» на Ситху.

Узнавши об этом распоряжении, Весеньев тотчас же попросил шлюпку, собираясь предупредить Джильду, чтобы она была готова ехать с ним через два дня в Нью-Йорк.

Весеньев заручился уже согласием капитана на отъезд в Россию по болезни и не сомневался, что и адмирал разрешит отъезд, но хлопот предстояло еще много. Надо было устроить денежные дела, сделать кое-какие

покупки на дорогу для Джильды и для себя, и Весеньев рассчитывал, что Оленич поможет ему разделить хлопоты этих дней.

И молодой лейтенант постучался в каюту Оленича. Ответа не было. Каюта заперта. Вестовые доложили, что он еще с утра уехал на берег.

«И куда это он каждое утро ездит!» — подумал Весеньев, несколько заинтересованный этими регулярными съездами на берег по утрам своего друга.

Около полудня Весеньев подъехал к вилле.

Горничная Бетси, толстогубая негритянка, с добродушными, влажными и сильно выкаченными глазами, объявила мистеру «Весени», как она называла лейтенанта, что миссис Джильды нет дома.

— Скоро будет?

— А не знаю. Она куда-то уехала с вашим другом.

— С каким другом? — изумился Весеньев.

— С мистером Олени... Он ведь каждый день по утрам у нас бывает... Сидит с миссис Джильдой. Вы вечером, а он утром! — прибавила она, добродушно улыбаясь всем своим лоснящимся черным лицом и показывая ослепительно белые зубы.

В глазах лейтенанта помутилось. Он не верил своим ушам. Ни Джильда ни Оленич ни слова не говорили ему об этом.

«Господи! Чего же это?.. И Джильда и друг лгут... Зачем?.. Зачем?..» — подумал он.

Ревнивые подозрения закрались ему в голову. Светлый летний день точно померк, и сам Весеньев стал мрачнее тучи.

«Так вот для чего Оленич съезжает на берег каждое утро!»

Злоба к Оленичу наполняла сердце Весеньева, — злоба жестокая, какая только может быть у человека, обманутого людьми, в которых он верил, и у ревнивца, терявшего любимую женщину.

— О, подлые! — простонал Весеньев.

Толстая Бетси сочувственно, и в то же время слегка насмешливо, посматривала на русского моряка.

— Куда они поехали? — спросил он.

— Кажется, в парк.

— В парк... Зачем в парк? — бессмысленно повторил он.

- В парке хорошо гулять...
- В Сакраменто еще лучше! И Блэк бывает здесь?
- Теперь реже.
- А прежде?
- Каждый день...

«А она обещала его совсем не принимать!» — мелькнуло в голове молодого человека.

— О, лживая, подлая гадина! — вырвалось из его груди.— Дайте мне конверт, Бетси.

- Пойдемте в комнаты.

Весеньев прошел в гостиную. Эта комната, в которой он был так счастлив, теперь казалась ему словно бы опозоренной... Все здесь фальшиво... везде ложь, как и в этой женщине...

Он достал визитную карточку и, дрожащей рукой, не понимая, что делает, написал следующие строки:

«Вы лживое создание. Мне стыдно за вас и за себя. Возвращаю ваше слово и презираю вас!»

Вложив карточку в конверт, он отдал ее Бетси и сказал:

— Прошу вас, Бетси, отдайте эту записку в руки миссис Браун.

- Будьте покойны.

- Непременно в руки...

- Отдам в руки. А вы разве вечером не приедете?

— Нет, Бетси, не приеду. Никогда больше не приеду.

И, едва сдерживая рыдания, Весеньев выбежал из виллы.

- В парк! — крикнул он кучеру.

Он велел остановиться у входа и вошел в огромный парк, с высокими пихтами и секвойями, и озирался кругом безумными взглядами.

Он обежал все главные аллеи, всматривался в гуляющих и сидящих на скамьях. Тех, кого он искал, не было.

Тогда он направился наобум в глубь парка, в густую чащу. Там было прохладно. Он шел, не зная зачем, не зная куда, подавленный горем, обезумевший от полученной обиды и любивший Джильду, казалось, еще сильнее оттого что она его обманула. Где-то послышался голос.

Весеньев осторожно, крадучись, как тать, пошел на голос и замер, полный злобы.

У пруда на скамейке сидели Джильда и Оленич. Он что-то тихо говорил и целовал ее руку. Она слушала и ласково глядела на него задумчивыми грустными глазами.

Весеньев приблизился к ним.

Джильда стала белее рубашки и испуганно остановила глаза на Весеньеве. В ее лице было что-то бесконечно страдальческое.

Оленич смущенно отодвинулся, выпустив руку Джильды.

Смертельно бледный Весеньев, едва кивнув Джильде, подошел вплотную к Оленичу, дал ему пощечину и проговорил:

— Вы подлец, и я к вашим услугам.

С этими словами он тихо удалился, неестественно улыбаясь, точно сделал что-то значительное и нужное для своего спокойствия.

VII

Уже выхаживали на шпиле якорь, когда к «Чайке» пристала шлюпка и из нее вышел негр-посыльный.

Он спросил, где мистер Весеньев, и подал ему маленький конверт.

Весеньев, осунувшийся за эти дни, точно выдержавший какую-то болезнь, отошел к борту и прочитал следующие строки:

«Я ждала того, что случилось, но, признаться, думала, что вы спросите, так ли я виновата, прежде чем написать, что я лживое создание... Я просто несчастное, нехорошее, но не лживое создание... И, клянусь, я вас одного люблю, хоть слушала и Блэка и вашего друга... Спросите у него, он вам скажет... Простите меня и будьте счастливы... Надеюсь, вы меня довольно презираете, чтобы не просить вас забыть несчастную и легкомысленную, но непорочную Джильду».

— Будет ответ, сэр?

— Никакого.

— Так и сказать миссис Браун?

— Так и скажите.

«Какой ответ! Она опять лжет! — подумал Весеньев. — Ведь Оленич сказал ему, что она была его любовницей!»

И мучительное, злое чувство обиды и ревности опять сказалось с прежней остротой.

Как он страдал, этот бедный, легкомысленный лейтенант! Эти дни он ходил, словно безумный, и серьезно думал о том, что жить не стоит. И когда Оленич, после нанесенного оскорбления, предложил бывшему своему другу американскую дуэль, Весенев радостно согласился, почти уверенный, что узелок вытянет не он.

Однако узелок вытянул он. Умирать предстояло Оленичу.

Решено было, чтобы не возбудить подозрения в умышленной смерти, что вынувший роковой жребий бросится в море на другой день по выходе из Сан-Франциско. Таким образом смерть объяснится несчастною случайностью.

После объяснения, во время которого Оленич, словно бы нарочно, чтобы нанести тяжелую боль Весеньеву, сказал ему, что Джильда была его любовницей, они не говорили, конечно, ни слова и, казалось, еще более возненавидели друг друга.

«Чайка» тихо выходила с сан-францисского рейда.

Весенев жадно смотрел на город, в котором так жестоко поругана была его вера в двух любимых людей.

Наконец город скрылся, а молодой лейтенант все еще смотрел на берега, и образ маленькой бледной женщины с большими грустными глазами невольно стоял перед ним, наполняя все его мысли. И он чувствовал, что все-таки любит Джильду. И жалел и ее и себя.

Но Оленича он не прощал. При мысли о нем злоба закипала в сердце молодого человека, и он словно забывал, что бывший друг его должен завтра умереть.

Оленич не показывался из своей каюты. Он целую ночь писал кому-то письма и плакал.

VIII

Весенев стоял вахту с четырех до восьми утра.

Мрачный ходил он по мостику и, когда солнце выплывало из-за горизонта, разогнав предрассветный полу-мрак и заливая светом и блеском все вокруг, он не любовался чудным зрелищем восхода. На душе у него было тоскливо и смутно.

Он посматривал на паруса, на океан, кативший свои волны, взглядал на компас и снова ходил по мостику.

А ветер заметно крепчал, и волны рокотали сердитей, сильнее раскачивая «Чайку», которая под марселями, брамселями, фоком и громом неслась к северу, в полветра, узлов по десяти в час.

Как только что взошло солнце, Весеньев увидел поднявшегося снизу Оленича. Его красивое лицо было мертвенно бледно, спокойно и серьезно. Только тонкие губы вздрагивали и глаза как-то странно жмурились.

При виде Оленича сердце Весеньева екнуло.

Оленич твердой походкой поднялся на мостик и подошел к Весеньеву. Весеньев смущенно опустил глаза, не смея взглянуть в лицо человека, приговоренного к смерти.

А он между тем говорил:

— Перед смертью простимся, Боря. Я очень виноват перед тобой, прости меня. Расстанемся хоть не врагами...

И он протянул Весеньеву руку. Тот пожал ее.

— Прости меня, — повторил он, — и слушай: Джильда никогда не была моей любовницей. Я гнусно наврал на нее. Она любит одного тебя...

И тотчас же у Весеньева исчезла всякая злоба на Оленича, и он взволнованно проговорил:

— Зачем ты это сделал?

— Я тоже люблю Джильду... и ревновал... понимаешь?.. Сперва я ухаживал за ней, чтобы открыть тебе глаза и остановить от женитьбы, а потом... потом... увлекся ею...

— А она?

— Она жалела меня, слушала, что я ей говорил, и скрывала наши свидания, чтобы не огорчить тебя... Она несчастная, легкомысленная, все, что хочешь, но не живое создание... Но ты все-таки не женись на ней!.. Она измучит тебя... Ты всегда будешь ее подозревать... Прости же, Боря... Скажи, что ты не вспомнишь лихом своего друга...

— Володя... милый... Так зачем же?.. Забудем все и... прости меня. Дуэль недействительна...

— Нет, голубчик... Нельзя... Слово держать надо. Надо искупить позор оскорблений и подлость. Прощай!.. Они обнялись крепко, по-братски.

Слезы душили Весеньева, когда он опять сказал:

— Володя... ведь это глупо... умирать... Опомнишь... Из-за чего? Я разрешаю тебя от слова...

— Но я не разрешаю... И прошу тебя не ложиться в дрейф из-за меня... Я скоро потону. Я пловец неважный... Письма отправь... Вот они...

Он отдал письма, быстро спустился с мостика, сел на подветренный борт и, нарочно перегнувшись, упал за борт.

Весенев ахнул. В одно мгновение он снял с себя сапоги и сюртук и бросился с мостика в океан спасать своего друга.

Сигнальщик побежал за капитаном, и через несколько минут «Чайка» лежала в дрейфе, и баркас был послан искать погибающих.

Весенев был отличный пловец и скоро настиг Оленича.

— Боря... родной... зачем?... — воскликнул Оленич.

— Затем, чтоб ты жил, а не то вместе погибнем! — радостно говорил Весенев, поддерживая друга. — Ложись на спину... Вот так... Смотри, и баркас идет.

Действительно, скоро подошел баркас, и оба друга были вытащены из воды.

Из Ситхи Весенев написал Джильде письмо, моля о прощении. Ответа по указанному адресу в Гонконг не было. Тогда Оленич написал консулу, и через две недели был получен ответ, что миссис Браун убита неким Блэком.

ДУЭЛЬ В ОКЕАНЕ

I

Этот длинный переход из Фунчала в Батавию на Яве, без захода в Рио или на мыс Доброй Надежды, начинал очень надоедать обитателям русского военного корвета «Отважный».

Вот уже двадцать пять дней, как океан да небо, небо да океан без конца.

Они, конечно, были прелестны и ласковы в северных тропиках. О, как прелестны!

Солнце, ослепительно красивое, всегда заливало жгучим блеском тихо рокочущий океан с его ласковыми, невысокими волнами. Луна так таинственно-задумчиво глядела с бархатистого неба, и под ее серебристым светом волшебные южные ночи становились еще волшебнее. Мириады звезд так ласково мигали...

Но все-таки океан да небо, хотя и не угрожавшие морякам штормами, казались однообразно прелестными и надоедали людям, привязанным к земле.

И как безмолвно, пусто кругом!

Изредка забелеет парус встречного или попутного судна... Обмениваются приветствиями, поднятием флага и разойдутся, или «Отважный» обгонит попутного «купца».

И снова «Отважный» идет да идет под всеми парусами, легко и грациозно поднимаясь с волны на волну, в одиночестве.

Реяли в высоте орлы океана — фрегаты. То летали над водой, то опускались на нее белоснежные альбатросы за рыбой и снова улетали, скрываясь от глаз. Порой, вблизи, показывал черную спину кит, выпускал высокий

фонтан воды и исчезал. В прозрачной синеве океана показывались акулы с лоцманами у борта и удирали, не пронзенные острогой какого-нибудь охотника-матроса. Часто на солнце сверкали летучие рыбки.

Все это приглядилось.

И кончились благодатные тропики, где вахты матросов такие покойные, и так хорошо дремлется под лаской вековечного пассата, и так слушаются сказки, если еще есть новые у матроса-сказочника.

«Отважный» проскочил под парами штилевую полосу у экватора, прошел южные тропики, спускался все ниже и ниже, где ветер уже не шутил и дышал ледяным дыханием южного полюса, и повернул в Индийский океан, чтобы с попутным муссоном подниматься на Яву.

II

Индийский океан уже гневно рокотал и порой бешено вздымался заседевшими громадными волнами, нападавшими на маленький корвет. Ветер выл и завывал в мачтах и снастях, стараясь опрокинуть «Отважный». Солнце пряталось под черными клочковатыми облаками, и без него шторм казался еще страшней и грозней, одиночество — еще безотраднее.

И со спущенными брам-стеньгами и под штормовыми парусами «Отважный», казалось, метался, словно затерянный и обреченный на гибель.

Но крепкий корвет не давался грохотавшему, бесновавшемуся старику-океану. Он стремительно взлетал на волны и опускался с них, отряхиваясь, словно громадная птица, от гребней волн, врывавшихся на бак. Он вздрагивал от ударов волны и уходил от смертельного савана. Злобная, она обрушивалась сзади кормы.

И капитан, строгий и напряженный, не спускавший возбужденных сверкающих глаз с носа «Отважного», только покрикивал в рупор рулевым у штурвала под мостиком:

— Не зевать... Право... Так держать!

Шторм улетал дальше. Матросы облегченно крестились. Капитан уходил в каюту отсыпаться.

Было в океане только «свежо», как говорят моряки про сильный ветер, не доходящий до силы шторма.

И «Отважный» под зарифленными парусами, раска-

чиваясь с бока на бок, неся в бакштаг узлов по двенадцати.

Только будто седой бурун с шумом рассыпался под носом «Отважного», и он вздрагивал и поскрипывал от быстрого хода.

Вахтенный офицер наблюдал за рулевыми. Стоял на мостице и старший офицер... Как бы не оплошал молодой мичман!

Кругом все то же. Океан да небо, то грозные, то милостивые, но ни разу не ласковые.

— «Очертело!» — все чаще и чаще говорили на баке матросы.

«Лягничиали» реже и только отрывисто, и более на счет «подлого» Индийского океана, который ни одной частицы ночи не дает выспаться подвахтенным. Непременно боцман крикнет: «пошел все наверх!» — то к повороту, то рифы брать.

— Очертеет!.. На то и служба такая! — говорил какой-нибудь из старых матросов.

— Еще, слава богу, командир правильный...

— А Петра Васильич, что и говорить... Андел! — замечал кто-нибудь о старшем офицере.

И обыкновенно любимые разговоры на баке о качествах того или другого начальника на «Отважном» или воспоминания о злых и строгих, и не злых и понимающих матроса начальниках, с которыми прежде служили рассказчики, — теперь не поднимались. И шуток было не слышно.

Все стали напряженнее и молчаливее.

Только молодые матросики из первогодков тоскливее вспоминали о далекой родной стороне и чаще задумывались об опасностях морской службы.

— Кругом вода! — с тоской говорил один белобрызгий матросик с большими серыми глазами, который все еще не мог привыкнуть к морю, хотя и старался изо всех сил делать, что приказывали, чтобы боцман и унтер-офицер не ругали и не били его.

Только не били бы! И, главное, чтобы не наказали линьками!

Старый боцман Корявый, «околачивавшийся», как он говорил, во флоте двадцать лет и после всяких видов сделавшийся большим философом, обыкновенно дрался

«с рассудком» и «жалеочи», как говорили про него матросы.

Но и он становился раздражительней и дрался вовсё без рассудка, словно бы в отместку за долгое ожидание напиться на берегу «во всей форме», как называл он возвращение с берега в лежку и поднимание на палубу при помощи более трезвых матросов, а то и на гордешке:

— За что зверствуешь, Митрич? — спрашивал его приятель, старый матрос, вместе обыкновенно пьянистовавший на берегу.

— То-то от скуки... Пойми... Когда еще берег...

— А ты бога вспомни. Обижаешь, Митрич, безответных... первогодков... Нехорошо, братец! — серьезно и в то же время душевно убеждал боцмана маленький и сухощавый матрос Опорков с добрыми, словно бы-вноватыми глазами человека, понимающего, что он пропоец и не раз даже пропивал на берегу все казенное платье и возвращался в одной рубахе, а на другой день покорно ждал линьков.

— И бога помню, когда в понятии.

— Войди...

— А ты не лезь, Опорков... До берега не буду в понятии... Пойми и не серди боцмана! — сердито оборвал приятеля боцман.

И Опорков отходил.

Сам он «заскучивал» по берегу, как и боцман. Необыкновенно добрый, он все-таки остановил на другой день боцмана и просил пожалеть людей.

— Потерпи. Зато, Митрич, как берег... Одно слово — вдребезги! — прибавлял Опорков.

III

В кают-компании тоже все чаще и чаще раздавались недовольные восклицания скучающих офицеров:

— Скорей бы на берег!

— Тощица!

— Хоть бы по-человечески поесть, а то сиди на консервах!

— Обязательно выйду в отставку!

Каждый из восклицавших не ждал лично сочувственных реплик и не продолжал жаловаться на скуку. Надоели все другу.

Почти каждый день после полудня, когда старший штурман, доложивши капитану полуденную широту и долготу места «Отважного», возвращался из капитанской каюты, мичман барон фон-Рейц, белобрысый молодой человек, с скучающим добродушным лицом невозмутимого флегматика, спрашивал о чем-нибудь плотного и крепкого, маленького, лысого, с седыми бачками и усами, старшего штурмана.

И в этот день он невозмутимо спокойно спросил:

— Скоро в Батавию, Афанасий Петрович?

— Я не бог-с! Я штурман-с, барон.

— Я это знаю, Афанасий Петрович... Но однако?

— И однако не знаю-с! Эй, вестовые! Начерно рюмку водки!

— Сколько осталось миль, Афанасий Петрович?

— Это знаю-с. Тысяча шестьсот двадцать миль! — любезнее ответил Афанасий Петрович и с удовольствием выпил рюмку, крякнул и закусил куском хлеба с сыром.

— Значит...

И барон, не спеша, говорил про себя цифры.

— Значит, через десять дней мы будем обедать в Батавии, Афанасий Петрович! — уверенно произнес барон.

Обыкновенно сдержанный и скромный на слова в море, Афанасий Петрович становился нервней в конце перехода, особенно когда ему говорили подобные «сапоги всмятку», как подумал старый штурман про слова барона, да еще мальчишки и с таким апломбом.

И без того достаточно красный и от полнокровия и, быть может, от лечения его специально портвейном, Афанасий Петрович делался еще красней, хмурил свои седые густые брови и не без раздражения замечал:

— Значит, что пристяжная скакет.

— Вы, Афанасий Петрович, с предрассудками.

— То-то вы без предрассудков, барон. Вам, конечно, известно: будет ли шторм или не будет-с, прихватит ли ураган или не прихватит-с. Стихнет ветер, и мы поползем по три узла-с... Одним словом, вы все знаете-с и через десять дней будете обедать в Батавии, а я не собираюсь на берег, пока не бросим якоря...

Барон равнодушно выслушал и, когда старый штурман окончил, протянул:

— Да вы не сердитесь, Афанасий Петрович...

— Очень нужно сердиться.

И в каютах-компаниях снова была тишина.

Прежнего оживления уже не было. Разговоры иссякли. Еще недавно общительные люди становились молчаливыми и более чувствительными к шутке, если мичман Загорский, *enfant gâté*¹ каютах-компаниях и веселый рассказчик анекдотов, пробовал пошутить. Но, главное, все стали относиться друг к другу с большей критикой. Сослуживцы, замечавшие прежде немало хороших сторон друг в друге, невольно старались заметить теперь дурные. Споров не было. Если и поднимались, то принимали ожесточенный характер, и старший офицер Петр Васильевич, человек необыкновенно миролюбивого характера и боявшийся, как огня, дрязг, ссор, словом, какой-нибудь «истории» в каютах-компаниях,— торопился прекратить спор или разводил спорщиков, находя надобность с одним из них поговорить о чем-нибудь по службе.

Заниматься чем-нибудь, кроме службы, и отвлекаться запросами и решениями пытливой мысли большая часть офицеров на «Отважном» не привыкла. Только Петр Васильевич умел наполнять свою жизнь постоянными служебными хлопотами и делами, выдумывая их, если их не было. Да молодой доктор, казалось, не скучал, хотя больных на корвете и не было. Он целыми днями читал или писал длиннейшие письма к своей молодой жене, с которой расстался через год после свадьбы, и старался разгонять тоску по любимой женщины в серьезном чтении и в передаче ей своих заметок и впечатлений о первом своем плавании.

Остальные не знали, куда девать время после вахт и коротких учений. Книги в маленькой библиотеке корвета все прочитаны. Новых береговых впечатлений, объединяющих разные характеры, темпераменты, взгляды и привычки семнадцати человек,— не было.

Все изнывали и раздражались до озлобления в ожидании берега.

Даже и «Макарка», веселая обезьяна, купленная в Фунчале, что-то притихла: не носится, как оглашенная, по корвету, не взбегает на верхушки мачт, не дразнит старого добродушного водолаза «Умного» и не фамильярничает с матросами в качестве общей любимицы.

¹ баловень (франц.).

«Макарка» часто сидит на борту и грустно поглядывает на океан, точно ожидает увидать берег с его роскошным лесом, полным кокосов, о которых, по-видимому, она еще помнит, несмотря на то, что уже два года как вывезена из Африки и попала на Мадеру пленником.

И «Умный», казалось, скучает по берегу. Словно чувствуя, что к нему люди стали равнодушнее, чем раньше, «Умный» больше отсыпается на припеке и во время аваралов и учений удирает в кают-компанию, чтоб не попасться на глаза боцману, который в это время может обидеть и «Умного», хотя он и знает, что такое палуба на военных судах, и, как сообразительная собака, понимает свои обязанности.

IV

Петр Васильевич становился озабоченнее. Настроение в кают-компании ему не нравилось, смущало и беспокоило его.

«То и дело выйдет какая-нибудь история!» — думал он.

Всю свою тридцатипятилетнюю жизнь провел Петр Васильевич миролюбиво и по совести, очень чуткой у него. Ни с кем не ссорился и умел ладить с самыми разнообразными людьми во время службы, но не из искальства или карьерных соображений, а просто потому, что был необыкновенно снисходителен к близким.

Он был исправный служака, хороший моряк, но блестящих качеств не выказывал и нес служебную лямку, не рассчитывая на заметную карьеру. Зато и офицеры и матросы очень любили Петра Васильевича.

Этот, не особенно стройный, небольшого роста, худощавый блондин с длинными бакенбардами, всегда хлопотливый и заботливый и об «Отважном» и о матросах, привлекал необыкновенной простотой и особенно каким-то добросердечием к людям, которое светилось в его глазах.

Строгий ревнитель служебного долга, Петр Васильевич требовал службы. Но не столько понимал, сколько чувствовал, что трудная матросская служба не должна быть каторгой, и он не требовал муштры, не дрессировал людей, чтобы из них выходили «черти», как назы-

вали старые моряки матросов, поражавших бесцельной быстротой работы на ученьях и ожидавших, из-за полминуты отдачи или уборки парусов, беспощадного наказания.

И на «Отважном» не было того трепета команды, какой бывал на многих судах при каждой работе и при каждом учении. Не было оскорбительных наказаний, и редко, очень редко раздавались на баке крики наказываемого линьками матроса.

Случалось, что в минуты служебного пыла и Петр Васильевич наскакивал на матроса, вовремя не отдавшего марса-фала или сделавшего такую же серьезную служебную провинность. Наскакивал и, случалось, ударял...

Но через пять минут он подходил к матросу и, словно извиняясь, говорил:

— А ты, братец, вперед отдавай марса-фал... Я за дело ударил... И ты не обижайся...

И хоть матрос и говорил, что не обижался, но Петру Васильевичу все-таки бывало не по себе. И он давал себе слово сдерживаться...

Но особенно сдержан и терпим был Петр Васильевич в своей неудачной семейной жизни, что не было секретом в Кронштадте. Все видели, с какою безграничною и в то же время робкою любовью на лице входил он в морское собрание, под руку с молодой, привлекательной женой; все знали, что Лидия Викторовна обманывает его.

И, разумеется, все считали Петра Васильевича «форменным» простофилей, у которого глаза слепы.

Как ни прост и снисходителен он, как ни любит свою жену, все-таки разве мог бы жить под одной кровлей с такой «дамочкой», которая только позорит его, если бы он был не такой «фефелой» и мог бы догадаться о том, что знает весь Кронштадт. Давно бы следовало прогнать эту «особу» и отнять у нее их трехлетнего сына.

Так рассуждали моряки, даже и те, которые ухаживали за Лидией Викторовной и вместе с ней старались обманывать мужа.

Но никто не знал, что Петр Васильевич не только догадывался, но и знал, что любимая им женщина обманывает, и он не только не подумал «прогнать» жену, но даже скрывал от нее, что знает, никогда не упрекнул ее и, тая про себя обиду и ревнившую жгучую боль, был по-прежнему ласков с ней и только через год после

свадьбы переселился в кабинет и оставался только другом и пестуном своей жены.

Любящее сердце подсказало Петру Васильевичу только один исход из своего положения. Не станет же он поднимать «историю», да еще в своем домашнем очаге, не оскорбит он женщины и не сделает ее более несчастной и опозоренной, если, оставленная, она пустится во все тяжкие.

И Петр Васильевич, казалось, привык к положению мужа с обязанностями, но без прав, и не понимал даже своего героизма любви и самоотвержения.

«Чего ссориться нам? Разве она виновата, что год любила, а потом разлюбила? Если скрывает от меня, значит, ей так нужно... Смею ли я выматывать ее признания? Ведь это жестокость!»

Так нередко раздумывал Петр Васильевич и, разумеется, находил в своем любящем сердце оправдание обидевшей его женщине.

И она с каким-то беззаботным легкомыслием вела прежнюю жизнь и, словно бы в благодарность, что он не ревнив и такой примерный нетребовательный муж, стала с ним мягка, любезна и, казалось, стала понимать, какое золотое у него сердце.

Как ни тяжело было оставлять жену на три года, Петр Васильевич, разумеется, не отказался от назначения старшим офицером на «Отважный» и порадовал молодую женщину хорошим содержанием в плавании, большую часть которого будет оставлять жене.

При разлуке он только просил писать ему и бречься...

— Не лучше ли переехать на юг, к твоим? — осторожно прибавил он, полный тревоги, что молодая женщина, живя одна в Кронштадте, навлечет на себя еще большие сплетни.

— Ты хочешь? — спросила Лидия Викторовна.

— Тебе было бы лучше! — смущенно промолвил Петр Васильевич.

— То есть чем лучше?

— Ты была бы с близкими... И лучший климат...

Молодая женщина пытливо взглянула на Петра Васильевича. И ей стало жалко при виде соломенного мужа, его смущенного, словно виноватого лица, и ей самой сделалось вдруг стыдно. Покраснела и она.

И вдруг порывисто сказала:

— Ты не верь слухам, которые про меня распускают... Не верь. Я, право, лучше, чем говорят обо мне.

И слезы навернулись на красивых черных глазах Лидии Викторовны. И голос ее звучал тоской, когда она прошептала:

— Добрый... хороший ты...

Петр Васильевич едва сдерживал слезы и припал к маленькой руке с красивыми кольцами на мизинце.

В каюте Петра Васильевича оба молчали несколько мгновений.

И наконец Лидия Викторовна чуть слышно спросила:

— Ужели ты все еще меня любишь?.. Понимаешь: влюбленно любишь?

— Люблю!.. смущенно проронил муж.

— И такую?.. Ведь я виновата, виновата перед тобой...

— Ты не виновата, что не любишь меня. Ты права... Не говори ни слова!..

Молодая женщина в порыве раскаяния крепко поцеловала мужа, заплакала и решительно проговорила:

— Я уеду к своим на юг... Через неделю же уеду!..

В Бресте Петр Васильевич получил первое письмо от жены из деревни на юге. Она писала, что останется у своих до возвращения мужа, и просила его чаще писать ей.

Дальнейшие письма Лидии Викторовны, длинные и ласковые, трогали и радовали Петра Васильевича, и, казалось, жизнь впереди сулила ему новое счастье.

V

Ровный попутный ветер гнал «Отважный» вперед, и суточное плавание его — миль около двухсот — словно бы оправдало предположения барона.

До Батавии оставалось тысячу миль. При благоприятных обстоятельствах дней через пять корвет должен бросить якорь, и, после шестидесятидневного перехода, моряки наконец поедут на желанный берег, получат вести от своих близких и газеты.

Петр Васильевич в этот день сидел за обедом в каюте-компании на обычном своем почетном месте, на ма-

леньком диванчике, и, по обыкновению, внимательно взглядывал на лица офицеров и старался разогнать мрачное настроение.

— Сегодня плавание отличное. Двести миль! Скоро, бог даст, и в Батавии будем! — говорил он, обращаясь ко всем. — И получим вести... И свежее мясо будем есть... И фрукты... В Батавии простоим недели две... Капитан говорил... И надо вытянуть ванты... И Афанасий Петрович хронометры проверит.

— Обязательно, Петр Васильевич! — проговорил старший штурман. — И вместе с вами, Петр Васильевич, поедем в ботанический сад... Возьмете с собой?...

— А то как же, Афанасий Петрович. И целой компанией поедем... Непременно. И что за природа там, господа! Очень хороша Батавия наверху, где голландцы понастроили виллы среди парка. Остановливаться надо в *Hôtel des Indes*... Славно я там, господа, жил, когда плавал на «Нырке»...

— А теперь, видно, на неделю поедете на берег, Петр Васильевич? — спросил старый штурман, очень уважавший и привязанный к Петру Васильевичу, который не питал ни капли обычной в моряках нелюбви к «париям» морской службы — штурманам, механикам и артиллеристам. Старший офицер был, напротив, большой и старый приятель с Афанасием Петровичем и с ним съезжал на берег, и с ним нередко водил беседы, ничего общего не имеющие со службой.

С ним они говорили о смысле жизни, о религии, о необходимости иметь правила, и с ним же за обедом на берегу выпивали лишнюю бутылку портвейна, особенно почитаемого Афанасием Петровичем. И оба они были очень скучны на траты на себя. У старшего штурмана была большая семья, которой Афанасий Петрович отдавал большую часть своего содержания, а Петр Васильевич отказывал себе во всем. Из того содержания, которое оставлял себе, большую часть берег, чтобы накупить в Китае и Японии разных вещей для жены.

— То-то на неделю не съедешь, Афанасий Петрович... Надо присмотреть за работами... А на три дня все-таки съеду... Погуляем по лесу... Хорошо в тропическом лесу, Афанасий Петрович! Ах, как хорошо!

И, несколько застенчивый, Петр Васильевич стеснялся при всех говорить о том, как он любит природу. Точ-

но так же скрывал он от всех и свою платоническую любовь к жене и свои всегда рыцарские взгляды на женщин.

Петр Васильевич продолжал хвалить и местоположение верхней Батавии, и прогулки, и ананасы, и в то же время прислушивался к спору, вдруг поднявшемуся на конце стола между очень красивым брюнетом, лейтенантом Байдаровым, самомнительным и заносчивым человеком, считавшим себя и отличным моряком, и умным, и неотразимым для женщин кавалером,— и мичманом Витиным, которого в каютах-компании все звали за его ласковый, добродушный характер и юность «Васенькой».

Петр Васильевич уже чувствует возможность ссоры. «Васенька» горяченький, Байдаров, напротив, не теряет самообладания и любит холодно и оскорбительно-вежливо унизить человека, который не признает его авторитета и уже потому заслуживает высокомерного отношения.

И лицо Петра Васильевича, худощавое, с мягкими чертами лица, обрамленного русыми бакенбардами, испуганно встревожено. В необыкновенно добрых, лущистых серых глазах его стояло выражение смущения и страдания.

Он боялся крупной ссоры. Байдаров озлоблен. Васенька не спустит.

Но еще более тревожили Петра Васильевича презрительно-злые взгляды Байдарова, которые, во время спора с мичманом, он бросал на кудрявого молодого инженер-механика Сойкина. Точно хотел он унизить в споре не столько своего оппонента, сколько Сойкина, который не ронял слова и в то же время бледнел, взглядывая, в свою очередь, на Байдарова.

Уже с самого начала плавания Петр Васильевич видел, что Байдаров не терпел Сойкина. Он никогда не разговаривал с ним и часто травил его, нарочно рассказывая при нем о неразвитости и «хамстве» инженер-механиков. Необыкновенно терпеливый, Сойкин не обращал на это ни малейшего внимания. Петр Васильевич не раз останавливал Байдарова и только удивлялся, за что Байдаров не любит Сойкина. Сойкин, кажется, славный, порядочный человек. Не желает играть какой-нибудь роль. Держит себя скромно и только в беседах с мичманами высказывал свои задушевные взгляды и тогда внезапно загорался.

И Петр Васильевич с ласковой улыбкой поглядывал на матово-смуглое выразительное лицо Сойкина с его большими сверкающими глазами, толстым носом и крупными губами, и слушал, полный сочувствия, его слова, дышавшие то искренним негодованием, то восторженностью юнца ко всему чистому, хорошему и благородному.

К концу перехода уж Сойкин не говорит и большую часть времени рисует. Он немного художник и мечтает по возвращении в Россию оставить службу и поступить в академию художеств.

Ненависть между Байдаровым и Сойкиным усиливалась. Один не скрывал ее, другой, казалось, не обращал внимания на презрительные насмешки и высмеивание Байдарова в разговорах с другими. Они не разговаривали друг с другом и только официально-сухо раскланивались при встрече в кают-компании по утрам.

Петр Васильевич уже раньше старался примирить их. Но все попытки ни к чему не привели. Петр Васильевич взял только с Байдарова обещание не издеваться в кают-компании над механиками.

— Вы понимаете, что допустить этого в кают-компании не могу. Так не заставьте старшего офицера останавливать вас...

— Слушаю-с! — официально отвечал Байдаров.

— Я прошу у вас не официального: «слушаю-с», Николай Николаич! Я вашего слова прошу. Перед вами не старший офицер, а товарищ... И... вы... извините. Не понимаю этого... ненавидите Сойкина...

— Слишком много чести для него... Я просто игнорирую его и не говорю с ним.

— Вижу, вижу, Николай Николаич... Вы многих не признаете... достойными. Простите: большая в вас гордость... Но хоть не высмеивайте и не оскорбляйте Сойкина, Николай Николаич. Ведь и самого терпеливого можно вывести из себя, и... история. Он же останется виноватым... Вы — лейтенант, а Сойкин — прапорщик... Будьте великодушны, Николай Николаич!

Петр Васильевич просил так взволнованно, но горячо, что Байдаров обещал не быть виновником неприятностей для Петра Васильевича.

И старший офицер благодарил и успокоился. Истории не будет.

И вдруг теперь?

Сойкин бледен, как смерть. Наверное, Байдаров говорил что-нибудь нехорошее. Он ведь любит поражать оригинальностью бессердечных взглядов и травить мичманов... а механиков и артиллеристов считает чуть не идиотами, если они не молятся на него, как на божка. «А ведь дал мне слово... Какой несимпатичный человек!..»

А «Васенька» в эту минуту воскликнул, весь вспыхивая, со слезами на глазах:

— Ваша теория о женщинах безнравственна... позорна. Да... позорна. И вообще ваши взгляды... возмутительны... Я должен это сказать... Обязан... Мы, флотские,— аристократы, а другие — плебеи?! И матросы — рабы, а мы — живодеры? Нет... Неправда... Ретроградам скоро отходная...

— Прежде выучитесь говорить прилично и избавьте меня от ваших пылких излияний... Не обидно, а... не-остроумно. Изливайтесь своим единомышленникам,— рассчитанно отчеканивал медленно и тихо Байдаров и с презрительной, уничтожающей усмешкой взглянул на Сойкина.

Петр Васильевич бросил котлету мясных консервов и, стараясь побороть волнение, проговорил:

— Васенька! Ну что вы ершитесь... И то жарко, а вы... горячитесь... какой вы спорщик, голубчик? Вы все: «трах» да «трах», а Николай Николаевич прехладнокровно разделяет вас для своего удовольствия... Как, мол, вы пижонисто волнуетесь... У Николая Николаича ведь оригинальные взгляды, а у нас с вами попрошес... Так зачем зря входить в раж, Васенька, и выпаливать резкие слова, точно на ссору лезете... Скоро Батавия, а вы... В кают-компании и вдруг ссоры... Нечего сказать, хорошо будет плавание на «Отважном!..» Будьте снисходительны, Васенька... Ну, хоть для меня... ни гу-гу больше... Присаживайтесь-ка ко мне. Угощу лимонадом... Вы любите, Васенька... Вестовой! Василию Аркадьевичу лимонаду. И Степану Ильичу подать... Он любит! — говорил, слегка заикаясь от волнения, Петр Васильевич и с тревожной лаской взглянул на бледного молодого механика.— И всем шампанского, за скорый приход. Одним словом, за мир и благоденствие нашей кают-компании!..

Петр Васильевич выдержал паузу и продолжал еще взволнованнее:

— А вы, Николай Николаич, уж слишком язвите Васеньку... За что-с?.. Вы все понимаете, а он ничего не понимает, так зачем его вызывать на спор... Это... это... И вообще...

— Что вообще, Петр Васильевич? — с преувеличеною почтительностью высокомерия спросил Байдаров.

— И вообще... Прошу вас, лейтенант Байдаров, не заводить в каютах-компаниях предосудительных разговоров! — вдруг неожиданно для себя, точно от невыносимой боли, крикнул Петр Васильевич.

И лицо его побелело. Челюсти тряслись. И в глазах блестели слезы.

Воцарилось мертвое, напряженное молчание.

Почти все офицеры строго и неприязненно взглянули на Байдарова и, опустивши глаза на тарелки, стали усиленно есть, точно котлеты интересовали их более всего.

Только Сойкин не поднял глаз на Байдарова. Молодого механика подергивало точно в лихорадке.

А Николай Николаевич Байдаров еще выше поднял свою белокурую голову. Его красивое молодое лицо, свежее, румяное и холеное, безбородое, с шелковистыми небольшими усиками, и его голубые, блиставшие резким блеском глаза были дерзко вызывающие. На тонких искривленных губах блуждала усмешка. Маленькая рука с кольцом на мизинце небрежно играла цепочкой на белоснежном жилете.

Прошла минута, другая...

— Уходите, Николай Николаич, — шепнул сосед его.

Байдаров небрежно пожал плечами и тихо промолвил, кивнув на Сойкина:

— Этого... что ли, бояться?..

И едва Байдаров сказал это слово, как Сойкин неожиданно поднялся с места и, едва держась на ногах, крикнул каким-то сдавленным голосом:

— Вы подлец, господин Байдаров!

И в то же мгновение дал пощечину.

Все ахнули. Петр Васильевич замер от ужаса и стыда. Ему казалось, что он сам виноват и так позорно оскорблен.

Сойкин тотчас же стал спокойнее. Он подошел к старшему офицеру и дрогнувшим, робким, молящим голосом произнес:

— Простите, Петр Васильевич... Прокажите арестовать...

— О, голубчик... Чтò вы сделали?.. Идите в каюту под арест! — упавшим голосом ответил Петр Васильевич, не смея поднять глаз на Байдарова.

Байдаров хотел усмехнуться, и вместо улыбки лицо его искривилось болезненной гримасой. Он обвел позеленевшими глазами присутствующих, остановил долгий злой, смертельный взгляд на Сойкине, точно хотел запомнить его лицо навсегда. И, словно поняв весь ужас и позор оскорблений, вдруг поник головой и, закрыв свою горящую щеку, убежал из кают-компании.

Через пять минут он прислал старшему офицеру рапорт о болезни.

VI

Петр Васильевич, подавленный и грустный, доложил капитану об ужасной истории...

— Добился-таки Байдаров пощечины! — сурово промолвил капитан.— Довел бедного Сойкина... Под суд пойдет... Славный молодой человек...

— И какой скромный... Терпел... терпел... Уж я просил Байдарова...

— Надо было, Петр Васильевич, раньше спешить с корвета этого гуся... И мы оба с вами виноваты, что держали его...

— Виноват-с... Эта история, Владимир Алексеевич!

— Как бы Байдаров в Батавии не убил Сойкина на дуэли... Надо как-нибудь не допустить этой глупости... Не пускайте Сойкина в Батавии... И пусть он извинится перед Байдаровым в кают-компании... А Байдаров в Батавии же спишется и пусть едет в Россию... Не захочет, так я сам спишу.

— Сойкин, я думаю, согласится извиниться, да Байдаров...

— Не удовлетворится?

— Едва ли...

— Ну и пусть как знает... Он пощечину поделом получил... Еще удивляюсь, как раньше не получил этот наглец... Воображает, что дядя министр и отец адмирал... Ну, что делать... И вы не волнуйтесь, Петр Васильевич. Знаю, какой вы сами миролюбивый... И скажи-

те Сойкину, чтобы он не тревожился... Попрошу в Петербурге, чтобы не очень покарали...

— Сойкин и так собирается бросить службу... хочет в художники.

— Тем лучше для него... Успокойте беднягу...

— Слушаю-с, Владимир Алексеич.

— И с Байдаровым переговорите... Может, ваше миротворство на этот раз и вывезет...

Старший офицер ушел от капитана и зашел в каюту к старшему штурману.

Тот только что заснул полчасика после обеда и потягивал портер.

— История, Афанасий Петрович! — вздохнул старший офицер.

— Все плавание нам испортил этот брандахлыст... Аристократ!.. Верите, и у меня чесалась рука, чтобы запалить ему в морду... Портерку?

— Ну его... Вы, Афанасий Петрович, портер, а тут...

— Чтò тут?.. Получи в морду иди с корвета... Все перекресятся!

— Он-то уйдет... Не уйдет, так капитан спишет... А как бы нам Степана Ильича под суд не подвести... Байдаров на дуэль вызовет...

— А он не иди... Дуэль... Моряки и без того каждый день рисуют, можно сказать, жизнью и не боятся смерти, когда нужно, а... тут иди под пулю?.. Мы, Петр Васильевич, будем убеждать Сойкина... Уговорим...

Петр Васильевич рассказал, что придумал капитан, и штурман воскликнул:

— И того умней! Брандахлыста на берег, а Сойкина продержать под арестом... Уйдем из Батавии, и делу конец.

— А все-таки... вы понимаете... какая история...

— Ну что ж?.. История... Не вернешь ее... Извините, Петр Васильевич, что я скажу?

— Говорите, Афанасий Петрович...

— Очень уж вы того... добры сверх положения. Попевангельски не всегда можно-с... Блаженны миротворцы, положим, Петр Васильевич... Но только — извините — побольше бы давали «ассаже» хлыщу Байдарову, он бы...

Петр Васильевич покраснел до волос. Смешался вдруг и старый штурман.

Оба знали, что красавец Байдаров был одно время любимцем Лидии Викторовны.

— Что ж, обрывай я его, он подумал бы, что я из личности! — проговорил старший офицер. — Эх, скорей бы в Батавию, Афанасий Петрович!

— Все слава богу. — И Афанасий Петрович, суеверный, как все штурмана, сплюнул. — Ветер молодчага... Если так пойдет... разведем пары у экватора и... через пять суток и в Батавии... И письмо от Лидии Викторовны получите... И я от своей команды... Стаканчик, Петр Васильевич?

— Разве... Выпью и пойду по дипломатической части!

Штурман с каким-то особенным удовольствием налил стакан портеру Петру Васильевичу.

Тот выпил и сказал:

— И как это люди, вроде Байдарова, не могут в мире жить... Мало ли что бывает, а не поднимай историй... Не обижай людей... Не понимаю этого, Афанасий Петрович.

— То-то оттого и с правилами... Дай бог удачи...

VII

Когда Петр Васильевич вошел в маленькую каюту, у двери которой стоял часовой с ружьем, Сойкин сидел на койке и набрасывал какой-то рисунок.

— Ну вот и я к вам, батенька, посланником от капитана... Эка карандаш...

— Вы меня извините, Петр Васильевич...

— Эх, вы... Еще извиняетесь... Может быть, мне извиниться, что допустил... Ну... милый человек... А так ли не так ли, а вы извинитесь...

Сойкин переменился в лице.

— Нехорошо, Степан Ильич... Вы оскорбили и повиниться не хотите?..

— Трудно, Петр Васильевич...

— Положим, Байдаров нехорошо поступил... тра-вили... пакости говорил...

— Это я бы еще снес, Петр Васильевич. Я ведь выносливый... Не хотел скандала... Но этого не вынес...

— А чего?

— Он, право, подлец... Можете себе представить... Он одну мерзость сказал за обедом про одну даму...

А я... я... хорошо знаю эту даму... Она... Она... благороднейшая и лучшая женщина, которую я знал.. И он знал, что она моя хорошая знакомая, а все-таки... Понимаете? И ведь все подло лгал... Эта дама отвергла его... так он мне мстить выдумал... Ну, все... все меня и заставило ударить его, Петр Васильевич... Так посудите... Могу ли я извиняться?..

Голос Петра Васильевича звучал так нежно и грустно, когда он ответил:

— И все-таки должны... Ради этой самой женщины должны... Разве это расправа... Эх, дорогой юноша, труднее бывают вещи, и все-таки... правильнее не платить за скверное скверным...

Старший офицер еще говорил, рассказывая в третьем лице нечто похожее на прежнее свое положение, и Сойкин наконец согласился...

— Спасибо... Не надо ли чего?.. Лимонад от меня требуйте...

Через минуту Петр Васильевич стучался в двери каюты Байдарова.

— Войдите!..

Байдаров сидел у шифоньерки и писал письмо.

Он обернулся и, увидав старшего офицера, встал. Его лицо дышало злобой, страданием и решимостью.

— Что прикажете? — резко спросил он старшего офицера.

Петр Васильевич, смущенный, словно виноватый, передал совет капитана списаться в Батавии с корвета и прибавил, что Сойкин хочет извиниться перед Николаем Николаевичем при всех товарищах в кают-компании.

Оба они не глядели друг на друга.

— Я и без приказания капитана спишуясь с корвета. А извинения Сойкина не желаю! — ответил Байдаров. И, помолчав, прибавил: — Это, верно, ваша идея моего удовлетворения?

— И моя, Николай Николаич.

— Я так и думал. Вы ведь недаром необыкновенно христиански терпимы. Об этом весь Кронштадт знает! — прибавил Байдаров и засмеялся.

Петр Васильевич выскочил из каюты, ужаленный в самое сердце.

В тот же вечер капитан приказал снять часового, и Сойкин находился под домашним арестом. К нему заходили многие офицеры.

Зашли к арестованному Петр Васильевич и Афанасий Петрович.

Старший офицер сообщил, что Байдаров извинением не удовлетворился.

— И черт с ним! — вставил старший штурман.

— Байдаров, конечно, вызовет вас на дуэль в Батавии, Степан Ильич.

— А вы откажетесь, Степан Ильич? — заметил Афанасий Петрович.

— Разумеется, должен отказаться! — говорил старший офицер.

Молодой человек взволнованно сказал:

— Я не откажусь... Я не позорный трус!

— Вас не выпустят в Батавии из каюты. И сидите...

Оба стали убеждать молодого человека.

Сойкин колебался.

VIII

Все на корвете спали, кроме вахтенного офицера и вахтенных.

Ветер был свежий. «Отважный» нес марсели в два рифа, зарифленные гrot, фок и кливера.

Петр Васильевич спал в своей каюте полураздетый, чтобы в минуту выбежать наверх, если ветер засвежеет...

В одной из кают в кают-компании сидел Байдаров и осматривал два корабельные одноствольные заряженные пистолеты, которые он только что принес тихонько из палубы. Заряжены они были для стрельбы в цель после полудня, но стрельба была отменена.

При мысли об оскорблении он вздрагивал, и злоба видимо охватила его.

И он написал следующую записку:

«Оскорблению должно быть смыто кровью. Предлагаю через час драться на матросских пистолетах в моей каюте (она больше вашей). Секундантов не нужно. Выстрел после счета «три» того, на кого выпадет жребий. Если несогласны, убью вас, как собаку».

Байдаров разбудил дремавшего дежурного вестового и велел ему разбудить Сойкина и отдать записку.

Сойкин сладко спал, когда вестовой его разбудил.

Полусонный стал читать он записку у свечи, зажженной вестовым, и сон вдруг пропал. Сердце упало. Он почувствовал холод, пробежавший, словно струйка, по спине, и ноги стали свинцовыми. Глаза впились в клочок бумажки, и буквы, казалось, увеличивались в гигантские буквы и подвигались на него... Тоска охватила его, и губы шептали: «зачем?..»

Иллюминатор то опускался, то поднимался, вода слегка гудела, обливая иллюминатор и рассыпаясь алмазными брызгами на серебристом лунном свете... Переборки каюты поскрипывали.

Прошла минута.

— Будет ответ, ваше благородие? Лейтенант беспременно требуют.

Сойкин очнулся.

В голове его мелькнула мысль: «Отказаться!..»

Глаза снова читали: «убью, как собаку!»

И Сойкин черкнул на записке: «согласен», сунул ее в руку вестового, точно хотел скорей избавиться от этого клочка, принесшего смерть, быстро оделся, закрыл на ключ двери и стал торопливым, нервным почерком писать письма. Одно матери, другое той женщине, из-за которой главным образом дал оплеуху. Письма начинались: «я буду убит»... Он был уверен, что живет последний час, и рыдания душили его...

• • • • • • • • • • • • • • • •

Склянки пробили шесть ударов — три часа утра.

Сойкин бросился на колени перед образом, вскочил и с последним ударом колокола вошел в каюту Байдарова.

— Протокол подпишите! — чуть слышно проговорил тот.

В неподвижном тяжелом взгляде Байдарова Сойкин читал смерть. Он отвел глаза и покорно подписал что-то, не читая.

— Выбирайте...

«Узелок — смерть», — подумал Сойкин и вытащил узелок.

— Вам выбирать место и считать до трех... Одному у двери, другому у иллюминатора.

— У дверей...

С этими словами Байдаров подал два пистолета.

— Берите!

Сойкин взял правый.

— Взведите!

Курок щелкнул.

— На место!

Байдаров говорил повелительно и шепотом. Эта слабо освещенная одной свечой каюта в четыре шага длины казалась клеткой убийства. И сам Байдаров — убийцей...

«За что же меня убивать?» — хотелось сказать Сойкину, и броситься вон, и звать на помощь.

Но вместо этого он стал у двери.

— Наведите пистолет!

Сойкин навел свой пистолет в угол каюты.

Байдаров навел на грудь Сойкина.

— Стреляйте в меня... Я все равно буду в вас стрелять.

Сойкин молчал.

— Считайте!

Вздрагивающим голосом, медленно, оттягивая темп, считал Сойкин:

— Раз... два... три...

Раздались два выстрела.

Сойкин жалобно вскрикнул и медленно склонился, схватывая рукою грудь, и упал в раскрывшиеся двери.

Петр Васильевич выбежал из каюты, подбежал к раненому и поднял его голову на грудь.

— Дуэль... Убит!.. — коснеющим языком проговорил Сойкин, и глаза его потускнели...

Сбежавшиеся офицеры стояли потрясенные...

Старший офицер бережно опустил покойника, поцеловал его в губы и смотрел ему в лицо.

БЛЕСТЯЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

I

Во втором часу погожего осеннего дня 186* года к подъезду деревянного особнячка в одной из дальних кронштадтских улиц подъехал на извозчике капитан второго ранга Виктор Иванович Загарин, только что приехавший на пароходе из Петербурга.

Это был небольшого роста, худощавый человек лет под сорок на вид, с располагающим серьезным и озабоченным лицом, обрамленным длинными и густыми светло-русыми бакенбардами.

Одет был Загарин очень скромно.

На нем — потертое пальто, из-под отворотов которого был виден далеко не блестящий, шитый золотом, воротник мундира. На шее красовался орден. На голове была старая фуражка, чуть-чуть сбитая на затылок. В маленькой красивой руке — треуголка.

Загарин не успел позвонить, как дверь подъезда распахнулась, и моряка встретил вестовой Рябкин, молодой, красивый, чернявый матрос, сияющий здоровьем, свежий и румяный, с ослепительными зубами. Он был в синей фланелевой рубахе с открытым большим воротом, черных штанах, широких внизу и обтянутых к поясу. Опрятные ноги были босые.

— Благополучно? — с заметным нетерпением в негромком мягким голосе спросил Виктор Иванович, всегда после женитьбы задававший этот вопрос, как только возвращался домой.

— Все, слава богу, благополучно, вашескобродие!

— Виктор Викторыч и барыня гуляли?

— Есть! Прогуливались в саду, вашескобродие!

Рябкин принял треуголку и бросил на Загарина тревожный и пытливый взгляд смыщленых карих глаз.

Лицо Виктора Ивановича, казалось, было спокойно. Но Рябкин недаром же семь лет жил вестовым у Загарина и знал его самообладание. И он сразу решил, что барин «в расстройке».

Еще бы!

Он видел, что Виктор Иванович, обыкновенно добродушный, простой и веселый, особенно дома, вернулся из Петербурга таким серьезным и озабоченным, каким бывал только на мостице своего судна во время шторма или когда дома было неблагополучно.

Он обратил внимание и на то, что Загарин не лестнице, как всегда, в комнаты, а, напротив, словно бы нарочно замедлял шаги, поднимаясь по небольшой лестнице и проходя по галерее.

Но главное, что смущило и испугало вестового: в серых луцистых глазах Виктора Ивановича было что-то тоскливо.

И молодой матрос, всегда жизнерадостный и в последнее время совсем счастливый до глупости молодожен,— внезапно омрачился.

— Что, Рябкин? Не ожидал? — участливо спросил Загарин.

— Вышла, значит, «лезорюция», вашескобродие? — подавленным голосом промолвил Рябкин.

— То-то вышла.

И Виктор Иванович подавил вздох.

— В дальнюю, вашескобродие?

— Да. На три года.

— Ведь мы весь прошлый год были в Средиземном, а раньше три года в дальней были, вашескобродие!

— Так что же?

— Можно бы обскказать вышнему начальству, вашескобродие. Так, мол, и так...

— Ты дурак, Рябкин! — ласково промолвил Виктор Иванович.

И почему-то остановился, понюхал распустившуюся розу среди множества цветов, которыми была уставлена галерея, и вошел в прихожую.

В светлой прихожей слегка пахло смолой от большого пенькового мата. Все, начиная от вешалки и кон-

чая лампой, сияло чистотой. Все словно бы предупреждало о безукоризненном порядке, ласковой домовитости и мире во всей небольшой квартире.

В полурастворенную дверь была видна залитая солнцем часть гостиной, сочные листья пальм, зеркало, японские вазы, ковер, мягкие кресла... И так светло... Так уютно... Так мила вся эта скромная обстановка!

И Виктор Иванович еще больнее и острее почувствовал, как «дорог ему берег»...

«А между тем его отрывают от всего, что так дорого и близко ему... Есть холостые отличные капитаны... Есть женатые, с восторгом уходящие в Тихий океан... Есть карьеристы... За что?» — снова подумал Загарин и почти строго сказал, когда Рябкин снимал с него пальто:

— Завтра перебираться на «Воин»!

— Есть, вашескобродие.

И тоскливо прибавил:

— Когда уходим?

— Да что ты пристаешь, Рябкин! — с внезапной резкостью проговорил Виктор Иванович.

— Виноват, вашескобродие... Насчет запаса полагал... По той причине и обеспокоил! — промолвил вестовой.

Виктор Иванович направился было в гостиную, но вдруг обернулся к Рябкину.

Ласково взглядывая на сконфуженного и грустно притихшего любимца-вестового, Загарин с обычной своей мягкой сдержанностью промолвил:

— Через неделю снимаемся... А о запасах для меня пока не хлопочи... У прежнего капитана, верно, все запасено... Купим у него...

И еще мягче прибавил:

— Всю эту неделю, с вечера будешь съезжать сюда... домой и оставаться до утра...

— Как же будете одни без меня на «конверте»? — озабоченно промолвил Рябкин.

— Не беспокойся. Вечерами и я домой. А к флагу вместе на корвет.

Рябкин благодарно взглянул на капитана и спросил:

— Фрыштык подавать, вашескобродие? Ариша постаралась.

— Спасибо. Не надо. А ты, Рябкин, не раскисай перед Аришой... Больше расстроишь свою жену... Постарайся для нее... Будь молодцом.

— Есть, вашескобродие! Известно — бабье сословье... Ревет! — проговорил, стараясь бодриться и показать себя молодцом, Рябкин.

Но голос его вздрогивал и пригожее его лицо подергивалось, точно Рябкин готов был зареветь.

II

В эту минуту, топая ножонками, в прихожую вбежал маленький мальчик лет трех, худенький, бледнолицый, с золотистыми кудрявыми волосами и прелестными, необыкновенно большими, темными глазами.

Это был тот «Виктор Викторович», о котором спрашивал отец вестового.

В первое мгновение мальчик остановился с разбега и загоревшимися глазами любовался мундиром, густыми золотыми эполетами и орденами на шее и на груди отца, и затем бросился к нему, властно поднимая ручонки и вытягивая губы, чтобы его подняли и поцеловали.

Виктор Иванович поднял, как перышко, ребенка и с какой-то особенной порывистой горячностью целовал его и с мучительной тоской взглядывал на это милое личико с большими, широко открытыми, не по-детски умными, проникновенными глазами.

Он понес своего ненаглядного «Виктора Викторовича» в гостиную, и мальчик, перебирая ордена, говорил:

— Ты не уедешь от нас, папа? Тебе позволили остаться с нами?

— Нет, милый... не позволили...

— Так возьми Вику с собой...

— А как же мама останется без Вики?

— И мамочку возьми... И Рябкина... И няню... И Аришу... И Шарика... И чижика... Всех... Всех возьми!..

Вместо ответа моряк крепко прижал к себе мальчика и, спуская его на пол, вынул из кармана игрушку.

Он завел мышку, и она побежала по полу, делая маленькие круги.

— О... папа... смотри!..

Мальчик в восторге присел на корточки.

Отец умиленно взглянул на Вику и, стараясь скрыть тоску, направился в комнату жены.

III

Но из дверей уже торопливо вышла, слегка переваливаясь, высокая матовой белизны брюнетка лет двадцати пяти, в мягком теплом капоте, прикрывающем заметную полноту ее талии.

Это была необыкновенно милая женщина, при виде которой точно светело на душе за хорошего человека. Даже самый легкомысленный человек с невольным почтением глядел на эту скромную, слегка застенчивую красавицу, казалось, и не понимающую прелести красоты ее одухотворенного изящного лица, доверчивого и ласкового, и больших ясных правдивых глаз, опущенных длинными ресницами.

Сразу чувствовалось, что за такой женщиной нельзя было ухаживать. Ее только можно было полюбить безнадежно, завидя счастливцу Загарину, у которого, далеко не красивого и не блестящего, такая жена, что даже кронштадтские сплетни не могли ее коснуться.

Все только дивились такой на редкость счастливой паре.

Почти с благоговейной осторожностью обнял Виктор Иванович жену и, поцеловав ее, хотел только сказать о несчастье — своем неожиданном назначении в плавание на три года, — как жена, крепко сжимая в своей маленькой руке руку мужа, словно бы не отпуская его от себя и точно все еще не доверяя тому, что сразу почувствовала, как только что увидела мужа, — спросила:

— Да неужели могли сделать такую несправедливость? Назначили тебя командиром «Воина»?

— Напротив... Блестящее назначение, Вера.

— Но ведь ты не хочешь его.

— Еще бы!..

— Отказывался?

— Разумеется.

— И все-таки... на три года?

Виктор Иванович махнул головой.

— Нет... Это невозможно! — растерянно проронила молодая женщина.

И, вдруг спохватившись, сказала:

— Ты, милый, голоден... Идем в столовую.

Загарин отказался. Он закусил в Петербурге.

И с необыкновенной нежностью промолвил:

— Ты лучше садись, Вера... Устанешь.

— Пойдем ко мне... Няня здесь с Викой... Расскажи, что министр сказал... Отчего тебя назначил...

Мышка остановилась. Мальчик схватил ее и подбежал к матери.

— Мамочка! Смотри какая!.. Папа привез... Он всех нас возьмет! — радостно кричал Вика.

И, показав матери мышку, отнял ее и вернулся к пожилой своей няне Матрене Петровне.

Вера Николаевна, казалось, все еще не могла поверить, что муж уйдет в плавание... Им всем так хорошо вместе...

«Все ли Витя говорил министру, чтоб остаться!?» — подумала она.

И, когда они уселись на маленьком диване в уютной, перегороженной японскими ширмами спальней, Вера Николаевна, стараясь скрыть от мужа душевное волнение, спрашивала:

— Ты говорил министру, что у нас Вика?.. Ты говорил, что скоро у нас...

И молодая женщина крепко прижалась к мужу, словно ища помощи, и продолжала:

— Ты говорил, что мы только четыре года женаты?.. Ты говорил, милый, что мы счастливы и не хотим расставаться? Говори... как тебя он встретил?.. Почему отказал?..

— Приветливо встретил и сразу огорошил. «Назначаю, говорит, командиром «Воина», как одного из лучших капитанов. Надеюсь, довольны?»

— Изумился, милый?

— Да. Ты знаешь, до сих пор начальство не баловало вниманием. И вдруг: «из лучших!» Кто это мне удержил — перед министром — не понимаю! Не сам же выбрал... Однако подумал: верно, сейчас же отменит назначение... Желающих много... И сказал, что считаю себя вправе просить не назначать меня. Говорю, что семейные обстоятельства решительно вынуждают меня остаться здесь.

— Что ж он?

— Окрысился и грозно сказал: «На службе нет семейных обстоятельств!»

— Какое бессердечие! Да разве у него нет семьи? Нет детей? — воскликнула Вера Николаевна.

И слезы задрожали на ее глазах.

— Он не бессердечный... И не злой... И семья есть...

— Так как же не понимает семейных обстоятельств?

— Понимает и свои и чужие... Но у нас, Вера, нет протекции... И — знаешь — я не из ласковых телят... Не рассыпался в благодарностях за назначение... А в кабинете у министра было два старых адмирала да несколько штаб-офицеров... Он и хотел на мне показать, какой он радетель службы... Однако все-таки осведомился: «Какие такие могут быть семейные обстоятельства?..» Точно не знал, какие именно обстоятельства! — возбужденно проговорил моряк.

И, стараясь быть сдержаннее, чтобы не взволновать больше и без того взволнованную жену, Виктор Иванович продолжал:

— Ты поймешь, Вера, что не мог же я объяснять, что без тебя и Вики эти три года будут невыносимы... Да, верно, уж ему наболтали о нашем счастье...

— Ты прав, милый! — шепнула молодая женщина и пожала руку мужа.

— И я коротко сказал, что здоровье жены и сына требуют моего присутствия. И прибавил, что весь прошлый год плавал в Средиземном...

— А он?

— Ответил, что мои доводы не заслуживают уважения... И так... так скверно искривил свой беззубый рот в улыбку и колко сказал: «Такой чувствительный семьянин не должен быть моряком. Раз служите — должны плавать. Немедленно примите корвет и с богом!..» И некоторые из присутствующих тихо захихикали. Хотели подслужиться. Есть ведь подлецы!

Виктор Иванович поморщился точно от боли и продолжал:

— И ведь адмирал прав... Да, прав!

— Ты его еще оправдываешь?

— Да, родная моя. Ведь с тех пор, как я привязался к тебе, море перестало быть для меня прежним... Служба не захватывает больше... Меня манит берег...

к тебе... Я знаю, что такое счастье... И как министр сказал, так хоть в ту же минуту подал бы в отставку.

— Так что ж?..

— А где сейчас найдем место? Чем будем пока жить? И не дали бы отставки... Еще, пожалуй, отдали бы под суд... Неповиновение начальству... Исключили бы со службы...

И взволнованным, виноватым голосом Виктор Иванович вдруг прибавил:

— Виноват я перед тобой, Вера. Должен был раньше выйти в отставку... Тогда бы...

— Что ты говоришь, Витя?.. Ты, хороший, избавивший меня счастьем, виноват передо мной?!— перебила Вера Николаевна.

И, едва сдерживая рыдания, глядела на мужа прелестными большими и грустными глазами, полными бесконечно благодарной любви беззаветно преданной, но не влюбленной женщины.

Виктор Иванович благоговейно поцеловал ее руку и восторженно промолвил:

— Золотое ты сердце... А я все-таки виноват... «Слишком чувствительный семьянин для флотского офицера»!

Загарин пробовал улыбнуться. Но вместо улыбки вышла какая-то гримаса.

И он продолжал:

— Ушел от адмирала, и блеснула надежда. Извозчика и — к Путинцеву. Знал, что он в Петербурге... Знаю, что бесшабашный карьерист, без правил, только что выскоцил, адмирал и влюбленный в себя... Любимец министра... А все-таки, думаю, товарищ... Стоит только дождожить адмиралу, и меня вызоволит...

— Не люблю я Путинцева! — вдруг возмущенно воскликнула Вера Николаевна, обыкновенно очень снисходительная к людям.

И лицо ее залилось румянцем.

— Хлыщ... Женатый Дон-Жуан... И еще хвастает победами... То-то и не любишь Путинцева.

— Просто не терплю его... Я видела его два раза в собрании... Он так гадко глядел на дам, что они должны бы сгореть от стыда...

— На тебя, надеюсь, не смел так смотреть? — спросил Виктор Иванович и внезапно побледнел.

— Чтоб ты, милый... Хоть он и нахал...

— Смел бы! — глухо прошептал Виктор Иванович.

И Вера Николаевна, с чувством гадливости вспомнившая о взгляде Путинцева, еще вчера на улице заставившего ее покраснеть и отвернуться, снова вспыхнула и оттого, что скрыла про этот взгляд, чтоб не расстроить мужа, и оттого, что Путинцев осмелился так взглянуть на нее.

И она сказала:

— Разумеется, Путинцев не захотел тебе помочь?..

— И вдобавок оказался лицемерным прохвостом!..

Стал распинаться в товарищеских чувствах... Вилял и сказал, что он не в таких отношениях с министром, чтобы просить за другого... И наврал с три короба, чтоб увильнуть... И сказал, что, верно, кто-нибудь из старых адмиралов указал на меня министру. И он решил, что я должен идти, и заартачился. Он упрям... И что я, верно, раздражил его, если он так категорически отказал... И советовал по-товарищески идти, а через год пусть я прошусь по болезни в Россию. И тогда Путинцев похлопочет. «Ты, говорит, опять будешь в семье...» И еще соболезновал... Одним словом, мне было досадно, что я первый раз в жизни искал протекции и обратился к нему... Так и сказал Путинцеву.

И муж и жена притихли.

Наконец Вера Николаевна спросила:

— Когда ты должен уходить?

— Через неделю...

— Нет... Не уходи... Не уходи... Ведь это... несчастье... За что?

IV

Для такого мужа и отца и такого не честолюбивого и далеко не завзятого моряка, каким был Виктор Иванович, блестящее назначение было действительно большим несчастьем.

Но старик-адмирал, насмешливо назвавший Загарина «чувствительным семьянином», едва ли верил, что «семейные обстоятельства» уж такие серьезные, чтобы хорошему офицеру отказываться от дальнего плавания.

Не мичман же он. Мичману простиительно втюриться до умопомрачения. На то и мичман!

«Но капитану второго ранга, которому под сорок, не к лицу разыгрывать влюбленного», — думал скептик-

старик. Да и по опыту и по наблюдениям он не сомневался, что моряки трезво и просто относятся к разлуке, иногда и продолжительной, с женой и детьми.

Нечего и говорить, что назначение Загарина возбудило толки в морских кружках Кронштадта.

Многие моряки завидовали счастливцу, командующему щегольским корветом, отправляющемуся в Тихий океан. И лестно и выгодно. На береговое содержание трудно жить семейному человеку, а в дальнем плавании усиленное жалованье. Все знали, что ни Загарин ни жена не имеют ничего, кроме содержания, и живут очень экономно. А теперь можно поправиться.

Тем более удивлялись, что Виктор Иванович пробовал отказаться от назначения.

Правда, Загарины счастливая пара, но разве можно так близко принять к сердцу разлуку. Не одному ему приходится расставаться... Или он очень ревнивый? Так Вера Николаевна на редкость женщина. И так привязана к мужу и такая «остойчивая», что не «сдрейфит». Нечего ему бояться за свое счастье...

В морском собрании, как водится, критиковали высшее морское начальство.

Особенно горячились более честолюбивые капитаны, рассчитывавшие получить «Воин», и были такие, которые уже хлопотали об этом назначении, как только прежний командир Петровский заболел. Были пущены в ход всякие средства, даже и едва ли благовидные, разумеется, хранившиеся втайне.

Все находили, что Виктор Иванович отличный человек, хотя и не совсем были довольны, что после женитьбы он спрятался в своей семейной скорлупе и его редко видели в собрании, среди товарищей. Он точно избегал общества. Почти ни у кого не бывал и никого не звал к себе. Разумеется, он был отличным старшим офицером и исправным командиром, но не лихой и не энергичный моряк. И уж чересчур «гуманичит» с матросами. Иногда и нужно «подбадривать» их. Оттого у него на судах не было того «шика», который необходим военному судну... Одним словом, далеко не из блестящих капитанов. Слишком слаб для командира.

И, разумеется, все решили, что, по справедливости, есть более достойные капитаны, чтобы командовать судном в заграничном плавании и не осрамиться перед

иностранными моряками... Нет в Викторе Ивановиче морской жилки... Был, но, как женился, Загарин не тот. Положим, он отказывался... Однако все-таки идет!

Кто-то застулся за него.

— Виктор Иванович и сделал бы глупость — не пошел бы. Но адмирал застращался.

Тогда капитан второго ранга Никулин, красивый брюнет с бегающими лукавыми глазами, не без уверенности проговорил:

— Захоти Загарин похлопотать вплотную, небось, сумел бы оставаться... Видно, не очень-то трогательны домашние обстоятельства... Экая, в самом деле, семейная идиллия... После четырех-то лет... И я встретил Виктора Иваныча... Вовсе не имеет вида страдальца... Еще бы! Только что в штабе подъемные получил!..

Никулин захихикал и прибавил:

— Я было к нему с участем, а он ответил с большим «ассаже»... Еще товарищ! Прижучило бы его очень, спросил бы Николая Сергеича Никулина совета... Он и сказал бы ему, как избавиться от назначения. Знаю лазейку... Но только он, видно, раздумал...

— Какую лазейку? — спросили с разных сторон.

— Ну да уж есть такая... Так и разбалтывай!.. Ведь вы, господа, не отказываетесь от хороших назначений! — лукаво улыбаясь, сказал Никулин.

— Загарин антик — откажется... Вы ему скажите про нее... Он попытается, — сказал товарищ Виктора Ивановича.

— Небось, самому хочется?.. Поздно... Пока что, а подъемные тю-тю... Долги-то, верно, у Загарина есть! — ответил, смеясь, Никулин.

Однако глаза его особенно забегали.

V

Загарин действительно не делал больше никаких попыток.

Он походил на того мужественного приговоренного, у которого нет более надежды, и ему остается только скрывать мучительную тоску, похожую на агонию, в эти немногие дни перед разлукой, чтобы не увеличивать страданий безумно любимой жены и единственно преданного друга.

И Виктор Иванович геройски переносил несчастье.

С утра до вечера он был на корвете, где заканчивались портовые работы, и старался заботами о скорейшем уходе «Воина», согласно предписанию начальства, отвлекаться от назойливых тяжелых дум.

И офицеры и матросы, видимо довольные новым командиром, встретили его так радостно, что Виктор Иванович был тронут. Он, конечно, догадался по этой встрече, что прежний командир уже напугал людей своей неумолимой строгостью наказаний и надменно-дерзким обращением, и матросы так обрадовались, уверенные, что дальнее плавание, и без того неприятное им, морякам поневоле, по крайней мере не будет беспрерывной «каторгой» с постоянным страхом наказаний и вечным трепетом перед жестоким педантом-командиром.

Недаром же Петровский имел репутацию блестящего капитана, на судах которого матросы были «идеально» расторопны, суда — игрушками, и сам он — один из лучших представителей флота по лихости, находчивости, энергии и железной воле.

Хоть хорошая молва и не так бежит, как дурная, тем не менее о Загарине матросы кое-что знали. И с первого же дня, как на клипер приехал новый командир, и офицеры и матросы вздохнули. И лица стали не такие подавленные. И разговоры в кают-компании и на баке пошли другие. Даже «Волчок», маленький песик, кем-то из матросов привезенный с берега на клипер и впредь до распоряжения почти не показывавшийся на палубе, вдруг появился и путался между матросами, сперва робкий, с поджатым хвостом, а через день уже не без гордости носил его крендельком, и матросы уже не сомневались, что «Волчок» поедет с ними в «дальнюю».

Судовой врач Нерозов, недавно окончивший курс молодой человек, поступил в морскую службу для того, чтобы попасть в дальнее плаванье и увидеть роскошную природу, диковинные страны и людей. И, счастливый, что мечты его осуществились, он через месяц принужден был отказаться от желанного плавания — до того расстроил и напугал Петровский своим обращением с людьми и жестокостью, и подал в отставку.

Теперь молодой человек снова обрадовался и, взволнованный от страха, что уж поздно вернуть отставку,

он в тот же день полетел хлопотать и вечером веселый вернулся с берега. Он останется и пойдет в плавание да еще с таким капитаном, как Загарин.

— Вы вот радуетесь, и все мы радуемся, что пойдем с Виктором Иванычем. А он-то, бедняга, кажется, недоволен, что едет! Недаром отказывался! Да только не «выгорело» Виктору Иванычу! Не умеет он просить начальство. Не из таких! — сочувственно говорил старший механик Биркин, и сам бывший «не из таких».

— Отчего же Загарин отказывался? — спрашивал доктор.

— Вот подите ж... На редкость привязан к своей жене... Просто не так, как у нас, в Кронштадте, а вроде как обезумевший. Бывают же такие мужья... Ну да и Вера Николаевна... Я видел ее... Просто на сердце веселей, как увидишь такую даму...

Молодой доктор серьезно заметил, что сильные привязанности иногда очень расстраивают нервную систему... Но, по-видимому, Загарин не кажется неврастеником.

— И не покажется... С характером человек.

Тем не менее молодой врач решил, что он будет наблюдать за капитаном и постарается помочь ему, если нервы его будут расстроены.

На другой день в кают-компании было известно, что Загарин, из-за необходимости расстаться с семьей, отказывался от назначения.

Эта новость не произвела на офицеров, даже и на женатых, сильного впечатления.

Кроме старшего механика и врача, обоих холостых, все больше удивлялись, но не сочувствовали. А мичмана, с жестокостью очень молодых людей, даже подсмеивались над пожилым человеком, которого сумасшедшая и продолжительная любовь к жене,— будь она хоть бы сама милая Вера Николаевна,— казалась смешной и даже несколько унизительной для моряка.

И один из них не без задорного самодовольного хвастовства воскликнул:

— Я и сам летом врезался... Хотел было: «Исайя, ликуй!.. Но как меня назначили, господа, на «Воин» вахтенным начальником, я взял да и скомандовал себе: «Иван Иваныч! Право на борт! Марса-фалы отдай. По-

ворот оверштаг!» И, как видите, в полной памяти и в здравом рассудке... А как, слава богу, у нас командиром Виктор Иваныч, так хоть кричи «уру», что иду на корвете!

Через Рябкина и на баке узнали, что новый капитан «в расстройке» по случаю его большой «приверженности» к барыне и маленькому барчуку. Кстати, и Рябкин пожаловался, что ему очень нудно уходить из Кронштадта.

И некоторые матросы пожалели капитана, а к жалобам вестового, напротив, отнеслись без сочувствия, точно не матросское это дело — перед людьми излияться в тоске по своей бабе, и не один он расстается с женой.

И кто-то сказал:

— Такие ли бывают, братец ты мой, горя и у нашего брата.

VI

Виктор Иванович сделал все необходимые семейные дела и распоряжения.

Он написал своей матери, жившей в Твери, переехать в Кронштадт к Вере; перевел жене получение большей части своего содержания и просил своего друга Николаева, ординатора в кронштадтском госпитале, часто навещать жену и немедленно телеграфировать, если жена или Витя заболеют серьезно.

— Ладно! — ответил доктор, расхаживая по своей большой комнате, нанимаемой у жильцов.

Здоровье Вити и прежде беспокоило Загарина и жену.

Но теперь этот худенький, бледный мальчик, с большими вдумчивыми глазами, который не будет на любящих глазах отца, возбуждал в нем мрачные, страшные мысли.

И он, скрывая страх, спросил доктора о здоровье мальчика.

Доктор, пожилой холостяк, давно привязанный к Загарину, сказал:

— Твой Вика хоть и слабенький, но никакой болезни в нем нет. Вера Николаевна умная мать... Умеет ходить за ним... Мальчик выровняется... Не тревожься, Виктор Иваныч... Я присмотрю за твоими... Сам только

не распускай себя, голубчик... И на кой черт именно ты им понадобился, несмотря на твой отказ... Так помни, Виктор Иваныч. Если нервы расшалятся — посоветуйся с Нерозовым... Он порядочный человек и толковый врач. И если все бромы и прочие средства не помогут, валяй телеграмму начальству о болезни, брось корвет и... домой. А пока раздевайся... Дай на тебя посмотрю.

Доктор добросовестно выступал и выслушал Загарина и сказал:

— Все в порядке... Только пульс повышенный... Эти ночи плохо спишь?..

— Мало...

— Еще бы... Уж лучше скорей уходи.

— Через пять дней уйду, Егор Егорыч.

— И пусть Вера Николаевна и не думает ехать на корвет — провожать тебя...

— Вере хочется.

— Мало ли чего хочется... Я приду на днях и скажу ей, что нельзя... А к тебе, в день ухода, заберусь с утра, как только обход своих больных сделаю.

Друзья расстались. Доктор отправился в госпиталь. Загарин вернулся на корвет.

Виктор Иванович несколько успокоился за Вику и, покончив все семейные дела, считал, что готов к уходу в плавание.

По крайней мере Вера не останется без него однокой.

Вернувшись на корвет, Загарин приказал Рябкину развесить портреты жены и Вики в спальне своей роскошной капитанской каюты.

В шесть часов вечера Виктор Иванович вместе с вестовым уехал на вельботе на берег.

Дома его уже ждал обед.

И муж и жена не говорили о том, что обоих их мучило и что оба они старались скрыть друг от друга. И как будто нарочно рассказывали о разных предметах, не имеющих никакого отношения к разлуке. Вера Николаевна рассказывала о Вику, как он с ней гулял, что говорил, о прочитанной повести, о том, что себя хорошо чувствует, о нескольких визитах знакомых дам. А Виктор Иванович, словно бы занятый своим корветом, го-

ворил о работах, о старшем офицере, докторе и старшем штурмане...

И вдруг оба смолкали и не глядели друг на друга. Разговор не клеился. Они чувствовали, что напрасно стараются обмануть друг друга и как мучительно тяжело обоим.

И после обеда, притихшие, словно бы виноватые, они сидели вдвоем на маленьком диване в спальной и молчали. Каждый думал про себя, стараясь казаться спокойным.

Часу в восьмом раздался звонок, и Рябкин вошел с докладом, что пришел капитан второго ранга Никулин.

«Что ему надо?» — подумал Загарин.

Он приказал просить в кабинет и, вставая, сказал жене:

— Сейчас сплавлю его, Вера.

— Поскорей!..

В маленькой комнате, служившей Загарину кабинетом, где на диване, после прежних ранних обедов, Виктор Иванович обыкновенно играл с Викой, — стоял красивый брюнет с бегающими глазами и, особенно крепко пожимая руку Загарину, проговорил:

— Извини, Виктор Иваныч, что ворвался. Я на пять минут.

— Садись, Николай Сергеич...

— Ты, Виктор Иваныч, ведь отказывался от назначения?

— Да.

— И остаешься при своем желании?

— Так что же?

— А то, Виктор Иваныч, что еще можно отменить приказание...

Загарин изумленно взглянул на товарища.

— Я тебя не понимаю, Николай Сергеич.

— Поймешь, Виктор Иваныч, и скажешь спасибо товарищу... Завтра же едем на первом пароходе в Петербург...

— Зачем?

— Я отвезу тебя, Виктор Иванович, к одной даме...

Загарин нахмурился и спросил:

— К какой даме... И при чем дама?

— Очень милая дама... Ну, одним словом, уви-

дишь... Проси ее, чтоб тебя не посылали, а уж это мое дело, чтоб она устроила мое назначение... И ты будешь доволен, что останешься, и я, что уйду командиром «Воина»... Понимаешь, Виктор Иваныч?

Загарин понял.

— Я не поеду,— сухо проговорил он и встал.

Встал и Никулин, несколько сконфуженный.

— Не желаешь остаться?.. Не хочешь воспользоваться протекцией...

— Только не такой...

— Не хуже и не лучше другой, Виктор Иваныч... Впрочем, у каждого свои взгляды... Хотел тебе же помочь...

— Напрасно беспокоился... Лучше сам проси даму, чтобы тебя назначили...

— Поздно... Без тебя теперь она не согласится... хлопотать... Ну, а ты... предпочитаешь «дурака свалить»... Извини, что задержал товарища! — иронически проговорил Никулин. И, пожав руку Виктора Ивановича, ушел.

Загарин вернулся к жене, и напрасно он старался скрыть раздражение.

Еще бы не заметить его по подергиванию щеки! И Вера Николаевна тревожно спросила:

— Зачем приходил Никулин? Чем тебя раздражил?

— Да как же!.. И как он явился с таким предложением! — повышая голос, проговорил Виктор Иванович.

И, присевши рядом с женой, рассказал ей, зачем приходил Никулин.

Вера Николаевна, не прерывая, жадно слушала мужа, серьезная и подавленная.

— Ты ведь понимаешь, что я не мог согласиться? Ты ведь не упрекнешь меня, родная моя? Не правда ли? — взволнованно и словно бы без вины виноватый, спрашивал Загарин, ожидая одобрения.

Что-то обидное и больное словно бы укололо внезапно сердце Веры Николаевны. В ее голове промелькнула мысль: «Ради семьи не может остаться. И говорит: так любит!»

Но в следующую же секунду молодой женщине стало бесконечно стыдно.

Хоть Вера Николаевна и не сознавала, отчего так некорочно предложение Никулина, но в следующее же

мгновение, словно бы просветленная, она почувствовала, что оно нехорошо, если такой человек, как муж, возмущался.

И уж не обиженная, а сама, казалось, считавшая себя напрасно обидевшей человека, который так беспредельно и любит и благоговейно влюблен в нее,— Вера Николаевна с необыкновенной нежностью, порывисто промолвила, умиленная:

— Милый!.. хороший... Ты прав, конечно...

И Виктор Иванович почувствовал, что с души его спало что-то тяжелое, благодарно взглянул на жену и восторженно проговорил:

— Спасибо, Вера... И как я тебя люблю!

И снова оба искали и не находили слов, пока не пришел доктор Николаев и не втянул их в разговор.

VII

После того, как в столовой отпили вечерний чай и Загарини вместе с доктором перешли в гостиную,— Рябкин и Ариша сидели за самоваром в большой, безупречно прибранной кухне, в углу которой теплилась свеча у образа, а на кухонном столе стояла маленькая лампа.

Ариша, полноватая, здоровая блондинка, была старше мужа и по сравнению с красавцем-матросом казалась и старее своих тридцати пяти лет и почти некрасивой. Но бойкая, с умными глазами, умеющая «ходить за собой» опрятно, Ариша внушала к себе не только влюбленные ревнивые чувства, но и невольное почтение к ее «башковатости» и практической споровке. И Рябкин находился в полном подчинении Арише, хотя, случалось, и покрикивал на Аришу, словно бы желая показать, что обязан держать бабу в понятии насчет того, что он глава.

И Ариша только лениво посмеивалась, уверенная, что «Вась» только хорохорится.

Она была матросская вдова и через год после того, как первый ее муж потонул, она поступила к Загаринным кухаркой, и сама влюбившаяся в вестового, скоро влюбила его в себя и, честь честью, вышла за него замуж. Она была очень счастлива с таким красивым и влюбленным, и веселым, и добрым матросом, и теперь то и дело плакала...

Рябкин выпил несколько стаканов чая и с лимоном и с вареньем, припасенным для него Аришой еще летом, когда на даче варила для барыни, слушал, сколько новых рубах, носков и другого белья получит к плаванию, и, расстроенный, смотрел, как Ариша, прерывая разговор, начинала всхлипывать, сам вытирая слезы и говорил:

— А ты не реви, Ариша... Не реви... Будь форменой матроской... Посмотри, как барыня выдерживает себя!

Но, довольный, что Ариша так ревет и так заботится о нем, Рябкин, словно бы хотел еще более разжалобить жену, насквозь ей, какие опасности предстоят ему в плавании.

И он продолжал:

— На то наше матросское положение, Ариша. Вода — не сухая путь. Бога-то каждый секунд вспомнишь. Небось, слыхала, какой такой окиян. Бабе и не понять... это как штурма... Волна, я тебе скажу, Ариша, такая преогромная, что и не обсказать... Выше собора... И много их... Так и вздымаются над конвертом... И душа замрет. Вот, мол, обрушится и зальет... Окиян... гу-гу-гу... гудит... Ветер — страсть как воет... И конверт бросает во все стороны, как растопку... И волна вкатывается... Прозевай — смоет... А бывают такие бури, ураганы прозываются, что крышка... Проглонет судно со всеми... Небось, опосля только и догадаешься, что Вась не вернется... Тогда отслужишь панихиду и формено поревешь... А пока что — не реви, Ариша... Не реви...

Но Ариша уже ревмя ревела. И Рябкин, под влиянием своих же жалостных слов, ревел.

Но, впечатлительный, затем спешил утешить и Аришу и себя.

— А ты не бойся, Ариша... Бог даст, вернемся... Очень даже вернемся... Мало ли матросов ворочаются... И Виктор Иваныч, небось, во всякую бурю управится... Он — форменный капитан... Не дастся в обиду окияну... И опять же... знает, как не попасть в центру урагана... Тогда нет крышки... Опять будем вместе, Ариша... Не реви зря, желанная моя супруга...

И, когда Ариша отошла немного и подала закусить, Рябкин уже более не вел жалостных речей — и без

того у Ариши глаза вспухли от слез,— а, напротив, старался подбодрить ее.

И, уписывая за обе щеки остатки от господского обеда, в промежутке рассказывал, что привезет Арише изумрудный супирчик с Цейлон-острова, и шелковое платье из китайской стороны, и платочек на голову...

— Совсем будешь облестительная матроска! — говорил Рябкин.

Ариша улыбалась сквозь слезы и нежно шептала:

— Доедай, Вась, жаркое... Доедай...

— А завтра ежели на фрыштык?

— Барыня не хватится. И много ли осталось?.. Не беспокойся... Кушай на здоровье, бесценный супруг... И рюмочку еще... Для тебя припасла марсалы, родной... У нас здесь ее много... Выпей, Вась. В пленорию можно и вреды нет... Ты ведь у меня твердый супруг... Я не обожаю пьяниц... И ежели когда сама от плиты рюмку, так для сил моих... А с тобой для компаний! — говорила Ариша и налила две рюмки.

Выпили они оба, и Рябкин прикончил жаркое.

Глаза Ариши засияли. Обиднее стало ей, что она останется одинокой.

И не без раздражения сказала:

— Мог бы барин для барыни остаться. Обожает, а не схлопотал!

— Докладывал барину... Обскажите, мол, по начальству. «Дурак!» говорит... А лезорюция-то вышла ему такая, что иди... А отпрашивался... Это верно...

— Так, барыня бы за барина... попросила.

— Нет такого положения... Не пустит барин... То-то и есть... Обидели Виктора Иваныча!

И, помолчав, прибавил:

— А ты живи у барыни, Ариша. Не отходи!

— Зачем отходить от такой барыни...

— Завтра и новый вестовой явится для осмотра... Понравится ли барыне? Только зачем вам вестовой... Зря держать человека...

И Рябкин вдруг стал необыкновенно серьезен.

— И сама одна справлюсь... Не зачем вестового,— торопливо и возбужденно ответила Ариша.

Но молодой матрос нахмурился и почти грубо сказал:

— Ты, Ариша, смотри!..

— Что выдумал?.. Глупый, Вась!..

— Глупый, а вздумается!.. Тоже бывают матроски!

Арина, верно, вспомнила, что с ней бывало, когда первый муж плавал, и в то же время не обиделась на ревнивый, грубый оклик мужа. Напротив!

И зардевшаяся Ариша, со страстной порывистостью влюбленной жены, воскликнула:

— Пропади пропадом все матросы кроме тебя, желанного... Да разве можно тебя променять на кого-нибудь... Не знаешь, как тебя обожаю?..

— То-то и есть, Ариша... Чтобы по совести жила без меня... Не облещай...

И, уже смягченный, Рябкин почти что просящим тоном прибавил:

— Я доверчивый матрос... А ты, Ариша, умная и споровистая... Не обидь. Нехорошо...

— Чтобы да тебя обмануть?.. Да вот тебе бог!

Ариша, уже вскочившая с табурета, перекрестилась перед образом, разумеется, забывшая, что клялась в том же и первому мужу.

И, низко заглядывая в глаза Рябкина, шепнула:

— Смотри, Вась, и ты...

— Что я?..

— Помни закон... Не смей, Вась!

В свою очередь Рябкин дал слово, что он не согласен забыть закон...

— Совесть еще есть... Проживу по-хорошему! — взволнованно промолвил он.

— Перекрестись! — приказала Ариша.

Рябкин торжественно перекрестился перед образом.

Ариша поцеловала матроса и сказала:

— Завтра же барыне доложу, что вестового нам не надо.

Кукушка прокуковала десять раз, и в кухне раздался звонок.

— Верно, доктор уходит... Беги, Вась...

Через пять минут Рябкин вернулся.

— Ушел... И мне велели спать! — проговорил он, аккуратно повесив на крючок платье Загарина и поставив на сундук сапоги. — Разве завтра вычистить? — словно бы спрашивая совета Ариши, прибавил Рябкин.

— И сама завтра вычищу.

Скоро за перегородкой раздавался храп.

VIII

В одиннадцать часов утра на «Воине» стали разводить пары.

У борта корвета стоял небольшой военный пароход, на котором приехали провожающие моряков-офицеров.

Погода была отвратительная, и все сидели эти последние часы перед долгой разлукой с родными и близкими в каютах и в кают-компании.

Капитана родные не провожали. Загарин рано утром простился со своими дома и уж на извозчике вытирая слезы.

Бледный и, казалось, спокойный, Виктор Иванович сидел в своей капитанской щегольской каюте с доктором Николаевым. В качестве друга он старался развлечь Виктора Ивановича и потому рассказывал ему истории и анекдоты, которые уже слышал Загарин.

— Пойти-ка взглянуть, какова теперь погода! — проговорил Загарин.

— Такая же теплая, — ответил доктор.

Оба надели пальто, вышли наверх и поднялись на мостик.

Вахтенный офицер, мичман Иван Иванович, который хвастал, что ему «наплевать» на всякую любовь, и удивлялся, что капитан ради жены отказывался от плавания, одетый в дождевик, с зюйдвесткой на голове, — стоял у компаса рядом с молодой девушкой, закутанной в ротонду. Оба грустные, взволнованные, они о чем-то тихо говорили... А дождь так и лил.

При появлении капитана мичман вдруг смолк, незаметно смахнул слезы и почему-то взглянул на палубу.

Капитан не хотел мешать влюбленным. Он прошел на бак.

Несколько вахтенных матросов, одетых в дождевики, были угрюмы.

— Видишь, как действует на людей погода! — заметил доктор.

— Еще бы! — ответил Загарин и стал смотреть вокруг.

Погода была тоскливая.

Шел дождь с мокрым снегом по временам. Пронизывало холодом и сыростью.

Море, свинцовое и неприветное, слегка переливалось маленькой зыбию, с едва пенившимися, ленивыми

«зайчиками». Горизонт большого рейда был затянут мглой... Брандвахта едва виднелась. Небо было обложено тяжело нависшим серым куполом туч. Кронштадт был окутан мутной пеленой, сквозь которую выделялись тусклыми силуэтами церкви и высокие трубы казенных мастерских.

Виктор Иванович смотрел на этот привычный для него осенний вид Финского залива, и Загарина внезапно охватило мрачное предчувствие.

Почему? Чё именно вызвало в нем какой-то невольный тосклиwyй страх? Он не мог себе его объяснить. Далеко не суеверный, владевший собою моряк понимал, что нет никаких причин этого душевного настроения. Не боится же он плавания, знает его опасности и умеет бороться с океаном. Ничто не грозит жизни жены и Вики, кроме тех внезапных недугов, от которых никто не застрахован.

Загарину все это приходило в голову, и он старался отогнать эти мрачные, нелепые мысли, приписав их и нервам, и разлуке, и погоде.

И тем не менее он не мог избавиться от них. Чем назойливее старался не думать о них, тем яснее и, казалось, неотвязчивее чувствовал и словно был уверен, что уход грозит каким-то большим несчастием. О нем, казалось, говорил и мглистый горизонт, и море, и небо, и это неожиданное назначение.

— Какие глупости! — сердито проговорил он.

— Это чё глупости? Что мы мокнем на дожде? Спустимся лучше вниз... Действительно погода — подлец...

Они вошли в каюту.

Там было тепло, уютно и светло. Вестовой догадался затопить камин и зажечь лампу.

Мрак на душе капитана исчез, и он сказал доктору:

— Нервы, брат, расшалились... Чепуха лезла в голову на баке...

Виктор Иванович рассказал про нее и, смеясь, добавил:

— Верь я в предчувствия, как старые бабы, то...

— То был бы не Виктором Иванычем, какого я знаю давно, а невежественным человеком и трусом перед опасностью, которой вдобавок еще нет. Так-то, дружище...

— Положим и так... Но если бы эти мрачные мысли угнетали меня?

— На то у тебя есть сильная воля, чтобы не поддаваться им.

— И если все-таки...

— Обязан лечиться, как говорил... Попринимай капли, следи за желудком, а работы у тебя, как капитана, довольно. Нервы у тебя не в порядке. Ну, скажем, в первое время, острота разлуки... Но пока не болен серьезно — не должен распускать себя... Не думаешь же ты, что весь смысл жизни в неразлучном счастливом житии с женой, хотя бы и с такой, в которую влюблен до сих пор до безумия, и с детьми?.. Положим, это одна из приятных сторон жизни, не спорю, но есть и другое. И не один же ты в положении соломенного вдовца... Не один же ты на свете влюбленный муж, расстающийся по каким-нибудь делам с женой... А главное — ведь твое дело серьезное... На тебе ответственность за людей... Их лучшая жизнь, спокойствие, безопасность, их жизнь... На тебе исполнение серьезного долга... Да что я тебе говорю?.. Будто не ты, Виктор Иваныч, пропел мне суровую отповедь пять лет тому назад, когда я так разнервничался, что чуть было не свалял дурака... Ведь помнишь?

— Еще бы не помнить...

— А тогда мое настроение было «бамбуковое», со всякими предчувствиями... Недаром я до сих пор холостяк... Ведь я навсегда расставался с русалкой, на которую раньше молился. Знаешь, любил ли ее?..

— Знаю.

— Но не испытал, что значит обмануться в любимой женщине... Это действительно несчастье... Можно слабой твари и раскиснуть. И помнишь, как я раскис?..

— Совсем раскис...

— Да так, что, не образумь ты меня, не устыди вовремя — пустил бы пулю в лоб... И, как видишь, не считаю себя несчастным оттого только, что меня пустила в трубу красивая русалка... А ведь ты счастлив, Виктор Иваныч, и... вдруг предчувствия...

— Оттого и не хотел идти в плавание, что счастлив, и не тянет меня в плавание...

— Да многих ли тянет?.. Только карьерные соображения... А матросы так идут поневоле в дальнее плава-

ние... Ведь не моряки — русские мужики. Море им не-привычно и страшно, что не мешает им быть отличными матросами и из-за страха и за совесть... Ты прежде любил море... Понятно, что теперь разлюбил его и не хочется идти... Однако не воспользовался же предложением небрезгливого товарища.

— Еще бы.

— А если б послали на войну?.. Не хотел бы, а пошел.

— И теперь иду, но это другое дело. И знаешь ли, чего я не понимаю?

— Назначения?

— Именно. Кто мог удрожить мне?

— Начальство... Сообразило, что ты дельный капитан и любим матросами... Эти беспощадно суровые, так называемые лихие капитаны, дантисты и поклонники порок, значит, выходят из моды. И уголь не будет так дорог... И матросы не будут бесправными... И во флоте новые песни, как везде. В наше время обновления после крымской войны... И сердись не сердись, Виктор Иваныч, а я рад за команду «Воина»...

И доктор, один из тех идеалистов шестидесятых годов, который и в своем маленьком деле применял свои гуманные взгляды, с обычной страстностью стал говорить о тех чудных надеждах, которыми он был полон в это горячее время освобождения крестьян и других реформ...

— Однако и рюмку водки пора выпить за твое здоровье! — заключил доктор.

— Мы завтракаем в кают-компании... Сию минуту полдень, и нас позовут... Так смотри, голубчик... навещай моих... За Викой присматривай...

— Буду... А ты, Виктор Иваныч, смотри не того... не распускай себя...

В эту минуту вошел старший офицер и сказал:

— Милости просим, Виктор Иваныч и доктор, к нам, в кают-компанию...

Кают-компания была полна провожающими и хозяевами-моряками, отправляющимися в дальнее плавание.

Огромный стол, над которым висела большая лампа и по переборкам каюты горели свечи в кенкетках, сверкал белизной белья, сервисом и хрусталем и заставлен был закусками и бутылками.

Распорядитель пиршества, молодой лейтенант Веретьев, выбранный кают-компанией содержателем на шесть месяцев, только что одевший вестовых в нитяные белые перчатки и просивший их не подгадить и не облить соусом при подаче громадных рыбин и индеек,— не без горделивости оглядел убранство стола и, при входе капитана, пригласил садиться.

Провожавшие мужчины — преимущественно моряки — были веселы. Некоторые дамы, и особенно старые, провожавшие сыновей — были серьезны и с заплаканными глазами; были, впрочем, и веселые молодые лица.

Капитана усадили, конечно, на почетное место, на диван во главе стола. С одной стороны сидел старик адмирал, провожавший сына, с другой — доктор Николаев.

Но перед этим Виктору Ивановичу пришлось познакомиться с некоторыми гостями и ответить знакомым дамам, что жены нет потому, что нездорова.

Кое-как разместились. Гостеприимные хозяева-моряки, уже обменявшиеся последними интимными уверениями, пожеланиями и наставлениями со своими близкими в уединении кают, здесь, на людях, не давали воли своим чувствам и угощали своих дам, накладывая им на тарелки всего в таком количестве, которое словно бы свидетельствовало о силе невысказываемых в публике чувств и о желании утешить и матерей, и жен, и сестер.

Мужчин не приходилось утешать в этот адмиральский час. Они уже без угощения выпили по две рюмки и ели разнообразные и вкусные закуски. И провожавшие, казалось, еще более оживились и находили, что три года плавания «пронесутся как миг».

Старый адмирал, толстый, с большим животом и добродушным лицом с крупными чертами, ел свежую икру с наслаждением и вдумчивостью заправского гурмана, маленькие и заплытые глазки которого блестали плотоядным огоньком.

— Отличная икорка, Виктор Иваныч! — промолвил адмирал, словно бы объявляя благодарность капитану за хороший смотр.

Разумеется, адмиралу налили еще рюмку померанцевой и наложили на тарелочку изрядную порцию икры.

— Вот этого не покушаете в дальнем плавании! —
участливо заметил адмирал, обращаясь к капитану.

И словно бы в виде утешения прибавил:

— Славное судно ваш корвет, Виктор Иваныч.
И в образцовом порядке. Понимаю, как приятно коман-
довать «Воином» и идти на нем в дальнее плавание...

И, не ожидая ответа, адмирал принялся за икру.

— Любит покушать! — смеясь, прошептал на другом конце какой-то мичман.

— Это ведь он говорит: «Кто любит есть, садись подле меня, кто любит пить — садись подле бра-
та!» — ответил пожилой моряк, сидевший около своего племянника-мичмана. — Брат адмирала не глуп выпить.

— Так надо садиться между обоими! — засмеялся мичман.

Подали на двух блюдах огромные форели. Вестовые, с напряженными раскрасневшимися лицами, осторожно обносили блюда и соусники с подливкой, поглядывая на лейтенанта Веретьева, который отрывался от оживленной тихой беседы со своей женой — пикантной брюнеткой лет тридцати, известной в Кронштадте, обворожительной, кокетливой Надеждой Викентьевной, сводившей с ума и мичманов и адмиралов, — и бросал тревожные взгляды на вестовых.

— Молодцами! — довольно шепнул он подававшему ему белобрюсому вестовому с выкаченными глазами и наложил жене и себе по большому куску форели.

— Это ты, Ника, можешь так есть в такие минуты! — шепнула пикантная брюнетка, и в ее черных красивых глазах, только что бесконечно покорно-грустных, уже стояло выражение упрека и неудовольствия.

— Надя... Что ты? — чуть слышно промолвил лейтенант.

— Хороша любовь!

— Надя!

— На три года расстаемся и... навалил... Ты можешь есть, а я... я не могу...

— И я не могу... Так, нечаянно... Какая еда теперь!..

И лейтенант не без тайного сожаления только ковырнул рыбку и стал говорить о том, как будет тосковать.

Пикантная брюнетка не дотрагивалась. Глаза ее снова стали бесконечно грустными. Все могли видеть, какая она несчастная Пенелопа.

— Еще бы нам не тосковать, милая Надежда Викентьевна! — заметила высокая, полная и некрасивая дама, сидевшая рядом. — Они, — и некрасивая дама строго взглянула на своего мужа, старшего штурмана Василия Ивановича, худенького, маленького и скромного человека лет под пятьдесят, — они там будут веселиться, а мы...

Василий Иванович покраснел, как пион.

Это он будет веселиться? Он, отправляющийся в третье кругосветное плаванье главным образом потому, что семья большая и Василий Иванович во всем отказывал себе, чтобы больше прикопить денег в плавании на приданое для дочери. Он принял предложение идти на «Воине» и потому, чтоб не раздражать своим присутствием свою монументальную Анну Петровну, допекавшую смиренного Василия Ивановича главным образом жалобами и упреками в том, что она далеко не счастливая женщина, как рассчитывала двадцать лет тому назад, когда была доверчива и неопытна...

И Василий Иванович «дернул» рюмку мадеры и промолвил, обращаясь к Надежде Викентьевне:

— Какое там веселье... Разве вот мичманам-с...

— Конечно! — подтвердил Веретьев.

И, заметив, что время подавать индейку и шампанское, мигнул старшему вестовому, занимающему должность буфетчика.

Розлили шампанское.

Старый адмирал поднялся и сказал несколько слов пожеланий успешного плавания, и заключил комплиментом капитану. Капитан предложил тост за всех провожающих.

Затем раздавались чокания и новые тосты. Пили за капитана, за дам, за адмирала, за всех офицеров. Пили за мужей и жен, женихов и невест. Молодой судовой врач догадался предложить тост за команду...

Дамы снова начали утирали слезы. Монументальная дама со слезами на глазах советовала Василию Ивановичу беречься и шептала о супружеском долге. Василий Иванович только пожимал плечами и не краснел потому, что и без того был красен после мадеры, шампанского и шартреза. Два жениха, лейтенант и младший механик, приуныли и тихо повторяли клятвы.

— Смотри, Ника! — шептала пикантная брюнетка.

— О, Надя...

— Не транжирь денег, Анатолий! — говорил адмирал.

— О, папа!

Кофе был выпит. И в каюту вошел сигнальщик и доложил с вахты:

— Пары готовы. Скоро «опанер»!

Капитан встал из-за стола и, простиившись со всеми провожающими, вышел наверх и поднялся на мостик.

— Всех наверх, с якоря сниматься! — раздалась команда вахтенного мичмана.

Еще последние прощания, и провожавшие перебрались на пароход. Сходня была убрана.

— Ход вперед!

«Воин» тихо двинулся. Двинулся в Кронштадт и пароход.

С парохода и с корвета раздались прощальные приветствия.

Матросы снимали зюйдвестки и крестились на Кронштадт.

— Прощай, Россия! — воскликнул кто-то.

Корвет пошел полным ходом и, обменявшись с Кронштадтом салютом, через четверть часа был в море...

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ 1898—1901

ПЕРВОГОДОК

Впервые — в «Журнале для всех», 1899, № 1.

Стр. 5. *Немецкое море* — другое название Северного моря.

Стр. 7. *Экипажный командир* — здесь: командир береговой флотской части, в которую входили все офицеры и матросы, необходимые для укомплектования судов военного флота.

Стр. 9. *Вяземская лавра* — знаменитый район Петербургских трущоб, располагавшийся на примыкающем к Сенной площади земельном участке отставного штабс-ротмистра князя А. Е. Вяземского (отсюда название) и служивший ночлежкой обитателям петербургского «дна», средоточие трактиров, кабаков и воровских притонов.

Рамбов (простореч.) — Ораниенбаум.

Стр. 13. *Ендова* — широкий сосуд с носиком.

НА «ЧАЙКЕ»

Впервые — в журнале «Живописное обозрение», 1899, №№ 1, 4, с подзаголовком: «Картички былой морской жизни».

Стр. 21. ...выписывая ногами мыслете... — то есть сложные фигуры. По названию буквы «М» в славянорусской азбуке.

Стр. 26. *Гижига* — город на побережье залива Шелихова в Охотском море.

ЗА ЩУПЛЕНЬКОГО

Впервые — в журнале «Юный читатель», 1899, № 11, с подзаголовком: «Рассказ (Из былой морской жизни)».

ГИБЕЛЬ «ЯСТРЕБА»

Впервые — в журнале «Всходы», 1899, № 5.

Стр. 49. *Скагеррак* — пролив между северо-западным берегом Ютландии и Скандинавским полуостровом, соединяющий Северное (Немецкое) море с Балтийским.

Стр. 52. ...теперь, когда пошли эти броненосцы... — Броненосный флот создавался в России со второй половины 60-х годов. Первый крупный русский броненосец «Петр Великий», считавшийся самым мощным кораблем этого типа в мире, был спущен на воду в 1872 году.

ОБОРОТ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1899, № 11. Рассказ посвящается Дмитрию Александровичу Клеменду (1848—1914) — деятелю народнического движения, одному из создателей революционной организации «Земля и воля».

Стр. 63. *Кантонист* — так в крепостной России называли солдатских и матросских детей, с самого рождения прикрепленных к военному и морскому ведомствам и воспитывавшихся в особой школе; по ее окончании их обычно на 20 лет зачисляли на военную службу.

Стр. 69. *Ревель* (ныне г. Таллин) — город-порт на побережье Финского залива.

...мимо Гоглан-острова... — Имеется в виду остров Гогланд в Финском заливе.

Стр. 71. ...император Александр Николаич простил бунтовщиков против родителя... — В 1856 году в связи с коронацией Александра II декабристы были амнистированы. Они были восстановлены в правах и получили разрешение вернуться в европейскую Россию.

ТЯЖЕЛЫЙ СОН

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1900, №№ 119, 123. Для сборника «Маленькие рассказы», СПб., 1902, рассказ был подвергнут значительной стилистической правке.

Стр. 72. ...на фиксе у знакомого профессора... — то есть на журфикс. Журфикс — постоянные дни для приема гостей (франц.).

Стр. 77. «*Ça lui fait tant de plaisir et à moi si peu de peine!*» — Источник этой популярной остроты, встречающейся и в других произведениях русской литературы последней трети XIX века (например, в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского) — эпиграмма на известную французскую актрису Ж.-К. Госсен (1711—1767). Ее прозаический перевод: «Нежная Госсен, как! Так молода и так прекрасна, и ваше сердце уступило первому признанию! — Что же вы хотите, это доставило ему такое удовольствие, а мне стоило так мало». (Цит. по: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. сочинений в тридцати томах, т. XV, Л., 1976, стр. 594, примечания.)

Стр. 86. Ротонда (устар.) — женская теплая верхняя одежда в виде накидки без рукавов.

ОТЧАЯННЫЙ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1900, №№ 140, 142.

Стр. 89. На Транзундском рейде... — Транзунд (ныне г. Высоцк) — город-порт и военно-морская база на одном из островов Финского залива.

...«выплавывал» свой ценз... — По «Положению о морском цензее» 1885 года производство в каждый следующий чин во флоте было обусловлено «совершением определенного для каждого чина числа плаваний».

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич, 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, влиятельный в правящих верхах России.

Стр. 90. «Свет» — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге в 1882—1917 гг.

Стр. 93. В штрафные недолю перевести... — По указу от 17 апреля 1863 года телесные наказания могли применяться только по суду и только после перевода наказуемого в разряд штрафованных.

Стр. 94. Иуда — Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Иисуса, предавший своего учителя за тридцать сребреников иудейским первосвященникам. Имя его стало символом предательства, вероломства.

СМОТР

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1900, №№ 168, 180. Включая рассказ в сборник «Из жизни моряков», СПб., 1901, писатель расширил некоторые диалоги, провел стилистическую правку.

Стр. 111. *Кошут, Лайош* (1802—1894) — венгерский политический и государственный деятель, один из вождей революции 1848—1849 гг. В 1849 году — верховный правитель Венгрии.

Стр. 112. *Марсала* — сорт крепкого десертного виноградного вина.

Го-сотерн, го-лафит — высшие сорта белого и красного виноградных вин.

Стр. 122. ...какая «греческая *Мазепа*!» — Имя украинского гетмана Ивана Степановича Мазепы (1644—1709), предавшего Петра I во время Северной войны, употреблено здесь как нарицательное в значении: лицемерный, двуличный человек.

Стр. 125. *Пажеский корпус* — привилегированное военно-учебное заведение в Петербурге для подготовки к военной и государственной службе детей высшей дворянской знати. Основан в 1802 году.

А паранс — видимость, наружность (франц.).

Стр. 127. *Вахтер* — унтер-офицер, наблюдающий за сохранностью судового имущества.

...все свои онеры вам показала... — то есть все свои выгодные стороны, преимущества. *Онер* — термин карточной игры, обозначающий старшую козырную карту (франц.).

ВОЛК

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1900, №№ 196, 204, 210, под заглавием: «Морской волк» с подзаголовком: «Из далекого прошлого».

Для сборника «Из жизни моряков», СПб., 1901, рассказ был подвергнут значительной стилистической правке, характеристики персонажей были уточнены, а в ряде случаев — расширены.

Стр. 135. «Папильон» — бабочка, мотылек (франц.).

Стр. 154. ...началась война... — Речь идет о Крымской войне и обороне Севастополя, продолжавшейся с 13 сентября 1854 по 27 августа 1855 года.

БЛЕСТЯЩИЙ КАПИТАН

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1900, № 231, с подзаголовком: «Очерк из былой морской жизни».

Стр. 155. *Тулонский рейд...* — Тулон — город-порт и военно-морская база на юге Франции.

Стр. 156. ...орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем. — Орлеанисты — монархическая партия, добившаяся провозглашения французским королем в 1830 году Луи Филиппа Орлеанского (представителя младшей ветви династии Бурбонов). Политика, проводимая орлеанистами после Февральской революции 1848 года, облегчила установление в стране монархического режима Наполеона III (Луи Наполеона Бонапарта, 1808—1873).

Стр. 160. ...эря в штрафные не персводил... — См. прим. к стр. 93.

Стр. 161. *Того и гляди еще в «Колокол» попадем.* — «Колокол» — революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, издававшаяся в 1857—1867 гг. за границей и нелегально распространявшаяся в России. Среди материалов о русском военном флоте, помещенных в ней, — документы о «засеченному матросе» Белоенко, о «капитане-палачё» корабля «Урга» Бренце, об истязаниях матросов на фрегате «Генерал-адмирал» офицером Лисовским и т. д.

Стр. 163. *И сколько презрения к этим парижам флота...* — О враждебном отношении флотских офицеров к «штурманам, механикам и артиллеристам», «развившемся на почве сословных привилегий и предрассудков», см. прим. автора к рассказу «Мрачный штурман» (т. 3 наст. изд., стр. 59).

ЛЕДЯНОЙ ШТОРМ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1900, № 10. Рассказ посвящается писательнице Ариадне Владимировне Тырковой (1869—?), печатавшей свои произведения под псевдонимом А. Вергежский.

Для сборника «Из жизни моряков», СПб., 1901, произведение было заново отредактировано писателем: проведены сокращения, значительная стилистическая правка и т. д.

Стр. 169. Яйла — название главной (южной) гряды Крымских гор.

Стр. 170. *Николай Мирликийский (IV в.)* — христианский святой, архиепископ города Мир в Ликии. Считался покровителем мореплавателей.

Стр. 175. ...штурманов — этих обойденных, обиженных и обозленных пасынков морской семьи.— См. прим. к стр. 163.

Стр. 186. *Тремоло* (м у з.) — счень быстрое повторение одного или чередования нескольких звуков.

Стр. 208. *Ривьера* — или *Лазурный берег* — курортный район на французском побережье Средиземного моря.

НА ДРУГОЙ ГАЛС

Впервые — в журнале «Юный читатель», 1900, № 24, под общим заглавием: «Рассказы старого боцмана». Это второй рассказ цикла, объединенного личностью рассказчика, «старого боцмана» Нилыча.

О ЧЕМ МЕЧТАЛ МИЧМАН?

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1898, № 178, под общим заглавием: «Наочных вахтах. Рассказы из морской жизни». Этой публикацией газета начала печатание нового цикла рассказов Станюковича, в который также вошли: «Диковинный матросик» и «Форменная баба». Впоследствии цикл был разбит, рассказы подвергнуты стилистической правке и печатались порознь без объединяющего заглавия.

Стр. 223. *Шербур* (Шербур) — французский город-порт в центральной части пролива Ла-Манш.

Стр. 224. *Порто-Гранде* — город-порт на одном из островов Зеленого Мыса в Атлантическом океане близ западного побережья Африки.

Стелла (лат.) — звезда.

Стр. 225. *Лукреция Борджиа* (1480—1519) — дочь папы римского Александра VI; принимала деятельное участие в осуществлении политических замыслов своих родственников.

Мессалина (I в. н. э.) — третья жена римского императора Клавдия, прославившаяся своим распутством, властолюбием и жестокостью.

Стр. 226. *Гостиный двор* — торговый центр Петербурга на Невском проспекте.

Стр. 231. *Зондский пролив* — пролив между островами Ява и Суматра, соединяющий Яванское море (межостровное море Тихого океана) с Индийским океаном.

Батавия — город-порт на северо-западном побережье острова Ява (ныне — столица Индонезии Джакарта).

Сингапур — город-порт на острове Сингапур в Юго-Восточной Азии.

ДИКОВИННЫЙ МАТРОСИК

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1899, № 108, под общим заглавием: «Наочных вахтах. Рассказы из морской жизни».

ФОРМЕННАЯ БАБА

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1899, № 119, под общим заглавием: «Наочных вахтах. Рассказы из морской жизни».

Стр. 240. *Компликация* — запутанность (лат.).

ТОВАРИЩИ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1901, №№ 2, 4, 28, как два самостоятельных рассказа — «Товарищи», с подзаголовком: «Морской рассказ (Из далекого прошлого)», и «Баклагин», с подзаголовком: «Морской очерк (Из давнего прошлого)». Текст рассказа «Товарищи» в газетной публикации был снабжен авторским примечанием: «Объяснение Баклагина с адмиралом послужит темой особого очерка».

Для сборника «На «Чайке» и другие морские рассказы», М., 1902, писатель объединил рассказы в одно произведение под общим названием: «Товарищи».

Стр. 249. ...на рейде Гонконга... — Гонконг — город-порт на острове Гонконг в Южно-Китайском море.

Стр. 250. После службы в черноморском флоте и оставления Севастополя... — Севастополь был оставлен 28 августа 1855 года.

КУДА УЙТИ?

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1901, № 33, под рубрикой: «Современные картинки».

Стр. 284. ...и потом повинтить хоть до утра... — то есть проиграть до утра в винт. Винт — разновидность карточной игры.

Стр. 287. «Поманиловствовать» — образовано от ставшего нарицательным имени героя «Мертвых душ» — Манилова.

УТРО

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1901, № 4. Рассказ посвящается инженеру-путейцу Александру Алексеевичу Борисяку (1875—1902).

ДОБРЫЙ

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1901, № 5, с подзаголовком: «Рассказ матроса (Из дальнего прошлого)». Рассказ посвящается юристу, сотруднику журнала «Вестник воспитания» Евгению Даниловичу Синицкому (1866—1915).

ПАРИ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1901, №№ 284, 287, с подзаголовком: «Из морской жизни». Для сборника «Маленькие рассказы», СПб., 1902, рассказ был подвергнут стилистической правке.

Стр. 333. *Корнилов, Владимир Алексеевич* (1806—1854) — военно-морской деятель, вице-адмирал, герой Севастопольской обороны. С 1849 года был начальником штаба Черноморского флота.

Стр. 335. *Иван Иванович Мазепа?* — Здесь имеется в виду герой поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1829) — престарелый гетман Мазепа, вызвавший страстную любовь юной Марии Коучубей.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПАССАЖИР

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1901, № 349, с подзаголовком: «Святочный рассказ». Для сборника «Маленькие рассказы», СПб., 1902, рассказ был подвергнут стилистической правке.

Стр. 352. *Что бы нам зайти на Мыс....* — Имеется в виду мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки.

Стр. 353. ...сколько, каждый выплыл ценза... — См. прим. к стр. 89.

Стр. 356. *Вальпараисо* — город на Тихоокеанском побережье Чили.

Стр. 357. «*Есть много, друг Горацио...*» — незавершенная цитата из трагедии Шекспира «Гамлет». Гамлет говорит: «*Есть много, друг Горацио, тайн*» (акт 1, сц. 5).

Стр. 358. *Каптаун* (Кейптаун, Капштадт) — город на южном побережье Африки.

Стр. 359. *Скажите, пожалуйста, какой Иосиф прекрасный!..* — Иосиф Прекрасный — имя библейского юноши, проданного братьями в рабство в Египет, где при дворе фараона его тщетно пыталась соблазнить жена царедворца Потифара (Пентефрия). Его имя стало синонимом целомудрия.

МИССИС ДЖИЛЬДА

Впервые — в журнале «Живописное обозрение», 1898, № 2, под названием: «Американская дуэль» и подзаголовком: «Рассказ из жизни моряков». Под названием «Миссис Джильда» включен в сборник «На «Чайке» и другие морские рассказы», М., 1902.

Стр. 368 *Это было время междуусобной войны...—* Имеется в виду гражданская война между Северными и Южными Штатами 1861—1865 гг., в ходе которой в США было отменено рабство негров и таким образом увенчалось победой движениеabolиционистов, добивавшихся этой отмены. Русское правительство было заинтересовано в существовании единых, сильных Соединенных Штатов, противостоящих Англии и Франции — основным политическим соперникам России. В связи с этим Россия отказалась поддержать Англию и Францию, готовивших вмешательство на стороне рабовладельческого Юга, а в сентябре — октябре 1863 года две русские эскадры прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско, что было воспринято как дружеская демонстрация в отношении правительства северян.

Стр. 369. ...«волнуясь и спеша»... — из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти приятеля» (1853).

Стр. 372. *Курс WSW* — то есть курс на запад-юго-запад.

Стр. 376. *Сакраменто* — город на западе США, административный центр штата Калифорния.

Стр. 379. *Ситх* — город-порт на юго-востоке Аляски, на западном берегу о. Баранова. В 50-х — 60-х годах в Ситхе была расположена одна из баз русской тихоокеанской эскадры.

ДУЭЛЬ В ОКЕАНЕ

Впервые — в приложении к журналу «Нива», 1901, № 9, с подзаголовком: «Из далекого прошлого». Включено в сборник «На «Чайке» и другие морские рассказы», М., 1902.

Стр. 386. *Фунчаль* (Фуншал) — город-порт на острове Мадейра в Атлантическом океане.

Рио — *Рио-де-Жанейро* — город в Бразилии, расположенный на берегу бухты Гуанабара Атлантического океана.

Стр. 395. *Брест* — город-порт на западе Франции.

Стр. 402. ...давали «ассаже»... — то есть осадили бы, обра-
зумили.

БЛЕСТЯЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Первая публикация не установлена.

Печатается по изданию А. Ф. Маркса, 1907—1908, под ре-
дакцией П. В. Быкова.

Стр. 410. *Фрыштык* (иска ж. нем.) — завтрак.

Стр. 418. *Антик* — здесь: человек с необычными мнениями,
привычками (устар.).

Стр. 420. «*Исайя, ликуй!*» — Текст, который поется во время
чина бракосочетания в православной церкви при первом обходе
жениха с невестой вокруг аналоя.

Стр. 434. *Пенелопа* — верная жена Одиссея в «Одиссее» Гоме-
ра, терпеливо, в течение двадцати лет, ожидавшая его воз-
вращения.

Стр. 436. *Скоро «опанер»!* — *О пан ер* (апанер) — положение
якоря при его выбирании, когда якорная цепь смотрит верти-
кально, сам же якорь еще не отделился от грунта (морск.).

В. Гуминский

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ 1898—1901

Первогодок	5
На «Чайке»	19
За щупленьского	37
Гибель «Ястреба»	48
Оборот	58
Тяжелый сон	72
Отчаянный	89
Смотр	109
Волк	132
Блестящий капитан	155
Ледяной штурм	169
На другой галс	211
О чем мечтал мичман	222
Диковинный матросик	233
Форменная баба	239
Товарищи	249
Куда уйти?	282
Утро	291
Добрый	315
Пари	331
Загадочный пассажир	350
Миссис Джильда	364
Дуэль в океане	386
Блестящее назначение	408
Примечания	437

Константин Михайлович
СТАНЮКОВИЧ

Собрание сочинений
в десяти томах.

Том IX.

Редактор тома
В. Гуминский.

Оформление художника
Е. М. Казакова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 26/I 1977 г.
Подписано к печати 20/V 1977 г.
Бумага типографская № 1. Формат 84×108^{1/32}.
Усл. печ. л. 23,94. Учетно-изд. л. 24,61.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 1251. Заказ № 106.
Цена 1 р. 40 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, Москва, А-47,
ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70687

THE
BOSTON
LIBRARY
OF
THE
HARVARD
COLLEGE

THE
BOSTON
LIBRARY
OF
THE
HARVARD
COLLEGE

THE
BOSTON
LIBRARY
OF
THE
HARVARD
COLLEGE

THE
BOSTON
LIBRARY
OF
THE
HARVARD
COLLEGE